
Чарлз
Диккенс

# ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС



## СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

### В ТРИДЦАТИ ТОМАХ

*Под общей редакцией*

*А. А. АНИКСТА и В. В. ИВАШЕВОЙ*

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

*Москва 1959*

# ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС



## СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

## ТОМ ДЕСЯТЫЙ

**ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАРТИНА ЧЕЗЛВИТА**

***Роман***

***(Главы I—XXVI)***

*Перевод с английского*

*Н. Л. ДАРУЗЕС*



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
*Москва 1959*

CHARLES DICKENS

# THE LIFE AND ADVENTURES OF MARTIN CHUZZLEWIT

*Ch. I—XXVI*

*1844*

*Иллюстрации*

*«ФИЗА» (Х. Н. БРАУНА)*

*Третье, пересмотренное издание перевода*

## *ПРЕДИСЛОВИЕ*

Что кажется преувеличением одному разряду умов и мнений, то другим воспринимается как очевидная истина. То, что обычно называют проницательностью, помогает различать множество характерных черт и деталей там, где человек близорукий не увидит ровно ничего. Я иногда задаю себе вопрос: уж не в этом ли разница между некоторыми писателями и некоторыми читателями? Верно ли, что именно писатель берет слишком яркие краски, или же бывает и так, что глаз читателя плохо различает цвета?

Впрочем, по этому вопросу у меня имеются практические наблюдения, представляющие больше интереса, чем только что изложенная теория. А именно: мне ни разу не удавалось взять героя прямо из жизни, без того чтобы один из двойников этого героя не спросил меня недоверчиво: «Нет, правда, неужели вы действительно видели такого, как он?»

Думаю, что все отпрыски семейства Пексниф, обитающие на земле, совершенно согласны в том, что мистер Пексниф есть преувеличение, что такого лица ни-

когда не существовало. Я не собираюсь спорить по этому поводу со столь могущественной и высокопоставленной кликой, скажу лишь несколько слов о характере Джонаса Чезлвита.

Я полагаю, что подлая грубость и жестокость Джонаса Чезлвита была бы неестественной, если бы в его воспитании с самого детства, в правилах и примерах, которыми он всегда руководился, не было всего того, что порождало и поощряло эти отвратительные пороки. Но при таком происхождении и воспитании, когда его с колыбели поощряли во всем, что отталкивает людей, когда его хитрость, вероломство и скупость превозносили и оправдывали, Джонас представляется мне законным потомком отца, на голову которого пали грехи сына. И я смею утверждать, что возмездие, постигшее старика в его позорной старости, есть не только акт поэтического правосудия, но и прямая правда, логически доведенная до конца.

Я считаю нужным дать это пояснение в интересах читателя, который задумается над этой книгой, потому что в жизни мы часто не даем себе труда исследовать причины преступлений и пороков, обсуждаемых всеми. То, что является верным по отношению к отдельным семьям, остается верным и по отношению ко всему человеческому обществу. Что посеешь, то и пожнешь. Пусть читатель войдет в детское отделение любой тюрьмы в Англии или, прибавлю с сожалением, многих работных домов и решит сам, выродки ли это позорят наши улицы, населяют наши плавучие тюрьмы и исправительные дома и переполняют наши каторжные колонии, или это люди, которых мы сознательно обрекли на нищету и погибель.

Американская часть книги является карикатурой лишь постольку, поскольку она показывает (за исключением мистера Бивена) главным образом то, что достойно осмеяния в американском характере,— ту сторону, которая

двадцать четыре года тому назад бросалась в глаза по преимуществу и которую скорее всего должны были разглядеть такие путешественники, как молодой Мартин и Марк Тэпли. А так как я в своих книгах никогда не высказывал склонности смягчать то, что дурно и достойно осмеяния у меня на родине, то я надеялся, что добродушный народ Соединенных Штатов в большинстве своем не осудит меня, если я и для чужого края не отступлю от своего обыкновения. Мне приятно думать, что этот великий народ не обманул моих ожиданий.

Когда эта книга впервые вышла из печати, некоторые авторитетные лица дали мне понять, что Уотертостская ассоциация и ее ораторское красноречие совершенно неправдоподобны. Поэтому я считаю нужным подчеркнуть, что вся эта часть переживаний Мартина Чезлвита есть буквальный пересказ протоколов публичных заседаний в Соединенных Штатах (а особенно протоколов некоей Водочно-винной ассоциации), которые печатались в «Таймсе» в июне — июле 1843 года,— приблизительно в то время, когда я писал эти главы моей книги,— и которые, вероятно, хранятся в архиве «Таймса».

Во всех моих писаниях я никогда не упускал случая указать на те антисанитарные условия, в которых живет наша беднота. Двадцать четыре года тому назад миссис Сара Гэмп была типичной сиделкой для неимущих больных. Лондонские больницы считались во многих отношениях почтенными учреждениями, но сколько же там было недостатков! Одним из примеров творившихся в них безобразий служит, я думаю, то, что миссис Бетси Приг была образцовой больничной сиделкой, а также то, что больницы, при наличии специальных средств и фондов, целиком и полностью предоставляли частной инициативе и благотворительности воспитывать и совершенствовать эту категорию лиц; потом они стали много лучше благодаря стараниям некоторых добрых женщин,

# ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАРТИНА ЧЕЗЛВИТА

## ГЛАВА I,

*вступительная, где речь идет о родословной семейства Чезлвитов*

Так как ни одна леди и ни один джентльмен из числа хоть сколько-нибудь претендующих на благовоспитанность не удостоят своим вниманием семейство Чезлвитов, не уверившись наперед в глубокой древности их рода, то нам чрезвычайно приятно сообщить, что они несомненно происходят по прямой линии от Адама и Евы и с незапамятных времен имели самое близкое отношение к сельскому хозяйству. Если бы недоброжелатели и завистники вздумали утверждать, что тот или другой Чезлвит того или другого поколения слишком уж занесся и возгордился своим происхождением, то такую слабость со стороны обвиняемого следовало бы не только извинить, но и считать похвальной, принимая во внимание неизмеримое превосходство этой семьи над всем остальным человечеством в отношении древности рода.

Интересно отметить, что если в древнейшей фамилии, память о которой сохранила нам история, имелись убийца и бродяга *, то и в истории других древних фамилий мы неизменно встречаемся с бесчисленными повторениями этих двух человеческих разновидностей. Можно считать общим правилом, что чем длиннее ряд предков, тем больше в семейной истории убийств и грабежей, ибо в старину эти два вида развлечений, сочетавших здоровый

моцион с верным средством поправить расстроенное состояние, являлись одновременно и благородным промыслом и полезным отдыхом для знати нашей страны.

А посему весьма утешительно и отрадно вспомнить, что во все периоды нашей истории Чезлвиты принимали деятельное участие в человекоубийственных заговорах и кровопролитных схватках. Имеются также свидетельства о том, что, закованные с головы до ног в надежную стальную броню, они весьма мужественно посылали одетых в кожаные куртки солдат на верную смерть, после чего в самом приятном расположении духа возвращались домой, к родным и знакомым.

Не подлежит никакому сомнению, что по крайней мере один из Чезлвитов пожаловал к нам вместе с Вильгельмом Завоевателем *. Однако, надо полагать, впоследствии этот монарх не очень-то благоволил к их благородному предку, ибо ни из чего не видно, чтобы семейству Чезлвитов были пожалованы во владение земельные угодья. А между тем хорошо известно, что, награждая этого рода собственностью своих фаворитов, знаменитый норманн выказывал ту изумительную щедрость и признательность, какими обыкновенно отличаются великие мира сего, когда раздают направо и налево чужое добро.

Быть может, здесь нам следовало бы остановиться и поздравить себя с теми неистощимыми сокровищами храбрости, мудрости, красноречия, доблести, знатности и благородства, какими обогатилась Англия после вторжения норманнов; добродетелями, к которым генеалогия каждого старинного рода прибавляет немалую долю и которые вне всякого сомнения были бы ничуть не меньше и породили бы совершенно такой же длинный ряд благородных отпрысков, кичащихся своим происхождением, даже и в том случае, если бы Вильгельм Завоеватель оказался Вильгельмом Завоеванным: от такой перемены, можно сказать с полной уверенностью, решительно ничего не изменилось бы.

Нет ни малейшего сомнения в том, что один из Чезлвитов участвовал в Пороховом заговоре *, а может быть, и сам архипредатель Фокс * был отпрыском их замечательного рода; это весьма возможно, если предположить, что один из Чезлвитов предыдущего поколения эмигрировал

в Испанию, где и сочетался браком с испанкой, от которой имел потомство — единственного сына с оливковым цветом лица. Столь вероятное предположение подкрепляется, если не подтверждается безусловно, одним обстоятельством, не лишенным интереса для всех изучающих развитие наследственных склонностей у лиц, коим эти склонности передались без их ведома. Известно, что в наше время многие Чезлвиты, потерпев неудачу на других поприщах, занялись торговлей углем, без всяких на то разумных оснований и без малейшей надежды разбогатеть, и месяц за месяцем угрюмо созерцают свой более чем скромный запас товара, не имея случая даже поторговаться с покупателем. Поразительное сходство между этим занятием и тем, какому предавался великий предок Чезлвитов под сводами парламентских подвалов в Вестминстере, так явно и многозначительно, что не нуждается в комментариях.

Кроме того, устными преданиями семейства Чезлвитов установлено вполне точно, хотя неясно, к какому периоду их семейной истории это относится, что существовала некогда особа такого вспыльчивого характера и до такой степени привыкшая к обращению с огнем, что ее прозвали «выжигой», каковое прозвище, или кличка, сохранилось за нею и до сего дня в фамильных легендах. Не подлежит, разумеется, никакому сомнению, что это и была испанская сеньора — матушка Чезлвита-Фокса.

Но имеется и еще одно доказательство, прямо говорящее о тесной связи Чезлвитов с этим памятным в английской истории событием,— доказательство, которое не преминет убедить даже умы, устоявшие перед вышеприведенными догадками (если таковые найдутся).

Несколько лет тому назад во владении одного всеми уважаемого и во всех отношениях почтенного и благонамеренного члена семьи Чезлвитов (ибо даже злейший враг не мог бы усомниться в его богатстве) находился потайной фонарь несомненно древнего происхождения, тем более примечательный, что и по виду и по форме он нисколько не отличался от тех, какие употребляются в наше время. Так вот, этот джентльмен, ныне покойный, всегда готов был поклясться и не раз утверждал самым категорическим образом, что его бабушка нередко говари-

вала, созерцая эту почтенную реликвию: «Да-да-да! Вот этот самый фонарь нес мой правнук пятого ноября, когда был Гаем Фоксом» *. Эти замечательные слова произвели на внука (как и следовало ожидать) сильное впечатление, и у него вошло в привычку повторять их довольно часто. Точный смысл этих слов и вывод, который надлежит из них сделать, в высшей степени убедительны и неотразимы. Старушка, наделенная от природы решительным характером, была тем не менее слаба здоровьем и забывчива; известно, что она нередко все путала или, во всяком случае, заговаривалась, чему бывают подвержены старые и болтливые люди. Незначительная очень незначительная обмолвка, которую можно усмотреть в ее словах, очевидна, и ее ничего не стоит исправить: «Да-да-да! — говорила она, и можно заметить, что эти начальные слова не нуждаются ни в каких поправках.— Да-да-да! Этот самый фонарь нес мой прадед,— не правнук, что лишено смысла, а прадед,— пятого ноября. Он-то и был Гай Фокс». Таким образом, у нас получается связное, естественное и ясное замечание, вполне сообразное с тем, что нам известно об этой старушке. В нем так явно подразумевается именно этот смысл и никакой другой, что едва ли даже стоило бы приводить анекдот в первой редакции, если бы он не доказывал, чего можно добиться не только в исторической прозе, но и в поэтических творениях, когда со стороны комментатора приложено сколько-нибудь сообразительности и труда.

Говорят, будто за последнее время не сыщется ни одного примера, чтобы какой-нибудь Чезлвит был на короткой ноге со знатью. Но и тут глумливые клеветники, чьими злобными мозгами порождены все эти жалкие измышления, немеют, пораженные силой доказательств. Ибо у многих членов семейства Чезлвитов хранятся письма, из коих явствует черным по белому, что некий Диггори Чезлвит имел обыкновение «обедать с герцогом Гэмфри» *. Он был таким частым гостем за столом этого вельможи, и его милость, должно быть, так навязывался со своим гостеприимством, что Диггори, как видно, стеснялся и неохотно там бывал, ибо писал своим друзьям в том смысле, что ежели они не пришлют с подателем сего письма того-то и того-то, ему ничего другого не останется,

как опять «отобедать с герцогом Гэмфри», причем изъявлял свое пресыщение светской жизнью и аристократическим обществом в самых недвусмысленных и сильных выражениях.

Носились слухи,— и нет надобности говорить, что они происходили из тех же низменных источников,— будто бы один из Чезлвитов, чье рождение, надо сознаться, до некоторой степени облечено тайной, был весьма невысокого и даже темного происхождения. Где же доказательства? Когда сын этого Чезлвита, которому отец, видимо, еще при жизни открыл тайну своего рождения, лежал на смертном одре, ему задали следующий вопрос самым официальным, торжественным и решительным образом: «Тоби Чезлвит, кто был твой дедушка?» На что тот, находясь при последнем издыхании, ответил не менее официально, торжественно и решительно: «Черт-те-кто!», каковой ответ был тут же записан и засвидетельствован шестью лицами, причем каждый из свидетелей проставил полностью свое имя, фамилию и адрес. Можно, разумеется, сказать,— да некоторые и говорили, ибо нет пределов человеческому злословию,— что таких имен нету и что даже среди титулов, которые давно уже сошли со сцены, нельзя найти ни одного сколько-нибудь похожего хотя бы по звуку. Но что же из этого следует? Если отбросить теорию, выдвинутую некоторыми доброжелательными, но заблуждающимися людьми, будто дедушка Тоби Чезлвита, судя по имени, был скорее всего китайский мандарин (что совершенно не выдерживает критики, ибо нет даже намека на то, что его бабушка выезжала когда-нибудь из Англии или что какой-нибудь знатный китаец приезжал в Англию незадолго до рождения его отца, кроме тех китайцев, что выставлены в чайных лавках и уж никоим образом не могут быть приняты в расчет),— если отбросить эту гипотезу, неужели не ясно, что мистер Тоби Чезлвит или недослышал, как зовут его дедушку, или позабыл его имя, или же перепутал, как оно произносится. И что даже в то близкое к нам время, о котором идет речь, Чезлвиты находились в морганатическом родстве, так сказать с левой стороны, с какой-то неизвестной нам, но высокопоставленной и знатной фамилией?

Из документов, до сих пор хранящихся в семейном

архиве, легко установить, что еще сравнительно недавно, во времена упомянутого Диггори Чезлвита, один из членов семейства добился весьма влиятельного положения и разбогател. В тех обрывках его переписки, которых не поточила моль (а моль по праву может быть названа главным архивариусом мира насекомых,— столько она пожирает всяких актов и документов), мы находим постоянные ссылки на какого-то «дядюшку» *, от которого он, по-видимому, ожидал большого наследства, ибо всячески добивался его расположения, постоянно поднося ему книги, часы, столовое серебро, золотые кольца и другие ценные предметы. Так, например, он пишет брату насчет какой-то соусной ложки, принадлежавшей этому брату, которую он, Диггори, по-видимому, взял у того на подержание или иным образом присвоил: «Не сердись, у меня ее нет — отнес к «дядюшке». В другом случае он почти в тех же выражениях говорит о детской серебряной кружечке, которую ему поручили снести в починку. В третьем случае он пишет: «Я перетаскал к любезному «дядюшке» все, что у меня было». А что он имел обыкновение подолгу гостить у этого дядюшки и даже совсем к нему переселялся, видно из следующей фразы: «Кроме того, что на мне надето, все мое платье находится сейчас у «дядюшки». Покровительство и заботы дядюшки простирались, по-видимому, слишком далеко, ибо его племянник пишет: «Уж очень берет большой интерес», «слишком большой», «ни с чем несообразный», и тому подобное. Не заметно, однако же (и это довольно странно), чтобы «дядюшка» доставил племяннику какую-нибудь выгодную должность при дворе или еще где-нибудь, или же добыл ему какое-нибудь отличие, кроме разве того, которое заключается в лицезрении столь знатной особы да приглашений на званые вечера, а может быть, и балы, о роскоши и великолепии которых племянник распространяется весьма высокопарно, то и дело поминая какие-то «золотые шары» *.

Нет надобности множить доказательства высокого общественного положения и значительности Чезлвитов в разные периоды их истории. Если б имелись какие-нибудь разумные основания предполагать, что понадобятся и еще доказательства, их можно было бы громоздить одно

на другое без конца, так что вырос бы целый Монблан свидетельских показаний, которым был бы задавлен и обращен в лепешку даже самый отъявленный скептик. Но так как и без этого набрался порядочный холмик, достойно возвышающийся над семейной могилой, то настоящая глава на этом поставит точку, добавив только, вместо последней лопаты земли, что очень многие Чезлвиты как мужского, так и женского пола, судя по письмам их собственных мамаш, имели точеные носы, очаровательные подбородки, сложение, достойное резца ваятеля, редкого изящества руки и ноги и чистые лбы с такой необычайно прозрачной кожей, что видны были даже синие жилки, разбегавшиеся во все стороны ручейками нежнейшей лазури. Уже сам по себе этот факт, хотя бы он был единственным, должен окончательно разрешить и уничтожить всякие сомнения на сей счет, ибо известно как нельзя лучше из авторитетных трудов, трактующих эту материю, что все вышеупомянутые приметы, а особенно точеные носы, неизменно сопутствуют персонам самого высокого ранга и бывали подмечены единственно у них.

После того как мы установили, к полному своему удовлетворению (а следовательно, и к совершенному удовольствию читателей), что Чезлвиты действительно были высокого происхождения и пользовались в разное время таким влиянием, какое не может не сделать знакомство с ними лестным и желательным для всякого здравомыслящего человека, нам надлежит приступить к делу вплотную. И, доказав, что Чезлвиты, в силу древности их фамилии, немало потрудились над созданием и приумножением человеческого рода, мы должны будем со временем признать, что те из членов семейства, которые появятся в нашем повествовании, и доныне имеют своих двойников и преемников в окружающем нас мире. Пока же мы удовольствуемся тем, что сделаем несколько замечаний самого общего характера по следующему поводу: во-первых, можно с уверенностью утверждать, нисколько не разделяя учения Монбоддо * насчет того, будто предки человека были когда-то обезьянами, что люди способны подчас выкидывать самые странные и неожиданные штуки; во-вторых (но опять-таки независимо от теории Блюменбаха * о том, будто потомки Адама наделены многими

такими качествами, какие из всех божьих созданий наиболее приличествуют свиньям), что некоторые люди отличаются необыкновенной способностью думать только о самих себе.

## ГЛАВА II,

*где читателю представляют некоторых лиц, с коими он может, если угодно, познакомиться ближе*

Стояли последние дни поздней осени, и заходящее солнце, пробившись, наконец, сквозь пелену тумана, застилавшую его с самого утра, ярко засияло над маленьким вильтширским селением, лежащим на расстоянии хорошей прогулки от славного старого города Солсбери *.

Подобно неожиданному проблеску памяти или чувства, озаряющему душу старика, оно залило светом окрестные луга, воскресив их былую свежесть и юность. Мокрая трава засверкала в его лучах; уцелевшие местами остатки зелени на живых изгородях, там, где последние листья еще держались, храбро сопротивляясь натиску резких ветров и ранних морозов, ожили и посветлели; ручей, весь день угрюмый и тусклый, просиял веселой улыбкой; легковерные птицы защебетали и зачирикали среди голых ветвей, словно надеясь на то, что зиме пришел конец и весна уже наступила. Флюгер на остроконечном шпиле старинной церкви заблестел на своем высоком посту, сочувствуя общей радости, а из осененных плющом окон устремились к полыхающим небесам такие потоки огня, словно в этих мирных домишках год за годом накапливались все тепло и все румяные краски лета.

Даже те осенние приметы, которые особенно настойчиво твердили о близком приходе зимы, не омрачали общей картины и в этот час не бросали печальной тени. Опавшие листья, которыми была устлана земля, пахли приятно и навевали чувство покоя, смягчая дальний грохот колес и топот копыт и гармонически сливаясь с плавными движениями пахаря, бросавшего зерно в борозды, и с бесшумным ходом плуга, который, подымая пласты жирной,

черной земли, укладывал их красивым узором по щетинистому жнивью. Кое-где на неподвижных ветвях деревьев гроздями кораллов краснели осенние ягоды, словно в сказочном саду, где вместо плодов растут самоцветы; одни деревья уже сбросили свой наряд, и каждое из них стояло посреди вороха ярко-красных листьев, глядя, как эти листья постепенно истлевают; другие еще сохраняли свой летний убор, но вся листва покоробилась и свернулась, как от огня; вокруг одних деревьев румяными грудами были сложены яблоки, созревшие этим летом; другие, вечнозеленые крепыши, при всем своем здоровье смотрели мрачно и сурово, словно свидетельствуя о том, что долговечность дается природой отнюдь не самым нежным и ветреным ее любимцам. Но и здесь, в их темных ветвях, косые лучи пролегли дорожками красноватого золота, а сияние заката, пронизывая густую чащу ветвей, казалось еще ярче и только усиливало блеск угасающего дня.

Еще минута, и его сияние померкло. Солнце село за темными длинными грядами невысоких холмов и туч, возводивших на западе облачный город — стена за стеной и башня за башней; свет угас, сверкающая церковь потемнела и остыла; ручей уже не сиял улыбкой; птицы умолкли, и все вокруг стало по-зимнему мрачно.

Поднялся к тому же ночной ветер, и верхние ветви деревьев заметались и заплясали под его стонущий напев, стуча друг о дружку, словно кости скелета. Опавшие листья уже не лежали на земле, а кружились, гонимые ветром, ища, куда бы укрыться от его холодного дыхания; пахарь выпряг лошадей и, склонив голову, проворно зашагал домой рядом с ними; в окнах домишек замигали огоньки, переглядываясь с темнеющими полями.

Тут-то и выступила деревенская кузница во всем своем блеске. Дюжие мехи ревели «хо-хо!», раздувая яркий огонь, а тот в свою очередь ревел, приглашая блестящие искорки на веселую пляску под радостный стук молотов о наковальню. Раскаленное докрасна железо тоже искрилось наперегонки с ними, щедро рассыпая во все стороны золотые брызги. Силач кузнец со своими подручными ковал так лихо, что развеселилась даже печальница-ночь и посветлел ее темный лик, заглядывавший с любопытством то в окна, то в двери через плечи десятка зрителей. А эти

праздные зеваки стояли словно околдованные и, изредка оглядываясь назад, в темноту, только расставляли поудобнее на подоконнике ленивые локти да наклонялись чуть побольше вперед, словно прилипли к месту, словно они для того только и родились, чтобы толпиться вокруг пылающего очага, в подражание сверчкам.

Как только не совестно было ветру сердиться! Он уже не вздыхал, а бушевал вокруг веселой кузницы, хлопал дверью, ворчал в трубе, словно выговаривая работягам-мехам за то, что они пляшут под чужую дудку. И какой же он оказался пустой болтун; сколько ни шумел, ничего не мог поделать с двумя охрипшими дружками, разве что от его воркотни они запели еще громче и веселей, и оттого огонь в горне запылал еще ярче, а искры заплясали еще бойчее; под конец они закружились так бешено, что злюке-ветру стало невмоготу; он с воем кинулся прочь и так хватил по дороге старую вывеску перед дверью трактира, что Синий Дракон окончательно взвился на дыбы и еще до наступления рождества совсем вылетел прочь из своей покривившейся рамки.

Что за мелочное тиранство со стороны почтенного ветра вымещать свою злобу на таких слабых, ни в чем не повинных созданиях, как осенние листья; однако этот самый ветер, уже сорвав мимоходом сердце на Драконе и разобидев его, подхватил с земли целую охапку листьев и так расшвырял и рассеял их, что они полетели очертя голову кто куда, перекатываясь друг через дружку, и то становились на ребро, крутясь без устали, то в страхе взлетали на воздух и с отчаяния выкидывали всякие необыкновенные антраша. Но и этого было мало разбушевавшемуся ветру: не довольствуясь тем, что сорвал их с места, он накидывался на маленькие стайки листьев, загонял их под пилу, под доски и бревна на лесопилке и, развеяв опилки по воздуху, искал, нет ли под ними листьев, а если находил — фью-у-у! — и гонялся же он за ними, ну просто преследовал по пятам!

Перепуганные листья от всего этого только летели быстрее, и гонка была бешеная; они попадали в такие места, откуда было не выбраться и где тиран-ветер крутил и вертел их сколько его душе было угодно; они забивались под застрехи, нетопырями распластывались по стогам сена, за-

летали в открытые окна, прятались под живые изгороди — словом, были готовы забраться куда угодно, лишь бы спастись. Но самую отчаянную штуку они выкинули, воспользовавшись тем, что неожиданно открылась парадная дверь в доме мистера Пекснифа; они ворвались в сени, куда проник за ними и ветер; а он, едва обнаружив, что дверь с черного хода тоже открыта, взял да и задул свечу в руке мисс Пексниф и с такой силой хлопнул парадной дверью навстречу входящему мистеру Пекснифу, что сшиб его с ног, и тот во мгновение ока очутился на спине перед собственным крыльцом. Затем, наскучив вздорными шалостями, разбойник-ветер торжествующе умчался прочь, посвистывая над болотами и лугами, над холмами и равнинами, пока не долетел до моря, где повстречался с другими ветрами такого же буйного поведения и прогулял с ними всю ночь напролет.

Тем временем мистер Пексниф, получив от предпоследней ступеньки крыльца такую затрещину, от каких пострадавший обыкновенно видит огни несуществующей иллюминации, лежал неподвижно, уставясь на собственную парадную дверь. Надо полагать, что вид этой двери особенно наводил на размышления, не в пример прочим парадным дверям, ибо мистер Пексниф лежал что-то уж очень долго, по-видимому не испытывая никакого желания удостовериться, расшибся он или нет; даже когда мисс Пексниф спросила через замочную скважину: «Кто там?» — таким пронзительным голосом, каким мог бы говорить сорванец-ветер,— мистер Пексниф не ответил ей ни слова; даже когда мисс Пексниф опять открыла дверь и, загородив свечу рукой, стала смотреть везде — и вокруг мистера Пекснифа, и около него, и поверх него, и куда угодно, только не на него,— он не издал ни звука и ни малейшим намеком не выразил желания, чтобы его подобрали.

— Вижу, все вижу! — кричала мисс Пексниф воображаемому озорнику, прятавшемуся за углом.— Вы у меня получите, сударь!

И все-таки мистер Пексниф не произнес ни слова, может быть потому, что уже получил.

— Ага, опомнился теперь? — кричала мисс Пексниф. Она крикнула это наудачу, но ее слова пришлись как

нельзя более кстати, ибо мистер Пексниф, перед которым один за другим быстро гасли огни вышеупомянутой иллюминации и число медных ручек на двери (вертевшихся перед его глазами совершенно немыслимым образом) сократилось с четырех или пяти сот до каких-нибудь двух десятков, теперь действительно приходил в себя, и даже можно было сказать, что опомнился.

Прокричав визгливым голосом предупреждение насчет тюрьмы и полиции, а также насчет колодок и виселицы, мисс Пексниф собиралась уже запереть дверь, когда мистер Пексниф, все еще лежавший перед крыльцом, приподнялся на локте и чихнул.

— Это его голос! — воскликнула мисс Пексниф.— Это он, это наш папаша!

Услышав ее восклицание, вторая мисс Пексниф выскочила из гостиной, и обе они, выкрикивая что-то бессвязное, совместными усилиями поставили мистера Пекснифа на ноги.

— Папа! — кричали они в один голос.— Папа! Скажите же хоть что-нибудь! Ах, какой у вас ужасный вид, бедный папа!

Но поскольку внешний вид джентльмена, особенно в таких обстоятельствах, отнюдь не находится в его власти, мистер Пексниф продолжал смотреть на них, выпучив глаза и разинув рот, наподобие деревянного щелкунчика с отвисшей нижней челюстью; и так как шляпа с него слетела, лицо было покрыто бледностью, волосы встали дыбом, а платье все извалялось в грязи, то зрелище, которое он собой являл, было настолько плачевно, что обе мисс Пексниф не могли удержаться от невольного крика.

— Ну, будет, будет,— произнес мистер Пексниф.— Мне уже лучше.

— Он очнулся! — вскрикнула младшая мисс Пексниф.

— Он заговорил! — возопила старшая.

С этими радостными словами они расцеловали мистера Пекснифа в обе щеки и повели его в комнаты. Сейчас же после этого младшая мисс Пексниф опять выбежала из дома, подобрала отцовскую шляпу, сверток в коричневой бумаге, зонтик, перчатки и остальные мелочи, после чего двери были заперты и обе девицы, удалившись в малую

гостиную, приступили к врачеванию ран мистера Пекснифа.

Увечья были не слишком серьезного характера: всего-навсего ссадины на тех частях тела, которые старшая мисс Пексниф называла «мослаками», то есть на локтях и коленях,— да на затылке у него появился новый орган, доселе неизвестный френологам. Уврачевав эти повреждения извне компрессами из оберточной бумаги, намоченной в уксусе, а самого мистера Пекснифа изнутри стаканчиком бренди, слегка разбавленного водой, старшая мисс Пексниф уселась разливать чай за накрытым уже столом. Тем временем младшая мисс Пексниф принесла из кухни дымящуюся яичницу с ветчиной и, поставив ее перед своим папашей, примостилась на низенькой скамеечке у его ног, так что ее глаза приходились вровень с чайным столом.

На основании этой смиренной позиции отнюдь не следует делать вывод, будто младшая мисс Пексниф была так юна, что ей в силу необходимости приходилось сидеть на скамеечке — оттого, что у нее были коротенькие ножки. Мисс Пексниф сидела на скамеечке потому, что была простодушна и невинна в высшей степени, в самой высшей. Мисс Пексниф сидела на скамеечке оттого, что она была вся резвость и девическая живость, оттого, что она была и шаловлива, и своевольна, и игрива, как котенок. Она была самое лукавое и в то же время самое бесхитростное существо, какое только можно себе представить,— вот что такое была младшая мисс Пексниф. В этом и заключалась ее прелесть. Она была слишком невинна и проста, слишком полна чисто детской живости, чтобы носить гребенки в волосах, или зачесывать их кверху, или завивать их, или заплетать в косы. Она носила волосы распущенными, так что кудри падали ей на плечи, располагаясь рядами, и этих рядов было столько, что на самый верх приходилась всего одна кудряшка. Фигурка у нее была полненькая и очень женственная, и тем не менее иногда — не каждый день, конечно,— она надевала детский фартучек, и до чего это ей шло! Да, действительно эта младшая мисс Пексниф была «прелестное созданье» (как справедливо выразился некий молодой джентльмен в «Поэтическом уголке» одной провинциальной газеты).

Мистер Пексниф был человек добродетельный, серьезный человек, человек с возвышенными чувствами и возвышенной речью, а потому он окрестил ее Ме́рси. Сострадание! Ах, какое прелестное имя для такого непорочного существа, каким была младшая мисс Пексниф! Ее сестру звали Чарити. Чудесно, просто чудесно! Мерси и Чарити! Сострадание и Милосердие! И Чарити, с ее трезвым умом и тихим, кротким, отнюдь не сварливым характером, тоже была окрещена удачно и не менее удачно оттеняла и дополняла свою младшую сестру! Как приятно было смотреть на них обеих, настолько несхожих между собой, видеть, как они любят и понимают друг дружку, как преданы друг дружке и совершенно не могут обойтись одна без другой, и как одна дополняет и исправляет другую, служа, так сказать, противоядием. Каждая из девиц, несмотря на взаимную любовь и восхищение, вела коммерцию на свой собственный страх и риск и на совершенно иных основаниях, нежели ее сестрица, объявляя, что не имеет ничего общего с конкурирующей фирмой, а если качество товаров в соседней лавочке вас не удовлетворит, почтительнейше просим осчастливить нас своим посещением! И весь очаровательный прейскурант увенчивало то обстоятельство, что оба прелестных создания ничего этого совершенно не подозревали. Не имели об этом ни малейшего понятия. Им это и в голову не приходило, даже и во сне не снилось, точно так же, как и мистеру Пекснифу. Сама природа позаботилась о том, чтобы они оттеняли друг друга, а девицы Пексниф были тут совершенно ни при чем.

Как мы уже имели случай заметить, мистер Пексниф был человек добродетельный. Вот именно. Быть может, никогда еще не было на свете человека более добродетельного, чем мистер Пексниф, особенно на словах и в переписке. Один бесхитростный почитатель как-то выразился про мистера Пекснифа, что это целый клад добродетелей, в некотором роде фортунатова сума *. В этом отношении он был похож на сказочную принцессу, у которой сыпались изо рта настоящие бриллианты, с той только разницей, что у него это были прекрасно отшлифованные, ослепительного блеска стекляшки. Это был человек самого примерного поведения, набитый правилами

добродетели не хуже любой прописи. Некоторые знакомые сравнивали его с придорожным столбом, который только показывает всем дорогу, а сам никуда не идет,— но это были враги, так сказать, тень, бегущая от света, вот и все. Даже его шея выглядела добродетельной. Эта шея была у всех на виду. Заглядывая за низенькую ограду белого галстука (узел которого оставался тайной для публики, ибо мистер Пексниф завязывал его сзади), вы видели светлую долину, незатененную бакенами и простиравшуюся между двумя высокими выступами воротничка. Эта шея как будто говорила, предстательствуя за мистера Пекснифа: «Никакого обмана тут нет, леди и джентльмены, здесь все исполнено мира и священного спокойствия». То же говорили и волосы, слегка седеющие, со стальным отливом, зачесанные со лба назад и торчащие либо прямо кверху, либо слегка нависающие над глазами, так же как и тяжелые веки мистера Пекснифа. То же говорили и его манеры, мягкие и вкрадчивые. Словом, даже его строгий черный костюм, даже его вдовство, даже болтающийся на ленте двойной лорнет — все устремлялось к одной и той же цели и громко вопияло: «Воззрите на добродетельного мистера Пекснифа!»

На медной дверной дощечке (а она не могла лгать, ибо принадлежала мистеру Пекснифу) было начертано: «Пексниф, архитектор», к чему мистер Пексниф на своих визитных карточках добавлял: «и землемер». В одном смысле, и только в этом единственном, его можно было назвать землемером с довольно обширным полем деятельности: перед его домом простиралась обширная полоса земли, которую он мог измерять взглядом. Насчет его архитектурных занятий не было известно ничего определенного, кроме того, что он никогда ничего не проектировал и не строил; но вообще подразумевалось, что глубина его познаний в этой области поистине неизмерима.

Профессиональные занятия мистера Пекснифа сводились главным образом к тому, что он держал учеников, ибо получение доходов, коим изредка разнообразились, отдохновения ради, его более серьезные труды, строго говоря, едва ли входит в обязанности архитектора. Все его таланты состояли в том, что он умел расставлять сети родителям и опекунам и класть в карман плату за обуче-

ние. Как только денежки за молодого человека бывали уплачены и молодой человек переселялся в дом мистера Пекснифа, мистер Пексниф брал у него взаймы чертежные инструменты (оправленные в серебро или представлявшие ценность в другом отношении) и просил его с этой минуты считать себя своим человеком в доме; затем, весьма лестно отозвавшись о его родителях или опекунах, смотря по обстоятельствам, предоставлял ему полную свободу действий в просторной комнате на третьем этаже, где, в обществе нескольких чертежных досок, рейсшин, циркулей с весьма неподатливыми ножками и двух или трех сверстников, он совершенствовался в науках года три, а то и больше, соответственно условиям контракта, производя съемку солсберийского собора со всех возможных точек зрения, а также строя в воздухе множество замков, парламентов и других общественных зданий. Быть может, нигде на земном шаре не возводилось столько пышных построек этого рода, сколько здесь, под присмотром мистера Пекснифа, и если бы хоть одна двадцатая доля тех церквей, какие строились в этой самой комнате (с одной из девиц Пексниф в роли невесты и юным архитектором в роли жениха), была действительно принята парламентской комиссией, то по крайней мере в течение пяти столетий не понадобилось бы больше строить церквей.

— Даже и в земных благах, которыми мы сейчас насладились,— произнес мистер Пексниф, покончив с едой и обводя взглядом стол,— даже в сливках, сахаре, чае, хлебе, яичнице...

— С ветчиной,— подсказала негромко Чарити.

— Да, с ветчиной,— подхватил мистер Пексниф,— даже и в них заключается своя мораль. Смотрите, как быстро они исчезают! Всякое удовольствие преходяще. Даже еде мы не можем предаваться слишком долго. Если мы пьем много чая — нам грозит водянка, если пьем много виски — мы пьяны. Какая это утешительная мысль!

— Не говорите, что *мы* пьяны, папа,— остановила его старшая мисс Пексниф.

— Когда я говорю *мы*, душа моя,— возразил ей отец,— я подразумеваю человечество вообще, род человеческий, взятый в целом, а не кого-либо в отдельности. Мораль не знает намеков на личности, душа моя. Даже

вот такая штука,— продолжал мистер Пексниф, приставив указательный палец левой руки к макушке, залепленной оберточной бумагой,— хотя это только небольшая плешь случайного происхождения,— напоминает нам, что мы всего-навсего...— он хотел было сказать «черви», но, вспомнив, что черви не отличаются густотой волос, закончил: — ...бренная плоть.

— И это,— воскликнул мистер Пексниф после паузы, во время которой он, по-видимому без особого успеха, искал новой темы для поучения,— и это также весьма утешительно. Мерси, дорогая моя, помешай в камине и выгреби золу.

Младшая мисс Пексниф послушно принялась мешать в камине, потом снова уселась на скамеечку и, положив на отцовское колено руку, прильнула к ней румяной щекой. Мисс Чарити придвинула стул поближе к огню, готовясь к беседе, и устремила взор на отца.

— Да,— произнес мистер Пексниф после краткого молчания, во время которого он, безмолвно улыбаясь и покачивая головой, глядел в камин,— мне опять посчастливилось достигнуть своей цели. У нас в доме в самом скором времени появится новый жилец.

— Молодой человек, папа? — спросила Чарити.

— Да, молодой,— ответил мистер Пексниф.— Ему представляется редкая возможность соединить все преимущества наилучшего для архитектора практического образования с семейным уютом и постоянным общением с лицами, которые, как бы ни были ограничены их способности и скромна их сфера, тем не менее вполне сознают свою моральную ответственность.

— Ах, папа! — воскликнула Мерси, лукаво грозя ему пальчиком.— Точь-в-точь объявление!

— Веселая... веселая певунья! — сказал мистер Пексниф.

Тут кстати будет заметить по поводу того, что мистер Пексниф назвал свою дочку «певуньей», что у нее совсем не было голоса, но что мистер Пексниф имел привычку ввертывать в разговор любое слово, какое только попадалось на язык, не особенно заботясь о его значении, лишь бы оно было звучно и хорошо закругляло фразу. И делал он это так уверенно и с таким внушительным

видом, что своим красноречием нередко ставил в тупик первейших умников, так что те только глазами хлопали.

Враги мистера Пекснифа утверждали, кстати сказать, будто он во всем полагался на силу пустопорожних фраз и форм и что в этом заключалась сущность его характера.

— Он хорош собой, папа? — спросила младшая дочь.

— Глупышка Мерри! — сказала старшая: — «Мерри» употреблялось ласкательно вместо «Мерси». — Скажите лучше, сколько он будет платить?

— Ах, боже мой, Черри! — воскликнула мисс Мерси, всплескивая руками и самым обворожительным образом хихикая.— Какая же ты корыстная! Хитрая, расчетливая, гадкая девчонка!

Совершенно очаровательная сцена во вкусе века пасторалей: обе мисс Пексниф сначала слегка отшлепали друг друга, а после того бросились обниматься, проявив при этом всю противоположность своих натур.

— Он, кажется, недурен собой,— произнес мистер Пексниф с расстановкой и очень внятно,— довольно-таки недурен. Не могу сказать, чтобы я ожидал от него немедленной уплаты денег.

Хотя обе сестры были совсем разные, но при этих словах они одинаково широко раскрыли глаза и посмотрели на папашу таким удивленным взглядом, будто они в самом деле только и думали, что о презренной пользе.

— Ну, и что же из этого! — говорил мистер Пексниф, по-прежнему улыбаясь огню в камине.— Надеюсь, есть еще на свете бескорыстие? Не все же мы в разных лагерях — одни обидчики, а другие обиженные. Есть среди нас и такие, которые оказываются посередине, подают помощь тем, кому она нужна, и не примыкают ни к одной из сторон. А-гм?

В этой филантропической окрошке скрывался все же некий смысл, успокоивший сестер. Они обменялись взглядами и повеселели.

— Ну, к чему постоянно рассчитывать, строить какие-то планы, заглядывать в будущее,— говорил мистер Пексниф, улыбаясь все шире и глядя на огонь с таким выражением, словно это с ним он вел шутливую беседу.— Мне противны все эти хитрости. Если мы склонны быть доб-

рыми и великодушными, смело дадим себе волю, хотя бы это принесло нам убыток вместо прибыли. А, Чарити?

Впервые подняв глаза после того, как он начал размышлять вслух, и увидев, что обе дочери улыбаются ему, мистер Пексниф подарил их таким игривым взглядом, что младшая, получив это поощрение, тут же перепорхнула к нему на колени, обняла его за шею своими прелестными ручками и поцеловала раз двадцать подряд. Во все время этой трогательной сцены она смеялась так заразительно, что к ее необузданной веселости присоединилась даже степенная и благоразумная Черри.

— Ну, будет, будет,— сказал мистер Пексниф и, слегка отстранив младшую дочь, пригладил пальцами волосы и снова принял достойное выражение лица.— Что за безрассудство! Остережемся смеяться без причины, чтобы после нам не плакать. Какие у нас дома новости со вчерашнего дня? Надеюсь, Джон Уэстлок уехал?

— В том-то и дело, что нет,— сказала Чарити.

— Почему же нет? — вопросил отец.— Срок ему вышел еще вчера. И вещи его уложены, я знаю; я сам видел утром, что его сундук стоит в прихожей.

— Вчера он ночевал в «Драконе»,— отвечала молодая девушка,— и пригласил мистера Пинча отобедать с ним. Вечер они провели вместе, и мистер Пинч до самой поздней ночи не являлся домой.

— А когда я встретила его утром на лестнице, папа,— вмешалась Мерси с обычной своей живостью,— господи, до чего он был страшный! Цвет лица просто необыкновенный какой-то, глаза тусклые, как у вареного судака, голова, должно быть, трещит ужасно, я это сразу заметила, а от самого несет бог знает как, ну просто до невозможности,— тут молодая особа содрогнулась,— пуншем и табаком.

— Мне кажется,— произнес мистер Пексниф с привычной для него мягкостью, но в то же время с видом жертвы, безропотно сносящей обиду,— мне кажется, мистер Пинч напрасно выбрал себе в товарищи такого человека, который в завершение долголетнего знакомства пытался, как ему известно, оскорбить мои чувства. Я не вполне уверен, что это любезно со стороны мистера Пинча. Я не вполне уверен, что это тактично со стороны мистера Пинча.

Я пойду дальше и скажу, что не вполне уверен, есть ли тут самая обыкновенная благодарность со стороны мистера Пинча.

— Но чего же можно ожидать от мистера Пинча! — воскликнула Чарити, делая такое сильное и презрительное ударение на фамилии, что, казалось, она с величайшим наслаждением ущипнула бы прямо за ляжку этого джентльмена, если бы разыгрывала шараду *.

— Да, да,— возразил ее отец, кротко поднимая руку,— легко нам говорить «чего мы можем ожидать от мистера Пинча», но ведь мистер Пинч наш ближний, душа моя; это единица в общем итоге человечества, душа моя, и наше право, даже наш долг,— ожидать от мистера Пинча некоторого развития тех лучших свойств характера, коими мы по справедливости гордимся. Нет,— продолжал мистер Пексниф,— нет! Боже меня сохрани, чтобы я стал говорить, будто ничего хорошего нельзя ожидать от мистера Пинча, или чтобы я стал говорить, будто ничего хорошего нельзя ожидать от какого бы то ни было человека (даже самого развращенного, каким нельзя считать мистера Пинча, отнюдь нет); но мистер Пинч разочаровал меня; он меня огорчил; поэтому несколько изменилось к худшему мое мнение о мистере Пинче, но не о человеческой природе! Нет, о нет!

— Тише! — сказала мисс Чарити, подняв кверху палец, так как в это время кто-то осторожно постучался в парадную дверь.— Явилось наше сокровище! Попомните мои слова, это он вернулся вместе с Джоном Уэстлоком за его вещами и намерен помочь ему донести сундук до остановки дилижанса. Попомните мои слова, вот что у него на уме!

Должно быть, в то самое время как она это говорила, сундук выносили из дома, но после кратких переговоров шепотом его снова поставили на пол, и кто-то постучался в дверь гостиной.

— Войдите! — воскликнул мистер Пексниф, не сурово, но добродетельно.— Войдите!

Этим разрешением не преминул воспользоваться человек мешковатый, неловкий в движениях, крайне близорукий и преждевременно облысевший, но, заметив, что мистер Пексниф сидит к нему спиной, глядя на огонь,



он нерешительно остановился, держась за дверную ручку. Он был далеко не красавец, и его фигуру облекал табачного цвета костюм, который и снову был скроен неладно, а теперь от долгой носки весь съежился и сморщился, потеряв всякий покрой; однако, несмотря на костюм и нескладную фигуру, которую отнюдь не красила сильная сутуловатость и смешная привычка вытягивать голову вперед, никому не пришло бы в голову считать его дурным человеком, разве только полагаясь на слова мистера Пекснифа. Ему было, вероятно, лет около тридцати, а с виду можно было дать сколько угодно, от шестнадцати до шестидесяти: он принадлежал к тем странным людям, которые никогда не становятся вполне дряхлыми, но выглядят стариками уже в ранней юности, а после того становятся все моложе.

По-прежнему держась за ручку двери, он несколько раз переводил глаза с мистера Пекснифа на Мерси, с Мерси на Чарити, с Чарити опять на мистера Пекснифа; но так как обе дочки глядели в огонь с тем же упорством, что и папаша, и никто из них троих не обращал на него ни малейшего внимания, он вынужден был, наконец, сказать:

— Извините меня, мистер Пексниф: я, кажется, помешал вам...

— Нет, вы не помешали, мистер Пинч,— возразил тот очень кротко, но не оглядываясь на него.— Садитесь, пожалуйста, мистер Пинч. И будьте так любезны закрыть дверь, мистер Пинч, прошу вас, если вам нетрудно.

— Да, сэр, конечно,— сказал Пинч, не закрывая, однако, дверей, а, наоборот, открывая их еще шире и боязливо кивая головой кому-то стоявшему за порогом.— Мистер Уэстлок, сэр, узнав, что вы уже вернулись домой...

— Мистер Пинч, мистер Пинч! — произнес Пексниф, поворачиваясь кругом вместе со стулом и глядя на Пинча с выражением глубочайшей скорби: — Я не ожидал этого с вашей стороны. Я не заслужил этого с вашей стороны!

— Но, право же, сэр...— настаивал Пинч.

— Чем меньше будет вами сказано, мистер Пинч,— остановил его Пексниф,— тем будет лучше. Я не жалуюсь ни на что. Не оправдывайтесь, пожалуйста.

— Нет, позвольте, сэр,— воскликнул Пинч с большим жаром,— прошу вас! Мистер Уэстлок, сэр, уезжая из этих мест навсегда, желает расстаться с вами по-дружески. У вас с мистером Уэстлоком, сэр, вышло на днях маленькое недоразумение; у вас и прежде бывали маленькие недоразумения...

— Маленькие недоразумения! — воскликнула Чарити.

— Маленькие недоразумения! — эхом отозвалась Мерси.

— Дорогие мои! — сказал мистер Пекснифф, все с тем же возвышенным смирением простирая руку к небесам.— Милые! — Выдержав торжественную паузу, он кротко кивнул мистеру Пинчу, как бы говоря: «Продолжайте»,— но мистер Пинч до того растерялся, не зная, что говорить дальше, и так беспомощно глядел на обеих девиц, что разговор, вероятно, и закончился бы на этом, если бы красивый юноша, едва достигший возмужалости, не переступил в эту минуту порога и не подхватил нить беседы на том самом месте, где она оборвалась.

— Послушайте, мистер Пекснифф! — сказал он, улыбаясь,— пусть между нами не останется никакого враждебного чувства, прошу вас. Я очень сожалею о том, что мы с вами не ладили, и сожалею как нельзя более, если я вас чем-нибудь оскорбил. Не поминайте меня лихом, сэр.

— Я ни одному человеку на свете не желаю зла,— кротко отвечал мистер Пекснифф.

— Я же вам говорил,— громким шепотом вмешался мистер Пинч,— я так и знал! Я это от него всегда слышал.

— Так вы подадите мне руку, сэр? — воскликнул Джон Уэстлок, делая вперед шага два и взглядом приглашая мистера Пинча внимательно следить за происходящим.

— Гм! — произнес мистер Пекснифф самым кротким голосом.

— Вы подадите мне руку, сэр?

— Нет, Джон,— отвечал мистер Пекснифф с почти неземным спокойствием,— нет, я не подам вам руки. Я простил вас. Я давно уже простил вас, еще в то время, когда вы корили меня и издевались надо мной. Я примирился

с вами во Христе, а это гораздо лучше, нежели подавать вам руку.

— Пинч,— сказал юноша, уже не скрывая своего презрения к бывшему наставнику,— что я вам говорил?

Бедняга Пинч, совершенно потерявшись, взглянул было на мистера Пекснифа, который с самого начала беседы не сводил с него глаз, но так и не найдя, что ответить, перевел взгляд на потолок.

— Что касается вашего прощения, мистер Пексниф,— сказал юноша,— то на таких условиях я его не приму. Я не желаю, чтобы меня прощали.

— Не желаете, Джон? — отвечал мистер Пексниф с улыбкой.— Но вам придется его принять. Вы не можете этому противиться. Прощение есть дар небес, оно есть самая возвышенная добродетель; оно вне вашей сферы и не подвластно вам, Джон. Я все-таки прощу вас. Вы не заставите меня помнить зло, которое вы мне причинили, Джон.

— Зло! — воскликнул тот со всем жаром юности.— Хорош голубчик! Зло! Я ему делал зло! Он и думать забыл про пятьсот фунтов, которые выманил у меня под всякими предлогами, и про семьдесят фунтов в год за стол и квартиру, когда за них много было бы и семнадцати! Нечего сказать, мученик!

— Деньги, Джон,— сказал мистер Пексниф,— это корень всякого зла. Прискорбно видеть, что вы уже поддались их пагубному влиянию. А я не хочу даже помнить, что они существуют на свете. Не хочу помнить и о поведении того заблудшего,— здесь мистер Пексниф, до сих пор изъяснявшийся со всей кротостью миротворца, возвысил голос, словно желая сказать: «Я тебя, негодяя, насквозь вижу»,— того заблудшего, который привел вас сюда, пытаясь нарушить (к счастью, тщетно) покой и душевный мир человека, которому не жаль было бы отдать за него последнюю каплю крови.

Тут голос мистера Пекснифа задрожал, в ответ послышались глухие рыдания его дочерей. Более того, в воздухе реяли и звучали два незримых голоса,— один восклицал: «Скотина!», другой: «Свинья!»

— Способность прощать,— произнес мистер Пексниф,— прощать вполне и до конца, бывает иногда совме-

стима и с сердечными ранами: быть может, если сердце ранено, тем больше в этом чести. Душа моя все еще содрогается и глубоко скорбит о неблагодарности этого человека, но я испытываю гордость и радость, говоря, что прощаю ему. Нет! Прошу этого человека,— возвысил голос мистер Пексниф, видя, что Пинч собирается заговорить,— прошу его не перебивать меня замечаниями; он премного меня обяжет, если не произнесет сейчас ни слова. Я не уверен, что у меня найдутся силы перенести это испытание. Через самое короткое время, надеюсь, я найду в себе достаточно твердости, чтобы продолжать беседу с ним так, как если бы ничего этого не произошло. Но не сейчас,— закончил мистер Пексниф, снова поворачиваясь к огню и махая рукой по направлению к дверям,— не сейчас!

— О! — воскликнул Джон Уэстлок со всем презрением и негодованием, какие могло выразить это односложное восклицание.— Всего наилучшего, барышни! Идем, Пинч, не стоит над этим задумываться. Я был прав, а вы ошибались. Это не так важно, в другой раз будете умнее.

С этими словами он похлопал по плечу своего приунывшего товарища, повернулся на каблуках и вышел в коридор, куда, нерешительно потоптавшись сначала в гостиной, последовал за ним и бедный мистер Пинч, с выражением глубочайшей подавленности и печали на лице. Затем они вдвоем подхватили сундук и отправились навстречу дилижансу.

Этот быстроходный экипаж проезжал каждый вечер мимо перекрестка на углу, куда оба они и направились теперь. Несколько минут они шли по улице молча, пока, наконец, молодой Уэстлок не расхохотался громко. Потом он замолчал, потом опять расхохотался, и так несколько раз подряд. Однако его спутник ни разу не отозвался тем же.

— Вот что я скажу вам, Пинч! — начал вдруг Уэстлок после новой продолжительной паузы.— В вас мало злости. Какое там мало! Ни капли нет!

— Ну что ж! — сказал Пинч со вздохом.— Не знаю, право. Это, может быть, даже лестно. Может, еще тем лучше, что во мне ее нет.

— Тем лучше! — передразнил его спутник.— Тем хуже, хотите вы сказать.

— И все-таки,— продолжал Пинч, занятый собственными мыслями и не слыша этих последних слов своего друга,— во мне, должно быть, немало того, что вы называете злостью; иначе как бы я мог до такой степени огорчить Пекснифа? Мне бы очень не хотелось его обижать — не смейтесь, пожалуйста! — не хотелось бы ни за какие деньги; а, видит бог, они мне крайне были бы нужны, Джон. Как он огорчился!

— *Он* огорчился! — возразил его друг.

— Разве вы не заметили, что у него навернулись слезы! — воскликнул Пинч.— Боже ты мой, Джон, ведь это далеко не пустяки — видеть человека до такой степени взволнованным и знать, что ты этому виной! А слышали вы, как он сказал, что ему не жаль было бы отдать за меня последнюю каплю крови?

— А вам нужна эта последняя капля? — довольно резко возразил Джон.— Вот если бы он не жалел для вас того, что вам действительно нужно,— тогда другое дело. А то ведь ему жаль для вас порядочной работы, жаль карманных денег, жаль обучить вас хоть чему-нибудь! Ему жаль для вас даже баранины в сообразной пропорции с картошкой и овощами!

— Боюсь,— сказал Пинч, снова вздыхая,— что я очень много ем! Не могу же я не видеть, что очень много ем. И вы это знаете, Джон.

— *Вы* много едите? — переспросил его спутник с не меньшим возмущением, чем прежде.— Откуда вам это может быть известно?

По-видимому, этот вопрос заключал в себе большую убедительную силу, так как мистер Пинч только повторил полушепотом, что питает сильное подозрение на этот счет и очень боится, что так оно и есть.

— Впрочем, так оно или не так,— прибавил он,— это к делу не относится, важно то, что мистер Пексниф считает меня неблагодарным. Джон, на мой взгляд, нет на свете преступления более вопиющего, чем неблагодарность, и если он упрекает меня в неблагодарности и думает, что я действительно заслужил такой упрек, для меня это — просто нож острый!

— А по-вашему, он этого не знает? — отвечал тот пренебрежительно.— Ну вот что, Пинч, не буду я с вами спорить, но только вы сами отдайте себе отчет, какие у вас резоны быть ему благодарным, хорошо? Сначала переменим руки, а то сундук тяжелый. Ну, вот так. А теперь говорите.

— Во-первых,— начал Пинч,— он принял меня в ученики и взял с меня гораздо меньше, чем просил сначала.

— Положим,— ответил его друг, ничуть не тронувшись таким великодушием.— А что во-вторых?

— Как что во-вторых? — воскликнул Пинч с некоторым даже вызовом.— Да все решительно! Моя бедная бабушка умерла счастливой, успокоенная мыслью, что поместила меня к такому превосходному человеку. Я вырос у него в доме, я теперь его доверенное лицо, его помощник, он назначил мне жалованье; а когда дела пойдут лучше — и мои перспективы тоже изменятся к лучшему. Вот это все и есть во-вторых, и многое другое тоже! А в качестве пролога и предисловия и к во-первых и к во-вторых, Джон, вы должны принять во внимание, что я родился для более простой и бедной жизни, что в его профессии я смыслю мало и таланта к ней у меня нет, да, в сущности, нет способностей и ни к чему другому, кроме разных пустяковых дел, которые никому не могут быть особенно нужны и полезны.

Он говорил все это с такой искренностью и с таким чувством, что его спутник невольно переменил тон и, усевшись на сундук (к этому времени они успели дойти до придорожного столба на перекрестке), жестом пригласил его сесть рядом и положил руку ему на плечо.

— Том Пинч,— сказал он,— я думаю, что лучше вас едва ли найдется человек на свете.

— Да нет, что вы,— ответил Том.— Если бы вы только знали Пексшифа так, как я его знаю, вы и про него сказали бы то же самое, и, право, не ошиблись бы.

— Я скажу о нем все, что вам будет угодно,— возразил тот,— и ничего не скажу ему в поношение.

— Так это ради меня, а не ради него,— сказал Том, грустно качая головой.

— Ради кого хотите, Том, лишь бы вам это пришлось по сердцу. Да! Замечательный человек! *Он* ведь не зацапал и не загреб в свою мошну последние трудовые гроши вашей бедной старухи бабки,— она, кажется, была экономкой, Том?

— Да,— сказал мистер Пинч, обняв свое костлявое колено и кивая головой,— она была экономкой в помещичьем доме.

— *Он* не зацапал и не загреб в свою мошну ее последние трудовые гроши, вскружив ей голову блестящей перспективой ваших будущих успехов и счастья, хотя отлично знал (лучше всякого другого!), что этому никогда не бывать! *Он* не вымогал у нее денег, играя на ее слабой струнке, зная, что она гордится вами, что она воспитала вас, что она мечтает сделать из вас джентльмена! Он тут ни при чем!

— Ну да,— сказал Том Пинч, заглядывая в глаза своему другу и как будто сомневаясь в значении его слов,— разумеется, он тут ни при чем.

— Вот и я то же говорю,— ответил юноша,— разумеется, нет. Он взял с вас нисколько не меньше, чем просил, потому что у старухи это было все, что она имела; и это было гораздо больше, чем он ожидал. Он тут ни при чем! Он держит вас в помощниках не потому, что вы ему полезны; не потому, что ваша удивительная вера в его мнимые добродетели служит ему хорошую службу во всех его проделках; не потому, что вашу честность приписывают ему; не потому, что слухи о ваших прогулках на досуге с книжками на древних и новых языках дошли даже до Солсбери и сделали из вашего наставника Пекснифа особу великой учености и чрезвычайного веса. Еще бы, Том,— разумеется, ему от вас мало пользы!

— Да, разумеется, немного,— отвечал Пинч, глядя на своего друга в совершенном смущении.— Какая может быть Пекснифу польза от меня! Что вы!

— А разве я не говорю,— возразил тот,— что смешно даже думать об этом?

— Это просто сумасшествие,— сказал Том.

— Сумасшествие! — подхватил молодой Уэстлок.— Еще бы не сумасшествие! Только сумасшедший подумает,

будто Пекснифу приятно слышать, что любитель, который играет по воскресеньям на органе и музицирует иногда в летние сумерки, это тот молодой человек, что служит у мистера Пекснифа,— а, Том? Только сумасшедший подумает, что такой человек пустится на мелкие хитрости — припишет себе те сотни пустяковых дел, которые выполняете вы (и которым, разумеется, он научил вас),— а, Том? Только сумасшедший подумает, что это вы создаете ему известность, и создаете гораздо более верным и дешевым способом, чем если бы его имя печаталось в афишах,— а, Том? Но с таким же успехом можно подумать и обратное: что он далеко не всегда с вами откровенен, что и жалованье он вам назначил не слишком большое и не слишком щедрое, и, как это ни дико и ни невероятно, но можно подумать,— говоря это, он при каждом слове постукивал Тома по груди,— что Пексниф строит свои расчеты на вашем характере, а по характеру вы робки и склонны доверять не себе, а другим, и более всего тому, кто меньше всех достоин доверия. Да это ли не сумасшествие, Том!

Мистер Пинч выслушал его слова с растерянным видом, который объяснялся отчасти их содержанием, отчасти же их стремительностью и горячностью. Когда же Джон замолчал, мистер Пинч глубоко вздохнул и с грустью заглянул другу в глаза, словно не в состоянии решить, что именно они выражают. Казалось, он надеялся, несмотря на темноту, найти ключ к истинному смыслу его слов и уже собирался было ему ответить, как вдруг почтовый рожок весело зазвучал в их ушах, положив конец разговору, по-видимому к великому облегчению младшего из собеседников, который живо вскочил с сундука и протянул руку мистеру Пинчу.

— Обе ваши руки, Том! Я буду писать вам из Лондона, не забывайте меня!

— Да,— сказал Том.— Да. Пишите, пожалуйста. Прощайте. Прощайте же. Как-то не верится, что вы уезжаете. Кажется, будто вы приехали только вчера. Прощайте, дорогой мой друг!

Джон Уэстлок ответил на его прощальные слова не менее сердечно, затем взобрался на империал. И вскачь понеслась карета по темной дороге; ярко блестели

фонари, и почтовый рожок будил эхо, далеко разносившееся вокруг.

— Ступай своей дорогой,— произнес Пинч вдогонку дилижансу.— Мне трудно поверить, что ты не живое существо, не какое-нибудь гигантское чудовище, которое время от времени наведывается в наши места, унося моих друзей в далекий мир. Сегодня же, как мне кажется, ты больше обычного торжествуешь и буйствуешь. Да и стоит трубить над такой добычей, потому что Джон чудесный малый, простая душа, и, насколько мне известно, у него только один недостаток: сам того не желая, он чудовищно несправедлив к Пекснифу.

## ГЛАВА III,

*где мы знакомимся с некоторыми другими лицами на тех же условиях, что и в предыдущей главе*

Выше уже упоминался — и не раз — некий дракон, с жалобным скрипом качавшийся перед дверью деревенской гостиницы. Это был облезлый и дряхлый дракон; от частых зимних бурь с дождем, снегом, изморозью и градом он стал из ярко-синего грязно-серым, самого тусклого оттенка. Однако он все висел да висел, с идиотским видом встав на дыбы, и день ото дня становился все тусклее и расплывчатее, так что, если глядеть на него с лица вывески, казалось — будто он просочился насквозь и проступил на обороте.

Это был весьма учтивый и обязательный дракон, то есть был в те далекие времена, когда он еще не расплылся окончательно, ибо даже теперь, едва держась на ногах, он подносил одну переднюю лапу к носу, будто говоря: «Не бойтесь, это я только так, шучу!», а другую простирал вперед любезным и гостеприимным жестом. Право, нельзя не согласиться, что в наши дни все драконово племя в целом сделало большой шаг вперед в отношении цивилизованности и смягчения нравов. Драконы уже не

требуют ежедневно по красавице на завтрак, с педантичностью тихого старого холостяка, привыкшего получать каждый день поутру горячую булку: в наше время они больше известны тем, что чуждаются прекрасного пола и не поощряют дамских визитов (особенно в субботу вечером) и уже не навязывают свое общество дамам, не спросясь наперед, придется ли оно по вкусу, как это за ними водилось в старину.

Эта похвала цивилизованным драконам отнюдь не заводит нас так далеко в дебри естествознания, как может показаться с первого взгляда, ибо сейчас мы должны заняться драконом, логово которого находилось по соседству с домом мистера Пекснифа, и, поскольку это благовоспитанное чудовище уже выведено на арену, ничто не мешает нам приступить к делу.

В течение многих лет дракон этот покачивался, громыхая и скрипя на ветру, перед окнами парадной спальни гостеприимного заведения, которому присвоено было его имя, но за все те годы, что он покачивался, громыхал и скрипел, никогда еще не бывало такой возни и суматохи в его грязноватых владеньях, как в тот вечер, который последовал за событиями, весьма подробно описанными в предыдущей главе; никогда еще не бывало такой беготни вверх и вниз по лестницам, такого множества огней, такого шушуканья, такого дыма и треска от дров, разгорающихся в отсыревшем камине; никогда так старательно не просушивались простыни, никогда так не пахло на весь дом раскаленными грелками, никогда не бывало таких хлопот по хозяйству; короче говоря, ничего подобного еще не доводилось видеть ни дракону, ни грифону, ни единорогу и никому из всего их племени с тех самых пор, как они начали интересоваться домашним хозяйством *.

Пожилой джентльмен и молодая леди, ехавшие вдвоем, без спутников, на почтовых, в облупленной старой карете и направлявшиеся неизвестно откуда и неизвестно куда, вдруг свернули с большой дороги и остановились перед «Синим Драконом». И теперь этот самый джентльмен, который неожиданно расхворался в дороге и только поэтому отважился заехать в такой трактир, мучился от ужасных колик и спазм, но, невзирая на свои

страдания, ни за что не позволял пригласить к себе доктора и не желал принимать никаких лекарств, кроме тех, что достала из дорожной аптечки молодая леди, да и вообще ничего не желал, а только доводил хозяйку до полной потери чувств, наотрез отказываясь решительно от всего, что бы она ему ни предлагала.

Из всех пятисот средств, какие могли облегчить его страдания и были предложены этой доброй женщиной менее чем за полчаса, он согласился только на одно. А именно — лечь в постель. И как раз из-за того, что ему стелили постель и прибирали в спальне, и поднялась вся возня в той комнате, перед окнами которой висел дракон.

Джентльмен был без сомнения очень болен и страдал невыносимо, хотя с виду это был очень крепкий и выносливый старик, с характером твердым как железо и голосом звучным как медь. Однако ни опасения за собственную жизнь, которые он выражал неоднократно, ни сильнейшие боли, терзавшие его, нимало не повлияли на его решение. Он так-таки не желал ни за кем посылать. Чем хуже больной себя чувствовал, тем тверже и непреклоннее становилась его решимость. Если пошлют за кем бы то ни было для оказания ему помощи, он ни минуты больше не останется в этом доме (так он и выразился), хотя бы ему пришлось уйти пешком и даже умереть на пороге.

Так как в деревне не было практикующего врача, а проживал только замухрышка-аптекарь, который торговал также бакалеей и мелочным товаром, то хозяйка на свой страх послала за ним в первую же минуту, как только стряслась беда. И само собой разумеется, именно потому, что он понадобился, его не оказалось дома. Он уехал куда-то за несколько миль, и его ожидали домой разве только поздно ночью, а потому хозяйка, которая к этому времени совершенно потеряла голову, поскорей отправила того же посыльного за мистером Пекснифом, который, как человек образованный, конечно сумеет распорядиться и взять на себя ответственность, а как человек добродетельный — сумеет преподать утешение страждущей душе. Что же постоялец нуждается в чьей-нибудь энергичной помощи по этой части, достаточно

явствовало из беспокойных восклицаний, которые то и дело у него вырывались, свидетельствуя о том, что он тревожится скорее о земном, чем о небесном.

Человек, посланный с этим секретным поручением, имел не больше успеха, чем в первый раз: мистера Пекснифа тоже не оказалось дома. Тем не менее больного уложили в постель и без мистера Пекснифа, и часа через два ему стало значительно лучше, так как приступы колик становились все реже. Мало-помалу они совсем прекратились, хотя временами больной чувствовал такую слабость, что это внушало не меньше опасений, чем самые припадки.

В один из таких светлых промежутков молодая девушка и хозяйка гостиницы сидели вдвоем перед камином в комнате больного, как вдруг старик, осторожно озираясь по сторонам, приподнялся в своем пуховом гнезде и со странным выражением скрытности и недоверия принялся писать, воспользовавшись пером и бумагой, которые были положены по его приказанию на стол рядом с кроватью.

Хозяйка «Синего Дракона» была по внешности именно такова, какова должна быть хозяйка гостиницы: полная, здоровая, добродушная, миловидная, с очень белым и румяным лицом, по веселому выражению которого сразу было видно, что она и сама с удовольствием прикладывается ко всем яствам и питиям в кладовой и погребе и что они идут ей на пользу. Она была вдова, но, уже давно перестав сохнуть по мужу, успела снова расцвести и до сих пор была в полном цвету. Она и сейчас цвела как роза: розы были на ее пышных юбках, розы на груди, розы на щеках, розы на чепце — да и на губах тоже розы, и притом такие, которые очень стоило сорвать. У нее и сейчас еще были живые черные глаза и черные как смоль волосы, и вообще она была еще очень недурна — аппетитная, полненькая и крепкая, как крыжовник,— и хоть, как говорится, не первой молодости, а все же вы могли бы поклясться, даже под присягой, даже перед любым судьей или мэром, что немного найдется на свете девушек (господь с ними со всеми!), которые вам так понравились бы и так пришлись по душе, как веселая хозяйка «Синего Дракона»!

Сидя перед огнем, прелестная вдовушка по временам с законной гордостью собственницы оглядывала комнату — просторное помещение, какие нередко встречаются в деревенских домах, с низким потолком и осевшим полом, покатым от дверей вглубь, и двумя ступеньками в таком совершенно неожиданном месте, что, входя в комнату, новый человек нырял головой вперед, как в бассейн, невзирая на все предупреждения. Это была не какая-нибудь легкомысленная и возмутительно светлая спальня из нынешних, где человеку, который мыслит и чувствует в какой-то мере последовательно, просто невозможно уснуть, до того она не соответствует своему назначению; наоборот, это было отличное, навевающее скуку и сон помещение, где каждый предмет напоминал вам, что вы пришли сюда именно затем, чтобы спать, и ничего другого от вас не ждут. Тут не было беспокойных отблесков огня, как в этих ваших модных спальнях, которые даже в самые темные ночи бьют в глаза своим французским лаком; мебель старинного красного дерева лишь время от времени подмигивала огню, как сонная кошка или собака,— только и всего. Самые размеры, формы и безнадежная неподвижность кровати, гардероба и даже стульев и столов навевали сон: они были явно апоплексического сложения и не прочь всхрапнуть. Со стен не таращились портреты, укоряя вас за леность, на пологе кровати не сидели круглоглазые, отвратительно бессонные и нестерпимо назойливые птицы. Плотные темные занавеси, глухие ставни и тяжелая груда одеял — все предназначалось для того, чтобы удерживать сон, не допуская извне света и движения. Даже старое чучело лисицы на шкафу утратило последние остатки зоркости, потому что единственный стеклянный глаз у него выпал, и оно дремало стоя.

Рассеянное внимание хозяйки «Синего Дракона» блуждало среди этих предметов, задерживаясь на каждом не больше чем на мгновение. Вскоре, однако, оно отвлеклось от мебели и даже от кровати с ее новым бременем ради юного создания, которое сидело рядом с нею, погрузившись в задумчивое молчание и не отрывая глаз от огня.

Девушка была еще очень молода, по-видимому не старше семнадцати лет, держалась застенчиво и робко,

однако самообладанием и умением скрывать свои чувства она была наделена в большей степени, чем женщины даже более солидного возраста. Это она только что доказала как нельзя лучше, ухаживая за больным джентльменом. Она была невысокого роста и худенькая, как и пристало в ее годы, но вся прелесть юности и девичества украшала ее милую головку. Ее лицо было очень бледно — отчасти, надо полагать, от недавнего волнения. По той же причине слегка растрепались темно-каштановые волосы и, выбившись из прически, небрежно падали на шею, за что ни один свидетель мужского пола не решился бы ее осудить.

Она была одета как девушка из общества, но крайне просто, и даже когда сидела неподвижно, как теперь, во всем ее облике было что-то милое, вполне совпадавшее со свойственной ей скромной и непритязательной манерой одеваться. Сначала она время от времени тревожно поглядывала на кровать, но потом, убедившись, что больной успокоился и занялся писанием, тихо передвинула свой стул ближе к огню — по-видимому, инстинктивно чувствуя, что свидетели ему нежелательны; отчасти же для того, чтобы незаметно для больного дать волю своим чувствам, которые она до того сдерживала.

Все это, и даже гораздо больше, румяная хозяйка «Синего Дракона» успела заметить и понять вполне, как только женщина умеет понять женщину. Наконец она сказала, нарочно понизив голос, чтобы не слышно было больному:

— Приходилось ли вам видеть у него такие приступы раньше, мисс? Часто это с ним бывает?

— Мне приходилось видеть его больным, но никогда еще ему не бывало так плохо, как сегодня.

— Какое счастье, мисс,— сказала хозяйка «Дракона»,— что все рецепты и лекарства были с вами!

— Они и предназначены для таких случаев. Мы никогда без них не путешествуем.

«Ах, вот как! — подумала хозяйка.— Значит, вы привыкли путешествовать, да еще путешествовать вместе».

Она до такой степени боялась, как бы эта мысль не отразилась у нее на лице, что, встретившись взглядом с

гостьей и будучи честной женщиной, несколько смутилась.

— Этот джентльмен... ваш дедушка...— начала она опять после короткой паузы,— он совсем не хочет никакой помощи, так что вы, должно быть, очень за него боитесь, мисс?

— Сегодня я сильно тревожилась... Он... он мне не дедушка.

— Я хотела сказать «отец»,— возразила хозяйка, чувствуя, что сделала досадный промах.

— И не отец,— отвечала молодая девушка.— И не дядя,— прибавила она с улыбкой, предупреждая всякие дальнейшие догадки.— Мы с ним не родня.

— Ах ты господи! — отвечала хозяйка, смешавшись еще больше прежнего.— Как же это я могла так ошибиться, когда знаю не хуже всякого другого, что больные всегда кажутся гораздо старше своих лет! Да еще зову вас «мисс»! — Дойдя до этих слов, она невольно взглянула на левую руку девушки и опять запнулась, так как обручального кольца на среднем пальце не было.

— Когда я сказала, что мы чужие друг другу,— отвечала та кротко и также не без смущения,— это значило — совсем чужие, а стало быть, и не муж и жена. Вы звали меня, Мартин?

— Звал вас? — откликнулся старик, быстро взглянув на нее и поспешно пряча под одеяло бумагу, на которой писал.— Нет, не звал.

Она уже сделала шага два к кровати, но сразу остановилась и замерла на месте.

— Нет, не звал,— повторил он с раздражением.— Почему вы спрашиваете? Если я вас звал, то какая была бы надобность в этом вопросе?

— По-моему, сударь, это скрипела вывеска за окном,— заметила хозяйка; предположение, кстати сказать, отнюдь не лестное для голоса старого джентльмена, как она и сама почувствовала в ту же минуту.

— Не важно, что именно это было, сударыня,— возразил старик,— только не я. Ну, что же вы там стали, Мэри, как будто у меня чума! Все меня боятся,— прибавил он, бессильно откидываясь на подушку,— все, даже она! Это проклятие какое-то! Чего же еще ждать!



— Нет, нет, что вы. Конечно, нет,— сказала добродушная хозяйка, вставая и подходя к нему.— Приободритесь, сударь. Это только болезненные фантазии.

— Какие там еще болезненные фантазии? — вскинулся на нее старик.— Что вы смыслите в фантазиях? Откуда вы слышали про фантазию? Все то же! Фантазии!

— Ну вот, смотрите, вы же мне пикнуть не даете,— отвечала хозяйка «Синего Дракона» с невозмутимым добродушием.— Господи ты мой боже, ничего плохого в этом слове нет, хоть оно и старое. И у здоровых людей тоже бывают свои причуды, да еще какие странные сплошь и рядом.

Как ни была безобидна ее речь, она подействовала на недоверчивого старика, словно масло на огонь. Он поднял голову с подушки, устремил на хозяйку темные глаза, сверкание которых усиливалось бледностью впалых щек, в свою очередь казавшихся еще бледнее от черной бархатной ермолки, и впился в ее лицо пристальным взглядом.

— А не рано ли вы начинаете! — произнес он таким тихим голосом, что, казалось, скорее думал вслух, чем обращался к ней.— Однако вы не теряете времени. Вы делаете то, что вам поручено, чтобы заслужить награду? Ну-с, так кто же подослал вас?

Хозяйка в изумлении посмотрела на ту, кого он называл «Мэри», и, не найдя ответа на ее поникшем лице, опять взглянула на старика. Сначала она даже испугалась, думая, что он повредился в рассудке; однако нетороплива сдержанность его речи и твердая решимость, которая сказывалась в выражении его резко очерченной физиономии, а главное в крепко сжатых губах, убедили ее в противном.

— Ну же,— продолжал старик,— отвечайте мне, кто он такой? Впрочем, раз мы находимся здесь, мне нетрудно догадаться, можете быть уверены.

— Мартин,— вмешалась молодая девушка, кладя руку ему на плечо,— подумайте, как недолго мы пробыли в этом доме, даже имя ваше тут неизвестно.

— Если только вы...— начал он. Ему, как видно, очень хотелось высказать подозрение, что она злоупотре-

била его доверием, открывшись хозяйке; но, вспомнив нежные заботы девушки или растрогавшись выражением ее лица, он сдержался и, улегшись поудобнее на кровати, замолчал.

— Ну, вот! — сказала миссис Льюпин, ибо только от ее имени «Синему Дракону» разрешалось удовлетворять нужды людей и животных.— Вот теперь вы успокоитесь, сударь. Вы просто позабыли на минуту, что вас окружают одни друзья.

— Ох,— простонал старик с раздражением, беспокойно водя рукой по одеялу,— к чему вы говорите мне о друзьях? Неужели я без вас не знаю, кто мне друзья и кто — враги?

— По крайней мере,— кротко настаивала миссис Льюпин,— эта молодая леди вам друг, я уверена.

— У нее нет оснований быть врагом,— отозвался старик голосом человека, окончательно потерявшего надежду и доверие к людям.— Думаю, что друг! Бог ее знает. Ну, вот что: дайте-ка мне уснуть. Свечу оставьте на месте.

Как только обе они отошли от кровати, старик вытащил бумагу, над которой трудился так долго, и сжег ее на свече дотла. Покончив с этим, он погасил свечу и, отвернувшись с тяжелым вздохом к стене, натянул одеяло на голову и затих.

Уничтожение бумаги, так странно не вязавшееся с затраченным на нее трудом и к тому же грозившее пожаром «Синему Дракону», привело миссис Льюпин в немалое замешательство. Но молодая девушка, не выказав ни удивления, ни любопытства или тревоги, шепнула ей на ухо, что побудет с больным еще немного, и, поблагодарив ее за внимание и помощь, просила не сидеть с нею, так как она привыкла быть одна и скоротает время за чтением.

Миссис Льюпин полностью, и даже с процентами, унаследовала ту законную долю любопытства, какая полагается прекрасному полу, и во всякое другое время, вероятно, было бы не так-то легко заставить ее понять этот намек. Но сейчас, растерявшись от изумления перед всеми этими загадками, она немедленно покинула комнату и отправилась, нигде не задерживаясь, вниз, в свою маленькую гостиную, где и уселась в кресло с неестествен-

ным для нее спокойствием. Как раз в эту критическую минуту послышались шаги в коридоре и мистер Пексниф, умильно улыбаясь, заглянул через невысокий прилавок на открывавшуюся глазам перспективу уюта и комфорта и прошептал:

— Добрый вечер, миссис Льюпин!

— Боже мой, сэр! — воскликнула она, вставая ему навстречу.— Как я рада, что вы пришли!

— И я тоже очень рад, что пришел,— отвечал мистер Пексниф,— если могу быть полезным. Я очень рад, что пришел. В чем дело, миссис Льюпин?

— Один джентльмен заболел в дороге и остановился у меня, он лежит наверху и очень плох,— отвечала сквозь слезы хозяйка.

— Один джентльмен заболел в дороге, лежит наверху и очень плох, вот как? — повторил мистер Пексниф.— Ну-ну!

В этом замечании не было решительно ничего такого, что можно было бы назвать оригинальным, нельзя также сказать, чтобы в нем содержалась какая-нибудь особенная мудрость, дотоле неизвестная человечеству, или чтобы оно открывало какой-нибудь неведомый источник утешения. Но мистер Пексниф смотрел так благосклонно и кивал головой так успокоительно, и во всей его обходительной манере сквозило такое чувство собственного превосходства, что и всякий на месте миссис Льюпин утешился бы от одного присутствия и звука голоса такого человека; и хотя бы он сказал всего-навсего, что «глагол должен согласоваться в роде и числе с существительным, любезный мой друг», или что «восемью восемь шестьдесят четыре, почтеннейший»,— все же слушатель был бы глубоко благодарен мистеру Пекснифу за его мудрость и человеколюбие.

— А сейчас как он себя чувствует? — спросил мистер Пексниф, стаскивая перчатки и грея руки перед огнем с таким сострадательным видом, как будто это были чьи-то чужие руки, а не его собственные.

— Ему легче, он успокоился,— отвечала миссис Льюпин.

— Ему легче, и он успокоился,— произнес мистер Пексниф.— Хорошо, оч-чень хорошо!

И тут опять, хотя это утверждение принадлежало миссис Льюпин, а не мистеру Пекснифу, мистер Пексниф присвоил его себе и утешил им миссис Льюпин. В устах миссис Льюпин это было не бог весть что, а в устах мистера Пекснифа — целое откровение. «Я замечаю,— казалось, говорил он,— а через мое посредство и все нравственное человечество в целом усматривает, что ему легче и он успокоился».

— А все-таки что-то, должно быть, тяготит его совесть,— сказала хозяйка, покачивая головой,— потому что разговор у него, сударь, до того чудной, что вы такого и не слыхивали. Видно, на душе у него очень нелегко и он нуждается в совете такого человека, который по добродетели своей мог бы ему помочь.

— Тогда,— заметил мистер Пексниф,— я самый подходящий для этого человек.— Он сказал это как нельзя более ясно, хотя не произнес ни слова. Он только покачал головой, как бы не доверяя собственным силам.

— Я опасаюсь, сэр,— продолжала хозяйка, сперва оглянувшись по сторонам, чтобы убедиться, не слышит ли их кто-нибудь, а потом опустив глаза в землю,— очень опасаюсь, сэр, что совесть его не совсем спокойна оттого, что он не родственник... и... и даже не муж... этой молоденькой леди...

— Миссис Льюпин! — произнес мистер Пексниф, воздевая руку кверху с выражением настолько близким к суровости, насколько это было совместимо с кротостью его характера.— Особе! Молодой особе?

— Очень молодой особе, сэр,— поправилась миссис Льюпин и присела, краснея,— извините меня, сэр, я сама не знаю, что говорю, так я нынче расстроена,— которая и сейчас при нем.

— Которая и сейчас при нем,— размышлял вслух мистер Пексниф, грея себе спину точно так же, как он грел себе руки: будто это была вдовья спина, или сиротская спина, или спина его врага, или вообще чья-то чужая спина, которую менее добродетельный человек преспокойно оставил бы зябнуть.— О боже мой, боже мой!

— А в то же время я должна сказать, и говорю по чистой совести,— заметила серьезно хозяйка,— что по виду и манерам она не внушает подозрений.

— Ваши подозрения, миссис Льюпин,— важно сказал мистер Пексниф,— вполне естественны.

Что касается этого замечания, то да будет здесь отмечено в укор врагам достойного человека, что они всегда утверждали не краснея, будто мистер Пексниф находил все дурное вполне естественным и, поступая таким образом, невольно разоблачал самого себя.

— Ваши подозрения, миссис Льюпин,— повторил он,— вполне естественны и, я не сомневаюсь, весьма основательны. Я зайду к этим вашим постояльцам.

С этими словами он снял пальто и, проведя пальцами по волосам, скромно заложил руку за жилет и слегка кивнул головой хозяйке, чтобы она шла вперед.

— Постучаться сначала? — спросила миссис Льюпин, останавливаясь у дверей спальни.

— Нет,— ответил мистер Пексниф,— войдите так, пожалуйста.

Они вошли на цыпочках,— вернее, хозяйка приняла эту предосторожность, ибо мистер Пексниф всегда ходил бесшумно. Пожилой джентльмен все еще спал, а его молоденькая спутница все еще сидела с книжкой перед камином.

— Боюсь,— сказал мистер Пексниф, останавливаясь в дверях и сообщая своей голове меланхолический наклон,— боюсь, что это выглядит не совсем естественно. Боюсь, миссис Льюпин, что тут какая-то хитрость.

Прошептав эти слова, он выступил вперед, заслоняя хозяйку; и в ту же минуту, услышав шаги, молодая девушка поднялась с места. Мистер Пексниф бросил быстрый взгляд на книгу, которую она держала в руках, и снова шепнул миссис Льюпин, с еще большим прискорбием:

— Да, сударыня, книга душеспасительная. Я заранее опасался этого. Я так и предчувствовал, что перед нами весьма хитрая особа!

— Кто этот джентльмен? — спросил предмет его добродетельных сомнений.

— Т-с-с! Не беспокойтесь, сударыня,— остановил мистер Пексниф хозяйку, которая собиралась что-то ответить.— Эта молодая...— он все же не решился произнести слово «особа» и заменил его другим,— эта молодая не-

знакомка, миссис Льюпин, извинит меня, если я отвечу кратко, что живу в этой деревне, быть может пользуюсь здесь некоторым влиянием, хотя и незаслуженно, и что я пришел сюда по вашему зову. Я пришел сюда, как обычно, из сочувствия к больным и страждущим.

С этими внушительными словами мистер Пекснифф приблизился к постели больного и, торжественно похлопав раза два по одеялу, как будто этим способом достигалось полное проникновение в сущность болезни, уселся в мягкое кресло, где стал дожидаться пробуждения пациента в некоторой задумчивости и со всеми удобствами. Какие бы возражения ни услышала миссис Льюпин от молодой девушки, дальше нее это не пошло, ибо мистеру Пекснифу ничего не было сказано и сам мистер Пекснифф больше никому не сказал ни слова.

Прошло целых полчаса, прежде чем старик пошевелился, но, наконец, он заворочался на кровати и, хотя еще не совсем проснулся, по некоторым признакам видно было, что сон его близок к концу. Одеяло постепенно сползло с его головы, и он повернулся в ту сторону, где сидел мистер Пекснифф. Через некоторое время его глаза открылись, и он лежал несколько секунд, сонно глядя на своего гостя, не отдавая себе ясного отчета в его присутствии.

В этом пробуждении не было ничего замечательного, если не считать впечатления, произведенного им на мистера Пекснифа: он наблюдал его, как наблюдают какое-нибудь чудо природы. Его руки все сильнее и сильнее сжимали подлокотники кресла, глаза округлились от изумления, рот раскрылся, волосы надо лбом встопорщились более обыкновенного, и, наконец, когда старик сел на кровати и уставился на Пекснифа, не менее его ошеломленный, все колебания этого добродетельного человека исчезли, и он громко воскликнул:

— Это Мартин Чезлвит!

И тут же замер в изумлении, настолько неподдельном, что старик, как ни был он расположен считать это изумление притворным, должен был убедиться в его искренности.

— Да, я Мартин Чезлвит,— ответил он ворчливо,— я Мартин Чезлвит, и желаю, чтобы вас повесили, а то

ходите тут и не даете мне спать. Он даже приснился мне, этот молодчик,— сказал он, опять ложась и отворачиваясь к стене,— а ведь я еще и знать не знал, что он сидит тут, рядом со мной.

— Любезный кузен...— произнес мистер Пексниф.

— Ну вот! С самых первых слов! — заворчал старик, беспокойно повертывая седую голову то вправо, то влево и вскидывая руки кверху.— С самых первых слов он уже навязывается мне в родню! Так я и знал, все они на один лад! Близкие или дальние, кровная родня или седьмая вода на киселе,— всегда одно и то же. Уф! А ведь стоит моим родственничкам слово сказать, и какой длинный развертывается список обманов, подвохов и интриг.

— Прошу вас, не судите обо мне опрометчиво, мистер Чезлвит,— сказал Пекснф тоном как нельзя более сострадательным и в то же время как нельзя более беспристрастным, ибо он уже успел прийти в чувство и вполне овладел собой и всеми своими добродетелями.— Вы пожалеете о своей опрометчивости, я уверен.

— Он уверен! — презрительно заметил Мартин.

— Да,— отвечал мистер Пекснф.— Именно, именно, мистер Чезлвит! И напрасно вы думаете, сэр, что я собираюсь вам льстить или заискивать перед вами,— я как нельзя более далек от этого. Вам нечего опасаться, сэр, что я повторю то неприятное слово, которое вас так задело. Да и к чему бы это? Разве я жду от вас чего-нибудь или мне что-нибудь нужно? Насколько мне известно, вы не обладаете ничем таким, что давало бы вам счастье и чему я мог бы позавидовать.

— Это, пожалуй, верно,— проворчал старик.

— Помимо этих соображений,— продолжал мистер Пекснф, зорко наблюдая за действием своих слов,— вам должно быть достаточно ясно, что, если бы я хотел втереться к вам в доверие, я бы прежде всего остерегся обращаться к вам как к родственнику, зная ваши взгляды и будучи убежден наперед, что хуже этого я не мог бы представить рекомендации.

Мартин не удостоил его ответом, но так ясно дал понять одним движением ноги под одеялом, что это резонно

и что спорить с этим он не намерен, как если бы выразил свое мнение в самой обстоятельной речи.

— Нет,— сказал мистер Пексниф, закладывая руку за жилет и словно готовясь предъявить свое сердце Мартину Чезлвиту по первому его требованию,— я пришел сюда с тем, чтобы предложить свои услуги незнакомцу. Я не предлагаю их вам, ибо знаю, что вы отнеслись бы ко мне с недоверием. Но пока вы прикованы к этой кровати, сэр, я смотрю на вас, как на постороннего человека, и интересуюсь вами совершенно так же, как интересовался бы посторонним при тех же обстоятельствах. Помимо же этого — вы мне безразличны, мистер Чезлвит, так же, как я вам.

Сказав это, мистер Пексниф откинулся на спинку кресла, сияя таким чистосердечным простодушием, что миссис Льюпин удивилась, почему вокруг его головы нет сияния, как у святых.

Последовало долгое молчание. Старик с возрастающим беспокойством ворочался на кровати с боку на бок. Миссис Льюпин и молодая девушка молча смотрели на одеяло. Мистер Пексниф рассеянно поигрывал лорнетом, закрыв глаза, чтобы лучше сосредоточиться.

— Что? — неожиданно произнес он, открывая глаза и устремляя их на больного.— Прошу прощения. Мне показалось, что вы заговорили. Миссис Льюпин,— продолжал он, неторопливо поднимаясь с места,— не думаю, чтобы я мог быть чем-нибудь здесь полезен. Джентльмену теперь легче, а другой такой сиделки, как вы, ему не найти. Что?

Это последнее восклицание относилось к старику, который опять переменил положение и теперь повернулся лицом к мистеру Пексннфу, в первый раз за все время разговора.

— Если вы желаете что-нибудь сказать мне, сэр, прежде чем я уйду,— продолжал мистер Пексниф после новой паузы,— можете располагать моим временем, но при условии, что вы будете разговаривать со мной как с посторонним,— только как с посторонним.

Если мистер Пексниф понял по какому-нибудь движению Мартина Чезлвита, что тот желает с ним говорить, то судить об этом он мог, лишь исходя из правил, за

которых обычно строится мелодрама и в силу которых старик фермер и его сын простак всегда понимают, что хочет сказать немая девушка, когда, выбежав к ним в сад, она повествует о своих злоключениях в совершенно невразумительной пантомиме. Однако Мартин Чезлвит не спрашивал ни о чем и только сделал своей молодой спутнице знак удалиться, после чего она немедленно вышла из комнаты вместе с хозяйкой, оставив его наедине с мистером Пекснифом. Некоторое время они молча глядели друг на друга, или скорее старик глядел на мистера Пекснифа, ибо мистер Пексниф опять закрыл глаза и, отвратясь от предметов материального мира, устремил духовный взор в недра собственной души. Что это занятие щедро вознаграждало его за труды и раскрывало перед ним завлекательную и восхитительную перспективу, было видно по выражению его лица.

— Вы желаете, чтобы я разговаривал с вами, как с совершенно посторонним лицом,— начал старик,— не так ли?

Мистер Пексниф легким пожатием плеч и едва заметным движением век дал понять, не открывая глаз, что он по-прежнему вынужден на этом настаивать.

— Пусть будет по-вашему,— сказал Мартин.— Сэр, я человек богатый. Не настолько богатый, как полагают некоторые, но все же состоятельный. Я не скряга, сэр, хотя, как я слышал, меня обвиняют и в этом, и многие этому верят. Я не вижу никакой радости в том, чтобы владеть деньгами. Дьявол, именуемый богатством, не может принести мне ничего, кроме несчастья.

Вряд ли было бы правильно, говоря о скромности манер мистера Пекснифа, сослаться на распространенную поговорку и сказать, что с виду он и воды не замутит или что во рту у него даже масло не тает. Наоборот, с виду казалось, что из мистера Пекснифа можно наделать уйму масла, сбивая млеко гуманности и благожелательности, бившее фонтаном из его сердца.

— Но именно по той же причине, почему я не коплю денег,— продолжал старик,— я и не швыряю их зря. Иные находят отраду в том, чтобы копить их, другие — в том, чтобы тратить; меня же это не прельщает. Кроме забот и огорчений, деньги мне ничего принести не могут.

Я ненавижу их. Они, словно призрак, маячат передо мной повсюду и отравляют всякое удовольствие общения с людьми.

Очевидно, в голове мистера Пекснифа мелькнула некая мысль, которая в ту же минуту отразилась и на его физиономии, иначе Мартин Чезлвит не закончил бы свою речь так отрывисто и так сурово:

— Вы, конечно, посоветовали бы мне, ради моего душевного спокойствия, расстаться с этим источником всех зол и передать деньги другому, кому они не были бы в тягость. Даже вы, быть может, согласились бы взять на себя бремя, которое гнетет меня так тяжко. Однако, любезный незнакомец и добрый христианин,— продолжал старик, и лицо его потемнело при этих словах,— в этом-то и заключается главное мое горе. Мне известно, что деньги немало приносят и добра; мне известно, что они не раз помогали торжествовать победу, в них справедливо видят магический ключ, отмыкающий врата, преграждающие путь к мирским почестям, радостям и счастью. Какому же человеку, какому достойному, честному, неподкупному существу могу я доверить подобный талисман теперь или после моей смерти? Знаете ли вы такое лицо? *Ваши* добродетели, конечно, неоценимы, но можете ли вы указать мне другое человеческое существо, которое безнаказанно выдержало бы общение со мной?

— Общение с вами, сэр? — эхом отозвался мистер Пексниф.

— Да,— повторил старик,— выдержало бы общение со мной — со мной! Вы слышали о несчастном, который, во исполнение собственной неразумной просьбы, превращал в золото все, к чему прикасался? Проклятие моей жизни в том, что исполнилось и мое безрассудное желание, и я осужден испытывать людей золотом и находить в них фальшь и пустоту.

Мистер Пексниф покачал головой и сказал:

— Вам так кажется.

— О нет, не кажется! — воскликнул старик.— Да и в ваших словах «вам так кажется» я слышу подлинный звон металла, из которого *вы* отлиты. Поймите, любезнейший,— добавил он еще более горько,— что мне, нынс

богатому человеку, пришлось на своем веку иметь дело со всякими людьми: с родней, чужими и знакомыми; с людьми, которым я доверял, будучи беден, и доверял справедливо, ибо тогда они еще не обманывали меня и не чернили друг друга. Но ни разу не довелось мне, одинокому богачу, столкнуться с человеком — нет, нет, ни разу,— в котором я не обнаружил бы скрытой гнили, до времени затаившейся и ждущей только случая, чтобы выйти наружу. Предательство, обман, низкие происки, ненависть к действительным или воображаемым соперникам, добивающимся моих милостей, корысть, ложь, низость и раболепство или,— и тут он зорко посмотрел в глаза своему родственнику,— притворная честность и независимость, что едва ли не хуже,— вот те прелести, какие вывело на чистую воду мое богатство. Брат против брата, сын против отца, друзья, попирающие ногами друзей,— вот общество, в котором я провел всю свою жизнь. Существуют рассказы,— не знаю, сказка они или быль,— о богачах, переодетых нищими, которые разыскивают добродетель и, найдя, вознаграждают ее. Глупцы и простаки, сколько труда они затратили понапрасну! Им следовало бы пускаться на такие поиски в своем собственном обличье. То-то была бы достойная цель для всяких низких и грабительских происков, для интриг и обольщений со стороны своры мошенников, которые с радостью стали бы плевать на гроб одураченной жертвы; тогда эти поиски добродетели окончились бы тем же, чем окончились мои; и искатели пришли бы к тому же, к чему пришел теперь я.

Мистер Пекснифф решительно не знал, что на это ответить; во время последовавшей короткой паузы он всеми силами старался показать, будто бы собирается изречь нечто достойное оракула, будучи твердо уверен, что старик прервет его на полуслове. И он не ошибся; Мартин Чезлвит, переведя дыхание, продолжал:

— Выслушайте меня до конца; посудите сами, какой выгоды можете вы добиться повторениями этого визита, и оставьте меня в покое. Я до такой степени развратил и испортил натуру каждого, кто соприкасался со мной, сея вокруг себя корыстные помыслы и надежды; я породил столько раздоров и свар, даже в пределах собственной

семьи, в мирном кругу родных; я, словно пылающий факел, столько раз воспламенял взрывчатые газы и пары домашней атмосферы, которые без меня остались бы непотревоженными,— что в конце концов я попросту бежал от всех, кто меня знает, и, скрываясь в безвестных убежищах, все последнее время жил жизнью изгнанника. Молодая девушка, которую вы только что видели... Ага! Ваши глаза загорелись, не успел я заговорить о ней! Вы уже ненавидите ее, вот как!

— Даю вам честное слово, сэр...— сказал мистер Пексниф, прикладывая руку к сердцу и опуская глаза.

— Я забыл,— воскликнул старик, глядя на мистера Пекснифа таким проницательным взором, что тот его почувствовал, хотя и не поднимал глаз и не мог его видеть,— прошу прощения. Я забыл, что вы мне совсем чужой. На минуту вы мне напомнили некоего Пекснифа, моего родственника. Как я уже говорил вам, молодая девушка, которую вы только что видели,— это сиротка, которую я взрастил и воспитал, или удочерил, если вам больше нравится это слово, с совершенно особой целью. Уже с год или более того она моя постоянная спутница, а с недавних пор и единственная. Она знает, что я дал торжественную клятву не оставлять ей по завещанию ни гроша; но пока я жив, она получает годовое содержание, не слишком щедрое и не слишком скаредное. Мы уговорились избегать ласковых и льстивых обращений, она всегда будет звать меня по имени, так же как и я ее. Пока я жив, она связана со мной узами выгоды, а так как моя смерть не сулит ей напрасных надежд,— напротив, она все потеряет,— то, быть может, она и станет меня оплакивать, хотя я об этом мало тревожусь. Это единственный друг, какого я могу иметь теперь или в будущем. Судите же сами, много ли выгод принесет вам час, проведенный со мною, и оставьте меня, чтобы не возвращаться больше.

С этими словами старик медленно опустился на подушки. Мистер Пексниф так же медленно поднялся с места и, предварительно кашлянув, начал:

— Мистер Чезлвит!

— Ну вот! Уходите! — прервал его старик.— Довольно с меня. Вы мне надоели.

— Меня это огорчает, сэр,— возразил мистер Пекснйф,— потому что я должен исполнить долг, от которого не отступлю, можете быть уверены. Да, сэр, не отступлю ни за что.

Как это ни прискорбно, но когда мистер Пекснйф стал перед кроватью, выпрямившись во весь рост и адресуясь к старику во всем величии добродетели, тот бросил яростный взгляд на подсвечник, словно испытывая сильнейшее желание запустить им в голову своего кузена. Однако он сдержался и показал гостю пальцем на дверь, словно давая понять, что именно туда ему следует выйти.

— Благодарю вас,— сказал мистер Пекснйф.— Я сам это знаю и сейчас уйду. Но сперва я просил бы, чтобы вы позволили мне высказаться; мало того, мистер Чеззлвит, вы должны — да, да, я повторяю! — должны меня выслушать. То, что вы сообщили мне сегодня, нисколько не удивило меня, сэр. Все это естественно, вполне естественно, и по большей части было известно мне и раньше. Не стану говорить,— продолжал мистер Пекснйф, извлекая носовой платок и мигая обоими глазами сразу, как бы против воли,— не стану говорить, что вы во мне ошиблись. Пока вы находитесь в таком настроении, я ни за что этого не скажу. Право, я хотел бы, чтобы у меня был другой характер и чтобы я мог подавить даже вот это невольное признание в слабости, которую я не в силах скрыть от вас, но которую считаю унизительной и которую вы по доброте своей простите мне. Если вам угодно,— прибавил мистер Пекснйф со слезой в голосе,— мы припишем это простуде, или понюшке табаку, или нюхательным солям, или луку — чему угодно, только не истинной причине.

Тут он помолчал с минуту и спрятал лицо в платок. Потом улыбнулся как бы через силу и, ухватившись одной рукой за столбик кровати, продолжал:

— Но, мистер Чеззлвит, хотя я готов забыть о себе, тем не менее должен сказать вам ради себя самого, ради своей репутации — да, сэр, у меня есть репутация, которую, как высшее достояние, я оставлю в наследство своим двум дочерям,— я должен сказать вам, не в своих интересах, но в интересах другого, что ваше поведение дурно,

противоестественно, чудовищно, что ему нет никакого оправдания. И еще скажу вам, сэр,— продолжал далее мистер Пексниф, паря на цыпочках между занавесями кровати и как бы воочию возносясь над корыстными расчетами мира, так что, казалось, не держись он крепко за столбик, почтенный джентльмен ракетою взвился бы к небесам,— скажу без страха и пристрастия, что вам не подобает забывать вашего внука, молодого Мартина, который имеет на вас все права самого близкого родственника. Это не годится, сэр,— повторил мистер Пексниф, качая головой.— Вы, может быть, думаете, что годится,— но это не годится. Вы, конечно, позаботитесь о молодом человеке: вы должны позаботиться о нем, и это вам известно. Я уверен,— продолжал мистер Пексниф, бросая взгляд на перо и чернила,— что вы и сами уже обо всем подумали. Благослови вас господь за это. За то, что вы поступили как должно. За то, что вы ненавидите меня. И спокойной вам ночи!

Свою речь мистер Пексниф закончил торжественным мановением правой руки, после чего снова заложил эту руку за борт жилета и удалился. По всему видно было, что он взволнован, но походка его оставалась твердой. Не чуждый человеческим слабостям, он находил опору в сознании, что совесть его чиста.

Мартин Чезлвит некоторое время лежал молча, и лицо его выражало немое изумление, которое пересиливало гнев; наконец он пробормотал едва слышно:

— Что это значит? Неужели вероломный мальчишка избрал своим орудием наглеца, который только что вышел отсюда? Почему же нет? Ведь он тоже в заговоре против меня, как и все прочие: оба они одного поля ягоды. Опять козни, опять козни! О эгоизм, эгоизм! Куда ни повернись, ничего кроме эгоизма!

Некоторое время он молчал и только перебирал пальцами сожженную бумагу на подсвечнике. Он перебирал ее в полном рассеянии, затем и мысли его обратились к этой бумаге.

— Еще одно завещание составлено и уничтожено,— пробормотал он,— ничего не решено, ничего не сделано, а ведь я... мог умереть сегодня! Вижу ясно, каким гнусным целям послужат в конце концов эти деньги,— вос-

клицал он, чуть ли не корчась в постели.— Всю мою жизнь я не знал ничего, кроме забот и горя из-за этих денег, да и после моей смерти они будут возбуждать только раздор и вражду. Так всегда бывает. Какие тяжбы произрастают повседневно на могилах богачей! Сколько сеется лжи, ненависти, раздоров среди близких родных, там, где нет места ничему, кроме любви. Горе нам, ибо за многое нам придется ответить! О эгоизм, эгоизм! Каждый за себя, а за меня — никто!

Вездесущий эгоизм! Но разве не было какой-то доли эгоизма и в этих размышлениях, да и во всей истории Мартина Чезлвита, по собственному его свидетельству?

## ГЛАВА IV,

### *из которой следует, что если в единении сила и родственные чувства приятно видеть, то род Чезлвитов надо считать самым сильным и самым приятным на свете*

Итак, сей достойнейший муж, мистер Пексниф, распрощавшись со своим кузеном в торжественных выражениях, запечатленных в предыдущей главе, отправился к себе домой, где и просидел целых три дня, не отваживаясь даже на прогулку за пределами собственного сада, из боязни, как бы его в это время не вызвали спешно к одру провинившегося и кающегося родственника, которого мистер Пексниф, по своему великому милосердию, решил простить без всяких оговорок и любить на каких угодно условиях. Но таковы были упрямство и озлобление сурового старика, что покаянного зова не последовало, и четвертый день ожидания застал мистера Пекснифа гораздо дальше от его благочестивой цели, чем первый.

В продолжение всего этого времени он забегал в «Дракон» в любой час дня и ночи и, платя добром за зло, справлялся о здоровье закоснелого упрямца, проявляя величайшее внимание к нему, так что миссис Льюпин, видя такую бескорыстную заботу, совсем расчувство-

валась,— ибо в разговорах с ней он неукоснительно подчеркивал, что сделал бы то же самое и для чужого человека, даже для нищего, если б тот находился в таком положении,— и пролила немало умиленных и восторженных слез.

Тем временем старый Мартин Чезлвит сидел у себя запершись, не видясь ни с кем, кроме своей юной спутницы да еще хозяйки «Синего Дракона», которую допускали к нему в иных случаях. Однако, как только она входила в комнату, Мартин притворялся, будто спит, и до тех пор не отвечал ни слова даже на самый простой вопрос, пока его не оставляли наедине с молодой девушкой, хотя мистеру Пекснифу, который усердно подслушивал у дверей, удалось-таки установить, что с ней старик бывал довольно разговорчив.

Вечером четвертого дня случилось так, что мистер Пексниф, войдя, по обыкновению, в общую залу «Дракона» и не застав там миссис Льюпин, прошел прямо наверх, намереваясь, в пылу христианского усердия, приложить ухо к замочной скважине и, душевного спокойствия ради, удостовериться в том, что жестокосердый пациент чувствует себя хорошо. Случилось так, что мистер Пексниф, тихонько войдя в темный коридор, куда сквозь упомянутую замочную скважину обычно падал косой луч света, к своему изумлению не увидел этого луча; а далее случилось так, что мистер Пексниф, найдя ощупью дорогу к дверям спальни и нагнувшись второпях, чтобы удостовериться путем личного осмотра, не велел ли старик, по своей подозрительности, заткнуть скважину изнутри,— так сильно столкнулся головой с кем-то другим, что не мог не испустить довольно громкого восклицания «ой!», исторгнутого у него чувством страха. И, наконец, случилось так, что мистер Пексниф немедленно вслед за этим был схвачен за шиворот неведомой силой, которая издавала смешанный запах мокрых зонтиков, пивной бочки, горячего грога и насквозь прокуренного трактирного помещения, и без всяких околичностей отведен вниз, в ту самую залу, откуда только что пришел и где он теперь очутился лицом к лицу с совершенно незнакомым ему джентльменом престранной наружности, который одной рукой держал мистера Пексница за шиворот, а другой,

свободной, изо всех сил растирал себе голову, глядя на него довольно свирепо.

По наружности незнакомца можно было отнести к тому разряду людей, который принято именовать «благородной бедностью», хотя, судя по одежде, нельзя было сказать, что он находится в стесненных обстоятельствах: наоборот, пальцы у него свободно вылезали из перчаток, а подошвы сапог существовали почти самостоятельно, отделившись от головок. Его невыразимые были голубовато-серого цвета — когда-то очень яркого, а теперь потускневшего от времени и грязи,— и так туго натянуты, в силу противодействия подтяжек и штрипок, что, казалось, готовы были в любую минуту лопнуть на коленках. Его синяя венгерка военного покроя, со шнурами, была застегнута на все пуговицы до самого подбородка, а шейный платок цветом и узором напоминал те салфетки, какими парикмахеры обычно подвязывают своих клиентов, совершая над ними профессиональное таинство. Его шляпа дошла до такого состояния, что весьма затруднительно было бы решить, какого цвета она была вначале — белая или черная. При всем том он носил усы — и даже очень щетинистые усы, не то чтобы мягкие и снисходительные, но довольно свирепого и надменного фасона, поистине дьявольские усы, а сверх того целую копну нечесаных волос. Он был очень грязен и очень нахален, очень дерзок и очень угодлив,— словом, это был человек, который мог бы добиться в жизни чего-то лучшего и несомненно заслуживал гораздо худшего.

— Вы подслушивали у дверей, негодяй вы этакий! — сказал незнакомец.

Но мистер Пексниф пренебрег им, как, вероятно, Георгий Победоносец пренебрег драконом, когда это чудовище находилось при последнем издыхании; не удостоив его ответом, он сказал:

— Где миссис Льюпин, хотел бы я знать? Неужели этой доброй женщине неизвестно, что здесь находится человек, который...

— Постойте! — воскликнул джентльмен.— Одну минуту! А если ей известно? Что тогда?

— Что тогда? — воскликнул мистер Пексниф.— Что тогда? Знаете ли вы, сэр, что я друг и родственник этого

больного джентльмена? Что я его защитник, его покровитель, его...

— Но все-таки не муж его племянницы,— прервал незнакомец,— это уж наверняка, потому что он побывал здесь раньше вас.

— То есть как это? — удивленно и негодующе вопросил мистер Пексниф.— Что вы мне рассказываете, сэр?

— Одну минутку! — воскликнул тот.— Может быть, вы кузен? Тот, что живет в здешних местах?

— Да, я кузен, который живет в здешних местах,— отвечал достойный человек.

— Ваша фамилия Пексниф? — спросил незнакомец.

— Да, это моя фамилия.

— Честь имею представиться и прошу вашего прощения, сэр,— сказал незнакомец, дотрагиваясь до шляпы, а затем ныряя под шейный платок в поисках воротничка, который, однако, ему не удалось извлечь на поверхность.— Вы видите перед собой человека, который тоже интересуется этим джентльменом, что наверху. Одну минуту.

Сказав это, он приставил палец к кончику своего римского носа, в знак того, что собирается посвятить мистера Пекснифа в какую-то тайну, потом, сняв шляпу, начал рыться в тулье, где было много измятых бумажонок и каких-то мелких клочков, похожих на сигарные обертки, и, наконец, выбрал среди них конверт от старого письма, порядком засаленный и насквозь пропахший табаком.

— Прочтите вот это,— сказал он, подавая конверт мистеру Пекснифу.

— Адресовано эсквайру Чиви Слайму,— возразил Пексниф.

— Я думаю, вы знаете эсквайра Чиви Слайма? — спросил незнакомец.

Мистер Пексниф пожал плечами, как бы говоря: «Я знаю, что есть такое лицо,— к моему величайшему прискорбию».

— Очень хорошо,— заметил джентльмен.— Это и привело меня сюда, это меня и интересует.— Тут он опять нырнул за воротничком и вытащил какую-то веревочку.

— Весьма огорчительно, друг мой,— сказал мистер Пексниф, покачивая головой и безмятежно улыбаясь,—

весьма огорчительно, но я вынужден сказать вам, что вы не то лицо, за которое себя выдаете. Я знаю мистера Слайма, друг мой, и, право, зря вы это, совсем ни к чему: самая лучшая политика — честность.

— Постойте! — воскликнул джентльмен, простирая вперед руку в таком узком и тесном рукаве, что она походила на суконную колбасу.— Одну минуту!

Он замолчал и, не теряя времени, расположился поудобнее перед огнем, став к нему спиной. Затем, забрав полы венгерки в левую руку и поглаживая усы большим и указательным пальцами правой руки, продолжал:

— Я понимаю вашу ошибку и не обижаюсь. Почему? Потому что она мне льстит. Вы полагаете, что я выдаю себя за Чиви Слайма. Сэр, если есть на свете человек, на которого лестно и почетно быть похожим всякому джентльмену, то этот человек мой друг Слайм. Потому что это самый великодушный, самый независимый, самый оригинальный, самый образованный, самый даровитый, самый возвышенный ум и самый шекспировский, если не мильтоновский, характер, какой мне известен, и в то же время — это самый распоследний неудачник, заслуг которого, к сожалению, не признают. Нет, сэр, я не настолько тщеславен, чтобы выдавать себя за Слайма. Ни одному человеку на свете я не уступлю ни в чем; но Слайм, признаюсь откровенно, человек много выше меня. И, следовательно, вы не правы.

— Я судил на основании этого,— сказал мистер Пекскниф, протягивая ему конверт.

— Не сомневаюсь,— отвечал джентльмен.— Видите ли, мистер Пекснйф, все дело здесь в особенностях, свойственных гению. У всякого истинного гения свои особенности. Сэр, особенность моего друга Слайма в том, что он всегда ко всему готов и пребывает в ожидании. Пребывать в ожидании — свойственно ему, сэр. Он и сейчас пребывает в ожидании, тут, за дверью. Вот это и есть,— заключил незнакомец, потрясая указательным пальцем у себя перед носом, расставляя ноги пошире и в то же время не сводя внимательного взгляда с мистера Пекснифа,— это и есть самая замечательная и любопытная черта характера мистера Слайма; и когда будут описывать жизнь мистера Слайма, биографу придется как сле-

дует развить эту черту, иначе общество будет разочаровано. Заметьте, общество будет разочаровано.

Мистер Пексниф кашлянул.

— Биограф Слайма, сэр, кто бы он ни был,— продолжал джентльмен,— должен обратиться ко мне или, если я удалюсь в этот самый, как его, откуда нет возврата, пускай адресуется к моим душеприказчикам за разрешением порыться в моих бумагах. Этой слабой рукой я сделал кое-какие записи о некоторых делах мистера Слайма — моего названого брата,— они изумят вас, сэр. Не далее как пятнадцатого числа прошлого месяца, не будучи в состоянии уплатить по маленькому счету, он употребил одно выражение, сэр, которое было бы вполне уместно в воззваниях Наполеона Бонапарта к французской армии.

— А скажите, пожалуйста,— спросил мистер Пексниф, видимо чувствуя себя не совсем ловко,— какие, смею спросить, у мистера Слайма могут быть здесь дела? Хотя, ради моей репутации, мне бы не следовало интересоваться его делами.

— Во-первых,— отвечал джентльмен,— разрешите мне сказать, что я против этого замечания и отвергаю его безусловно, отвергаю с негодованием, от лица моего друга Слайма. Во-вторых, позвольте представиться. Моя фамилия — Тигг. Имя Монтегю Тигг, быть может, знакомо вам, сэр, в связи со славными событиями испанской войны? *

Мистер Пексниф нерешительно покачал головой.

— Не беда,— сказал джентльмен.— Это был мой отец, и я ношу его имя. И потому я горд, горд, как Люцифер. Извините меня, одну минуту. Мне хотелось бы, чтобы мой друг Слайм присутствовал при окончании нашей беседы.

Сделав это заявление, он побежал к выходу и в самом скором времени вернулся с приятелем, несколько пониже его ростом, облаченным в синий камлотовый плащ на полинялой красной подкладке. От долгого ожидания на холоде его резкие черты сильно заострились и осунулись, растрепанные рыжие бакенбарды и нечесаные волосы взлохматились еще больше,— словом, неказистого и неряшливого в нем было гораздо больше, чем шекспировского или мильтоновского.

— Так вот,— сказал мистер Тигг, похлопывая своего симпатичного друга по плечу одной рукой, а другой призывая мистера Пекснифа к вниманию,— вы с ним родня, а родственники никогда не ладили между собой и не будут ладить, в чем я вижу мудрое предопределение и естественную необходимость, иначе все вращались бы только в семейном кругу и надоели бы друг другу до смерти. Будь вы с ним в ладах, мне бы это показалось адски подозрительным, но по тому, как дело обстоит между вами сейчас, я вижу, что оба вы чертовски разумные ребята и с вами можно столковаться о чем угодно.

Тут мистер Чиви Слайм, великие таланты которого, по-видимому, находились по ту сторону морали и заключались в подлости, украдкой толкнул своего приятеля в бок и что-то шепнул ему на ухо.

— Чив,— отвечал мистер Тигг тоном человека, не терпящего вмешательства в свои дела,— сейчас дойду и до этого. Или я сам за все отвечаю, или вовсе ни за что не берусь. Я совершенно уверен, что мистер Пексниф не откажется одолжить человеку ваших дарований такую ничтожную сумму, как пять шиллингов.— Однако, заметив по выражению лица мистера Пекснифа, что тот отнюдь не разделяет этой уверенности, мистер Тигг опять приставил палец к носу, специально и единственно для этого почтенного джентльмена, как бы приглашая его обратить внимание на то, что потребность в небольших займах есть еще одна из особенностей гения, присущих его другу Слайму, к которой он, Тигг, относится снисходительно, ибо такие слабости представляют значительный метафизический интерес; что же касается его личного ходатайства насчет небольшого аванса, то он только сообразжался с желаниями своего друга, нисколько не считаясь со своими собственными нуждами или выгодами.

— О Чив, Чив! — прибавил мистер Тигг по окончании этой пантомимы, взирая на своего названого брата с выражением глубокой задумчивости.— Клянусь жизнью, вы являете собою удивительный пример могучего духа, подверженного мелким слабостям. Если бы не было на свете телескопа, я из своих наблюдений над вами мог бы убедиться, что на солнце есть пятна! Странный это мир, кля-

нусь богом, и мы обречены в нем на жалкое прозябание, неизвестно для чего и почему, мистер Пекснифф! Ну, да что там! Как ни рассуждай, а мир не переделаешь! Вспомните слова Гамлета: сколько бы Геркулес ни размахивал палицей во всех направлениях, разве он в силах помешать котам поднимать отчаянную возню на крышах или собакам погибать от пули, когда они в знойную погоду бегают по улице без намордника? * Жизнь есть загадка, и разгадать ее дьявольски трудно, мистер Пекснифф. Мое мнение таково, что разгадки вовсе нет, как в знаменитой головоломке: «Почему человек в тюрьме похож на человека вне тюрьмы?» Клянусь душой и телом, все это в высшей степени странно, а впрочем, что толку разговаривать. Ха-ха!

Сделав такой утешительный вывод из своих мрачных раздумий, мистер Тигг воспрянул духом и продолжал с прежней живостью:

— Вот что я вам скажу. Я по характеру человек мягкосердечный, можно сказать — даже слишком, и не могу стоять и смотреть, как вы друг другу собираетесь перегрызть горло, когда этим все равно ничего не выгадаешь. Мистер Пекснифф, вы кузен нашего уважаемого завещателя, а мы его племянники, то есть я хочу сказать: Чив его племянник. Если разобраться по существу, то, может, вы более близкая родня, чем мы. Очень хорошо, не возражаю. Но вас к нему не допустят, и нас тоже. Даю вам самое что ни на есть честное слово, сэр, я смотрю в эту замочную скважину с девяти утра, с небольшими перерывами для отдыха, дожидаясь ответа на самую умеренную и благородную просьбу о небольшом временном пособии, какую только можно себе представить,— всего пятнадцать фунтов, сэр, и под мое поручительство. И все это время, сэр, он сидит взаперти с совершенно посторонней особой и оказывает ей неограниченное доверие. Так вот, я и утверждаю категорически, говоря о создавшемся положении, что это не годится, это не пройдет, этого терпеть нельзя, и совершенно невозможно позволить, чтобы это продолжалось.

— Каждый человек,— отвечал мистер Пекснифф,— имеет право, несомненное право (которого я, например, ни за что на свете не берусь оспаривать) руководиться

в своих поступках собственными симпатиями и антипатиями,— если, разумеется, в них нет ничего противного нравственности и религии. Возможно, я и сам чувствую, что мистер Чезлвит не относится ко мне, например,— предположим, что ко мне,— с той христианской любовью, какую нам следовало бы питать друг к другу; возможно, что я огорчен этим обстоятельством и скорблю о нем; однако я остерегусь сделать из этого вывод, будто холодность мистера Чезлвита к своим близким вообще лишена всяких оснований. Боже сохрани! Кроме того, мистер Тигг,— продолжал Пексниф еще более веско и внушительно,— как же можно воспрепятствовать мистеру Чезлвиту оказывать кое-кому то весьма странное и удивительное доверие, о котором вы говорите и существование которого я не могу отрицать, а могу только оплакивать в интересах самого мистера Чезлвита? Подумайте, любезный сэр,— заключил мистер Пексниф, взирая на него с грустью,— как же можно говорить так опрометчиво?

— Я с вами согласен,— отвечал Тигг,— вопрос действительно трудный.

— Без сомнения, трудный вопрос,— отвечал мистер Пексниф. Произнося эти слова, он несколько отодвинулся в сторону, как будто вспомнив вдруг о моральной пропасти, лежащей между ним и человеком, к которому он адресовался.— Без сомнения, трудный вопрос. И я отнюдь не уверен, что это такой вопрос, который имеет право обсуждать каждый. Всего хорошего!

— Вам, я думаю, неизвестно, что супруги Спотлтоу уже здесь? — сказал мистер Тигг.

— Что вы говорите, сэр? Какие Спотлтоу? — спросил мистер Пексниф, круто останавливаясь на полдороге к дверям.

— Мистер и миссис Спотлтоу,— возвестил эсквайр Чиви Слайм, в первый раз за все время заговорив громким голосом и очень недовольным тоном и переступая при этом с ноги на ногу.— Ведь Спотлтоу женился на моей двоюродной сестре, так? А миссис Спотлтоу — родная племянница Чезлвита, так? Была когда-то его любимицей. И вы еще спрашиваете, какие Спотлтоу.

— Нет, клянусь всем святым! — воскликнул мистер

Пексниф, возводя глаза к небу.— Это ужасно! Корыстолюбие этих людей просто отвратительно!

— И не один только Спотлтоу, Тигг,— продолжал Слайм, глядя на мистера Тигга, но обращая свою речь к мистеру Пекснифу.— Энтони Чезлвит с сыном тоже что-то пронюхали и явились сюда нынче после обеда. Я видел их только что, когда стоял за дверью, и пяти минут не прошло.

— О маммона, маммона! — возопил мистер Пексниф, ударяя себя по лбу.

— Стало быть,— продолжал Слайм, не обращая внимания на то, что его перебили,— и брат, и еще один племянник тоже здесь, к вашему сведению.

— Вот в этом-то и все дело, сэр,— сказал мистер Тигг,— в этом-то и существо вопроса, к которому я собирался приступить, когда мой друг Слайм в двух словах изложил всю суть. Мистер Пексниф, уж если ваш кузен (а наш дядюшка) появился так кстати, то надо принять какие-то меры, чтобы он опять не скрылся; и по возможности бороться с тем влиянием, которое на него оказывает эта самая интриганка и фаворитка. Все заинтересованные лица чувствуют это, сэр. Все родственники валом валят сюда, сэр. Настало такое время, когда всякая зависть, все личные интересы должны быть забыты, сэр, когда надо объединить наши силы против общего неприятеля. Вот разобьем неприятеля, тогда каждый и будет стоять сам за себя; каждая леди и каждый джентльмен, участвующие в игре, начнут запускать шары в ворота завещателя уже за свой собственный страх и риск, и никому в итоге это не принесет убытка. Подумайте хорошенько. Сейчас вы можете себя ничем не связывать. Нас вы застанете в «Семи Звездах и Полумесяце» во всякое время, мы всегда готовы принять любое подходящее предложение. Гм! Чив, дорогой мой, не сходите ли вы взглянуть, какая на дворе погода?

Мистер Слайм исчез, не теряя времени, и, как надо полагать, отправился пребывать в ожидании. Мистер Тигг, расставив ноги настолько широко, насколько это допускает самый сангвинический темперамент, кивнул мистеру Пекснифу и улыбнулся ему.

— Мы не должны,— сказал он,— относиться слишком

строго к маленьким странностям нашего друга Слайма. Вы видели, как он шептал мне на ухо?

Мистер Пексниф это видел.

— Вы слышали мой ответ, я думаю?

Мистер Пексниф слышал.

— Пять шиллингов, а? — проникновенно заметил мистер Тигг.— Ах, какой это необыкновенный человек! И какая скромность!

Мистер Пексниф промолчал.

— Пять шиллингов! — в раздумье продолжал мистер Тигг.— И с уплатой ровно через неделю, вот что всего приятней. Вы это слышали?

Мистер Пексниф этого не слыхал.

— Нет? Вы меня удивляете! — воскликнул Тигг.— Ведь это же и есть самое замечательное. Я не знаю случая, чтобы этот человек не сдержал своего слова. Вам, может быть, надо разменять деньги?

— Нет,— сказал мистер Пексниф,— благодарю вас. Не беспокойтесь.

— Ах, вот как,— возразил мистер Тигг.— А то, если нужно, я вам разменяю.— И он принялся что-то насвистывать; но не прошло и десяти секунд, как вдруг оборвал свист и, озабоченно взглянув на мистера Пекснифа, сказал:

— А может быть, вы не желаете одолжить Слайму пять шиллингов?

— Да, это не совсем желательно,— отвечал мистер Пексниф.

— Черт возьми! — воскликнул Тигг, решительно кивнув, как будто ему только сию минуту пришло в голову, что на это могут и не согласиться.— Очень возможно, что вы правы. Может быть, вы и *мне* не согласитесь одолжить пять шиллингов?

— Да, действительно, этого я тоже не могу,— сказал мистер Пексниф.

— Даже, может быть, и полукроны?

— Даже и полукроны.

— Ну, тогда мы дойдем,— продолжал мистер Тигг,— до смехотворно маленькой суммы, до полутора шиллингов. Ха-ха!

— И это тоже будет в равной мере нежелательно,— отвечал мистер Пексниф.

Выслушав этот ответ, мистер Тигг с чувством пожал мистеру Пекснифу обе руки, уверяя его весьма настойчиво, что он один из самых последовательных и замечательных людей, с какими ему, мистеру Тиггу, приходилось встречаться. Кроме того, он пояснил, что в характере его друга Слайма много таких черточек, которых он, как человек чести и строгих правил, отнюдь не одобряет,— но что он готов простить ему все эти мелкие недостатки, и даже гораздо больше, за то наслаждение, которое доставила ему сегодняшняя беседа с мистером Пекснифом; наслаждение неизмеримо более высокое и полноценное, чем то, какое мог бы принести успех переговоров о небольшом займе в пользу его друга Слайма. А теперь, когда он все это высказал, он позволит себе почтительно пожелать мистеру Пекснифу доброго вечера, закончил мистер Тигг. И с этими словами он ретировался, нимало не смущаясь своей неудачей, так что всякий мог бы позавидовать его самообладанию.

В тот вечер размышления мистера Пекснифа в общей зале «Дракона», а несколько позже и у себя дома, были весьма серьезного и важного характера, тем более что сведения насчет прибытия остальных родственников, полученные им от гг. Тигга и Слайма, подтвердились полностью по наведении справок. Ибо супруги Спотлтоу действительно прибыли прямо в «Дракон», где расположились на постой и немедленно выставили караул и где их появление произвело такую сенсацию, что миссис Льюпин, которая проникла в их намерения, не успели они и получаса пробыть у нее в доме, лично отправилась с докладом прямо к мистеру Пекснифу, по возможности стараясь сохранить тайну; правда, эта излишняя предосторожность и заставила ее упустить мистера Пекснифа, который входил в «Дракон» с улицы как раз в то время, когда миссис Льюпин выходила со двора. Кроме того, прибыл мистер Энтони Чезлвит со своим сыном Джонасом и устроился весьма экономно в «Семи Звездах и Полумесяце», самой захудалой здешней пивной; а со следующим дилижансом явилось на место действия такое множество любящих родственников (которые во все время пути ссорились друг с другом и внутри кареты и снаружи, доводя кучера до полного умопомрачения), что

менее чем через двадцать четыре часа немногочисленные трактирные номера были нарасхват и цена на частные помещения,— а их набралось во всей деревне целых четыре кровати и диван,— поднялась на сто процентов.

Словом, дошло до того, что чуть ли не все семейство Чезлвитов расположилось под стенами «Синего Дракона» и форменным образом обложило его, так что Мартин Чезлвит находился как бы в осаде. Однако он стойко сопротивлялся, отказываясь принимать какие бы то ни было письма, учтивые предложения и пакеты и упрямо отклоняя всякие переговоры с кем бы то ни было,— словом, не подавал решительно никаких надежд на капитуляцию. Тем временем вооруженные отряды родственников беспрестанно назначали друг другу встречи в разных местах поблизости; но так как никто не запомнит случая, чтобы хоть одна ветвь фамильного древа Чезлвитов была когда-нибудь согласна с другой, то тут пошла в ход такая грызня, закипели такие свары и стычки, и в прямом и в переносном смысле слова, посыпались такие колкости и любезности, началось такое задирание носов и фырканье, такое окончательное погребение всяких добрых чувств и выкапывание всяких старых счетов, какого никогда не знала эта тихая деревушка, с самых первых дней своего цивилизованного существования.

Наконец, придя в совершенное отчаяние и потеряв всякую надежду, некоторые из воителей, обращаясь друг к другу, стали пользоваться только самой умеренной бранью, и почти все держались в границах благопристойности, адресуясь к мистеру Пекснифу, из уважения к его незапятнанной репутации и влиятельному положению. Таким образом, упрямство Мартина Чезлвита мало-помалу заставило их найти общий язык и напоследок согласиться — если можно употребить такое слово, говоря о Чезлвитах,— что необходимо созвать генеральный совет и собраться всем в доме мистера Пекснифа такого-то числа ровно в полдень; на каковой совет и были немедленно и торжественно приглашены все члены семейства, оказавшиеся поблизости и доступные зову.

Если у мистера Пекснифа был когда-нибудь апостольский лик, то именно в этот достопамятный день. Если его безмятежная улыбка когда-либо провозглашала без слов:

«Я вестник мира!», то именно так надо было ее понимать теперь. Если когда-либо человек сочетал в себе всю кротость ягненка с немалой долей голубиных свойств, в то же время нисколько не напоминая крокодила и ни капельки не походя на змею, то этот человек был мистер Пексниф. Ах, а обе мисс Пексниф! О, безоблачное выражение лица мисс Черри, как бы говорившее: «Я знаю, что вся моя родня оскорбляла меня так, что о прощении не может быть и речи, но я все-таки прощаю им, потому что это мой долг!» Ах, а простодушная веселость мисс Мерри, такая очаровательная, невинная и младенческая, что если бы она пошла гулять без провожатых и дело было бы пораньше осенью, то малиновка, даже не спросясь, наверное, прикрыла бы ее листьями, приняв ее за невинное дитя, которое забрело в лес, надеясь, в простоте сердечной, набрать там ежевики. Какими словами можно изобразить семейство Пексниф в этот трудный час? Ах, никакими: ибо слова вращаются порой в дурном обществе, а Пекснифы — это сплошная добродетель.

А когда начали собираться гости! Вот это была картина. Когда мистер Пексниф, поднявшись со своего места во главе стола и взяв обеих дочерей под руки, встречал гостей в парадной гостиной и приглашал садиться, глаза его так увлажнились и физиономия так вспотела от избытка чувств, что весь он, можно сказать, размок до совершенной мягкости! А гости! Завистливые, жестокосердые, недоверчивые гости, которые замкнулись в себе, никого не слушали, ничему не желали верить и ни за что не позволили бы этим Пекснифам смягчить и усыпить их подозрительность, словно все они были из породы ежей и дикобразов!

Во-первых, тут был мистер Спотлтоу, до такой степени плешивый и с такими густыми бакенбардами, что казалось, будто ему удалось каким-то чудодейственным средством удержать свои волосы в самый миг выпадения и навсегда прикрепить их к щекам. Тут была миссис Спотлтоу, худощавая не по возрасту и весьма поэтически настроенная дама, имевшая привычку говорить своим близким приятельницам, что эти самые бакенбарды были «путеводной звездой ее жизни»; впрочем, теперь, от сильнейшей любви к дядюшке Чезлвиту и от испытан-

ного ею потрясения, после того как ее заподозрили в посягательстве на дядюшкино наследство, она не могла делать ничего другого, как только плакать или, по меньшей мере, стенать. Тут был и Энтони Чезлвит со своим сыном Джонасом; старик так хитрил и изворачивался всю свою жизнь, что лицо его стало острым, как бритва, и без труда прокладывало ему дорогу в переполненной народом гостиной, когда он протискивался бочком за самыми дальними стульями; а сын так хорошо воспользовался наставлениями и примером отца, что выглядел года на три старше его, когда оба они стояли рядом и потихоньку перешептывались, моргая красными глазами. Тут была и вдова покойного брата мистера Мартина Чезлвита, удивительно неприятная женщина с унылой физиономией, костлявой фигурой и мужским голосом, которая в силу всех этих качеств была, что называется, решительной особой: дай ей только волю, она утвердилась бы в правах на это звание и проявила бы себя в моральном смысле истинным Самсоном *, засадив своего деверя в сумасшедший дом, пока он не доказал бы, что находится в здравом уме и твердой памяти, полюбив ее от всей души. Рядом с ней сидели ее незамужние дочери, числом три, весьма церемонные и мужеподобные особы, до того заморившие себя узкими корсетами, что характеры, как и талии, сделались у них совершенно осиные, а тугая шнуровка сказывалась даже на кончиках носов. Тут был и молодой человек, внучатный племянник мистера Мартина Чезлвита, очень смуглый и очень волосатый, по-видимому родившийся на свет только для того, чтобы в зеркале отражалось нечто расплывчатое, так сказать первый набросок физиономии, не доведенный до конца. Тут была и незамужняя кузина, не замечательная ничем, кроме того, что была глуховата, жила совсем одна и вечно страдала зубной болью. Тут был и кузен Джордж Чезлвит, веселый холостяк, с претензиями на молодость, которая давно миновала, склонный к тучности и любивший покушать, до такой даже степени, что глаза у него были постоянно выпучены, словно от изумления, и настолько предрасположенный к угрям, что крапинки на шейном платке, горошки на жилете и даже блестящие брелоки, казалось, проступили на

нем, как сыпь, а не появились на свет безболезненно. И наконец — тут был мистер Чиви Слайм со своим приятелем Тиггом. Не мешает заметить, что хотя каждый из присутствующих терпеть не мог всех остальных за то, что он или она тоже принадлежали к семейству Чезлвитов, все они дружно ненавидели мистера Тигга только за то, что он был посторонний.

Таков был милый семейный кружок, собравшийся в парадной гостиной мистера Пекснифа с приятным намерением отделать на все корки любого, будь то мистер Пексниф или кто другой, если б он вздумал обратиться к ним с речью на ту или другую — неважно, какую именно — тему.

— Это хорошо,— сказал мистер Пексниф, поднимаясь с места и обводя присутствующих взглядом,— я рад. Мои дочери тоже рады. Мы благодарим вас за то, что вы собрались сюда. Мы признательны вам от всего сердца. Вы нам оказали большую честь, и поверьте,— невозможно себе представить, как он улыбнулся тут,— мы не скоро об этом забудем.

— Мне очень жаль прерывать вас, Пексниф,— заметил мистер Спотлтоу, весьма грозно топорща бакенбарды,— но вы слишком уж много на себя берете, сэр. Что это вы вообразили, кому это надо оказывать вам честь, сэр?

Все присутствующие отозвались на этот вопрос одобрительным ропотом.

— Если вы собираетесь продолжать в том же духе, как начали, сэр,— с большим жаром продолжал мистер Спотлтоу, сильно стуча по столу костяшками пальцев,— то, чем скорее вы это оставите и наше собрание разойдется, тем будет лучше. Мне небезызвестно ваше возмутительное желание считаться главой семьи, но я вам скажу, сэр...

Ах, вот как! Действительно! Он скажет! Он! Еще чего! Он, что ли, глава семьи! Все, начиная с решительной особы, в ту же минуту набросились на мистера Спотлтоу, который, после тщетной попытки добиться общего молчания и высказаться, был вынужден снова сесть на место; сложив руки на груди и сердито поматывая головой, он мимикой дал понять своей супруге, что этот

каналья Пексниф может продолжать свою речь,— он все равно сию минуту опять вмешается в разговор и тогда уж совершенно доконает мерзавца.

— Я ничуть не жалею,— сказал мистер Пексниф, продолжая свою речь,— я, право, ничуть не жалею, что произошел этот маленький инцидент. Полезно чувствовать, что все мы встречаемся здесь без маски. Полезно знать, что мы ничего не скрываем друг от друга, но каждый выступает свободно в своем собственном обличье.

Тут старшая дочь решительной особы, слегка привстав со стула и вся дрожа с головы до ног, скорее от сильного волнения, чем от робости, выразила общую надежду на то, что некоторые люди наконец-то выступят в своем собственном обличье, по крайней мере это была бы для них совершенная новость; но когда им (то есть некоторым людям) вздумается позлословить о родственниках, то пусть хорошенько смотрят, кто тут присутствует,— а иначе до этих самых родственников их слова могут дойти стороной и совсем некстати; что же касается красных носов (заметила она), то еще неизвестно, такой ли это позор иметь красный нос, поскольку люди не сами делают себе носы и не ответственны за выбор их цвета; хотя и на этот счет она еще очень сомневается,— правда ли, будто у одних носы краснее, чем у других; может, у других они еще красней. Так как это заявление сопровождалось визгливым хихиканьем двух сестер говорившей, то мисс Чарити Пексниф осведомилась весьма учтиво, уж не ей ли предназначены все эти вульгарные колкости, и, не получив никакого удовлетворительного ответа, кроме того, который содержится в пословице: «На воре и шапка горит», немедленно перешла на личности, а сестрица Мерси, вторя ее словам, залилась веселым смехом, гораздо более веселым, чем естественным. И так как совершенно невозможно, чтобы в каких бы то ни было разногласиях между двумя дамами не приняли деятельного участия все остальные дамы, находящиеся налицо, то и решительная особа, и обе ее дочери, и миссис Спотлтоу, и глухая кузина (которой полное незнакомство с сутью дела нисколько не помешало участвовать в диспуте) тут же ввязались в ссору.

Поскольку обе мисс Пексниф оказались достойными



противницами трех девиц Чезлвит и у всех этих пяти молодых особ, выражаясь современным языком, накопилось очень много паров, то пререкания затянулись бы надолго, если бы не высокая доблесть и отвага решительной особы, которая, по праву пользуясь репутацией сущей язвы, так обработала и измолотила миссис Спотлтоу, осыпав ее колкостями, что не прошло и двух минут с начала состязания, как бедняжка ударилась в слезы. Она проливала их в таком изобилии и так разволновала и разогорчила этим мистера Спотлтоу, что сей джентльмен сначала поднес крепко стиснутый кулак к самому носу мистера Пекснифа, словно от созерцания такого занимательного явления природы тот мог получить какое-нибудь удовольствие или пользу, затем предложил (по мотивам, неизвестным собранию) съездить по физиономии мистера Джорджа Чезлвита за ничтожную мзду в полшиллинга и, наконец, подхватил жену под руку и в негодовании удалился. Эта выходка отвлекла в сторону внимание сражающихся, чем и положила конец ссоре, которая возобновлялась еще несколько раз лишь в виде коротких и постепенно затухающих вспышек и угасла, наконец, при всеобщем молчании.

Именно в эту минуту мистер Пексниф и поднялся во второй раз со стула. Именно в эту минуту обе мисс Пексниф приняли такой вид, как будто бы трех мисс Чезлвит вовсе не было,— не то что здесь в комнате, а вообще на свете,— а три мисс Чезлвит равным образом перестали замечать существование обеих мисс Пексниф.

— Следует пожалеть,— сказал мистер Пексниф, вспоминая кулак мистера Спотлтоу и мысленно прощая обидчику,— что наш друг так поспешил удалиться, хотя даже и тут мы можем себя поздравить, поскольку это дает нам лишнюю уверенность, что он полагается на нас во всем, что бы мы ни сказали и ни сделали в его отсутствие. А ведь это весьма утешительно, не правда ли?

— Пексниф,— произнес Энтони, который с самого начала так и ел глазами все общество,— не будьте лицемером.

— Чем, уважаемый сэр? — переспросил мистер Пексниф.

— Лицемером.

— Чарити, душа моя,— сказал мистер Пексниф,— не забудь напомнить мне нынче, когда я буду брать свечу на ночь, чтобы я особенно усердно помолился за мистера Энтони Чезлвита, который был несправедлив ко мне.

Эти слова были сказаны самым кротким голосом и в сторону, как будто они предназначались только для ушей его старшей дочери. Затем он продолжал безмятежным тоном человека, который черпает бодрость в сознании, что совесть у него чиста:

— Так как все наши мысли сосредоточены на нашем любезном, но недобром родственнике, и так как он, можно сказать, недоступен для нас, то мы собрались сегодня поистине как бы на похороны, с той лишь разницей, к счастью, что в доме нет покойника.

Решительная особа отнюдь не была уверена, что это уж такое счастье. Напротив.

— Не смею спорить, сударыня! — отвечал мистер Пексниф.— Но как бы то ни было, мы все собрались; а собравшись, нам необходимо подумать: возможно ли какими-нибудь дозволительными средствами...

— Ну, вы не хуже моего знаете,— прервала его решительная особа,— что все средства дозволительны в таких случаях, не правда ли?

— Прекрасно, сударыня, прекрасно,— возможно ли *какими бы то ни было средствами* — я повторяю: *какими бы то ни было средствами* — открыть глаза нашему высокочтимому родственнику на заблуждение, в котором он находится? Возможно ли ознакомить его *какими бы то ни было средствами* с истинным характером и целями молодой особы, чьи странные, весьма странные отношения к нему,— тут мистер Пексниф понизил голос до внушительного шепота,— поистине бросают тень позора и стыда на всю нашу семью и которая, как мы знаем,— тут он снова повысил голос,— иначе для чего же она стала его спутницей? — таит в душе самые низкие замыслы, рассчитывая на его слабость и на его имущество.

По этому пункту все родственники, не соглашавшиеся ни в чем другом, выразили единодушное согласие. Боже правый, можно ли допустить, чтобы она покушалась на имущество дядюшки! Решительная особа высказалась за то, чтобы отравить ее; все три дочки за то, чтобы

посадить ее в исправительный дом на хлеб и на воду; кузина с зубной болью предлагала каторгу; обе мисс Пексниф советовали розги. И только один мистер Тигг, который, не смущаясь своей крайней обтрепанностью, чувствовал себя здесь в некотором роде на положении дамского кавалера, вследствие украшения на верхней губе и шнуров на венгерке, усомнился в дозволительности всех этих мер; но и он только подмигнул всем трем девицам Чезлвит с нескрываемым восхищением, в котором проскальзывала чуть заметная ирония, словно говоря: «Вы что-то уж слишком к ней придираетесь, милые мои барышни! Честное слово, слишком!»

— Так вот,— продолжал мистер Пексниф, скрестив оба указательных пальца особенным манером, одновременно и умиротворяющим и убедительным: — Я не хочу, с одной стороны, заходить слишком далеко, утверждая, будто она заслуживает, чтобы к ней применили все те меры, которые тут были предложены с такой настойчивостью и игривостью (одна из его витиеватых фраз); с другой стороны, я ни в коем случае не намерен подвергать сомнению наличие у меня обыкновенного здравого смысла, утверждая, будто она их не заслужила. Я хотел бы только заметить, что, по-моему, могут быть приняты некоторые практические меры, для того чтобы заставить нашего уважаемого... позволено ли мне будет сказать — высокочтимого родственника?..

— Нет! — зычным голосом прервала его решительная особа.

— В таком случае я этого не скажу,— заключил мистер Пексниф.— Вы совершенно правы, сударыня,— и я весьма ценю и благодарен вам за ваше тонкое возражение,— для того чтобы склонить нашего уважаемого родственника к тому, чтобы он прислушался к голосу природы... а не...

— Ну что же вы, папа! — крикнула Мерси.

— Гм, сказать по правде, душа моя,— произнес мистер Пексниф, посылая улыбку всем собравшимся родичам,— я никак не могу вспомнить это слово. У меня совершенно выскользнуло из памяти, как назывались легендарные животные (языческие, к сожалению), которые пели в воде.

Мистер Джордж Чезлвит подсказал:

— Лебеди.

— Нет,— сказал мистер Пексниф,— не лебеди, хотя что-то очень похожее на лебедей. Благодарю вас.

Племянник с неопределенной физиономией, который открыл рот по этому случаю в первый и последний раз, предположил:

— Не устрицы ли?

— Нет,— отвечал мистер Пексниф со свойственной ему учтивостью,— и не устрицы. Но во всяком случае что-то весьма близкое к устрицам. Прекрасная мысль, благодарю вас, уважаемый сэр, весьма и весьма. Впрочем, погодите! Сирены!.. Боже мой! Разумеется, сирены. Я хочу сказать, что, как мне кажется, можно было бы принять меры к тому, чтобы наш уважаемый родственник внял голосу природы, не поддаваясь на коварные обольщения сирен. Так вот, мы не должны упускать из виду, что у нашего уважаемого друга имеется внук, к которому он был до последнего времени весьма привязан и которого я очень желал бы видеть сегодня здесь, ибо питаю к нему глубокую и искреннюю симпатию. Достойный юноша, весьма достойный юноша! И вот, судите сами, не представляется ли здесь удобный случай устранить недоверие мистера Чезлвита по отношению к нам и доказать свое бескорыстие?..

— Если мистер Джордж Чезлвит собирается что-то сказать мне,— сурово прервала его решительная особа,— то пусть и скажет по-человечески, а не смотрит на меня и на моих дочерей так, будто съесть нас хочет.

— Ну, насчет того, чтобы смотреть, миссис Нэд,— сердито возразил мистер Джордж,— то я слыхивал, будто даже кошке не возбраняется глядеть на короля; поэтому я надеюсь, что имею некоторое право, будучи от рождения членом этой семьи, глядеть на особу, которая породнилась с нами только в браке. А насчет того, чтобы вас съесть, то смею вас уверить, как бы вы ни были ослеплены завистью и несбывшимися надеждами, что я не людоед, сударыня!

— Ну, это еще неизвестно! — отвечала решительная особа.

— Но, если б даже я был людоедом,— сказал мистер

Джордж Чезлвит, еще пуще распалясь от этого замечания,— то, наверно, сообразил бы, что дама, которая пережила трех мужей и так легко перенесла их утрату, должна отличаться необыкновенной жесткостью.

Решительная особа немедленно поднялась с места.

— А еще я прибавлю,— продолжал мистер Джордж, энергично кивая головой на каждом втором слоге,— не называя имен и, значит, не обижая никого, кроме тех, у кого совесть нечиста, что было бы гораздо приличнее и благопристойнее, если бы известные особы, которые всякими правдами и неправдами втерлись в нашу семью и которые еще до свадьбы кругом обошли некоторых ее членов, сыграв на их слабых струнах, а потом свели их в могилу тем, что пилили и пилили без конца, так что они даже рады были умереть,— чтобы эти особы остереглись разыгрывать коршунов по отношению к другим членам семьи, которые пока еще живы. По-моему, было бы во всех отношениях лучше, если бы эти особы сидели дома, довольствуясь тем, что у них уже имеется (на их счастье), вместо того чтобы пристраиваться к чужому семейному пирогу, запах которого они чуют, находясь даже за пятьдесят миль.

— Так я и знала! — воскликнула решительная особа; обведя всех взглядом и презрительно улыбнувшись, она направилась к дверям в сопровождении всех трех дочерей.— Да, так я и знала и с первой же минуты была совершенно к этому готова. Чего же еще можно было ожидать в такой обстановке!

— Пожалуйста, сударыня, не глядите на меня взглядом офицера на половинном жалованье,— вмешалась мисс Чарити,— я этого не потерплю.

Это был язвительный намек на пенсию, которую получала решительная особа во время своего второго вдовства, до вступления в третий брак. Намек не в бровь, а в глаз.

— Я утратила всякие права на благодарность нации, когда вошла в вашу семью, дерзкая вы девчонка,— отвечала миссис Нэд.— Вот теперь я действительно понимаю, чего тогда не понимала: что так мне и надо и что, унизившись до такой степени, я потеряла все права на Соединенное Королевство Великобритании и Ирландии. Ну,

мои милые, если вы совсем готовы и достаточно наслушались этих двух воспитанных барышень, я думаю, нам пора домой. Мистер Пексниф, вот уж действительно одолжили, право! Мы думали здесь немножко развлечься, но вы превзошли наши самые смелые ожидания, до того вы всех насмешили. Благодарю вас. Всего хорошего!

Этими прощальными словами решительная особа заставила все семейство Пекснифф замолчать, после чего она торжественно выплыла из гостиной, а затем и из дома, в сопровождении дочерей, которые все как одна вздернули носы и презрительно захихикали. Проходя по улице мимо окон гостиной, они все три в совершенстве изобразили беспредельный восторг и, нанеся этот последний удар, довершивший поражение всех в доме, окончательно скрылись из виду.

Но прежде чем мистер Пекснифф или кто-либо из оставшихся гостей успел сказать хоть слово, мимо окон мелькнула еще одна фигура, бежавшая с большой поспешностью в противоположном направлении; и немедленно вслед за этим в гостиную ворвался мистер Спотлтоу. Сравнительно с его теперешним разгоряченным состоянием, он уходил отсюда сущей ледяной статуей или снежным болваном. Его лысина источала столько елея на бакенбарды, что они были сплошь умащены и даже слиплись; все лицо горело огнем, руки и ноги дрожали; он пыхтел и задыхался.

— Уважаемый сэр! — воскликнул мистер Пекснифф.

— О да! — возразил тот.— О да, конечно! Уф-ф, разумеется! Уф-ф, вот именно! Вы слышали его? Вы слышали его? Вы слышали?

— Что случилось? — отозвалось несколько голосов.

— Уф-ф, ничего! — воскликнул Спотлтоу, с трудом переводя дыхание.— Ничего решительно! Ровно ничего! Спросите вот его! *Он* вам скажет!

— Я не понимаю нашего друга,— сказал мистер Пекснифф, оглядываясь по сторонам в совершенном изумлении.— Уверяю вас, его слова для меня решительно непостижимы.

— Непостижимы, сэр! — воскликнул тот.— Непостижимы! Уж не хотите ли вы сказать, сэр, что вам ничего не известно? Что не вы заманили нас сюда и не вы

составили заговор против нас? Неужели вы посмеете сказать, будто не знали, что мистер Чезлвит уезжает, сэр? Будто вы не знаете, что он уже уехал, сэр?

— Уехал! — раздался общий крик.

— Уехал! — отозвался мистер Спотлтоу.— Уехал, пока мы тут сидели. Уехал! И никто не знает, куда он уехал. Уф-ф, конечно нет! И никто не знал, что он уезжает. Уф-ф, разумеется нет! Хозяйка до последней минуты думала, будто они просто поехали прокатиться, она так-таки ничего не подозревала. Уф-ф, вот именно нет! Она ведь не раба вот этого, как его! Уф-ф, разумеется нет!

Присоединив к этим возгласам нечто вроде иронического мычания и еще раз обведя взором притихших гостей, раздраженный джентльмен снова умчался с той же невероятной прытью, и больше его не видели.

Напрасно мистер Пекснйф уверял своих родственников, что это неожиданное и несвоевременное бегство было для него таким же ударом и сюрпризом, как и для прочих членов семейства. Из всех нападок и обвинений, когда-либо достававшихся на долю ни в чем не повинного человека, ни одно не могло сравниться по силе и убежденности с теми, какие пришлось выслушать мистеру Пекснифу от каждого из родственников при расставании.

Мистер Тигг в роли оскорбленной добродетели являл собой поистине потрясающее зрелище, а глухая кузина, раздражение которой усугублялось тем, что хоть она и видела все происходящее, но понимала только, что разразилась катастрофа, соскребла с башмаков грязь о скребок, а потом наследила по всему крыльцу — в знак того, что отрясает прах от своих ног, перед тем как покинуть эту обитель лицемерия и коварства.

Короче говоря, мистеру Пекснифу оставалось утешаться только одним: а именно мыслью, что все эти родственники и друзья и раньше ненавидели его точно так же и что он, со своей стороны, подарил им не больше любви, чем мог отдать, не жалея, из того обширного запаса, которым располагал по этой части. Такой взгляд на собственные дела доставил ему большое утешение; и это обстоятельство не мешает здесь отметить, поскольку оно показывает, как легко утешиться добродетельному человеку, даже потерпев неудачу и разочарование.

## ГЛАВА V,

*содержащая полный отчет о водворении нового ученика в доме семейства Пекснифа. С описанием всех торжеств, состоявшихся по этому случаю, и великой радости мистера Пинча*

Лучший из архитекторов и землемеров держал лошадь, в которой его враги, уже не раз упоминавшиеся на этих страницах, усматривали фантастическое сходство с хозяином. Не по внешности, ибо это была костлявая, заезженная кляча, получавшая гораздо меньше корма, чем мистер Пексниф,— но по нравственным качествам; ибо, как говорили, она много обещала и ровно ничего не делала. Она, так сказать, все собиралась пуститься вскачь, и никак не могла собраться. Бывало, еле-еле тащась по дороге, она вдруг начинала так высоко вскидывать ногами и проявлять такую дьявольскую прыть, что прямо не верилось, как это она делает меньше четырнадцати миль в час; и этой иллюзии было тем труднее противиться, что сама кляча вполне удовлетворялась собственной скоростью, и даже очная ставка с самыми ретивыми скакунами ее не смущала. Это была такого рода скотина, которая внушала живейшую надежду людям, мало с ней знакомым, и приводила в отчаяние всех, кто ее хорошо знал. В каком отношении, при означенных чертах характера, она могла бы, по справедливости, уподобиться своему хозяину, было ведомо одним только клеветникам этого добродетельного человека. Однако в том и заключается горькая истина, а также печальный пример людского недоброжелательства, что клеветники все же сравнивали лошадь с хозяином.

На этой-то лошади и на крытом экипаже, в который ее обычно впрягали,— какое бы название ему ни присвоить, он больше смахивал на пузатую двуколку,— и сосредоточились все помыслы и надежды мистера Пинча в одно ясное, морозное утро, ибо в этом щегольском экипаже он собирался ехать в Солсбери, с тем чтобы встретить там нового ученика и торжественно препроводить его в дом мистера Пекснифа.

Благословенно будь твое простое сердце, Томас Пинч! С какой гордостью ты застегиваешь подбитое ветром пальто, которое у тебя столько лет, по грустному недоразумению, называется «теплым»; как твердо ты веруешь, когда с неизменяющей тебе веселостью заклинаешь конюха Сэма «немножко попридержать лошадь», что это четвероногое сорвется с места и понесется вскачь, если его отпустить! Кто мог бы воздержаться от улыбки — сочувственной, Томас Пинч, а не обидной,— ибо, видит бог, ты и без того достаточно обижен судьбой,— наблюдая, с каким оживлением, радуясь предстоящему празднику, ты ставишь, едва отхлебнув, на кухонный подоконник белую кружку (приготовленную тобой еще с вечера, чтобы не задерживаться с завтраком) и кладешь на сиденье рядом с собой черствую корку, намереваясь съесть ее по дороге, после того как твое радостное волнение немного утихнет! Кто не воскликнул бы, глядя, как ты выезжаешь из ворот, весь сияя, и с благодарностью и любовью кланяешься ночному колпаку Пекснифа, смутно виднеющемуся в окне его спальни: «Помоги тебе боже, Том, и пошли тебе тихий приют, где бы ты мог поселиться и жить мирно и где никакое горе не коснется тебя!»

Нет лучшей поры для прогулки по свежему воздуху пешком, верхом или в экипаже, чем ясное, морозное утро, когда надежда быстро гонит по жилам горячую кровь и щекочет все тело от головы до пяток! Как весело начинался бодрящий зимний день, который мог бы вогнать в краску томительное лето (особенно, когда оно прошло) и пристыдить весну за то, что она никогда не бывает по-настоящему холодна. Овечьи колокольчики позванивали так бодро в морозном воздухе, словно могли чувствовать на себе его живительное влияние; деревья вместо листьев и цветов роняли на землю иней, искрящийся на лету, как алмазная пыль,— Тому он казался ничуть не хуже бриллиантов. Из деревенских труб струей высоко-высоко поднимался дым,— словно земля, блистая белизной, уже не терпела ничего грязного и стремилась освободиться от темного дыма. Ледяная корка на ручье, еще недавно подернутом рябью, была так прозрачна и тонка, будто живая струя остановилась по собственной воле,— так казалось Тому в его радости,— чтобы полю-

боваться чудесным утром. А для того чтобы солнце не нарушило этого очарования слишком быстро, между ним и землей стлался тонкий туман, похожий на тот, что застилает луну летними вечерами,— на взгляд Тома, это был тот же самый туман,— и, казалось, молил солнце сжалиться и не гнать его прочь.

Том Пинч ехал не быстро, зато с таким чувством, будто летит во весь опор,— что было совершенно одно и то же: и все, что он видел по дороге, как бы сговорилось о том, чтобы развеселить его еще больше. Например, как только он завидел издалека шлагбаум — очень еще издалека! — жена сторожа, которая в это время пропускала какую-то подводу, бросилась опрометью обратно в сторожку сказать мужу, что едет мистер Пинч! И в самом деле, когда Том подъехал ближе, из домика гурьбой высыпали дети сторожа, крича тонкими голосами: «Мистер Пинч!» — к великой радости Тома. Сторож, неприветливый, в общем, человек, которого все порядком побаивались, вышел сам, чтобы получить с него дорожный сбор *, и угрюмо пожелал ему доброго утра; и все это вместе взятое, а также вид всего семейства, завтракавшего перед огнем за круглым столиком, придало черствой корке Тома Пинча совсем особенный вкус, как будто ее отрезали от волшебной ковриги.

Но этого еще мало. Не одни только женатые люди и дети здоровались с мистером Пинчем по дороге. Нет, нет. Блестящие глаза и белоснежные шейки тоже подбегали к окнам верхних этажей, заслышав стук его экипажа, и отвечали на его поклон не скупясь, полной мерой. Все они были веселы. Все улыбались. А самые шаловливые даже посылали Тому воздушные поцелуи, когда он оборачивался. Потому что кто же принимал всерьез мистера Пинча? Он, бедняжка, и мухи не обидит.

А утро между тем так прояснилось, и все кругом глядело так весело и живо, что солнце не вытерпело и, сказав: «Дай посмотрю, что там такое творится»,— Том нимало не сомневался, что оно так и сказало,— взошло над землей во всем своем лучезарном величии. Туман, слишком застенчивый и робкий для такого блестящего общества, в испуге бежал прочь; и когда он рассеялся, горы, холмы и отдаленные пастбища, полные степенных овец и

крикливых ворон, развернулись ярко, словно новые, нарочно созданные для этого случая. Стремясь приветствовать их появление, ручей уже не стоял неподвижно, а заторопился дальше, неся эту новость на мельницу, за три мили отсюда.

Мистер Пинч трясся по дороге, полный приятных мыслей и в самом радужном настроении, как вдруг увидел на тропинке впереди себя пешехода, который быстрой и легкой походкой шагал в том же направлении что и мистер Пинч, распевая на ходу, пожалуй, чересчур громким, но зато не лишенным музыкальности голосом. Это был малый лет двадцати пяти или шести, в куртке нараспашку, надетой так свободно и небрежно, что длинные концы красного шарфа то развевались по ветру у него за спиной, то перекидывались на грудь, а пучок красных зимних ягод в петлице его бархатной куртки был виден мистеру Пинчу не хуже, чем если бы эта куртка была надета задом наперед. Он пел не умолкая и с таким увлечением, что не слышал стука колес до тех пор, пока двуколка не поравнялась с ним; только тогда он оглянулся, и мистер Пинч увидел его чудаковатое лицо с очень веселыми голубыми глазами.

— Как, это вы, Марк? — останавливаясь, сказал мистер Пинч.— Вот уж не думал увидеть вас здесь! Ну-ну, удивительное дело!

Веселость Марка сразу пошла на убыль, и, дотронувшись до шляпы, он ответил, что направляется в Солсбери.

— Да каким же вы франтом! — сказал мистер Пинч, разглядывая его с большим удовольствием.— Право, не думал, что вы так любите щеголять, Марк!

— Спасибо, мистер Пинч! Это за мною водится, верно. Но я, знаете ли, не виноват. А насчет франтовства, сэр, так вот в этом-то, понимаете, и все дело.— И тут он стал особенно мрачен.

— В чем же? — спросил мистер Пинч.

— В этом-то и вся заковыка. Легко быть веселым и приветливым, когда хорошо одет. Чем же тут хвалиться? Вот если бы я был весь в лохмотьях, да веселый,— тогда это кое-что бы значило, мистер Пинч.

— Так вы для того и пели сейчас, чтобы не расстраиваться из-за хорошей одежды, да, Марк? — спросил Пинч.

— Вы всегда скажете, сударь, будто в книжку поглядели,— весело ухмыльнулся Марк.— Как раз угадали.

— Ну, Марк! — воскликнул мистер Пинч.— Такого чудака, как вы, я, право, первый раз в жизни вижу. Мне всегда так казалось, а теперь я окончательно убедился. Я тоже еду в Солсбери. Хотите, подвезу. Буду очень рад вашему обществу.

Молодой человек поблагодарил его и тут же принял предложение; садясь в экипаж, он пристроился на самом краешке сиденья, совсем на весу, давая этим понять, что он тут только по любезности мистера Пинча. Дорогой они продолжали разговаривать.

— А я, видя вас таким франтом,— сказал мистер Пинч,— чуть было не решил, что вы собираетесь жениться, Марк.

— Да что ж, сэр, я и сам об этом думал,— отвечал Марк.— Пожалуй, не так-то легко быть веселым, когда есть жена, да еще дети хворают корью, а она к тому же сварливая баба. Только боюсь и пробовать. Не знаю, что из этого получится.

— Может быть, вам никто особенно не нравится? — спросил Пинч.

— Особенно, пожалуй, что и нет, сударь.

— А знаете ли, Марк, с вашими взглядами вам именно следовало бы жениться на такой особе, чтобы не нравилась и была неприятного характера.

— Оно и следовало бы, сэр, только это уж значит хватить через край. Верно?

— Пожалуй, что верно,— сказал мистер Пинч. И оба они весело рассмеялись.

— Господь с вами, сэр,— сказал Марк.— Плохо же вы меня знаете, как я погляжу. Не думаю, чтобы нашелся, кроме меня, человек, который при случае мог бы показать, чего он стоит, в таких условиях, когда всякий другой был бы просто несчастен. Только вот случая нет. Я так думаю, никто даже и не узнает, на что я способен, разве только подвернется что-нибудь из ряда вон выходящее. А ничего такого не предвидится. Я ухожу из «Дракона», сэр!

— Уходите из «Дракона»! — воскликнул мистер Пинч, глядя на него в величайшем изумлении.— Да что вы,

Марк! Я просто опомниться не могу, так вы меня удивили!

— Да, сэр,— отвечал Марк, смотря прямо перед собой куда-то вдаль, как смотрят иной раз, глубоко задумавшись.— Что толку оставаться в «Драконе»? Для меня там вовсе не место. Когда я приехал из Лондона (я ведь родом из Кента) и поступил на эту должность, я думал, что в таком глухом углу скучища должна быть зверская, что другой такой дыры нигде в Англии не сыскать, а значит, и быть веселым здесь не очень легко; есть чем похвалиться. А какая же в «Драконе» скука, где там! Кегли, крикет, лапта, городки, хоровое пение, комические куплеты; зимой каждый божий вечер собирается у очага целая компания,— кто угодно будет веселым в «Драконе». Чем тут особенно хвалиться!

— Однако, если верить молве, Марк,— а я думаю, на этот раз ей можно верить, потому что и сам видел коечто,— сказал мистер Пинч,— без вас там не было бы такого веселья; вы первый всему зачинщик и коновод.

— Может, это и так, сэр,— ответил Марк.— Только это все же не утешение.

— Да!..— сказал мистер Пинч после короткого молчания, и его обыкновенно тихий голос прозвучал еще тише.— У меня все не идет из головы то, что вы сказали. Как же так? Что же теперь будет с миссис Льюпин?

Марк, глядя куда-то еще дальше и еще сосредоточеннее, ответил, что для нее, надо думать, это большой разницы не составит. Найдется сколько угодно бойких молодых парней, которые только рады будут занять его место. Он и сам знает таких не меньше десятка.

— Вполне возможно,— сказал мистер Пинч,— но я отнюдь не уверен, что миссис Льюпин им будет рада. А ведь я всегда думал, что вы с миссис Льюпин поженитесь, Марк, да и все так думали, насколько мне известно.

— Я ей ничего такого не говорил,— отвечал Марк, несколько смутившись,— что прямо походило бы на объяснение, и от нее ничего такого не слышал, да ведь как знать, мало ли что мне взбредет в голову на досуге, да и она мало ли что может ответить. Нет, сэр, это мне не подойдет.

— Не подойдет быть хозяином «Дракона», Марк? — воскликнул мистер Пинч.

— Нет, сэр, ни в коем случае не подойдет,— возразил Марк, отводя взгляд от горизонта и обращая его на своего спутника.— Это сущая погибель для такого человека, как я. Да я там преспокойно просижу всю жизнь, и никто никогда не узнает, на что я гожусь. Что тут особенного, если хозяин в «Драконе» веселый? Он не может не быть веселым, сколько ни старайся.

— А миссис Льюпин знает, что вы намерены ее покинуть? — осведомился мистер Пинч.

— Я еще ей не говорил, сэр, а сказать придется. Нынче утром я собираюсь поискать что-нибудь другое, более подходящее,— сказал он, кивая в сторону Солсбери.

— Что же именно? — спросил мистер Пинч.

— Я подумывал,— отвечал Марк,— насчет какой-нибудь должности вроде могильщика.

— Господь с вами, Марк! — воскликнул мистер Пинч.

— Отличная должность, сударь, в смысле сырости и червей,— сказал Марк, убежденно кивая головой,— и быть веселым при таком занятии — дело нелегкое; одно только меня пугает, что могильщики, как на грех, ребята веселые. Не знаете ли вы, сэр, отчего это так бывает?

— Нет,— сказал мистер Пинч,— право, не знаю. Никогда над этим не задумывался.

— На случай, ежели с этим ничего не выйдет,— продолжал Марк размышлять вслух,— имеются, знаете ли, и другие занятия. Гробовщика хотя бы. Невеселая штука. Тогда еще было бы чем похвалиться. Служить у закладчика в бедном квартале, пожалуй, тоже недурно. Тюремщик видит немало горя. Лакей у доктора тоже — у него на глазах постоянно людей морят. У судебного пристава тоже не очень-то веселая должность. Даже и сборщику налогов бывает тошно глядеть на чужое горе. Да мало ли еще что может подвернуться подходящее, думается мне.

Мистер Пинч был до того огорошен этими соображениями, что у него пропала всякая охота разговаривать, и он только время от времени ронял слово или два о чем-нибудь маловажном, искоса поглядывая на жизнерадостное лицо своего чудака приятеля, по-видимому совершенно не замечавшего, что за ним наблюдают. Так про-

должалось, пока они не доехали до поворота дороги, почти на окраине города; здесь Марк сказал, что хотел бы сойти, с позволения мистера Пинча.

— Господи помилуй, Марк,— сказал мистер Пинч, который во время своих наблюдений успел сделать открытие, что куртка у его спутника распахнута, словно среди лета, и под рубашку то и дело забирается ветер,— почему вы не носите жилета?

— А какая от него польза, сэр? — спросил Марк.

— Какая польза? — сказал мистер Пинч.— Такая, что грудь в тепле.

— Господь с вами, сэр,— воскликнул Марк,— не знаете вы меня, вот что! Зачем это мне нужно держать грудь в тепле? А если даже нужно, так что со мной может случиться без жилета? Ну, схвачу воспаление легких. Что ж, тем больше мне чести, ежели при воспалении легких я буду веселый.

Так как мистер Пинч не мог найти на это подходящего ответа и только тяжело вздыхал, округлив глаза и усиленно кивая головой, Марк поблагодарил за одолжение и соскочил на ходу, чтобы не затруднять мистера Пинча остановкой. И легко, словно танцуя, он зашагал по тропе, в куртке нараспашку, в развевающемся красном шарфе, изредка оборачиваясь, чтобы кивнуть мистеру Пинчу,— самый беззаботный, добродушный и чудаковатый малый из всех, какие водятся на свете. Его недавний спутник, сильно призадумавшись, продолжал свой путь в Солсбери.

Мистер Пинч подозревал в душе, что Солсбери одно из самых злачных мест во всей Англии, что это разгульный и развращенный город, а потому, поставив лошадь в конюшню и дав конюху понять, что зайдет часика через два взглянуть, вдоволь ли у нее овса, он отправился прогуляться по улицам со смутной и довольно приятной мыслью, что там должно быть полным-полно всяких тайн и соблазнов. Этому маленькому заблуждению способствовало то обстоятельство, что день был базарный и переулки вокруг площади были сплошь заставлены подводами, лошадьми, ослами, корзинками, тележками, завалены овощами, говядиной, требухой, пирогами, птицей и лотками с товаром всех возможных сортов и видов. Кроме того,

тут были молодые крестьяне и старые крестьяне — в блузах, коричневых куртках, серых куртках, красных вязаных шарфах, гамашах, шляпах невиданных фасонов, с арапниками и самодельными дубинками в руках,— которые стояли кучками, или громко разговаривали на трактирном крыльце, или получали и отсчитывали целые пачки засаленных бумажек из таких толстых бумажников, что вытаскивать их из кармана грозило апоплексией, а запихивать обратно — спазмами в желудке. Кроме того, тут были крестьянки в касторовых капорах и красных накидках, правившие лохматыми лошадками, чуждыми всяким земным страстям, которые преспокойно везли своих хозяек куда угодно, не интересуясь, зачем это нужно, и в случае надобности могли бы стоять как вкопанные в посудной лавке, с полным обеденным сервизом возле каждого копыта, а также великое множество собак, весьма заинтересованных состоянием рынка и сделками своих хозяев; и великое смешение двух языков — скотского и человеческого.

Мистер Пинч глядел на все выставленное для продажи с большим удовольствием, особенно же на лоток бродячего ножовщика, настолько его прельстивший, что им тут же был приобретен карманный ножичек с семью лезвиями, из которых ни одно не резало, как мистер Пинч обнаружил впоследствии. Осмотрев базарную площадь и удостоверившись, что фермеры сели обедать, он вернулся приглядеть за своей лошадью. Убедившись, что она наелась до отвала, Том опять вышел побродить по городу и полюбоваться окнами лавок; сначала он нагляделся досыта на банк и погадал, где именно под землей находятся те подвалы, в которых хранят золотую монету; потом обернулся и посмотрел вслед двум-трем повстречавшимся ему молодым людям, которые, как ему было известно, находились в обучении у городских нотариусов и внушали ему известное уважение, смешанное со страхом, так как вели весьма рассеянный образ жизни и были, что называется, развеселые ребята.

А самые лавки! Прежде всего тут были ювелирные лавки со всеми сокровищами мира, выставленными в окне; и такие большие серебряные часы висели там за каждым окном, что если ход у них и был неважный, то

уж, конечно, не оттого, что для механизма не хватило места. По правде сказать, они казались достаточно велики и достаточно безобразны, для того чтобы быть самыми образцовыми механизмами на свете. На взгляд мистера Пинча, однако, они были миниатюрнее швейцарских часов; а когда он увидел, что одни часы луковицей рекомендуются как часы с репетицией, наделенные редкой способностью вызванивать каждую четверть часа в кармане их счастливого обладателя, ему даже захотелось быть настолько богатым, чтобы купить их.

Но что были золото и серебро, драгоценности и хронометры по сравнению с книжными лавками, откуда шел приятный запах свежей печатной бумаги, мгновенно будя воспоминание о какой-нибудь новой грамматике, по которой он когда-то, давным-давно, учился в школе,— с надписью «Томас Пинч, пансион Гров-Хаус», выведенной отличнейшим почерком на заглавном листе! А этот легкий запах сафьяна, а все эти ряды томов, аккуратно выстроенные один над другим,— какую радость они сулили! В окне были выставлены, радуя глаз, последние лондонские издания, раскрытые на заглавном листе, а иногда даже и на первой странице первой главы, что подстрекало неосмотрительных людей начать чтение, а потом, из-за невозможности перевернуть страницу, ринуться внутрь и купить книжку! Тут были изящные фронтисписы и тонкие виньетки, указывающие, подобно придорожным столбам на окраинах больших городов, на богатую событиями жизнь, которая скрывается за ними; и книги с благообразными портретами авторов, имена которых, хорошо известные мистеру Пинчу, были освящены временем,— много он отдал бы за то, чтобы иметь их труды, в каком угодно издании, на узенькой полочке рядом со своей кроватью, в доме мистера Пекснифа. Просто мучение, а не лавка!

Была тут еще и другая лавка — не то, что первая, но все же завидное место,— где продавались детские книги и где бедняга Робинзон стоял одиноко во всем своем величии, с топором и собакой, в шапке из козьей шкуры и с ружьем, и спокойно взирал на Филиппа Кворла и целую орду подражателей вокруг него *, призывая мистера Пинча в свидетели, что только он один из всей этой толпы оставил на песках мальчишеской памяти свой след, кото-

рый бессильна стереть поступь новых поколений. Были тут и персидские сказки о летающих сундуках и волшебниках, многие годы корпящих в пещерах над колдовскими книгами; был тут и купец Абдалла, и страшная старуха, выскочившая из сундука в его спальне; и могучий талисман — несравненные сказки «Тысячи и одной ночи», с Касим-бабой, разделенным на четыре части и подвешенным к потолку разбойничьей пещеры, словно призрак головоломной арифметической задачи. Все эти бесценные сокровища, мгновенно завладев мистером Пинчем, так оттерли и отчистили волшебную лампу в его душе, что, когда он опять повернулся лицом к шумной улице, к его услугам был уже целый хоровод видений, и он снова радостно переживал счастливые дни допекснифовских времен.

Он проявил гораздо меньше интереса к лавкам аптекарей с большими, горящими, как жар, бутылями (весь блеск которых собран в пробках), где медицина не без приятности сочеталась с парфюмерией в изготовлении ароматических леденцов и девичьей кожи. Не выказал он также ни малейшего внимания (что и всегда за ним водилось) к портновским лавкам, где вывешены были новейшие фасоны столичных жилетов, которые, в силу какой-то странной метаморфозы, в лавке всегда выглядели отлично, а на заказчиках делались ни на что не похожи. Зато он остановился у театра прочесть афишу и поглядел на вход с известного рода трепетом, который отнюдь не уменьшился, когда из дверей вышел джентльмен с восковым лицом и длинными волосами и велел какому-то мальчишке сбегать к нему на квартиру за палашом. Услышав это, мистер Пинч замер в восхищении и простоял бы так до темноты, если бы колокол старинного собора не зазвонил к вечерне, после чего мистеру Пинчу удалось сдвинуться с места.

Помощник органиста дружил с Томасом Пинчем — и очень кстати, ибо он тоже был смирный малый и в школе тоже вел себя, как мальчик из хрестоматии, хотя даже озорники его любили. К счастью, случилось так (Том всегда говорил, что ему везет), что помощник органиста в этот день работал один и на пыльных хорах с ним не было никого, кроме Тома; так что Том помогал ему

переводить регистр, пока он играл, а потом, когда служба кончилась, и сам уселся за орган. Вечерело, и к желтому свету, струившемуся сквозь старинные окна на хорах, примешивался зловещий тускло-красный оттенок. Когда величавые аккорды огласили церковь, мистеру Пинчу почудилось, будто на них отзывается эхом каждая из древних гробниц, так же как и сокровенная глубина его собственного сердца. Мысли и надежды волной хлынули в его душу, когда стройные звуки музыки сотрясли воздух, и среди них, исполненные нового, важного смысла и значения, но в существе своем те же самые,— были все впечатления этого дня, вплоть до смутных воспоминаний детства. Чувство, которое пробуждали эти звуки в краткий миг своего существования, казалось, обнимало всю его жизнь, всю его душу; и по мере того как окружающая действительность из камня, стекла и дерева расплывалась и пропадала во мраке, эти видения становились все ярче, и Том совсем позабыл бы про нового ученика и ожидающего их обоих наставника и просидел бы так до полуночи, изливая благодарное сердце, если бы не дряхлый грубиян причетник, который непременно желал запереть церковь, не медля ни минуты. И мистер Пинч распрощался со своим приятелем, рассыпавшись в благодарностях, ощупью выбрался из темноты на уже освещенные фонарями улицы и поспешил в гостиницу обедать.

К этому времени все крестьяне разъехались по домам, и никого уже не было в усыпанной песком зале той гостиницы, где мистер Пинч на конюшне оставил свою лошадь; поэтому он попросил придвинуть маленький столик поближе к огню и с аппетитом принялся за отлично поджаренный бифштекс с дымящимся горячим картофелем, радуясь его превосходным качествам и вообще наслаждаясь жизнью вовсю. Рядом с тарелкой стояла кружка бесподобного вильтширского пива; и все это вместе взятое было так чудесно, что мистер Пинч вынужден был время от времени класть нож и вилку на скатерть и потирать руки в глубоком умилении. Когда подали сыр с сельдереем, мистер Пинч вытащил книжку из кармана и доканчивал обед уже не торопясь — то покушает немножко, то выпьет пива, то почитает, то остановится, раздумывая,

каким человеком окажется новый ученик. Покончив с этим предметом размышления, он погрузился в книжку, как вдруг дверь отворилась, и вошел посетитель, напустив при этом такого холода, что сначала положительно казалось, будто он совсем загасил огонь в камине.

— Очень сильный мороз нынче, сэр,— сказал новый гость, учтиво выражая признательность мистеру Пинчу, который отодвинулся со своим столиком, уступая место пришельцу.— Не беспокойтесь, пожалуйста, прошу вас.

Проявив этим должное внимание к удобствам мистера Пинча, он тем не менее пододвинул большое кожаное кресло к самому очагу, и уселся прямо перед огнем, поставив ноги на решетку.

— Ноги у меня совсем окоченели. Да, мороз жестокий!

— Вы, должно быть, долго пробыли на холоде? — спросил мистер Пинч.

— Весь день. Да еще на козлах кареты.

«Оттого-то он и в комнату напустил такого холода,— подумал мистер Пинч.— Бедняга! То-то, должно быть, промерз до костей».

Незнакомец тоже задумался и молча просидел минут пять или десять перед огнем. Наконец он встал с места и освободился от шали и пальто, очень теплого и толстого (по сравнению с верхней одеждой мистера Пинча). Однако, сняв пальто, он ничуть не стал разговорчивее, ибо снова уселся на то же место и в той же позе и, откинувшись на спинку стула, принялся грызть ногти. Он был молод — лет двадцати, быть может,— и красив, с быстрыми темными глазами и живостью взгляда и движений, которая заставила Тома еще сильнее почувствовать собственную мешковатость и сделаться еще застенчивее обыкновенного.

В комнате были часы, на которые незнакомец то и дело поглядывал. Том тоже нередко с ними справлялся, отчасти из сочувствия к своему молчаливому товарищу, отчасти же потому, что новый ученик должен был зайти за ним в половине седьмого, а стрелки уже подвигались к этому часу. Всякий раз как незнакомец перехватывал его взгляд, устремленный на часы, Томом овладевало какое-то замешательство, точно его поймали врасплох на

чем-то нехорошем; и молодой человек, быть может заметив его тревогу, сказал с улыбкой:

— Как видно, мы с вами оба очень интересуемся временем. Дело в том, что я должен встретиться тут с одним джентльменом.

— И я тоже,— сказал мистер Пинч.

— В половине седьмого,— сказал незнакомец.

— В половине седьмого,— сказал Том одновременно с ним, на что молодой человек ответил изумленным взглядом.

— Молодой джентльмен, которого я ожидаю,— робко заметил Том,— должен был спросить в половине седьмого человека по фамилии Пинч.

— Боже мой! — воскликнул тот, вскакивая с места.— А я еще все время загораживал от вас огонь! Я понятия не имел, что вы и есть мистер Пинч. Я тот самый мистер Мартин, которого вы ждете. Пожалуйста, извините меня. Придвигайтесь ближе, прошу вас!

— Благодарю,— сказал Том,— благодарю вас. Мне вовсе не холодно, а вы озябли; нам же еще предстоит ехать по морозу. Хотя, что ж, если вам угодно, я придвинусь. Я... я очень рад,— сказал Том с особенной, свойственной ему, открытой и смущенной улыбкой, которая так ясно говорила о том, что он сознает все свои недостатки и просит снисхождения у собеседника, как будто он попросту написал все это на бумаге,— очень рад, что вы и есть тот человек, которого я дожидался. Я только что подумал, минуту тому назад, как хорошо было бы, если бы он был похож на вас.

— Мне приятно это слышать,— отвечал Мартин, опять пожимая ему руку,— уверяю вас, я и сам думал, какое это было бы счастье, если бы мистер Пинч оказался похож на вас.

— Нет, в самом деле? — откликнулся Том, очень довольный.— Вы не шутите?

— Честное слово, нет,— отвечал его новый знакомец.— Мы с вами отлично сойдемся, я уж знаю; и это для меня немалое облегчение. Сказать вам по правде, я вовсе не такой человек, чтобы мог сходиться со всяким, и на этот счет у меня были большие сомнения. Но теперь они рассеялись. Будьте так любезны, позвоните, пожалуйста.

Мистер Пинч вскочил с места и бросился выполнять эту просьбу с величайшей живостью (звонок был над самой головой у Мартина, который продолжал греться), с улыбкой слушая то, что говорил его новый друг.

— Если вы любите пунш, позвольте мне заказать для нас по стакану самого горячего, чтобы как следует ознаменовать начало нашей дружбы. Сказать вам по секрету, мистер Пинч, я никогда еще не нуждался так в чем-нибудь горячительном и подкрепляющем; но, не зная, что вы за человек, я не хотел пить при вас, потому что первое впечатление, видите ли, очень много значит, и сглаживается оно не скоро.

Мистер Пинч позволил, и пунш был заказан. В свое время он появился на столе, горячий и крепкий. Выпив этот дымящийся напиток за здоровье друг друга, они пустились в откровенности.

— Я до некоторой степени родня Пекснифу, знаете ли,— сказал молодой человек.

— Неужели? — воскликнул мистер Пинч.

— Да. Мой дедушка приходится ему двоюродным братом, так что мы с ним какие-то там родственники, если вы в этом можете разобраться. Я не в состоянии.

— Значит, вас зовут Мартином? — в раздумье спросил мистер Пинч.— О!

— Разумеется, Мартином,— отвечал его друг.— А лучше бы «Мартин» была моя фамилия, потому что она у меня не из благозвучных и подписывать ее очень долго. Моя фамилия Чезлвит.

— Боже мой! — воскликнул мистер Пинч, невольно подскочив.

— Неужели вас удивляет, что у меня есть и имя и фамилия? — отозвался Мартин, поднося стакан к губам.— Это не редкость!

— Нет, нет,— сказал мистер Пинч,— ничуть. О боже мой, нисколько! — И припомнив, что мистер Пексниф под большим секретом просил его ничего не говорить о пожилом джентльмене с той же фамилией, остановившемся в «Драконе», напротив, воздержаться от всяких упоминаний о нем, он не нашел другого способа скрыть свое смущение, как тоже поднести стакан ко рту. Некоторое

время они глядели друг на друга поверх своих стаканов и, допив их до дна, поставили на стол.

— Я велел там, на конюшне, запрягать к этому времени,— сказал мистер Пинч, опять взглядывая на часы.— Поедемте?

— Если вам угодно,— отвечал тот.

— Может быть, вы хотите править? — спросил мистер Пинч и просиял, сознавая всю заманчивость такого предложения.— А то правьте, если вам хочется.

— Ну, это зависит от того, какая у вас лошадь,— отвечал Мартин, улыбаясь.— Потому что если она плохая, так я лучше засуну руки в карманы, чтобы они не мерзли.

Он, видимо, был очень доволен своей шуткой, и поэтому мистеру Пинчу она тоже весьма понравилась. Он тоже засмеялся и тогда уже совершенно уверился в том, что шутка отличная. После того он уплатил по счету, а мистер Чезлвит заплатил за пунш, и, закутавшись потеплее, каждый как мог, они направились к выходу, где движимость мистера Пекснифа загораживала им дорогу.

— Нет, спасибо, я не буду править,— сказал Мартин, усаживаясь на место седока.— Кстати, тут у меня сундучок. Нельзя ли его как-нибудь пристроить?

— О, разумеется! — сказал Том.— Дик, поставь его куда-нибудь.

Сундук был не таких удобных размеров, чтобы его можно было сунуть куда угодно, но конюх Дик все же впихнул его кое-как с помощью мистера Чезлвита. Сундук оказался под ногами у мистера Пинча, и мистер Чезлвит выразил опасение, не будет ли это беспокоить мистера Пинча, на что Том ответил: «Нисколько», хотя ему из-за этого приходилось сидеть в весьма неудобной позе, мешавшей ему видеть что-либо, кроме собственных колен. Однако плох тот ветер, который никому не приносит добра; справедливость этой пословицы подтвердилась в ту же минуту, ибо морозный ветер задувал со стороны Тома и сундук вместе с Томом образовал такую плотную стену между ветром и новым учеником, что Мартин был как нельзя лучше защищен от стужи, и это было весьма утешительно.

Вечер был ясный, и ярко светила луна. Все кругом серебрилось от инея и лунного света, и местность каза-


GOOD STABLING

лась необыкновенно красивой. Сначала, под влиянием мира и безмятежной тишины, разлитой в природе, молодые люди молчали; но спустя немного, от пунша и бодрящего воздуха, они сделались необыкновенно разговорчивы и болтали без умолку. Когда путники остановились на полдороге напоить лошадей, Мартин (который не жалел своих денег) заказал еще один стакан пунша, и они выпили его пополам, отчего сделались еще разговорчивее. Главным предметом беседы был, натурально, мистер Пексниф и его семейство; и Том со слезами на глазах говорил о своих благодетелях в таких выражениях, что каждый человек, не лишенный сердца, должен был преклониться перед семейством Пексниф, чего мистер Пексниф, разумеется, не мог предвидеть и о чем решительно не подозревал, иначе он (по свойственной ему скромности) никогда не послал бы мистера Пинча за новым учеником.

Так ехали они путем-дорогой, как говорится в сказках, пока, наконец, не замелькали перед ними огоньки селения и длинная тень колокольни не легла на кладбищенскую траву, словно на циферблат часов (увы, самых верных на свете!); покорная движению светил, отмечает она быстротекущие дни, недели и годы вечно меняющейся тенью на этой священной земле.

— Церковь недурна! — сказал Мартин, видя, что его спутник замедлил и без того медленный бег лошади, когда они подъехали ближе.

— Не правда ли? — отозвался Том с большой гордостью.— И орга̀н в ней небольшой, но очень приятного тона. Я на нем играю.

— Вот как! — сказал Мартин.— Сдается мне, что это едва ли стоит труда. И много вы получаете?

— Ничего ровно,— ответил Том.

— Ну, знаете ли,— возразил его друг,— вы, я вижу, большой чудак.

Последовало краткое молчание.

— Когда я сказал «ничего»,— заметил мистер Пинч жизнерадостно,— я ошибся и сказал совсем не то, что думал, потому что это доставляет мне огромное удовольствие и возможность провести несколько счастливых часов. А на днях мне выпало на долю и еще кое-что... только вы, я думаю, вряд ли захотите слушать.

— Нет, отчего же. А что это было?

— Я видел,— сказал Том, понизив голос,— самое милое и самое красивое лицо, какое вы только можете себе представить.

— Уж я-то могу представить себе такое лицо,— задумчиво сказал его друг,— если у меня не вовсе отшибло память.

— Она пришла в первый раз,— сказал Том, кладя руку ему на плечо,— очень рано утром, когда еще только светало; и когда я обернулся и увидел, что она стоит в дверях, то весь даже похолодел: мне сначала показалось, что это видение. Через минуту я, конечно, опомнился; и слава богу, что так скоро,— я даже не перестал играть.

— Почему же «слава богу»?

— Почему? Потому что она стояла и слушала. Я был в очках и видел ее из-за занавеса так же ясно, как вижу вас; это была красавица. Немного погодя она исчезла, а я играл, пока она могла слышать.

— Для чего же вы это делали?

— Неужели вы не понимаете? — отвечал Том.— Она могла подумать, что я ее не видал, и прийти еще раз.

— И она пришла?

— Конечно. И на следующее утро и вечером тоже; и все в такое время, когда никого не было, и всегда одна. Я вставал раньше и сидел в церкви дольше, чтобы двери были отперты, когда она придет, и орга́н играл, иначе она огорчилась бы. Несколько дней подряд она приходила в церковь и всегда оставалась послушать. Но теперь она уехала; и из самого невероятного на этом свете всего невероятнее, что я еще когда-нибудь увижу ее.

— Вы ничего больше о ней не знаете?

— Нет.

— И вы ни разу за ней не пошли?

— Зачем я стал бы ее беспокоить? — сказал Том Пинч.— Разве она нуждалась в моем обществе? Она приходила слушать орга́н, а не видеться со мной; так ради чего я спугнул бы ее с места, которое так ей полюбилось? Нет, господь ее храни! — воскликнул Том.— Чтобы доставить ей хоть минутную радость, я играл бы на орга́не каждый день до самой старости; я был бы счастлив, если бы, вспоминая о музыке, она вспоминала заодно и

беднягу музыканта, и вознагражден сверх меры, если бы она когда-нибудь подумала и обо мне, вспоминая о том, что ей так мило.

Новый ученик был, видимо, изумлен таким малодушием мистера Пинча и, вероятно, сказал бы ему об этом и, пожалуй, дал бы хороший совет, но в эту минуту они подкатили к дому мистера Пекснифа — к парадным дверям на этот раз, ибо случай был торжественный и радостный. Лошадь принял тот самый конюх, которого мистер Пинч заклинал нынче утром придержать ретивое животное; поручив его заботам это четвероногое и шепотом попросив мистера Чезлвита никогда, ни единым звуком не обмолвиться о том, что было ему доверено в избытке чувств, Томас Пинч повел нового ученика в дом, для безотлагательного представления мистеру Пекснифу.

Мистер Пексниф явно не ожидал их так скоро: он был окружен раскрытыми книгами и, держа во рту карандаш, а в руке компас, заглядывал то в один, то в другой том с великим множеством математических чертежей, таких замысловатых с виду, что их можно было принять за схематическое изображение фейерверка. Мисс Черри тоже не ожидала их и потому, сидя перед объемистой плетеной корзинкой, занималась шитьем каких-то немыслимых ночных колпаков для бедных. Мисс Мерри тоже не ожидала их и, примостившись на своей скамеечке, примеряла — о боже милостивый! — юбку большой кукле, которую она наряжала для соседской девочки; да, это была совсем взрослая барышня-кукла, и оттого мисс Мерри сконфузилась еще больше; а кукольную шляпку она прицепила на ленте к одному из своих белокурых локонов, чтобы эта шляпка не потерялась или кто-нибудь на нее не сел. Было бы весьма затруднительно и даже просто невозможно представить себе семейство, застигнутое врасплох до такой степени, как семейство Пексниф на этот раз.

— Боже мой! — воскликнул мистер Пексниф, поднимая глаза и меняя рассеянное выражение лица на радостно-удивленное.— Уже здесь! Мартин, дорогой мой мальчик, я в восторге, что вижу вас в моем скромном жилище.

С этим любезным приветствием мистер Пексниф принял Мартина в свои объятия и несколько раз похлопал

его по спине правой рукой, будто не в силах был выразить своих чувств словами.

— А вот и мои дочери, Мартин,— сказал он, придя в себя,— мои две единственные дочери, которых вы не видели — ах, эти прискорбные семейные разногласия! — с тех самых пор, как еще детьми играли вместе. Нет, нет, мои милые, к чему краснеть, когда вас застают за повседневными вашими занятиями? Мы готовились принять вас как гостя, Мартин, в нашей маленькой парадной гостиной,— говорил мистер Пексниф, улыбаясь,— но так мне больше нравится, так мне гораздо больше нравится!

Где бы ты ни находилась, о благословенная звезда невинности, как ты заблистала в небесах, когда каждая из мисс Пексниф, краснея, подала свою лилейную ручку Мартину! Как ты мерцала, словно трепеща от сочувствия, когда Мерси, вспомнив про кукольную шляпку в своих волосах, отвернулась, пряча прелестное личико, в то время как ее кроткая сестра сдернула шляпку и слегка ударила Мерси по круглому плечику в знак нежного сестринского упрека!

— А как,— спросил мистер Пексниф, оторвавшись от созерцания этого пассажа и дружески взяв мистера Пинча за локоть,— как встретил вас наш друг?

— Очень хорошо, сэр. Мы с ним в самых лучших отношениях, могу вас уверить.

— Старина Томас Пинч! — сказал мистер Пекснпф, глядя на него с нежной грустью.— Ах! Кажется, еще вчера Томас был мальчиком, только что со школьной скамьи. А ведь как подумаешь, сколько лет прошло с тех пор, как мы с Томасом Пинчем встретились на жизненном пути!

Мистер Пинч не мог вымолвить ни слова. Он был слишком взволнован. Он только пожал руку своему патрону в знак благодарности.

— И мы с Томасом Пинчем,— продолжал мистер Пекснпф растроганным голосом,— пойдем по этому пути и дальше как верные и неразлучные друзья! И если случится так, что одного из нас переедут на каком-нибудь шумном перекрестке жизни, другой, не теряя надежды, отвезет его в больницу и будет сидеть у его постели, помогая ему щедрой рукой. Ну, ну, ну! — добавил он более

жизнерадостным тоном, усиленно пожимая локоть мистера Пинча.— Довольно об этом! Мартин, дорогой мой друг, чтобы вы чувствовали себя как дома в этих стенах, позвольте показать вам, где мы живем! Пойдемте!

С этими словами он взял зажженную свечу и направился к выходу в сопровождении своего молодого родственника. В дверях он остановился:

— Вы составите нам компанию, Томас Пинч?

Да, Том с радостью пошел бы за ним даже на смерть и был бы счастлив отдать свою жизнь за такого человека!

— Вот здесь,— сказал мистер Пексниф, открывая дверь в гостиную напротив,— та маленькая парадная комната, о которой я вам говорил. Мои девочки гордятся ею, Мартин! Вот здесь,— открывая другую дверь,— тот маленький покой, где были задуманы все мои труды (ничтожные даже в самом лучшем случае). Мой портрет кисти Спиллера. Мой бюст работы Спокера. Считается, что он очень похож. Я и сам усматриваю большое сходство в нижней половине левой ноздри.

Мартин нашел, что бюст очень похож, но что ему не хватает одухотворенности. Мистер Пексниф ответил, что и другие находили в нем тот же недостаток. Замечательно, что и молодому его родственнику это тоже бросилось в глаза. Мистеру Пекснифу было очень отрадно убедиться, что у него такой верный глаз.

— Вы видите тут разные книги,— заметил мистер Пексниф, указывая рукой на стену,— относящиеся к нашей профессии. Я и сам пописываю иногда, хотя до сих пор еще не печатался. Осторожней, тут лестница.— Вот здесь,— открывая третью дверь,— моя спальня. Здесь я занимаюсь, когда мои семейные думают, что я лег отдохнуть. Иногда я этим непозволительно подрываю свое здоровье, и сам это знаю; но искусство долговечно, а жизнь коротка. Вы видите, даже и тут под рукой имеется все нужное, чтобы набросать начерно вдруг явившийся замысел.

В объяснение этих последних слов он указал на маленький круглый столик с лампой, вокруг которой были разложены всех форматов листы бумаги, кусок резинки и готовальня; все это на тот случай, если какой-нибудь

архитектурный замысел придет в голову мистеру Пекснифу среди ночи, чтобы он мог немедленно увековечить его, соскочив с кровати.

Мистер Пексниф открыл другую дверь на том же этаже и сразу же опять ее захлопнул, как будто это была комната Синей Бороды. Но прежде чем отойти от двери, он обернулся с улыбкой и сказал:

— А почему бы и нет?

Мартин не мог ответить на этот вопрос, так как не имел понятия в чем дело. Поэтому мистер Пексниф ответил сам, распахнув двери настежь:

— Комната моих дочерей. На наш взгляд, небогатое помещение на втором этаже, а для них — келья. Чистота. Воздух. Растения, как вы видите: гиацинты; книги тоже, ну и пернатые друзья (эти пернатые друзья, кстати сказать, состояли из единственного старого воробья, едва живого, а к тому же и бесхвостого, которого нарочно для этого случая принесли из кухни) — невинные забавы, пустяки, которые нравятся девушкам. Больше ничего. Тот, кто ищет здесь бездушной роскоши, будет искать напрасно.

С этими словами он повел их на третий этаж.

— Вот это,— сказал мистер Пексниф, распахивая настежь двери пресловутого помещения на третьем этаже,— та комната, где усовершенствовался, я полагаю, не один талант. В этой комнате у меня зародилась идея колокольни, которую я когда-нибудь подарю человечеству. Здесь мы работаем, дорогой Мартин. Не один архитектор вышел из этой комнаты: несколько человек, не правда ли, мистер Пинч?

Том подтвердил это; более того, он вполне этому верил.

— Вы видите здесь,— сказал мистер Пексниф, быстро водя свечой от одного чертежа к другому,— некоторые следы наших занятий. Солсберийский собор с севера. Он же с юга. С востока. С запада. С юго-востока. С северо-запада. Мост. Богадельня. Тюрьма. Церковь. Пороховой склад. Винный погреб. Портик. Беседка. Ледник. Планы, профили, вертикальные и поперечные разрезы — все что угодно. А вот это,— прибавил он, входя в большую комнату с четырьмя узенькими кроватями,— ваша комната;

и мистер Пинч тоже здесь живет, он человек очень тихий. Южная сторона, очаровательный вид; библиотечка мистера Пинча, как вы видите; очень уютно и удобно. Если бы вы захотели прибавить что-нибудь к этим удобствам, то вам стоит только спросить. Даже для посторонних в этом смысле нет никаких ограничений, а тем более для вас, дорогой Мартин.

Это было совершенно справедливо, и в подтверждение слов мистера Пекснифа следует сказать, что любому ученику разрешалось спрашивать все, что только душе угодно. Некоторые молодые люди целых пять лет подряд спрашивали одно и то же, и никто им не препятствовал.

— Домашние служители,— сказал мистер Пексниф,— спят наверху. Вот, кажется, и все.— После чего, снисходительно выслушивая похвалы, расточаемые его молодым другом всему устройству, мистер Пексниф опять повел его в гостиную.

Тут произошли большие перемены: приготовления к пиршеству в довольно широких размерах были почти закончены, и обе мисс Пексниф с самым радушным видом поджидали их возвращения. На столе стояли две бутылки смородинного вина, красного и белого; тарелка сандвичей (очень длинных и тощих); другая тарелка — с яблоками; третья — с морскими сухарями (как известно, сочное и лакомое яство); блюдечко с мелко нарезанными хрящеватыми апельсинами, посыпанными толченым сахаром, и совершенно окаменелый домашний пирог. У Тома Пинча просто дух захватило от таких грандиозных приготовлений, ибо, хотя новых учеников разочаровывали постепенно, особенно в отношении вина, которое разбавляли водой постепенно, так что иногда молодой джентльмен добрых две недели добирался до колодца,— это был все же настоящий пир; нечто вроде парадного банкета лорд-мэра в семейной обстановке; нечто такое, что запоминалось надолго и давало пищу для размышлений.

Мистер Пексниф пригласил общество оказать честь этому угощению, которое, помимо всех своих основных достоинств, имело еще одно дополнительное, а именно — находилось в строгом соответствии с погодой, холодной и сухой.

— Мартин,— сказал он,— сядет между вами обеими, дорогие мои, а мистер Пинч рядом со мной. Выпьем за нашего нового друга, чтобы нам жилось счастливо всем вместе! Мартин, дорогой мой друг, за ваше здоровье! Мистер Пинч, если вы будете церемониться с бутылкой, мы с вами поссоримся.

И, стараясь не морщиться от кислого вина, из уважения к чувствам остальных, мистер Пексниф оказал честь угощению и выпил тост, предложенный им самим.

— Вот вещь,— сказал он, намекая не на вино, а на общество,— которая вознаграждает человека за всякие разочарования и неприятности. Давайте же веселиться! — Тут он закусил вино морским сухарем.— Достойно сожаления то сердце, которое никогда не радуется, но наши сердца не таковы. Нет!

Беседуя таким образом, он развлекал и угощал все общество, в то время как мистер Пинч — быть может, желая увериться, что это действительно праздник, а не пленительный сон,— ел все подряд, в особенности налегая на тощие сандвичи. И вино он тоже пил беспрепятственно; мало того, памятуя слова мистера Пекснифа, он так усердно атаковал бутылку, что каждый раз как Том наливал себе в стакан, мисс Чарити, несмотря на всю свою решимость быть любезной, не могла не глядеть на него остановившимися от ужаса глазами, точно на привидение. Мистер Пексниф в такие минуты тоже погружался в раздумье, если не в уныние; возможно, однако, что, зная свойство этого благородного напитка, он просто размышлял о том, что будет завтра с мистером Пинчем, и припоминал самые верные средства против колик.

Мартин и обе мисс Пексниф успели уже подружиться и, к общему удовольствию, оживленно обменивались воспоминаниями о днях своего детства. Мисс Мерри смеялась решительно всему, что бы ни говорили за столом, и время от времени, глядя на сияющее лицо мистера Пинча, вдруг закатывалась так неудержимо, что доходила чуть ли не до истерики. Однако ее более благоразумная сестра выговаривала ей за эти вспышки веселья, замечая сердитым шепотом, что смеяться тут вовсе нечему и что у нее просто терпения не хватает на это глядеть, хотя дело обыкновенно кончалось тем, что она и

сама начинала смеяться,— впрочем, гораздо сдержаннее сестры,— говоря, что это и вправду очень смешно и что невозможно глядеть на это без смеха.

Между тем давно пора было вспомнить пункт первый великой истины, преподанный нам древним философом,— насчет того, как достигается здоровье, богатство и мудрость; непогрешимость какового изречения многократно была доказана трубочистами и другими людьми, которые вставали рано, ложились вовремя и этим наживали огромные состояния. Итак, обе девицы поднялись с места и, простившись с мистером Чезлвитом очень нежно, со своим папашей очень почтительно, а с мистером Пинчем очень снисходительно, удалились к себе в келью. Мистер Пексниф непременно захотел сам проводить своего молодого друга наверх, чтобы лично убедиться, удобно ли ему там будет, и, взяв Мартина под руку, опять повел его в спальню, в сопровождении мистера Пинча, который нес свечу.

— Мистер Пинч,— сказал Пексниф, скрестив руки на груди и присаживаясь на одну из пустых кроватей.— Я не вижу щипцов на подсвечнике. Не сделаете ли вы мне одолжение сойти вниз и спросить там щипцы?

Мистер Пинч, радуясь тому, что может быть полезным, немедленно отправился за щипцами.

— Вы должны извинить Томаса Пинча, ему не хватает лоска,— сказал мистер Пексниф со снисходительной и сожалеющей улыбкой, как только мистер Пинч вышел из комнаты.— Зато намерения у него самые лучшие.

— Он очень хороший человек, сэр.

— О да,— сказал мистер Пексниф.— Да. Намерения у Томаса Пинча самые лучшие. Он помнит добро. Мне никогда еще не приходилось жалеть о том, что я дружески относился к Томасу Пинчу.

— Думаю, что и не придется, сэр.

— Да,— сказал мистер Пексниф.— Да. Надеюсь, что не придется. Бедняга, он всегда старается сделать все, что в его силах. Но ему не хватает способностей. Пользуйтесь его услугами, Мартин, сколько захотите. Он забывается иногда немножко — вот слабость Томаса Пинча. Но его легко поставить на место. Добрая душа! Вы увидите, что с ним нетрудно ладить. Спокойной ночи!

— Спокойной ночи, сэр.

Тут как раз подоспел мистер Пинч со щипцами.

— Доброй ночи и вам тоже, мистер Пинч,— сказал Пексниф.— Спокойного сна вам обоим, друзья мои! Благослови вас бог! Благослови вас бог!

С большим жаром призвав это благословение на головы своих молодых друзей, мистер Пексниф удалился к себе в комнату; они же, чувствуя сильную усталость, скоро уснули. Если Мартин и видел что-либо во сне, то ключ к его сновидениям можно будет найти на следующих страницах этого повествования. А Томасу Пинчу снились все какие-то праздники, церковные орга̀ны и ангелоподобные Пекснифы. Прошло не менее двух часов, прежде чем Пексниф увидел что-либо во сне или хотя бы коснулся головой подушки, так как все это время он сидел у себя в комнате перед камином, глядя на уголья в глубокой задумчивости. Но в конце концов и он тоже уснул и видел сны. Так, в тихие ночные часы под одной и той же кровлей может гнездиться не меньше бессвязных и противоречивых бредней, чем в голове сумасшедшего.

## ГЛАВА VI

*содержит наряду с прочими важными сообщениями, касающимися мистера Пекснифа и архитектуры, подробное описание успехов мистера Пинча на пути к завоеванию дружбы и доверия нового ученика*

Было утро, и прекрасная Аврора, о которой столько писалось, говорилось и пелось, уже ущипнула розовыми перстами кончик носа мисс Пексниф. Шаловливая богиня усвоила себе обыкновение постоянно шутить таким образом с прелестной Черри; в переводе же на язык презренной прозы сие означает, что кончик носа у этой милой девушки за завтраком всегда бывал очень красен. Сказать по правде, в это время дня ее нос постоянно казался озябшим и блестел, как будто его начистили наждаком; сходное явление наблюдалось и в ее характере, кото-

рый с утра отдавал чем-то кислым и неприятным, словно в нектар ее настроения, фигурально выражаясь, переложили лимону, чем несколько испортили вкус божественного напитка.

Этот избыток едкости в характере прелестной молодой особы обычно сказывался в том, что она еще обильнее разбавляла водой и без того жидкий чай мистера Пинча, сокращала его порцию масла до микроскопических размеров и прочее тому подобное. Но в это утро, после вступительного банкета, она позволила мистеру Пинчу хозяйничать среди яств и питий совершенно свободно и беспрепятственно; и это до такой степени изумило и сконфузило мистера Пинча, что он, подобно дряхлому узнику, выпущенному на волю под конец жизни, не знал, как воспользоваться своей свободой, и впал в трепет и сомнение, нуждаясь в доброй душе, которая соскребала бы у него масло с хлеба, урезывала бы сахар до одного куска и вообще оказывала ему те маленькие знаки внимания, к которым он привык. Было, кроме того, нечто устрашающее в самообладании нового ученика, который постоянно «беспокоил» мистера Пекснифа просьбой передать ему хлеб и весьма хладнокровно накладывал себе с тарелки грудинку, предназначенную единственно для мистера Пекснифа. По-видимому, он думал, что это в порядке вещей, и ждал, что мистер Пинч последует его примеру, так как время от времени обращался к этому молодому человеку с замечанием, что тот «ничего не ест»,— то есть с речами столь предосудительного характера, что мистер Пинч невольно опускал глаза, чувствуя себя злодеем и предателем, обманувшим доверие мистера Пекснифа. В самом деле, одна уже эта попытка выслушивать перед всем семейством такие нескромные слова сама по себе составляла завтрак и могла вполне насытить мистера Пинча, хотя он никогда еще не бывал так голоден.

Однако девицы, да и сам мистер Пексниф, вопреки этим тяжким испытаниям, оставались в наилучшем расположении духа, хотя чувствовалось, что между ними существует какой-то таинственный сговор. Когда завтрак подходил к концу, мистер Пексниф, улыбаясь, объяснил причину их общего радостного настроения.

— Не часто бывает, дорогой Мартин,— сказал он,— чтобы мои дочери вместе со мной покидали мирный домашний очаг ради суетного вихря светских удовольствий. Но сегодня мы рассчитываем поступить именно так.

— Неужели, сэр! — воскликнул новый ученик.

— Да,— отвечал мистер Пексниф, постукивая по левой руке письмом, которое держал в правой.— У меня здесь приглашение явиться в Лондон — по делу, дорогой Мартин, по делу строго профессионального характера,— а я давно уже обещал дорогим моим девочкам, что, если только представится случай, они поедут вместе со мной. Мы отправимся нынче вечером в дилижансе,— подобно голубю в древности, дорогой мой Мартин,— и возвратимся с оливковой ветвью * не ранее чем через неделю. Под оливковой ветвью,— объяснил мистер Пексниф,— я подразумеваю наш скромный багаж.

— Надеюсь, что барышням понравится в Лондоне,— сказал Мартин.

— О, еще бы не понравилось! — воскликнула Мерри, хлопая в ладоши.— Боже мой! Черри, милочка, ты только подумай — Лондон!

— Пылкое дитя! — произнес мистер Пексниф, мечтательно глядя на свою младшую дочь.— И все же есть какая-то меланхолическая прелесть в этих юных надеждах. Приятно знать, что они никогда не осуществятся. Помню, я и сам думал когда-то, в далекие дни моего детства, что маринованный лук растет на дереве и что все слоны так и родятся с башенкой на спине. Впоследствии я узнал, что в действительности дело обстоит не так, далеко не так: однако эти мечты успокаивали меня в часы тяжелых жизненных испытаний. Даже когда мне пришлось сделать печальное открытие, что я пригрел на своей груди свинью во образе человека,— даже и в такой тягостный час они утешали меня.

При этом мрачном намеке на Джона Уэстлока мистер Пинч чуть не захлебнулся чаем, ибо не далее как нынче утром получил от него письмо, что было как нельзя лучше известно мистеру Пекснифу.

— Вы позаботитесь, дорогой Мартин,— продолжал мистер Пексниф, возвращаясь к прежней жизнерадостности,— чтобы дом не растащили в наше отсутствие. Мы

поручаем все вам. Тут нет никаких секретов — все открыто и доступно. В противоположность тому молодому человеку из восточной сказки, которого называли, если не ошибаюсь, одноглазый календарь... не так ли, мистер Пинч?

— Одноглазый календер *, мне кажется,— пролепетал Том.

— Это почти одно и то же, я думаю,— сказал мистер Пексниф, снисходительно улыбаясь,— или так считалось в мое время. В противоположность этому молодому человеку, дорогой Мартин, мы вам не только не запрещаем заглядывать во все уголки дома, но даже просим вас быть везде хозяином. Веселитесь, дорогой мой Мартин, заколите упитанного тельца, если вам захочется!

Не имелось, разумеется, никаких возражений против того, чтобы Мартин заколол и употребил с пользой для себя какого угодно тельца, упитанного или тощего, ежели только он нашелся бы в доме; но ввиду того, что никаких тельцов не паслось в угодьях мистера Пекснифа, его предложение следовало считать скорее знаком простой любезности, чем существенным доказательством гостеприимства. Этим цветком красноречия и завершилась беседа; ибо, высказавшись в таком духе, мистер Пексниф поднялся с места и повел их в оранжерею архитектурных талантов, то есть в известное уже помещение на третьем этаже.

— Позвольте подумать,— произнес он, роясь в бумагах,— чем бы таким вам заняться, пока я буду в отсутствии. Что, если бы вы представили мне проект памятника лондонскому лорд-мэру, или надгробие для шерифа, или коровник в парке какого-нибудь вельможи? А знаете ли,— сказал мистер Пексниф, складывая руки на груди и глядя на своего молодого родственника задумчиво и с интересом,— мне бы очень хотелось видеть, как вы представляете себе коровник.

Однако Мартин отнюдь не пришел в восторг от такого предложения.

— Колодец,— продолжал мистер Пексниф,— тоже воспитывает строгий вкус. По моим наблюдениям, уличный фонарь возвышает душу и дает классическое направление уму. Изящный шлагбаум с орнаментом прекрасно

действует на воображение. Не начать ли вам с изящного шлагбаума, что вы на это скажете?

— Если вам угодно, мистер Пексниф,— с сомнением отвечал Мартин.

— Погодите,— отвечал Пексниф.— Ну, вот что, вы честолюбивы и весьма искусно чертите, так попробуйте — ха-ха! — начертить план начальной школы, предусмотренный вот этим циркуляром; разумеется, сообразно с изложенными здесь требованиями. Честное слово,— игриво продолжал мистер Пексниф,— мне будет очень любопытно посмотреть, что у вас получится из начальной школы. Как знать, может быть молодой человек с вашим вкусом и натолкнется на что-нибудь такое, само по себе неосуществимое и непрактичное, чему я мог бы впоследствии придать форму. Ибо поистине, дорогой мой Мартин, поистине только в последних, завершающих штрихах и сказывается большой опыт и изящный вкус. Ха-ха-ха! Нет, в самом деле, мне доставило бы удовольствие увидеть,— продолжал мистер Пексниф, окончательно развеселившись и хлопая своего юного друга по спине,— что такое у вас получится из начальной школы.

Мартин охотно согласился взять на себя эту работу, и мистер Пексниф немедленно вручил ему все материалы, потребные для ее выполнения, распространяясь тем временем насчет магического действия завершающих штрихов, сделанных рукою мастера; оно было, по мнению многих (все тех же старых его врагов!), и в самом деле весьма удивительно и отзывалось волшебством, ибо известны были случаи, когда какое-нибудь чердачное окошко, или кухонная дверь, или десяток ступеней, или даже водосточная труба, начертанная рукой мастера, превращали проект ученика в собственное произведение мистера Пекснифа и приносили ему значительное денежное вознаграждение. Но такова уж магическая сила гения, который превращает в золото все, к чему бы ни прикоснулся!

— Если вам захочется освежиться и переменить занятие,— сказал мистер Пексниф,— Томас Пинч будет вашим наставником в искусстве съемки, он поможет вам начертить план нашего огорода, определить уклон дороги между нашим домом и придорожным столбом или же

найдет для вас еще какое-нибудь полезное и приятное занятие. Во дворе имеется десятка два старых цветочных горшков и около воза кирпичей. Если бы вы, мой дорогой Мартин, смогли возвести из них к моему возвращению некое подобие ну хотя бы собора святого Петра в Риме или мечети святой Софии в Константинополе *, то это было бы весьма полезно для вас и приятно для меня. А теперь,— сказал в заключение мистер Пексниф,— оставив на время официальные отношения и возвратившись к нашим частным делам, я буду рад побеседовать с вами у себя в комнате, пока укладываю саквояж.

Мартин последовал за ним, и более часу они беседовали с глазу на глаз, предоставив Тома Пинча самому себе. Выйдя от мистера Пекснифа, молодой человек сделался весьма молчалив и невесел и в этом настроении пребывал весь день; так что Том, попытавшись раза два завести с ним разговор на безразличную тему, почувствовал, что неловко ему навязываться и мешать его мыслям, и больше уже с ним не заговаривал.

Но даже если бы его новый друг был гораздо словоохотливее, едва ли у Тома нашлось бы время много разговаривать: сначала мистер Пексниф позвал его вниз для того, чтобы он стал на саквояж и в позе древней статуи постоял до тех пор, покуда саквояж не запрется; потом мисс Чарити позвала его, чтобы он увязал ей сундук; потом мисс Мерри послала за ним, чтобы он поскорей пошел чинить ей чемодан; потом он засел писать самые подробные ярлыки для всего багажа и тут же вызвался снести все это вниз; а после этого взялся приглядеть, чтобы багаж благополучно доставили на двух тачках к остановке дилижанса в конце переулка, и постеречь его до тех пор, пока не появится дилижанс. Словом, за этот день Тому пришлось поработать не меньше любого грузчика; но, по своему беспредельному добродушию, он не считал свои услуги ни во что, и только под конец, усевшись на чемоданы и поджидая появления Пекснифа с дочерьми под охраной нового ученика, Том вздохнул с облегчением, надеясь, что угодил своему благодетелю.

— Я, признаться, боялся,— говорил себе Том, доставая из кармана письмо и утирая пот с лица, так как разгорячился от возни, хотя день был холодный,— что у меня

не найдется времени написать ей, а это было бы и сказать нельзя как жалко, потому что посылать отсюда почтой — большой расход для небогатого человека. Она обрадуется, когда увидит мой почерк, бедняжка, и узнает, что Пекснйф все такой же добрый. Я бы попросил Джона Уэстлока зайти навестить ее и рассказать про мое житье-бытье на словах, да побоялся, что он станет отзываться дурно о Пекснифе и встревожит ее. Кроме того, у нее там народ щепетильный, и визит такого молодого человека может поставить ее в неловкое положение. Бедная Руфь!

Тому Пинчу немножко взгрустнулось, на полминуты, не больше, но вскоре он утешился и продолжал размышлять далее:

— Хорош же я, нечего сказать (это Джон всегда говорил, что я хороший человек; добрая душа и весельчак, этот Джон; жаль только, что он недолюбливал Пекснифа),— вздумал унывать оттого, что мы с ней живем далеко друг от друга, вместо того чтобы радоваться тому, что мне повезло и я попал сюда. Я, наверно, в рубашке родился, что встретил Пекснифа. А тут еще и с новым учеником удача необыкновенная! Первый раз вижу такого приветливого, великодушного, искреннего человека! Мы с ним как-то сразу подружились, а ведь он родственник Пекснифу; умный, способный юноша, которому все дается без труда. Вот и он, легок на помине,— идет себе по переулку с таким видом, будто и переулок его собственный.

В самом деле, новый ученик, нисколько не смущаясь честью вести под ручку мисс Мерри Пексниф и выслушивать ее прощальные любезности, появился на тропинке в сопровождении мисс Чарити и ее папаши. В ту же минуту показался дилижанс, и Том, не теряя времени, попросил мистера Пекснифа передать письмо.

— Ага! — сказал мистер Пексниф, взглянув на адрес.— Вашей сестре, Томас. Да, о да, письмо будет передано, мистер Пинч. Можете быть спокойны. Она непременно получит его, мистер Пинч.

Он дал это обещание с таким снисходительным и покровительственным видом, что Том Пинч почувствовал, о каком большом одолжении он просит (до сих пор это ему

не приходило в голову), и стал усиленно благодарить мистера Пекснифа. Обе мисс Пексниф, как всегда, покатились со смеху уже при одном упоминании о мисс Пинч.— Ужас какой! Подумать только — мисс Пинч! Господи ты мой боже!

Том был очень доволен, видя их веселье, так как счел его признаком доброжелательности и сердечного расположения. Поэтому он тоже засмеялся, потирая руки, и очень оживленно пожелал им приятно путешествовать и благополучно возвратиться. Даже после того как дилижанс с оливковыми ветвями снаружи и голубями внутри тронулся, Том все еще стоял на месте, махая рукой и раскланиваясь; он был настолько польщен необычайной любезностью девиц, что совсем позабыл про Мартина Чезлвита, который стоял в задумчивости, прислонившись к столбу и не поднимая глаз, с тех самых пор как усадил обеих мисс Пексниф в карету.

Полная тишина, наступившая вслед за суматохой и отъездом дилижанса, и морозный воздух зимнего дня привели их в чувство. Они повернулись и, точно сговорившись, зашагали прочь рука об руку.

— Какой вы невеселый! — сказал Том.— Что с вами случилось?

— Ничего такого, о чем стоило бы разговаривать,— отвечал Мартин.— Немногим больше того, что было вчера, и, надеюсь, гораздо больше, чем будет завтра. Я просто не в духе, Пинч.

— Ну что вы! — воскликнул Том.— А я, знаете ли, в отличном настроении и как нельзя больше расположен беседовать! Не правда ли, очень мило со стороны вашего предшественника, Джона, что он написал мне?

— Да, конечно,— небрежно ответил Мартин.— Он, должно быть, так веселится, что и времени не видит,— где уж ему помнить о вас!

— Именно так я и сам думал,— возразил Том,— однако нет, он сдержал свое слово и пишет: «Милый Пинч, я часто вас вспоминаю», ну и так далее, очень внимательно и деликатно, все в том же роде.

— Он, должно быть, и в самом деле добродушный малый,— заметил Мартин довольно ворчливо,— потому что вряд ли он это думает, знаете ли.

— Так он этого не думает, по-вашему, а? — спросил Том, пристально глядя в лицо своему спутнику.— Вы считаете, он только так говорит, мне в утешение?

— Неужели же возможно,— возразил Мартин более серьезным тоном,— чтобы молодой человек, только что вырвавшись из этой собачьей конуры и получив доступ ко всем лондонским удовольствиям, нашел время или желание вспоминать добром о ком-нибудь или о чем-нибудь, что осталось тут? Скажите сами, Пинч, может ли это быть?

После краткого раздумья мистер Пинч ответил гораздо более пониженным тоном, что, пожалуй, неразумно было бы на это надеяться и что, конечно, Мартину лучше знать.

— Разумеется, мне лучше знать,— заметил Мартин.

— Да, я и сам это чувствую,— мягко сказал мистер Пинч.— Я так и говорю.— После этого краткого ответа наступило полное молчание, которое больше ничем не прерывалось. Они добрались до дома уже в темноте.

Надо сказать, что мисс Чарити Пексниф, находя неудобным забрать с собой в дилижанс объедки вчерашнего пиршества и считая невозможным сохранить их в неиспорченном виде до возвращения всего семейства, собрала все это на две тарелки и оставила на столе. Ввиду такой щедрости молодые люди имели удовольствие найти в гостиной две беспорядочные груды остатков вчерашнего банкета, состоявшие из подсохших ломтиков апельсина, черствых сандвичей, хаотических масс окаменелого пирога и двух-трех уцелевших морских сухарей. А для того чтобы было чем запивать все эти деликатесы, остатки вина из двух бутылок были слиты в одну и заткнуты папильоткой, так что под руками имелось решительно все необходимое для того, чтобы предаваться разгулу целую ночь напролет.

Мартин Чезлвит оглядел остатки пиршества с бесконечным презрением и, хорошенько помешав угли в камине, чтобы огонь разгорелся вовсю (нисколько не церемонясь с углем мистера Пекснифа), угрюмо уселся в самое мягкое кресло, какое только нашлось. Стараясь поудобнее втиснуться в тот маленький уголок, который ему оставался, мистер Пинч уселся на скамеечку

мисс Мерри и, поставив стакан на коврик перед камином, а тарелку к себе на колени, принялся пировать.

Если бы Диоген воскрес и вкатился со своей бочкой в гостиную мистера Пекснифа, то, увидев мистера Пинча на скамеечке мисс Пексниф, со стаканом и тарелкою на коленях, он бы не выдержал, как бы угрюмо ни был настроен, и улыбнулся бы самой добродушной улыбкой. Совершенное и полное удовольствие Тома; его особенное одобрение черствым сандвичам, которые рассыпались у него во рту, словно опилки; неописуемое наслаждение, с которым он цедил кислое вино, облизывая губы, словно считал грехом упустить хотя бы каплю такого превосходного и благоуханного напитка; тот счастливый вид, с которым он медлил иногда, держа стакан в руке и, вероятно, произнося про себя какой-нибудь тост, и тревожная тень, омрачавшая его довольное лицо всякий раз, как, оглядев комнату и радуясь возможности без помехи наслаждаться уютом, он замечал хмурую физиономию своего товарища,— да ни один циник на свете, будь он сущей ехидной по своему человеконенавистничеству, не мог бы устоять перед добродушием Томаса Пинча.

Немало нашлось бы людей, которые похлопали бы его по спине и выпили бы за его здоровье бокал смородинного вина, хотя это был чистейший уксус,— выпили бы, да еще с каким удовольствием! Другие пожали бы его честную руку и поблагодарили бы за урок, который дала им эта простая душа. Третьи посмеялись бы с ним вместе, а четвертые посмеялись бы над ним; к этому последнему разряду принадлежал и Мартин Чезлвит, который был не в силах удержаться и громко расхохотался.

— Вот это правильно,— сказал Том, одобрительно кивая.— Развеселитесь! Это лучше всего!

При таком поощрении Мартин опять рассмеялся, а потом, успокоившись, заметил:

— Первый раз вижу такого чудака, как вы, Пинч.

— Первый раз видите? — сказал Том.— Что ж, очень может быть, что я вам кажусь чудаком, ведь я почти не знаю жизни, а вы ее хорошо знаете, я думаю.

— Неплохо для моих лет,— отвечал Мартин, придвигая кресло еще ближе к огню и ставя обе ноги на камин-



ную решетку.— Черт возьми, мне надо поговорить с кем-нибудь откровенно. Я поговорю откровенно с вами, Пинч.

— Пожалуйста! — сказал Том.— Я сочту это знаком дружеского расположения с вашей стороны.

— Я вам не мешаю? — спросил Мартин, глядя сверху вниз на мистера Пинча, который смотрел на огонь из-за его колена.

— Ничуть! — воскликнул Том.

— Надо вам знать прежде всего,— начал Мартин с некоторым усилием, как будто эта исповедь была ему не совсем приятна,— что меня воспитывали с ранних лет в надежде на большое наследство и приучили думать, что со временем я буду очень богат. Так оно и было бы, если б не вмешались некоторые причины и обстоятельства, о которых я и собираюсь вам рассказать. Они-то и привели к тому, что меня лишили наследства.

— Ваш отец лишил вас наследства? — спросил мистер Пинч, широко раскрыв глаза.

— Мой дедушка. Родителей у меня давно уже нет, я их едва помню.

— И у меня тоже их нет,— сказал Том, робко дотронувшись до руки молодого человека.— Боже мой!

— Ну, что до этого, то, знаете ли, Пинч,— по свойственной ему манере отрывисто и резко продолжал Мартин, опять мешая в камине,— очень хорошо и похвально любить родителей, если они живы, и не забывать их, если они умерли, когда вы их хоть сколько-нибудь знали. А я своих родителей почти не видел; нечего и ждать от меня особенной чувствительности. Да ее и нет; что правда, то правда.

Мистер Пинч как раз в это время задумчиво смотрел на решетку в камине. Но как только его собеседник умолк, он вздрогнул и сказал:

— О да, разумеется! — и снова притих, готовясь слушать дальше.

— Одним словом,— продолжал Мартин,— всю жизнь меня воспитывал и содержал вот этот самый дедушка, о котором я только что говорил. Ну, у него есть свои хорошие черты, нечего отрицать, я этого от вас и не скрываю, зато у него имеются два крупных недостатка, и в них-то

вся беда. Во-первых, это такой упрямец, какого на свете не сыщешь. Во-вторых, он самый отвратительный эгоист.

— Да неужели? — воскликнул Том.

— Эгоизм и упрямство этого человека,— отвечал Мартин,— просто переходят все границы. Я не раз слыхал, что наша семья искони отличалась этими недостатками, и думаю, что в этом есть доля правды. Сам я этого знать не могу. Я только могу благодарить бога за то, что эти качества не перешли ко мне, и приложу все старания, чтобы не заразиться ими.

— Да, конечно,— сказал мистер Пинч.— Так и следует.

— Вот видите ли,— заключил Мартин, снова помешав угли в камине и придвинувшись к огню еще ближе,— как эгоист — он очень требователен к людям, а как упрямец — очень настойчив в своих требованиях. Он и от меня всегда требовал очень многого в смысле почтительности и покорности и даже самоотвержения, когда речь шла о его желаниях, ну и так далее. Я со многим мирился, потому что многим ему обязан (если можно говорить об обязательствах перед родным дедушкой) и потому что я его, как-никак, любил; однако мы все-таки довольно часто ссорились: я, видите ли, не всегда мог угодить на него, приспособиться к его нраву,— то есть не ради себя самого, вы же понимаете...— Тут он запнулся, не зная, как продолжать.

Мистер Пинч, который меньше всего был способен вывести другого из затруднения, не нашелся что ответить.

— Ну, вы меня понимаете,— быстро закончил Мартин,— мне нечего так уж гоняться за нужным словом. Теперь я расскажу вам самую суть, а также по какому именно случаю я очутился здесь. Я влюблен, Пинч.

Мистер Пинч воззрился на него с усиленным интересом.

— Говорю вам, я влюблен. Я влюблен в самую красивую девушку, какая только живет под солнцем. Но она в полной зависимости от моего дедушки; и если только он узнает, что она платит мне взаимностью, она останется без крова и лишится всего, что имеет. Надеюсь, в *такой* любви нет никакого особенного эгоизма?

— Эгоизма! — воскликнул Том.— Вы вели себя благородно. Любить ее, как вы, я думаю, любите, и, оберегая ее, даже не открыться...

— Что вы там толкуете, Пинч? — прервал его Мартин с раздражением.— Не смешите меня, мой милый. То есть как это не открыться?

— Простите меня,— ответил Том.— Я думал, что вы подразумеваете именно это, а иначе не стал бы говорить.

— Если б я не сказал ей о своей любви, какой был бы смысл влюбляться? — сказал Мартин.— Разве только для того, чтобы тосковать и мучиться?

— Это верно,— заметил Том.— Ну что ж, я догадываюсь, что она вам ответила,— прибавил он, глядя на красивое лицо Мартина.

— Ну, не совсем так, Пинч,— отвечал тот, слегка нахмурившись,— у нее там какие-то девические предрассудки насчет долга и благодарности и прочего тому подобного, что довольно трудно понять; но в основном вы правы: я узнал, что ее сердце принадлежит мне.

— Как раз то, что я предполагал,— сказал Том.— Вполне естественно! — И, очень довольный, он отпил большой глоток из стакана.

— Хотя я держал себя с самого начала крайне осторожно,— продолжал Мартин,— однако мне не удалось повести дело так, чтобы дедушка, очень ревнивый и недоверчивый, не догадался, что я ее люблю. Ей он ничего не сказал, а прямо напал на меня и в беседе с глазу на глаз обвинил меня в том, что я намеренно искушаю верность преданного ему существа (видите, какой эгоист!) — девушки, которую он учил и воспитывал, чтобы она стала ему бескорыстным и верным другом, после того как он меня женит по своему усмотрению. Тут я не вытерпел и сказал, что как ему будет угодно, но я могу жениться и сам и не желаю, чтобы он или кто-нибудь другой продавал меня с аукциона неизвестно кому.

Мистер Пинч раскрыл глаза еще шире и стал глядеть в огонь еще пристальнее прежнего.

— Можете себе представить,— продолжал Мартин,— он на это обиделся и начал говорить мне далеко не лестные вещи. И пошла беседа за беседой, слово за словом, как это всегда бывает; а клонилось все это к тому, что-

бы я от нее отказался, а не то он от меня откажется. А надо вам знать, Пинч, что я не только страстно влюблен в нее (она хотя и не богата, но так красива и умна, что сделает честь кому угодно, какие бы ни были претензии у ее будущего мужа); мало того, главной чертой моего характера является...

— Упрямство,— предположил Том в простоте душевной. Но это предположение было встречено гораздо хуже, чем он ожидал, ибо молодой человек немедленно возразил с некоторой запальчивостью:

— Какой вы чудак, Пинч!

— Прошу извинения,— сказал Том,— я думал, вы ищете нужное слово.

— Это совсем не то слово,— ответил Мартин.— Ведь я же вам говорил, что у меня в характере нет упрямства, не так ли? Я хотел сказать, если бы вы меня не прервали, что главная черта моего характера — это твердость.

— О! — воскликнул Том, поджимая губы и кивая головой.— Да, да, я понимаю.

— И так как я тверд,— продолжал Мартин,— то, разумеется, я не собирался подчиниться ему или уступить хотя бы тысячную долю вершка.

— Да, да,— сказал Том.

— Наоборот, чем больше он настаивал, тем больше я сопротивлялся.

— Разумеется! — сказал Том.

— Ну вот,— заключил Мартин, откинувшись на спинку кресла и беззаботно махнув обеими руками, как будто с этим предметом было совсем покончено и разговаривать о нем больше не стоило,— тем дело и кончилось, вот я и очутился здесь!

Несколько минут мистер Пинч сидел, уставясь на огонь с озадаченным видом, как будто ему предложили труднейшую головоломку, которую он не в силах был разгадать. Наконец он сказал:

— Пекснифа вы, конечно, знали и раньше?

— Только по имени. Видеть его я никогда не видел, потому что дедушка не только сам держался поодаль от родственников, но и меня не пускал к ним. Мы расстались в одном городе соседнего графства. Оттуда я поехал в Солсбери, увидел там объявление Пекснифа и написал

ему, так как у меня есть, кажется, врожденная склонность к занятиям подобного рода и я подумал, что это мне подойдет. Как только я узнал, что объявление дал Пексниф, мне вдвое больше захотелось поехать именно к нему, из-за того, что...

— Что он такой прекрасный человек,— подхватил Том, потирая руки.— Так оно и есть. Вы были совершенно правы.

— Нет, не столько из-за этого, говоря по правде,— возразил Мартин,— сколько потому, что дедушка терпеть его не может; а после того как старик обошелся со мной так круто, мне, естественно, захотелось насолить ему побольше. Ну вот я и очутился здесь, как уже говорил вам. Моя помолвка с той девушкой, о которой я рассказывал, вероятно затянется надолго: виды на будущее у нас с ней не блестящие, а я, конечно, и не подумаю жениться, пока у меня не будет средств. Для меня, видите ли, совсем неподходящее дело обрекать себя на убожество и нищету. Любовь в одной комнате, на четвертом этаже и тому подобное...

— Не говоря уже о ней,— тихим голосом заметил Том Пинч.

— Совершенно верно,— ответил Мартин, вставая, чтобы погреть спину, и прислоняясь к каминной доске.— Не говоря уже о ней. Хотя, разумеется, ей не так уж трудно подчиниться необходимости в данном случае: во-первых, она меня очень любит; а во-вторых, я тоже многим пожертвовал ради нее, мне могло бы и больше повезти, знаете ли.

Прошло очень много времени, прежде чем Том сказал: «Да, конечно»,— так много времени, что он мог бы вздремнуть в промежутке, но все же в конце концов он это сказал.

— Так вот, есть еще одно странное совпадение, которое связано с историей моей любви,— сказал Мартин,— и которым эта история заканчивается. Помните, вы мне рассказывали вчера вечером по дороге сюда про вашу хорошенькую незнакомку в церкви?

— Конечно, помню,— сказал Том, вставая со скамеечки и садясь в кресло, с которого только что поднялся Мартин, чтобы лучше видеть его лицо.— Разумеется.

— Это была она.

— Я так и знал, что вы это скажете! — ответил Том очень тихим голосом, пристально глядя на Мартина.— Неужели?

— Это была она,— повторил молодой человек.— После того, что я слышал от Пекснифа, у меня не осталось никаких сомнений, что это она приезжала и уехала вместе с моим дедушкой. Не пейте так много этого кислого вина, не то как бы вам не сделалось плохо, Пинч.

— Да, пожалуй, это вредно,— сказал Том, ставя на пол пустой стакан, который он долго держал в руках.— Так, значит, это была она?

Мартин утвердительно кивнул головой и, прибавив сердито и недовольно, что, будь это на несколько дней раньше, он бы ее увидел, а теперь она, может быть, за сотни миль от него, прошелся несколько раз по комнате, бросился в кресло и надулся, как избалованный ребенок.

Сердце у Тома Пинча было очень нежное, и он не мог смотреть равнодушно на чужое горе, а тем более на горе человека, к которому он чувствовал симпатию и который был к нему дружески расположен (в действительности или по предположению Тома) и желал ему добра. Каковы бы ни были его мысли несколько минут тому назад,— а судя по его лицу, они были совсем невеселы,— он постарался от них отделаться и преподал своему молодому другу наилучшие советы и утешения, какие только пришли ему в голову.

— Все уладится со временем,— говорил Том,— я не сомневаюсь, и после нынешних испытаний и несчастий вы еще сильнее привяжетесь друг к другу, когда настанут лучшие дни. Я читал, что так всегда бывает, да и чувство говорит мне, что это естественно и справедливо, и так оно и должно быть. Что долго не ладилось,— продолжал Том с улыбкой, которая, невзирая на его некрасивое лицо, была гораздо приятнее улыбки многих надменных красавиц,— что долго не ладилось, вряд ли может измениться так сразу, по нашему желанию; надо принимать жизнь как она есть и переделывать ее понемножку, вооружась терпением и бодростью. Я бессилен что-либо сделать, вы это хорошо знаете, зато намерения у меня

самые лучшие, и если бы я мог быть полезен вам хоть чем-нибудь, как бы я был этому рад!

— Спасибо вам,— сказал Мартин, пожимая ему руку.— Вы хороший человек, клянусь честью; спасибо вам на добром слове. Разумеется,— прибавил он после минутной паузы, снова придвигая свой стул к огню,— я бы не постеснялся воспользоваться вашими услугами, если бы вы могли мне помочь. Но только, господи помилуй! — тут он сердито взъерошил волосы и посмотрел на Тома так, словно жалел, что это он, а не кто-нибудь другой,— помощи от вас не больше, чем от этой вилки или сковородки.

— Не считая желания помочь,— кротко заметил Том.

— О да, конечно. Я это и хотел сказать. Если бы желание что-нибудь значило, я бы не нуждался в помощниках. Хотя вот что вы можете сделать, если вам угодно,— и даже сейчас.

— Что именно? — спросил Том.

— Почитайте мне.

— Буду очень рад! — воскликнул Том, в восторге схватив подсвечник.— Извините, я оставлю вас на минутку в темноте, только сбегаю за книгой. Что бы вы хотели? Шекспира?

— Ну что ж,— отвечал его друг, зевая и потягиваясь.— И Шекспир годится. Я сегодня устал от новых впечатлений и всей этой сутолоки; а в таких случаях, я думаю, нет удовольствия лучше, как заснуть, слушая чтение. Вы ведь не обидитесь, если я усну?

— Нисколько! — воскликнул Том.

— Тогда начинайте поскорей. И не переставайте читать, если вам покажется, что я задремал (разве только устанете сами); это так приятно — то засыпать, то просыпаться, и опять слышать все те же звуки. Вам не приходилось это испытывать?

— Нет, никогда,— ответил Том.

— Ну что ж, можно попробовать как-нибудь на днях, когда мы оба будем в подходящем настроении. Ничего, оставьте меня в темноте. Только поскорее!

Мистер Пинч побежал, не теряя времени, и минуты через две возвратился с одним из драгоценных томиков, взяв его с полки над кроватью. Мартин тем временем

устроился настолько удобно, насколько позволяли обстоятельства; соорудив перед огнем диван из трех стульев, он подложил скамеечку мисс Мерри вместо подушки и улегся, растянувшись во весь рост.

— Только, пожалуйста, не очень громко,— сказал он Пинчу.

— Нет, нет,— отвечал Том.

— А вам не холодно?

— Нисколько! — воскликнул Том.

— Ну, тогда я готов.

Мистер Пинч, перелистав книгу так бережно, как будто это было живое и горячо любимое существо, выбрал пьесу и начал читать. Не успел он прочесть и пятидесяти строк, как его друг уже захрапел.

— Бедняга! — тихо сказал Том, вытягивая шею, чтобы взглянуть на него через спинки стульев.— Он так еще молод, а у него столько горя. И с какой благородной доверчивостью он все рассказал мне. Неужели это была она?

И вдруг, вспомнив про их уговор, он снова принялся читать с того места, где остановился, и читал долго, совсем позабыв, что надо снимать нагар со свечи, так что фитиль стал похож на гриб. Он до того увлекся, что забыл подбрасывать уголь в камин, и вспомнил о своем упущении только тогда, когда Мартин Чезлвит часа через два проснулся и закричал, вздрагивая от холода:

— Боже мой, огонь совсем потух! То-то мне и снилось, что я замерзаю. Велите принести еще угля. Ну и чудак же вы, Пинч!

## ГЛАВА VII,

*в которой мистер Чиви Слайм провозглашает свою независимость, а «Синий Дракон» остается без правой руки*

На следующее утро Мартин начал работать над проектом начальной школы с такой быстротой и усердием, что у мистера Пинча появились новые основания восхвалять природную даровитость этого молодого джентль-

мена и признавать его неизмеримое превосходство над собой. Новый ученик принимал комплименты Тома весьма благосклонно и, уже научившись за эти дни искренне уважать его — правда, на свой лад,— предсказывал, что они навсегда останутся самыми лучшими друзьями и что ни у одного из них (а тем более у Тома) не будет — он уверен — причины жалеть о том дне, когда они познакомились. Мистер Пинч был в восторге от его речей и чувствовал себя до такой степени польщенным этими сердечными уверениями в дружбе и покровительстве, что не находил слов для выражения своей радости. И в самом деле, насчет этой дружбы, какова бы она ни была, следует заметить, что она заключала в себе больше оснований для долговечности, чем иные многообещающие и скрепленные клятвой союзы, ибо до тех пор, пока одной стороне доставляло удовольствие оказывать покровительство, а другой — принимать его (в чем и заключалась сущность их характеров), не было никакого вероятия, чтобы фурии близнецы — Зависть и Гордость — стали между ними. Так, во многих случаях Дружба, или то, что слывет ею, держится скорее на контрасте характеров, чем на сходстве, опровергая старую истину.

Итак, на следующий день после отъезда семейства Пексниф оба они с головой ушли в работу. Мартин был занят своей начальной школой, а Томас — подсчетом сумм, полученных с арендаторов, и комиссионных, причитавшихся мистеру Пекснифу, причем в этом глубокомысленном занятии ему сильно мешала привычка его нового друга громко насвистывать во время работы, как вдруг их потревожило неожиданное вторжение человеческой головы в это святилище таланта, головы, порядком взлохмаченной и не внушавшей особенного доверия, но тем не менее посылавшей им с порога любезные улыбки, в одно и то же время игривые, заискивающие и одобрительные.

— Сам я не отличаюсь трудолюбием, джентльмены,— произнесла голова,— зато умею ценить это качество в других. Пускай я поседею и подурнею, если оно не является одним из наиболее привлекательных свойств человеческой натуры, равно как и талант. Клянусь честью, я от души благодарен моему другу Пекснифу за то, что он

дал мне возможность полюбоваться очаровательной картиной, какую представляете вы оба. Вы напомнили мне Виттингтона, впоследствии трижды лорд-мэра города Лондона *. Даю вам самое честное слово, вы очень напоминаете мне эту историческую личность. Вы оба Виттингтоны, господа, только без кошки, что мне кажется весьма приятным и счастливым исключением из правила, ибо я вовсе не поклонник кошачьей породы. Моя фамилия Тигг; как ваше здоровье?

Мартин посмотрел на мистера Пинча, ища объяснения, а Том, который впервые в жизни видел мистера Тигга, посмотрел на этого джентльмена.

— Чиви Слайм? — вопросительно произнес мистер Тигг, целуя свою левую руку в знак дружеской приязни.— Поймете ли вы меня, если я сообщу вам, что я доверенное лицо Чиви Слайма, так сказать посланник его двора? Ха-ха!

— Как! — вырвалось у Мартина при упоминании знакомой ему фамилии.— А что ему от меня нужно?

— Если ваша фамилия Пинч...— начал мистер Тигг.

— Нет, это не моя фамилия,— сухо отозвался Мартин.— Вот мистер Пинч.

— Если это мистер Пинч,— воскликнул мистер Тигг, снова целуя свою руку и продвигаясь в комнату вслед за своей головой,— то он позволит мне высказать, как я почитаю и уважаю его благороднейшие свойства, о которых я слышал столько похвального от моего друга Пекснифа, и как ценю его музыкальный талант, хотя сам я не бренчу, если позволительно употребить такое выражение. Если это мистер Пинч, я осмелюсь выразить надежду, что вижу его в добром здоровье и что он не страдает от восточного ветра?

— Благодарю вас,— ответил Том.— Я совершенно здоров.

— Рад это слышать,— возразил мистер Тигг.— В таком случае,— прибавил он, приставляя ладонь к губам и наклонившись к уху мистера Пинча,— я пришел за письмом.

— За письмом? — повторил Том вслух.— За каким письмом?

— За письмом,— прошептал Тигг с той же осторожностью, что и раньше,— которое мой друг Пексниф адресовал эсквайру Чиви Слайму и оставил у вас.

— Он не оставлял мне никакого письма,— сказал Том.

— Т-с-с! — прервал его тот.— Неважно, хотя я и ожидал от моего друга Пекснифа большей деликатности; в таком случае я пришел за деньгами.

— За деньгами! — воскликнул Том в перепуге.

— Вот именно,— ответил мистер Тигг. И с этими словами он потрепал Тома по плечу и кивнул раза два или три головой, как бы желая сказать, что они понимают друг друга, что нет никакой надобности посвящать во все это третье лицо и что он сочтет за особое одолжение со стороны Тома, если тот без разговоров сунет деньги ему в руку.

Мистер Пинч, однако, был сильно озадачен этим необъяснимым, на его взгляд, поведением и сразу же объявил во всеуслышание, что тут, должно быть, вышла какая-то ошибка и что ему не поручали ровно ничего имеющего отношение к мистеру Тиггу или его приятелю. Мистер Тигг выслушал это заявление и попросил весьма решительно, не будет ли мистер Пинч так любезен повторить свои слова; и по мере того как Том повторял их фраза за фразой, со всей возможной ясностью и вразумительностью, мистер Тигг торжественно внимал ему, кивая головой после каждой точки. Когда же Том и вторично закончил свои объяснения, мистер Тигг уселся в кресло и обратился к молодым людям со следующей речью:

— Тогда я скажу вам, в чем дело, джентльмены. Здесь, в этом самом поселке, сейчас пребывает истинное созвездие ума и таланта; и вот, по преступной небрежности моего друга Пекснифа — иначе этого не назовешь,— мистер Слайм доведен до такого ужасного положения, какое только мыслимо в девятнадцатом веке и в современном обществе. В эту самую минуту, здесь, в «Синем Драконе»,— заметьте, в трактире, в самом обыкновенном, жалком, низкопробном, насквозь прокуренном трактире для грубой деревенщины,— находится человек, с которым, говоря языком поэта, «сравнения не выдержит

никто» и которого не выпускают из этого заведения за неплатеж по счету. Ха-ха! За неплатеж по счету! Я повторяю: за неплатеж по счету! Слыхали мы, конечно, и про «Жития мучеников» Фокса *, и про Звездную Палату, и про Долговой Суд *, но чтобы моего друга Чиви Слайма держали заложником из-за какого-то счета, это уж положительно неслыханное дело, и тут я берусь спорить с кем угодно, будь он живой или мертвый.

Мартин и мистер Пинч посмотрели сперва друг на друга, а потом на мистера Тигга, который, скрестив руки на груди, взирал на них и скорбно и укоризненно.

— Не поймите меня превратно, джентльмены,— сказал он, простирая вперед правую руку.— Если б это вышло из-за чего-нибудь другого, а не из-за счета, я бы еще стерпел и все же не утратил бы уважения к человечеству, но если такого человека, как мой друг Слайм, задерживают из-за счета, который сам по себе ничто и пишется мелом на грифельной доске или даже просто на дверях,— тогда я чувствую, что где-то соскочила такой величины гайка, что расшатались самые основы общества и нельзя более полагаться даже на первопричину всех причин. Короче говоря, джентльмены,— произнес мистер Тигг, сопровождая свои слова красноречивым жестом и встряхивая головой,— если такого человека, как Слайм, задерживают из-за такой мелочи, как грошовый счет,— я отвергаю суеверия веков и ни во что более не верю. Не верю даже в то, что я ни во что не верю, будь я трижды проклят!

— Мне очень жаль, разумеется,— сказал Том после некоторого молчания,— но мистер Пекснаф ничего мне не говорил, а без его приказа я бессилен что-либо сделать. Не лучше ли было бы, сэр, если бы вы сами пошли туда... откуда вы пришли... и лично одолжили бы деньги вашему другу?

— Как же это возможно, когда меня и самого задержали по той же причине? — спросил мистер Тигг.— Тем более что из-за возмутительной и, я должен прибавить, преступной небрежности моего друга Пекснифа у меня нет даже денег на дорогу.

Том хотел было напомнить этому джентльмену (который в своем волнении, вероятно, позабыл все на свете),

что здесь имеется почтовая контора и если б он написал кому-нибудь из своих друзей или доверенных лиц, чтобы ему выслали денег, то письмо, может быть, и не затерялось бы в дороге; во всяком случае, как ни велика эта опасность, очень и очень стоило бы рискнуть. Однако врожденный такт заставил его воздержаться от намека, и, опять помолчав некоторое время, он спросил:

— Вы говорите, сэр, что вас также задержали?

— Подите сюда,— сказал мистер Тигг, вставая.— Вы ничего не будете иметь против, если я открою на минутку это окно?

— Разумеется, нет,— ответил Том.

— Отлично,— сказал мистер Тигг, поднимая раму.— Видите вы там внизу человека в красном шейном платке и без жилета?

— Конечно, вижу,— воскликнул Том.— Это Марк Тэпли.

— Вот как, Марк Тэпли? — сказал мистер Тигг.— Этот ваш Марк Тэпли был так любезен, что не только проводил меня сюда, но еще и дожидается, чтобы проводить меня обратно. И совершенно напрасно он так любезен,— прибавил мистер Тигг, расправляя усы,— скажу вам, сэр, что лучше было бы для Марка Тэпли еще во младенчестве захлебнуться материнским молоком, чем дожить до сего дня.

Хотя мистера Пинча и устрашила эта ужасная угроза, однако у него все же хватило духу крикнуть Марку Тэпли, чтобы он вошел в дом и поднялся наверх, и тот повиновался оклику с такой быстротой, что не успели Том и мистер Тигг убрать свои головы из окна и снова закрыть его, как обвиняемый уже предстал перед ними.

— Скажите, Марк! — обратился к нему мистер Пинч.— Боже мой, что такое могло произойти между миссис Льюпин и этим джентльменом?

— Каким джентльменом, сэр? — сказал Марк.— Я здесь не вижу никакого джентльмена, сэр, кроме вас и вновь прибывшего джентльмена,— и он довольно неуклюже поклонился Мартину,— а ведь, насколько мне известно, ничего особенного не произошло между вами обоими и миссис Льюпин.

— Какие пустяки, Марк! — воскликнул Том.— Вы же видите мистера...

— Тигга,— вставил этот джентльмен.— Погодите. Я еще его уничтожу. Всему свое время.

— Ах, этого! — возразил Марк с презрительным задором.— Ну да, его-то я вижу. И видел бы еще лучше, если б он побрился и постригся.

Мистер Тигг свирепо затряс головой и ударил себя кулаком в грудь.

— Нечего, нечего тут,— сказал Марк.— Сколько ни стучите, все равно толку не будет. Меня вы не проведете. Ничего у вас там нет, кроме ваты, да и та грязная.

— Ну, Марк,— вмешался мистер Пинч, предупреждая открытие военных действий,— ответьте же на мой вопрос. Или вы сейчас не в духе?

— Да нет, сэр, с чего же мне быть не в духе? — ответил Марк, ухмыляясь.— Не так-то легко быть веселым, когда по свету разгуливают такие вот молодчики, аки львы рыкающие, если только бывает такая порода — один рёв да грива. Что может быть между ним и миссис Льюпин? Что же другое, кроме счета! И я еще думаю, что миссис Льюпин зря им мирволит, надо бы с них брать втридорога за то, что они срамят «Дракон». По-моему, выходит так. У себя в доме я бы такого мошенника и держать не стал, даже за бешеную цену, какую дерут на ярмарках. От одного его вида может скиснуть пиво в бочках! Да и скисло бы, кабы могло понимать!

— А ведь вы так и не ответили на мой вопрос, Марк,— заметил мистер Пинч.

— Да что ж, сэр,— сказал Марк,— тут особенно и отвечать нечего. Приезжают они с приятелем, останавливаются в «Луне и Звездах», живут и по счету не платят, потом переезжают к нам, живут и тоже не платят. Что не платят, это дело обыкновенное, мистер Пинч, мы не против этого,— а не нравится нам, как он себя держит, этот молодчик. Все ему не так, все никуда не годится, все женщины, видите ли, по нем с ума сходят,— только подмигнет, они уже на седьмом небе; все мужчины для того только и созданы, чтобы быть у него на посылках. Это еще с полбеды, а нынче утром он мне говорит, как обыкновенно, медовым голосом: «Мы вечером уезжаем,

любезный».— «Уезжаете, сударь? — говорю.— Не прикажете ли приготовить вам счет?» — «Нет, любезный, говорит, не трудитесь. Я велю Пекснифу, чтоб он об этом позаботился». На это «Дракон» ему отвечает: «Очень вам благодарны, сударь, за такую честь, но только как мы ничего хорошего от вас не видали, а багажа с вами нет (мистер Пексниф уехал, вам это, сударь, может, еще неизвестно?), то мы предпочли бы что-нибудь более существенное». Вот как обстоит дело. И я сошлюсь на любую даму или джентльмена, не лишенных простого здравого смысла,— заключил мистер Тэпли, указывая шляпой на мистера Тигга,— ну, не противно ли смотреть на этого молодчика?

— Позвольте спросить,— прервал Мартин эту откровенную речь и предупреждая ответные проклятия мистера Тигга,— как велик весь долг?

— В смысле денег очень невелик, сэр,— отвечал Марк.— Фунта три с чем-нибудь. Да дело-то не в деньгах, а в его...

— Да, да, вы уже говорили,— сказал Мартин.— Пинч, на два слова.

— Что такое? — спросил Том, отходя с ним в угол комнаты.

— Да просто в том — стыдно сказать, что мистер Слайм мой родственник, о котором я никогда ничего хорошего не слыхал, и что мне хочется его выпроводить отсюда; полагаю, три-четыре фунта не жаль за это отдать. У вас, я думаю, не найдется денег заплатить по счету?

Том Пинч замотал головой так энергично, что не оставалось никаких сомнений в его полной искренности.

— Вот беда, у меня тоже ничего нет, и если б вы были при деньгах, я бы у вас занял. А нельзя ли сказать хозяйке, что мы берем долг на себя? Я думаю, это будет все равно.

— Ну, еще бы! — сказал Том.— Она меня знает, слава богу!

— Тогда пойдем сейчас же к ней и так и скажем: чем скорей мы избавимся от его общества, тем будет лучше. До сих пор вы разговаривали с этим джентльменом, так, может быть, вы и сообщите ему, какие у нас намерения, хорошо?

Мистер Пинч согласился и тут же довел это до сведения мистера Тигга, который стал горячо пожимать ему руку, уверяя, что теперь он снова готов уверовать во все высокое и святое. Их помощь, говорил он, дорога ему не тем, что временно облегчит его удел, но прежде всего тем, что она вновь подтверждает высокий принцип, согласно которому избранные натуры всегда и везде сочувствуют избранным натурам, а истинное величие души находит отзвук в истинном величии души. Это показывает, говорил он, что они тоже умеют ценить талант,— хотя, поскольку дело касается Слайма, в благородном металле заметна лигатура,— и он благодарит их от имени друга так же тепло и сердечно, как если бы благодарил за самого себя. Тут все двинулись к лестнице, и, будучи прерван на середине речи, он, во избежание дальнейшей помехи, уже при выходе на улицу ухватил мистера Пинча за лацкан пальто и занимал его высокопоучительной беседой всю дорогу до самого «Дракона», куда следом за ними явились и Марк Тэпли с новым учеником.

Румяная хозяйка едва ли нуждалась в поручительстве мистера Пинча, чтобы отпустить на все четыре стороны постояльцев, от которых была рада избавиться любой ценой. И в самом деле, кратковременным лишением свободы они были обязаны прежде всего мистеру Тэпли, который по своему характеру видеть не мог благородных оборванцев, охотников поживиться на чужой счет, и особенно невзлюбил мистера Тигга и его приятеля как образцовых представителей этой породы. Таким образом, без труда уладив дело, мистер Пинч с Мартином ушли бы немедленно, если бы не настойчивые просьбы мистера Тигга оказать ему честь и познакомиться с его другом Слаймом, которым было настолько трудно противиться, что, уступая отчасти этим просьбам, а отчасти собственному любопытству, они согласились, наконец, предстать пред светлые очи этого джентльмена.

Мистер Слайм сидел в мрачном раздумье за графинчиком с остатками вчерашнего коньяка, погруженный в глубокомысленное занятие: мокрой ножкой своей рюмки он отпечатывал на столе кружок за кружком. Мистер Слайм имел жалкий и опустившийся вид, но в свое время это был отъявленный хвастун, выдававший себя за чело-

века с тонким вкусом и редкими талантами. Для того чтобы прослыть знатоком в области изящного, капитал требуется небольшой и всякому доступный: стоит только задирать нос повыше и презрительно кривить губы, изображая снисходительную усмешку,— и в любом случае этого хватит с избытком. Нелегкая, однако, дернула незадачливого отпрыска семьи Чезлвитов, от природы ленивого и не способного ни к какому усидчивому труду, растранжирив все свои денежки, объявить себя, пропитания ради, наставником в вопросах изящного вкуса; обнаружив, однако, хотя и слишком поздно, что для этого занятия нужно побольше данных, чем у него имеется, он быстро опустился до своего нынешнего уровня, и уже ничего не оставалось в нем прежнего, кроме хвастовства и желчи,— вряд ли мог бы он существовать самостоятельно и отдельно от своего приятеля Тигга. И теперь он был так жалок и низок, соединяя плаксивость с нахальством и заносчивость с пресмыкательством,— что даже его друг и приживал, стоявший рядом с ним, по контрасту возвышался до уровня человека.

— Чив,— сказал мистер Тигг, хлопая его по спине,— мистера Пекснифа не было дома, и я уладил наше дельце с мистером Пинчем и его другом. Мистер Пинч с другом — мистер Чиви Слайм! Чив, мистер Пинч с другом!

— Нечего сказать, приятно знакомиться при таких обстоятельствах,— сказал Чиви Слайм, глядя на Тома Пинча налитыми кровью глазами.— Я самый жалкий из смертных, поверьте мне!

Том, видя, в каком он состоянии, попросил его не беспокоиться и после неловкой паузы вышел вместе с Мартином. Но мистер Тигг так усиленно заклинал их кашлем и разными знаками задержаться в темном углу за дверью, что они его послушались.

— Клянусь,— воскликнул мистер Слайм, бессильно стукнув по столу кулаком, а затем подперев голову рукой и утирая пьяные слезы,— я самое несчастное существо, какое известно миру. Общество в заговоре против меня. Образованней меня нет человека на свете; какие сведения, какие просвещенные воззрения на все предметы, а посмотрите, как я живу! Разве сейчас, в эту самую

минуту, я не принужден одолжаться двум посторонним лицам из-за трактирного счета!

Мистер Тигг наполнил рюмку своего друга, подал ему и многозначительно кивнул гостям в знак того, что сейчас они его увидят в гораздо более выгодном свете.

— Одолжаться двум посторонним лицам из-за трактирного счета, каково? — повторил мистер Слайм, скорбно прикладываясь к рюмочке.— Очень мило! А тысячи самозванцев тем временем стяжали себе славу! Люди, которые мне и в подметки не... Тигг, призываю тебя в свидетели, что самую последнюю собаку так не травили, как травят меня.

Испустив нечто вроде завывания, живо напомнившего слушателям только что названное животное в крайней степени унижения, мистер Слайм опять поднес рюмку ко рту. Как видно, он почерпнул в этом некоторое утешение, потому что, ставя рюмку на стол, презрительно усмехнулся. Тут мистер Тигг опять начал усиленно и весьма выразительно кивать гостям, давая этим понять, что сейчас они узрят Чива во всем его величии.

— Ха-ха-ха! — рассмеялся мистер Слайм.— Одолжаться двум посторонним из-за трактирного счета! А ведь, кажется, Тигг, у меня есть богатый дядюшка, который мог бы купить полсотни чужих дядюшек? Кажется мне это или нет? Ведь я как будто из приличной семьи? Так это или не так? Я ведь не какая-нибудь посредственность без капли дарования. Скажи, да или нет?

— Дорогой Чив, ты среди человечества — американское алоэ, которое цветет всего один раз в столетие! — отвечал мистер Тигг.

— Ха-ха-ха! — опять рассмеялся мистер Слайм.— Одолжаться двум посторонним из-за трактирного счета! И это мне, мне! Одолжаться двум архитекторским ученикам — людям, которые меряют землю железными цепями и строят дома, как простые каменщики! Назовите мне фамилии этих двух учеников. Как они смеют делать мне одолжения!

Мистер Тигг был в совершенном восторге от этой благородной черты в характере своего друга, что и дал понять Тому Пинчу при помощи маленького мимического балета, сочиненного экспромтом для этой цели.

— Они у меня узнают, все узнают,— кричал мистер Слайм,— что я не из тех подлых, низкопоклонных смиренников, с которыми они привыкли иметь дело! У меня независимый характер. У меня пылкое сердце. У меня душа, которая выше всяких низменных расчетов.

— Ах, Чив, Чив,— бормотал мистер Тигг,— какая благородная, какая независимая натура, Чив!

— Ступайте и выполните ваш долг, сэр,— сурово произнес мистер Слайм,— займите денег на дорожные расходы; и у кого бы вы их ни заняли, дайте там понять, что я по натуре горд и независим и адски-утонченные фибры души моей не переносят никакого покровительства. Слышите? Скажите там, что я их всех ненавижу и только благодаря этому сохраняю еще уважение к самому себе. Скажите, что ни один человек на свете не уважал так самого себя, как я себя уважаю!

Он мог бы прибавить, что ненавидит два рода людей: всех тех, кто оказывает ему помощь, и всех тех, кто больше преуспел в жизни, ибо и в том и в другом случае их превосходство было оскорблением для человека столь замечательных достоинств. Однако он этого не сказал, и с вышеприведенными заключительными словами мистер Слайм — слишком гордый, чтобы работать, попрошайничать, одолжаться или красть, допускавший, однако, чтобы за него работали, попрошайничали, одолжались и крали другие, слишком заносчивый, чтобы лизать руку, питавшую его в черный день, однако достаточно подлый, чтобы куснуть или рвануть исподтишка,— с этими весьма удачными заключительными словами мистер Слайм повалился головой на стол и заснул пьяным сном.

— Где вы найдете,— воскликнул мистер Тигг, догоняя молодых людей у порога и осторожно притворяя за собой дверь,— такую независимость духа, как у этого необыкновенного человека? Где вы найдете такого римлянина, как наш друг Чив? Где вы найдете такой чисто классический склад ума, такую простоту характера, достойную тоги? Где вы найдете человека с таким неистощимым красноречием? Я спрашиваю вас, господа, разве он не мог бы сидеть в древности на треножнике и прорицать без конца, лишь бы ему давали побольше джина с водой за общественный счет?

Мистер Пинч с обычной кротостью собирался было что-то возразить на последнее замечание Тигга, но, увидев, что его товарищ уже сошел с лестницы, двинулся за ним.

— Разве вы уже уходите, мистер Пинч? — спросил Тигг.

— Да, благодарю вас,— ответил Том.— Пожалуйста, не провожайте меня.

— А мне, знаете ли, хотелось бы сказать вам два слова наедине, мистер Пинч,— сказал Тигг, не отставая от него.— Одна минутка в кегельбане, проведенная в вашем обществе, весьма облегчила бы мне душу. Смею ли просить вас о таком одолжении?

— Да, разумеется,— ответил Том,— если вы этого желаете.— И он последовал за мистером Тиггом в названное им убежище; добравшись туда, сей джентльмен извлек из своей шляпы что-то похожее на остатки допотопного носового платка и вытер себе глаза.

— Сегодня вы видели меня,— сказал мистер Тигг,— в невыгодном свете.

— Не будем говорить об этом,— сказал Том,— прошу вас.

— Да, да, в невыгодном! — воскликнул мистер Тигг.— Я на этом настаиваю. Если бы вам довелось видеть меня перед моим полком на африканском побережье, во главе атакующего каре, с детьми, женщинами и полковой казной посередине, вы бы меня просто не узнали. Тогда вы почувствовали бы ко мне уважение, сэр.

У Тома Пинча были свои понятия о том, что такое доблесть, и потому эта картина не так его потрясла, как хотелось бы мистеру Тиггу.

— Впрочем, не беда! — воскликнул этот джентльмен.— Один школьник в письме к родителям, описывая чай с молоком, которым его угощают, выразился так: «Это сплошная слабость». Повторяю эти слова, относя их к самому себе в настоящее время, и прошу у вас извинения. Сэр, вы видели моего друга Слайма?

— Конечно, видел,— сказал мистер Пинч.

— Сэр, мой друг Слайм произвел на вас впечатление?

— Не очень приятное, должен сказать,— ответил Том после некоторого колебания.

— Я огорчен, но не удивляюсь,— воскликнул Тигг, хватая его за оба лацкана,— ибо вы пришли к тому же заключению, что и я. Однако, мистер Пинч, хотя я человек грубый и легкомысленный, я уважаю Разум. Следуя за моим другом, я выказываю уважение к Разуму. К вам, предпочтительно перед всеми людьми, обращаюсь я, мистер Пинч, от лица Разума, который не может отвоевать себе место под солнцем. Итак, сэр, не ради себя,— я не имею к вам притязаний,— но ради моего друга, сокрушенного горем, чувствительного и независимого друга, который их имеет,— я прошу у вас взаймы три полкроны, решительно и не краснея. Прошу, ибо имею на это право. А если я прибавлю, что они будут возвращены вам по почте не далее как на этой же неделе, то я предчувствую, что вы меня даже осудите за эту меркантильную оговорку.

Мистер Пинч достал из кармана старомодный кошелек красной кожи со стальным замочком, вероятно принадлежавший когда-то его покойной бабушке. В нем был один полусоверен и ничего больше. Все богатство Тома до следующей четверти года.

— Одну минуту,— воскликнул мистер Тигг, зорко следивший за этой процедурой.— Я только что хотел сказать, чтобы вы лучше дали эти деньги золотом, для удобства пересылки. Благодарю вас. Адресовать, я думаю, мистеру Пинчу в доме мистера Пекснифа — так дойдет?

— Дойдет, конечно,— сказал Том.— Пожалуйста, не забудьте прибавить «эсквайр» к фамилии мистера Пекснифа *, это будет лучше. На мое имя, знаете ли, в доме Сета Пекснифа эсквайра.

— Сета Пекснифа эсквайра,— повторил мистер Тигг, старательно записывая адрес огрызком карандаша.— Мы, кажется, говорили — на этой неделе?

— Да, но можно и в понедельник,— заметил Том.

— Нет, нет, уж извините. В понедельник никак нельзя,— сказал мистер Тигг.— Если мы условились на этой неделе, значит суббота последний день. Ведь мы условились на этой неделе?

— Ну, если вы уж так хотите,— сказал Том,— пускай будет на этой.

Мистер Тигг приписал эти условия к своей памятке, сурово нахмурившись, прочел про себя запись и, для большей солидности и деловитости, скрепил ее своими инициалами. Покончив с этим, он заверил мистера Пинча, что теперь все в полном порядке, и, пожав ему руку с большим чувством, удалился.

У Тома имелись весьма основательные опасения насчет того, что Мартин будет вышучивать эти переговоры, и ему хотелось на время избежать его общества. Поэтому он прогулялся несколько раз взад и вперед по кегельбану и вошел в дом только после ухода мистера Тигга с приятелем, как раз в ту минуту, когда Марк с новым учеником смотрели на них в окно.

— Я только что говорил, сэр, что если бы можно было этим прокормиться,— заметил Марк, указывая пальцем вслед недавним гостям,— вот самое подходящее для меня место. Служить таким молодчикам, сэр, это будет почище, чем копать могилы.

— А еще того лучше — оставайтесь здесь, Марк,— отвечал Том.— Послушайтесь моего совета: оставайтесь в тихой пристани.

— Теперь уже поздно слушаться, сэр,— сказал Марк.— Я объявил ей. Уезжаю завтра утром.

— Уезжаете! — воскликнул мистер Пинч.— Куда же?

— В Лондон, сэр.

— Что же вы там будете делать? — спросил мистер Пинч.

— Ну, я еще и сам не знаю, сэр. В тот день, когда я вам открылся, ничего не подвернулось подходящего. О каком занятии ни подумаю, все уж очень легко,— что за честь быть веселым при такой работе. Наняться, что ли, к кому-нибудь в услужение, сэр? Может, какое-нибудь очень строгое семейство пришлось бы мне по плечу, мистер Пинч?

— А может быть, вы, Марк, пришлись бы не ко двору в очень строгом семействе?

— Возможное дело, сэр. Ежели бы я попал к каким-нибудь особо придирчивым хозяевам, я бы еще мог показать себя; да ведь как это узнаешь наперед, нельзя же напечатать в газетах, что вот-де молодой человек желает поступить в услужение и не столько гонится за жало-

ваньем, сколько за придирчивыми хозяевами; ведь этого нельзя, сэр?

— Да, пожалуй,— сказал мистер Пинч,— мне тоже кажется, что нельзя.

— Завистливое семейство,— продолжал Марк в раздумье,— или сварливое семейство, или зложелательное семейство, или, на худой конец, очень уж прижимистое семейство,— вот тут я еще мог бы показать себя. Кто бы мне подошел больше всякого другого, так это тот старый джентльмен, что захворал у нас; ну и характерец, честное слово! Да что уж тут, подождем — увидим, авось что и подвернется, буду надеяться на самое худшее, сэр.

— Значит, вы твердо решили уехать? — спросил мистер Пинч.

— Сундук мой уже уехал с фургоном, сэр, а сам я уйду пешком завтра поутру и сяду в дилижанс, когда он меня нагонит по дороге. Позвольте пожелать вам всего лучшего, мистер Пинч, и вам тоже, сэр,— будьте здоровы и счастливы!

Друзья со смехом пожелали ему того же и отправились домой рука об руку; по дороге мистер Пинч рассказал Мартину о беспокойном и странном нраве Марка Тэпли — все то, что уже известно читателю.

Тем временем Марк, предвидя, что его хозяйка находится в сильном расстройстве чувств и что сам он вряд ли может отвечать за последствия длительной беседы с глазу на глаз, старался, как только мог, не встречаться с нею в продолжение всего дня и вечера. Этой его тактике весьма способствовало большое стечение посетителей в «Синем Драконе», ибо после того как разнесся слух об отъезде Марка, в распивочной весь вечер толокся народ, и гости усердно пили за его здоровье, то и дело чокаясь кружками. Наконец двери заперли на ночь, и Марк, видя, что теперь ему не отвертеться, собрался с духом и решительной походкой направился к дверям распивочной.

«Стоит мне только взглянуть на нее,— говорил себе Марк,— и я пропал. Чувствую, что тут мне и крышка!»

— Наконец-то явился,— приветствовала его миссис Льюпин.

— Да уж, явился вот,— сказал Марк.

— Значит, вы нас покидаете, Марк? — спросила миссис Льюпин.

— Да ведь что ж, приходится,— отвечал Марк, уставясь в землю.

— А я-то думала,— говорила хозяйка, проявляя самую пленительную застенчивость,— что вы... привязались... к «Дракону»...

— Я и то привязался,— сказал Марк.

— Тогда,— вполне резонно продолжала хозяйка,— зачем же вы его покидаете?

Но на этот вопрос Марк и вовсе не ответил, даже после того как его повторили, и потому миссис Льюпин, передавая ему жалованье из рук в руки, спросила — не то чтобы неласково, нет, нет, совсем наоборот,— чего бы ему больше хотелось?

Всем известно, что есть вещи, которых живой человек не в силах вытерпеть. Такой вопрос, как этот, заданный таким порядком, в такое время и такой женщиной, следовало отнести именно к этой категории, по крайней мере поскольку дело касалось Марка. Он невольно поднял глаза, а подняв их однажды, уже не мог опустить, ибо сколько ни есть на свете полных, румяных, веселых, ясноглазых хозяек с ямочками на щеках — воплощение всего самого лучшего в них, самый, так сказать, цвет и совершенство среди хозяек стояло сейчас перед Марком.

— Вот что я вам скажу,— начал Марк, мигом сбрасывая с себя всякое замешательство и обнимая хозяйку за талию, отчего она нисколько не встревожилась, зная, какой он славный малый.— Если бы я думал только о том, чего мне хочется, я выбрал бы вас. Если бы я думал о себе, о том, что для меня всего лучше, я выбрал бы вас. Если бы я выбрал то, что с радостью выбрали бы девятнадцать человек из двадцати, не пожалев отдать за это жизнь, я выбрал бы вас. Да, вас! — воскликнул мистер Тэпли, выразительно тряхнув головой и, позабывшись на минуту, уставился пристальным взглядом на сочные губки миссис Льюпин.— И ни один мужчина не удивился бы моему выбору!

Миссис Льюпин ответила, что он ее изумляет. Она просто поражается, как он может говорить такие слова. Она никак этого от него не ожидала.

— Да я и сам от себя этого не ожидал,— сказал Марк, поднимая брови с радостно-изумленным выражением.— До сих пор я думал, что нам с вами надо расстаться без всяких объяснений; я и хотел только проститься, для того и пришел сейчас; а это в вас самих есть что-то такое, что заставляет человека говорить и думать по-честному. Давайте поговорим, только, знаете ли, условимся наперед,— это он прибавил уже нисколько не шутя, чтобы ошибиться было решительно невозможно,— ухаживать за вами я не буду, этого вы не бойтесь.

На одну только секунду легкая тень — самая легкая и ни в коем случае не мрачная — промелькнула в ясных глазах хозяйки. Но она сейчас же рассеялась в смехе, идущем от самого сердца.

— Чего уж лучше! — сказала она.— Только если вы не собираетесь за мной ухаживать, так уберите руку прочь.

— Господи, это еще зачем? — спросил Марк.— Ничего плохого тут нет.

— Конечно, нет,— возразила хозяйка,— а не то я бы не позволила.

— Вот и прекрасно,— заметил Марк.— Тогда пускай рука остается на месте.

Это было так резонно, что хозяйка опять засмеялась и, не отводя его руки, велела ему говорить все, что он собирался сказать, но только поскорее. А все-таки он бессовестный малый, прибавила она.

— Ха-ха! Я и сам так думаю,— воскликнул Марк,— а раньше это мне и в голову не приходило. Сегодня я могу сказать все что угодно.

— Ну, коли хочется, так говорите, что вы там собирались сказать, только поживее,— отвечала хозяйка,— а то мне спать пора.

— Вот что, милая вы моя голубушка,— начал Марк,— потому что милее вас никогда еще не было на свете женщины,— пускай кто-нибудь попробует сказать, что была! — подумайте, что может выйти, если мы с вами...

— Ах, пустяки какие! — перебила его миссис Льюпин.— И не поминайте про это больше.

— Нет, нет, не пустяки,— отвечал Марк,— вы все-таки послушайте. Что может выйти, если мы с вами по-

женимся? Раз я не могу быть счастлив и доволен теперь, в этом веселом «Драконе», можно ли ожидать, что я буду доволен тогда? Ни в коем случае. Очень хорошо. А значит вы, даже при вашем ровном характере, будете вечно тосковать и тревожиться, вечно душа у вас будет не на месте, все станете думать, не слишком ли вы постарели на мой взгляд, все вам будет чудиться, что я словно цепью прикован к порогу «Дракона» и рвусь на свободу. Не знаю, так ли оно будет, или не так,— продолжал Марк,— а только я непоседа, и это мне известно. Люблю перемены. Мне все думается, что при моем крепком здоровье и веселом нраве больше было бы для меня чести веселиться и шутить там, где все наводит на человека грусть. Может, это с моей стороны ошибка, понимаете ли, только уж ее ничем не исправить, разве только испытать на деле, как оно получится. Так не лучше ли мне уехать, особенно после того как вы, не чинясь, помогли мне все это сказать, и мы можем расстаться добрыми друзьями, какими были с того дня, когда я впервые ступил на порог вот этого благородного «Дракона», которого,— заключил Марк,— я не перестану любить и почитать до самой моей смерти!

Хозяйка притихла ненадолго, но очень скоро встрепенулась, взяла Марка за обе руки и ласково их пожала.

— А все дело в том, что вы хороший человек,— сказала она, глядя ему в лицо с улыбкой, которая для нее была, пожалуй, несколько грустна.— И я думаю, что лучшего друга у меня никогда в жизни не было.

— Ну, что до этого,— отвечал Марк,— так это, знаете ли, пустяки. Боже ты мой, господи,— прибавил он, глядя на хозяйку восхищенными глазами,— но если вы и вправду так думаете, какое множество выгодных женихов вы доведете до отчаяния!

При этих лестных словах она опять засмеялась, еще раз пожала ему обе руки, попросив вспомнить о ней, когда ему понадобится друг, и, быстро отвернувшись, побежала вверх по узенькой лестнице.

— И еще напевает на ходу,— сказал Марк, прислушиваясь,— чтобы я, чего доброго, не подумал, будто она огорчена, и не повесил бы носа. Да, оказывается, не легкое это дело быть веселым, прямо скажу.

И с этой утешительной мыслью, высказанной весьма унылым тоном, он отправился спать, в настроении, которое никак нельзя было назвать веселым.

На другое утро он поднялся спозаранку и вышел из дому с первыми лучами солнца. Однако это не помогло: вся улица встала, чтобы проводить Марка Тэпли; мальчишки, собаки, маленькие дети, старики, занятые люди и бездельники — все были тут, все кричали: «Прощай, Марк!» — каждый на свой лад, и все жалели, что он уезжает. Неизвестно по какой причине, ему все казалось, что его бывшая хозяйка тоже смотрит украдкой из окна своей спальни, но он никак не мог набраться духу и оглянуться назад.

— Прощай и ты, и все прощайте! — говорил Марк, размахивая надетой на палку шляпой и быстро шагая по узенькой улице.— Отличные ребята эти колесники — ура! А вот и мясникова собака выбегает из палисадника — тубо, дружок! Вон и мистер Пинч пошел играть на органе — прощайте, сэр! И такса из дома напротив тоже тут.— Ну, ну, будет тебе, старуха! И ребятишек видимо-невидимо, хватит для поддержания рода человеческого на веки вечные.— Прощайте, мальчики и девочки! Вот уж это делает мне честь. Наконец-то нашлось хоть что-нибудь мне по плечу. Обыкновенному человеку в таких обстоятельствах пришлось бы куда как плохо, ну, а я человек веселый, хотя и не так весел, как хотелось бы, а все-таки около того. Прощайте, прощайте!

## ГЛАВА VIII

*сопровождает мистера Пекснифа и его прелестных дочерей в город Лондон и повествует о том, что произошло с ними по дороге*

Когда мистер Пексниф и обе молодые особы сели в дилижанс на перекрестке, он оказался совсем пустым внутри, что было весьма утешительно, в особенности потому, что снаружи все было полно и пассажиры, видимо, порядком промерзли. Ибо, как справедливо заметил ми-



стер Пексниф своим дочерям, зарыв ноги поглубже в солому, закутавшись до самого подбородка и подняв оба окна, в холодную погоду всегда приятно бывает знать, что многим другим людям далеко не так тепло, как нам самим. И это, сказал он, вполне естественно и как нельзя более разумно не только в отношении дилижансов, но также и многих других общественных установлений.— Ибо,— заметил он,— если бы все были сыты и тепло одеты, мы лишились бы удовольствия восхищаться той стойкостью, с которой иные сословия переносят голод и холод. А если бы нам жилось не лучше, чем всем прочим, что сталось бы с нашим чувством благодарности, которое,— со слезами на глазах произнес мистер Пексниф, показывая кулак нищему, собиравшемуся прицепиться сзади кареты,— есть одно из самых святых чувств нашей низменной природы.

Дочери слушали эти высоконравственные наставления, исходившие из родительских уст, с подобающим почтением, выражая свое согласие улыбкой. Чтобы лучше поддерживать и лелеять священное пламя благодарности в своей груди, мистер Пексниф обратился к старшей дочери и побеспокоил ее просьбой передать ему бутылку с бренди, хотя путешествие только еще начиналось. И, приложившись к узкому горлышку сосуда, он довольно основательно подкрепился.

— Что мы такое? — вопросил мистер Пексниф,— как не дилижансы? Одни из нас еле-еле плетутся...

— Господи, что это вы, папа! — воскликнула Чарити.

— Одни из нас, говорю я, еле-еле плетутся,— повторил ее родитель, одушевляясь все более,— другие, наоборот, мчатся на перекладных. Наши страсти — это лошади, и притом необузданные!

— Ну что вы это, папа! — воскликнули обе дочери в один голос.— Даже слушать неприятно.

— Да, необузданные! — повторил мистер Пексниф так решительно, что в эту минуту, можно сказать, сам проявил некоторую моральную необузданность.— Добродетель — наш тормоз. Мы отправляемся в путь из «Материнских объятий» и доезжаем до «Лопаты могильщика».

Тут силы мистера Пекснифа истощились, и он был вынужден снова подкрепиться. Подкрепившись, он

плотно заткнул сосуд пробкой, с таким видом, будто затыкал фонтан красноречия, исчерпав предмет беседы, после чего заснул на целых три перегона.

Люди, засыпая в дилижансе, имеют обыкновение просыпаться не в духе, чувствуя, что ноги у них затекли, а мозоли ноют, как никогда. Мистер Пекснпф, не будучи избавлен от общей для всех смертных участи, почувствовал себя после легкой дремоты жертвой этих немощей до такой степени, что не в силах был противиться искушению выместить свои страдания на дочерях, и уж начал было лягаться и производить ногами разные другие неожиданные движения, как вдруг дилижанс остановился, и после некоторой задержки дверца его отворилась.

— Ну, так смотрите же,— произнес в темноте чей-то резкий, пронзительный голос.— Мы с сыном садимся внутрь, потому что на империале все полно, но вы согласились взять с нас ту же цену, что и за наружные места. Решено и подписано, мы дороже не заплатим. Так, что ли?

— Ладно, сэр,— ответил кондуктор.

— Внутри кто-нибудь есть? — осведомился тот же голос.

— Трое пассажиров,— сообщил кондуктор.

— Тогда я попрошу этих трех пассажиров засвидетельствовать нашу сделку, если они будут настолько любезны,— сказал тот же голос.— Ну, сынок, а теперь, я думаю, мы можем садиться, ничего не опасаясь.

И в соответствии с этими словами два пассажира заняли места в дилижансе, которому парламентским актом торжественно разрешалось перевозить до шести человек, при условии если они окажутся налицо.

— Вот это повезло! — прошептал старик, когда дилижанс тронулся с места.— Это ты ловко сообразил. Хи-хи-хи! Да мы бы и не могли ехать снаружи. Я бы умер от ревматизма!

Пришло ли в голову почтительному сыну, что он несколько перестарался, заботясь о продлении родительской жизни, или холод испортил ему настроение, неизвестно. Только вместо ответа он угостил своего папашу основательным толчком в бок, отчего добрый старик раскашлялся на целых пять минут без перерыва и довел мистера

Пекснифа до такой степени раздражения, что у того вырвалось наконец — и совершенно неожиданно:

— Нет места! В этом дилижансе нет места для джентльмена с такой простудой!

— Это у меня не простуда,— ответил старик после некоторого молчания,— это у меня грудной кашель, Пексниф.

Голос и манера говорить, невозмутимое спокойствие говорившего, присутствие сына и знакомство с мистером Пекснифом — все это взятое вместе помогло определить личность незнакомца настолько, что никакая ошибка была невозможна.

— Гм! Я думал, что адресуюсь к незнакомцу,— заметил мистер Пексниф, возвращаясь к обычной своей кротости.— А оказывается, я адресуюсь к родственнику. Пусть мистер Энтони Чезлвит и сын его мистер Джонас,— это они, дорогие мои дети, путешествуют с нами,— извинят меня за резкие, по-видимому, слова. В мои намерения не входило оскорблять чувства людей, связанных со мною родственными узами. Я, может быть, и лицемер,— ядовито заметил мистер Пексниф,— но все-таки не скотина.

— Ну-ну! — сказал старик.— Что в этом слове такого особенного, Пексниф? Подумаешь, лицемер! Да мы и все лицемеры. Кто из нас в тот день не лицемерил? Если б я не думал, что мы все стóим друг друга, я бы вас не обозвал этим словом. Да мы бы тогда и не собрались вместе, если бы не были лицемерами. Единственная разница между вами и всеми остальными...— хотите я вам сейчас скажу, в чем разница между вами и всеми остальными?

— Если вам угодно, уважаемый сэр, если вам угодно.

— Вот ведь что в вас всего досаднее,— продолжал старик,— никогда у вас нет ни союзников, ни товарищей в ваших плутнях; вы всякого проведете, даже и того, кто сам на эти дела мастер, а держитесь так, будто бы вы — хи-хи-хи! — будто бы вы и сами себе верите. Я бы мог держать пари на изрядную сумму,— продолжал старик,— если бы я вообще держал пари, только я этого никогда не делал и не сделаю,— что вы даже перед родными дочерьми ломаете комедию и разыгрываете святого. А я вот, если задумал какое-нибудь дельце, сейчас же все

рассказываю Джонасу, и мы вместе его обсуждаем. Вы на меня не обиделись, Пексниф?

— Помилуйте, уважаемый сэр! — воскликнул мистер Пексниф таким тоном, как будто выслушал самый лестный комплимент, какой только можно себе представить.

— В Лондон направляетесь, мистер Пексниф? — спросил сын.

— Да, мистер Джонас, в Лондон. Надеюсь, мы будем иметь удовольствие всю дорогу ехать в вашем обществе?

— Ну, ей-богу, на этот счет вы уж лучше спросите папашу,— сказал Джонас.— Я не хочу проговариваться. А то как бы чего не вышло.

Мистера Пекснифа, надо сказать, очень развеселил такой ответ. Когда его веселье несколько приутихло, мистер Джонас дал ему понять, что они с родителем действительно едут к себе домой, в столицу, и что они находятся в этих местах со дня достопамятного семейного собрания, имея в виду некоторое небезвыгодное помещение капитала, ради чего они и прибыли сюда, ибо, как сообщил мистер Джонас, у них с папашей в обычае, ежели есть такая возможность — подшибать одним камнем двух воробьев сразу и бросать кильку в воду только в том случае, если есть надежда поймать на нее кита. Сообщив эти скудные, но содержательные сведения, Джонас сказал, что «если Пекснифу все равно, он пересадит его к папаше, а сам поболтает с барышнями», и, во исполнение этого учтивого намерения, освободив место рядом с почтенным старичком, устроился в уголке напротив, бок о бок с прелестной мисс Мерси.

Воспитание мистера Джонаса было самое строгое и с колыбели имело в виду главным образом корысть. Первое слово, которое он научился складывать, было «деньги», а второе (когда он добрался до трехсложных слов) — «нажива». В этом воспитании не было бы, можно сказать, ничего предосудительного, если бы не два минуса, которых заблаговременно никоим образом не мог предусмотреть его дальновидный родитель. Одним из этих минусов было то, что, выучившись у папаши водить за нос кого угодно, Джонас приобрел склонность водить за нос и самого почтенного наставника. А второй заключался в том, что, еще смолоду привыкнув на все смо-

треть с точки зрения собственника, он и на своего родителя мало-помалу перенес этот взгляд и не без досады усматривал в нем известного рода личное достояние, которое не имеет никакого права разгуливать на свободе, а подлежит заключению в особого рода железный сейф, именуемый в просторечии гробом, и сдаче на хранение за кладбищенскую ограду.

— Ну, сестрица,— сказал мистер Джонас,— ведь мы с вами родня все-таки, хоть и седьмая вода на киселе... Так, значит, вы едете в Лондон?

Мисс Мерси ответила утвердительно и тут же, ущипнув старшую сестру за плечо, принялась хихикать без удержу.

— В Лондоне кавалеров видимо-невидимо, сестрица! — сказал мистер Джонас, слегка прикасаясь к ней локтем.

— Ну и что ж такого! — воскликнула молодая девушка.— Не съедят же они нас, я думаю! — Она произнесла это, сильно жеманясь, и, будучи больше не в силах бороться с душившим ее смехом, уткнулась в сестрину шаль.

— Мерри! — воскликнула эта более рассудительная особа.— Право, мне стыдно за тебя! Что с тобой делается, шальная ты девчонка? — В ответ на что мисс Мерри, конечно, расхохоталась еще сильнее.

— Я еще в тот день заметил, что глаза у нее шалые,— сказал мистер Джонас, обращаясь к Чарити.— Зато вы сидите смирно! И в тот раз примерно себя вели, сестрица!

— Ох, старомодное чучело! — шептала Мерри, давясь от смеха.— Черри, милая, садись-ка лучше ты рядом с ним, право. Если он со мной будет еще разговаривать, я помру тут же, не сходя с места; честное слово, помру!

С этими словами резвое создание соскочило со своего места и тут же, во избежание такого фатального исхода, усадило сестру рядом с кузеном.

— Не бойтесь стеснить меня,— сказал мистер Джонас.— Я даже люблю, когда меня притиснут барышни. Садитесь еще поближе, сестрица.

— Нет, благодарю вас,— сказала Чарити.

— А та, другая, опять смеется,— сказал мистер Джонас,— над моим папашей, должно быть. И, ей-богу, не

удивительно. А если он еще наденет свой старый ночной колпак, я уж и не знаю, что с ней сделается! Это не мой папаша храпит, мистер Пексниф?

— Да, мистер Джонас.

— Наступите ему на ногу, будьте так любезны,— попросил молодой джентльмен.— Подагра у него на той ноге, что поближе к вам.

Так как мистер Пексниф не сразу решился оказать старику эту дружескую услугу, мистер Джонас взялся за дело сам, в то же время крикнув отцу в самое ухо:

— Ну, проснись же, папаша, а не то опять вас будет душить во сне; я уж знаю, опять завопите. Вас когда-нибудь душило во сне, сестрица? — понизив голос, спросил он свою соседку с присущей ему галантностью.

— Случается иногда,— ответила Чарити.— Не очень часто.

— А ту, другую? — спросил мистер Джонас, помолчав.— Ее когда-нибудь душит во сне?

— Не знаю,— ответила Чарити.— Спросите у нее лучше сами.

— Она так смеется,— сказал Джонас,— нет никакой возможности с ней разговаривать. Вы только послушайте, как заливается! А вот вы такая благоразумная, сестрица!

— Ах, что вы! — воскликнула Чарити.

— Ну да! Вы и сами это знаете.

— Мерси немножко ветрена,— сказала мисс Чарити.— Но она образумится со временем.

— Времени-то уж очень много на это уйдет, если даже и образумится,— возразил ее кузен.— Придвигайтесь поближе, места хватит.

— Я боюсь вас стеснить,— сказала Чарити. Но все-таки придвинулась поближе, и, перекинувшись двумя-тремя словами насчет того, как медленно ползет дилижанс и как много на пути остановок, они впали в молчание, которое не нарушалось уже никем из собеседников до самого ужина.

Хотя мистер Джонас вел Чарити под ручку в гостиницу и сидел рядом с ней за столом, было совершенно ясно, что он не упускает из виду и «ту, другую», так как он частенько поглядывал на Мерри, сидевшую напротив, должно быть сравнивая, которая из двух лучше, и отда-

вал явное предпочтение младшей сестре, как более пухленькой. Однако он не позволил себе тратить много времени на такого рода наблюдения и вплотную занялся ужином, который, как он сообщил на ухо своей прелестной соседке, тоже входил в цену билета, и, значит, чем больше она будет есть, тем дешевле это обойдется. Его отец и мистер Пексниф, действуя, вероятно, на основании того же мудрого правила, уничтожали без остатка все, что только было под рукой, отчего физиономии у них несколько позамаслились и приобрели довольное, чтобы не сказать сытое, выражение, так что смотреть на них было как нельзя более приятно.

Когда мистер Пексниф и мистер Джонас уже не могли больше есть, они заказали себе по две порции горячего бренди с водой — шесть пенсов за порцию,— что́ второй из джентльменов считал более выгодным, чем заказывать сразу одну порцию за шиллинг, ибо так хозяину легче было ошибиться и налить спиртного больше, чем он налил бы в один стакан. Проглотив свою долю живительной влаги, мистер Пексниф, под предлогом будто идет посмотреть, не готов ли дилижанс, успел потихоньку наведаться в бар и налить доверху собственную бутылочку, чтобы потом незаметно подкрепляться на досуге в темном дилижансе.

Как только со всеми этими приготовлениями было покончено и дилижанс был подан, они сели на свои старые места и затряслись дальше. Но прежде чем задремать, мистер Пексниф произнес нечто вроде послеобеденной молитвы:

— Процесс пищеварения, насколько я слышал от моих друзей-медиков, есть одно из самых изумительных явлений природы. Не знаю, как другим, а мне доставляет большое удовлетворение знать, что, вкушая мою скромную пищу, я привожу в действие прекраснейший из механизмов, какие нам только известны. У меня при этом бывает такое чувство, будто я оказываю услугу всему обществу. После того как я себя завел, если можно так выразиться,— произнес мистер Пексниф с самой пленительной нежностью в голосе,— и знаю, что механизм действует,— я, постигая назидательный смысл пищеварения, чувствую себя благодетелем человечества.

Так как прибавить к этому было нечего, то все молчали; а мистер Пекснниф, надо полагать, радуясь тому, что приносит человечеству моральную пользу, задремал снова.

Вся остальная ночь прошла обычным порядком. Мистер Пексниф и старик Энтони то и дело толкали один другого и просыпались в испуге или, привалившись во сне головой к противоположным углам дилижанса, расписывали свои сонные физиономии самой удивительной татуировкой, бог их знает, каким образом. Дилижанс останавливался и ехал, ехал и останавливался, и так продолжалось без конца. Одни пассажиры входили, другие выходили, свежих лошадей впрягали, выпрягали и опять впрягали, без малейшего перерыва — как казалось тем, кто дремал, и с перерывами чуть ли не во всю ночь — как казалось тем, кто не сомкнул глаз ни на минуту. Наконец дилижанс начал подскакивать и громыхать по неровному булыжнику, и мистер Пексниф, выглянув в окно, объявил, что наступило утро и они приехали.

Вскоре после этого дилижанс остановился у городской конторы; улица, где она находилась, была уже полна народом, что как нельзя более подтверждало слова мистера Пекснифа насчет того, что наступило утро; хотя, судя по тому, что на небе не было заметно ни малейших проблесков света, вполне могла быть и полночь. Стоял, кроме того, густой туман,— словно это был город в облаках, куда они добрались за ночь по волшебному бобовому стеблю; * а мостовую покрывала толстая корка, похожая на жмыхи, про которую один из пассажиров на империале (без сомнения, сумасшедший) сказал другому (должно быть, сторожу при нем), что это снег.

Наскоро простившись с Энтони и его сыном и оставив весь багаж в конторе, с тем чтобы зайти за ним после, мистер Пексниф, ведя под руки обеих девиц, перебрался через улицу, потом через другую, через третью, потом пустился дальше, сворачивая то направо, то налево, в какие-то странные двери и глухие переулки, ныряя в какие-то подворотни; он то перепрыгивал через канаву, то шарахался от кареты четверней, то терял дорогу, то опять находил ее, то шествовал в высшей степени уверенно, то окончательно падал духом, все время волнуясь так, что

прошибала испарина, и, наконец, остановился на мощенной булыжником площадке вблизи от Монумента *. То есть так сказал мистер Пексниф, а что касается того, чтобы увидеть самый Монумент или хоть что-нибудь кроме домов, стоявших совсем рядом, то девицы видели не больше, чем если бы играли в жмурки у себя в Солсбери.

Мистер Пексниф сначала огляделся по сторонам, а потом постучался в дверь очень грязного дома, выделявшегося даже среди отборной коллекции грязных домов по соседству, на фасаде которого красовалась небольшая овальная вывеска, похожая на чайный поднос, с надписью: «Коммерческий пансион М. Тоджерс».

По-видимому, у М. Тоджерс никто еще не вставал, потому что мистер Пексниф постучал дважды и позвонил трижды, не произведя впечатления ни на кого, кроме собаки на той стороне улицы. В конце концов загремела цепь и засовы отодвинулись с таким ржавым скрипом, словно от холодной погоды охрипли даже запоры; и на пороге появился маленький мальчик с большой рыжей головой, таким крошечным носом, что о нем не стоит и говорить, ибо это был не нос, а чистейшее недоразумение, и очень грязным веллингтоновским сапогом *, надетым на левую руку; увидев приезжих, он озадаченно потер вышеупомянутый нос сапожной щеткой и ничего не сказал.

— Еще спят, любезный? — спросил мистер Пексниф.

— Спят! — отвечал мальчик. — Хотел бы я, чтобы они спали. Очень уж сон у них шумный: все разом требуют свои сапоги. Я было подумал, что это газета, и удивился, почему ее не просунули, как всегда, в окошечко. Вам чего надо?

Принимая во внимание нежный возраст юнца, можно сказать, что этот вопрос был задан очень строго и даже с некоторым вызовом. Однако мистер Пексниф, нисколько не оскорбившись таким поведением мальчика, сунул ему в руку свою визитную карточку и попросил отнести наверх, а их пока проводить в какую-нибудь комнату, где топится камин.

— Хотя, если разведен огонь в столовой, — сказал мистер Пексниф, — я и сам найду дорогу. — И без дальнейших слов он повел дочерей в комнату нижнего этажа, где стол был уже накрыт к завтраку скатертью (довольно

узкой и короткой, едва доходившей до краев), и на нем красовалось большое блюдо разваренной докрасна говядины, образчик хлебной ковриги того сорта, который известен хозяйкам под названием «сеяного мягкого четырехфунтового», и немалое количество чашек и блюдечек со всеми обычными дополнениями.

За каминной решеткой лежало пар шесть ботинок и сапог разных размеров, только что вычищенных и перевернутых подошвой кверху для просушки, и пара коротких черных гетр; на одной из них кто-то из джентльменов — очевидно большой шутник, который нарочно для этого спустился вниз, временно прервав свой туалет,— начертал мелом: «Гордость Джинкинса»; а на другой подошве был нарисован профиль, претендовавший на сходство с самим Джинкинсом.

Коммерческий пансион М. Тоджерс помещался в доме, где, судя по всему, и всегда-то было темно, а в это утро особенно. В коридоре стоял какой-то странный запах, как будто весь аромат обедов, которые варились на кухне со дня построения дома, сгустился на черной лестнице и, подобно призраку монаха в «Дон-Жуане», «отсель не уходил». В особенности сильно давала себя знать капуста; да и вообще все овощи, которые здесь варились, принадлежали к разряду вечнозеленых и благоухали с неувядаемой силой. В обшитой панелями гостиной свежий человек инстинктивно и как бы по наитию свыше догадывался о присутствии крыс и мышей. Лестница была очень мрачная и очень широкая, с такими толстыми и прочными перилами, что они годились бы даже для моста. В темном углу на первой площадке стояли неуклюжие старые часы гигантского роста, увенчанные дурацкой короной из трех медных шариков; этих часов почти никто не замечал, и уж решительно никто не глядел на циферблат, так что если они не прекращали своего глухого тиканья, то только предосторожности ради,— единственно для того, чтобы какой-нибудь рассеянный человек не натолкнулся на них случайно. Так как этот дом с первых дней существования пансиона М. Тоджерс ни разу не перекрашивался и не переклеивался, то лестница сильно почернела, покрылась копотью и осклизла. Вверху, над лестничной клеткой, находился дряхлый, безобразный с виду, еле живой и весь

расшатанный стеклянный люк, чиненный и перечиненный на все лады, который подозрительно глядел сверху на все, что происходило внизу, и прикрывал собой пансион, как будто это был особого рода парник, в котором могли произрастать только овощи особого сорта.

Мистер Пексниф со своими прелестными дочками не простоял и десяти минут, греясь перед огнем, как на лестнице послышались шаги, и в комнату вошло верховное божество этого заведения.

М. Тоджерс была дама, и довольно-таки сухопарая дама, с резкими чертами и целым рядом кудряшек на лбу, напоминавших маленькие пивные бочоночки, прикрытые сверху чем-то вроде сетки, которая смахивала не то что на чепец, а скорее на черную паутину. На руке у нее была маленькая плетеная корзиночка со связкой ключей, которые позвякивали на ходу. В другой руке она держала горящую сальную свечу. Разглядев при ее свете мистера Пекснифа, миссис Тоджерс сейчас же поставила подсвечник на стол, чтобы ничто не мешало ей принять гостя со всей подобающей сердечностью.

— Мистер Пексниф! — воскликнула миссис Тоджерс.— Добро пожаловать в Лондон! Кто бы мог ожидать такого визита после стольких — о боже мой, боже! — после стольких лет! Как же вы поживаете, мистер Пексниф?

— Не хуже, чем всегда, и, как всегда, рад вас видеть,— ответствовал мистер Пексниф.— Да как же вы помолодели!

— Вот вы так помолодели, по-моему,— сказала миссис Тоджерс.— Ничуть не переменились.

— А что вы скажете вот на это? — воскликнул мистер Пексниф, простирая руку к обеим девицам.— Разве это меня не старит?

— Неужели ваши дочки? — воскликнула миссис Тоджерс, воздевая руки кверху и молитвенно складывая их.— Не может быть, мистер Пексниф! Это, верно, ваша вторая жена со своей подружкой!

Мистер Пексниф снисходительно улыбнулся и, покачав головой, сказал:

— Мои дочери, миссис Тоджерс. Всего только дочери.

— Ах! — вздохнула эта добрая женщина.— Прихо-

дится верить вам на слово, потому что вот теперь гляжу и думаю, что узнала бы их где угодно. Милые мои мисс Пексниф, как же обрадовал меня ваш папа!

Она обняла обеих девиц и от избытка чувств, а может быть под влиянием утреннего холода, выдернула из маленькой корзиночки маленький носовой платок и приложила его к лицу.

— Сударыня,— сказал мистер Пексниф,— мне известны правила вашего заведения, а также и то, что вы принимаете только постояльцев-мужчин. Но я подумал, что, может быть, для моих дочерей найдется место в вашем доме, что для них вы, может быть, сделаете исключение.

— Может быть? — с чувством произнесла миссис Тоджерс.— Может быть?

— Ну, тогда я могу сказать, что был в этом почти уверен,— заметил мистер Пексниф.— Я знаю, у вас есть своя маленькая комнатка, там они могли бы очень удобно поместиться и не выходить к общему столу.

— Милые мои девочки! — сказала миссис Тоджерс.— Нет, я должна еще раз позволить себе эту вольность.

Под этим миссис Тоджерс подразумевала, что должна еще раз обнять девиц, каковое намерение и осуществила с большим жаром. Правда же заключалась в том, что в доме было занято решительно все, кроме одной кровати, которую теперь следовало отдать мистеру Пекснифу, и потому ей требовалось время на размышление, и такое продолжительное время (ибо решить, куда деваться с гостями, было отнюдь не просто), что, даже выпустив сестер из своих объятий во второй раз, она несколько минут глядела на них молча, причем один ее глаз блистал слезой умиления, а в другом светился трезвый расчет.

— Мне кажется, я придумала, как это устроить,— сказала, наконец, миссис Тоджерс.— Постелить на диване в третьей комнате, рядом с моей гостиной... Ах вы душеньки мои!

После чего она обняла их в третий раз, заметив при этом, что никак не может решить, которая из них больше похожа на покойницу мать (что было весьма правдоподобно, так как миссис Тоджерс ни разу в жизни ее не видела), но думает, что скорее младшая, и тут же при-

бавила, что джентльмены сейчас придут в столовую, а барышни, верно, устали с дороги, так не лучше ли им сразу же пройти к ней в комнату?

Комната была на том же этаже, окнами во двор, и, по словам миссис Тоджерс, обладала тем преимуществом (для Лондона очень важным), что в нее никто не заглядывает снаружи, в чем они убедятся и сами, когда рассеется туман. И это не было пустым хвастовством; из окон действительно открывался вид на бурую стену с черным баком для воды наверху. Из этой комнаты в спальное помещение, предназначенное для девиц, был ход через очень удобную маленькую дверцу, которая открывалась только в том случае, если на нее наваливались изо всех сил. Отсюда, примерно на том же расстоянии, был виден другой край той же стены и другая сторона бака. «Не самая сырая сторона,— объяснила им миссис Тоджерс.— Та видна от мистера Джинкинса».

В первом из этих святилищ был на скорую руку разведен огонь все тем же юным прислужником, который в отсутствие миссис Тоджерс дозволил себе насвистывать за этим занятием (а кроме того, разрисовал углем собственные плисовые штаны) и, застигнутый хозяйкой врасплох, был выведен из комнаты за ухо. Приготовив собственноручно завтрак для девиц, она удалилась председательствовать за столом в другую комнату, где, насколько можно было слышать, присутствующие довольно громко подшучивали над мистером Джинкинсом.

— Не стану спрашивать вас, дорогие мои,— сказал мистер Пексниф, заглядывая в дверь,— как вам понравился Лондон. Стоит ли спрашивать?

— Не очень-то мы много видели, папа! — воскликнула Мерри.

— Ровно ничего, по-моему,— сказала Черри. (Обе говорили самым жалобным тоном.)

— Что ж,— заметил мистер Пексниф,— это верно. Но удовольствие, да и дело тоже, у нас еще впереди. Все в свое время. Все в свое время.

Действительно ли дела мистера Пекснифа в Лондоне носили такой строго профессиональный характер, как он намекал своему новому ученику, мы увидим, выражаясь словами этого достойного джентльмена, «в свое время».

## ГЛАВА IX

### *Лондон и «Тоджерс»*

Конечно, никогда и ни в каком другом городе, малом или большом, и ни в какой деревушке не было и не могло быть такого странного дома, как пансион М. Тоджерс. И уж конечно Лондон, судя по той его части, которая обступила пансион кругом и теснила и толкала его своими кирпичными штукатуренными локтями, не давая ему вздохнуть и вечно загораживая от него свет, вполне стоил пансиона и вполне мог почитаться состоящим в близком родстве и союзе с тем эксцентрическим семейством, к которому принадлежат сотни и тысячи таких домов, как пансион М. Тоджерс.

По соседству с пансионом нельзя было прогуливаться так, как где-нибудь в другом квартале города. Тут вы целый час могли блуждать по переулкам и закоулкам, дворам и переходам и ни разу не попасть на что-нибудь такое, что можно было бы без натяжки назвать улицей. Какое-то покорное отчаяние овладевало человеком, вступившим в этот извилистый лабиринт, и он, махнув на все рукой, пускался наугад, путался и кружил и, наткнувшись на глухую стену или железную решетку, без ропота поворачивал обратно, с мыслью, что выход на свободу отыщется как-нибудь сам собой и в свое время и что нет никакого смысла спешить и предупреждать события. Бывали случаи, что гости, приглашенные на обед к М. Тоджерс, бродили вокруг да около, видели даже и дымовые трубы на крыше дома, но, убедившись наконец, что добраться до него нет возможности, возвращались восвояси кротко и без жалоб, погрузившись душою в тихую грусть. Не было примера, чтобы кто-нибудь мог найти пансион по устным указаниям, хотя бы он получил эти указания в одной минуте ходьбы от него. Осмотрительным приезжим из Шотландии и Северной Англии, говорят, удавалось иногда благополучно добраться до пансиона, завербовав с этой целью в проводники приютского мальчика, питомца лондонских улиц, или следуя по пятам за почтальоном,— но то были редкие исключения, только подтверждавшие правило, что

пансион М. Тоджерс скрывается в лабиринте, секрет которого известен лишь немногим посвященным.

По соседству с пансионом было несколько фруктовых рынков, и одним из первых впечатлений, поражавших свежего человека, был запах апельсинов, порченых апельсинов с зелеными и синими пятнами, гниющих в ящиках или плесневеющих в подвалах. Целый день по узким переулкам с пристани вереницей тянулись грузчики, каждый с полным ящиком апельсинов на спине, а под воротами питейного дома с утра до вечера грудой лежали кожаные заплечья тех из них, которые отдыхали и угощались внутри помещения. По соседству с пансионом М. Тоджерс еще встречались допотопные колодцы-отшельники, укрывавшиеся в тупиках и водившие компанию с пожарными лестницами. Тут был не один десяток церквей, а при них заброшенные маленькие кладбища, сплошь заросшие той буйной растительностью, которая сама собой появляется везде, где есть сырость, могилы и кучи мусора. Кое-где в этих унылых местах упокоения, столь же походивших на настоящие зеленые кладбища, как горшки с левкоями и резедой в окне походят на деревенский сад, были и деревья, высокие деревья, все еще продолжавшие год за годом выбрасывать новые листья и так же томившиеся воспоминаниями о родном племени, как птицы в клетке,— так думалось, глядя на их чахлые ветви. Тут дряхлые паралитики-сторожа из года в год охраняли по ночам покойников, до тех пор пока и сами не вступали в их молчаливое братство; и если не считать того, что под землей им спалось крепче, чем на земле, и что будка для них сменялась гробом,— их положение едва ли существенно менялось после того, как и они в свою очередь попадали под стражу.

Кое-где в узких переулках сохранились еще старинные двери резного дуба, за которыми в былое время раздавались пиршественные клики; теперь же эти хоромы, отведенные под склады, тихи и темны, и так как внутри них хранится шерсть, хлопок и тому подобное — все скучный товар, заглушающий звук и затыкающий глотку шумливому эхо,— от них так и веет тлением, и это в соединении с тишиной и безлюдьем придает им нечто зловещее. Есть в этих местах и мрачные дворы, куда не забредает почти никто, кроме сбившихся с дороги пешеходов, и где объ-

емистые тюки или мешки с товаром, поднимаясь или опускаясь, вечно болтаются между небом и землей, подвешенные к высоким кранам. Ломовых подвод по соседству с пансионом М. Тоджерс, как кажется, гораздо больше, чем может понадобиться во всем городе; и не то чтобы рабочих подвод, а подвод-лодырей, праздно стоящих в узких проулках перед хозяйскими дверьми и загораживающих проезд, так что если случайно свернет сюда какой-нибудь кэб или загромыхает фургон с товаром, то сразу поднимается шум и гам на всю округу, и даже колокола на ближней колокольне, дрогнув, отзываются гудением. В пастях и утробах темных тупиков по соседству с пансионом виноторговцы и бакалейщики-оптовики понастроили целые города; глубоко между фундаментами зданий вся земля здесь изрыта галереями конюшен, и в тихий воскресный день бывает слышно, как лошади, которых донимают крысы, звякают недоуздками, наподобие того, как в рассказах о привидениях гремят цепями беспокойные духи.

Если рассказать хотя бы о половине курьезных старых харчевен, влачивших дремотную, скрытую от мира жизнь по соседству с пансионом, то получилась бы целая толстая книга, а второй, не менее объемистый том можно было бы посвятить старым чудакам, завсегдатаям этих неприглядных заведений. Это по большей части коренные жители здешних мест, которые тут родились и выросли; они давным-давно обзавелись одышкой и астмой, всегда пыхтят и с трудом переводят дыхание, кроме тех случаев, когда начинают о чем-нибудь повествовать; тогда оказывается, что и дыхание у них еще хоть куда. Эти старозаветные лондонцы в корне отрицают пар и прочие новшества, воздухоплавание считают смертным грехом и оплакивают современный упадок нравов, причем те из членов этих маленьких клубов, в чьи профессиональные обязанности входит хранение ключей соседней церкви, жалуются на распространение ереси и безбожия, тогда как большинство склонно думать, что добродетель вывелась из употребления вместе с пудреными париками и что величие Старой Англии сошло на нет вместе с цирюльниками.

Сам по себе пансион М. Тоджерс, даже если говорить о нем только как о доме, оставляя в стороне его заслуги как пансиона для джентльменов, занимающихся коммерцией,

вполне достоин стоять на том месте, где он стоит. Там есть одно окно в боковой стене нижнего этажа, освещающее лестницу, о котором предание рассказывает, будто бы оно не отворялось лет сто, и которое, выходя в грязный до невероятия переулок, до того запачкалось и заросло столетней грязью, что ни одно стекло из него не выпало, хотя каждое из них было в свое время разбито самое меньшее раз двадцать, и все они вдоль и поперек изрезаны трещинами. Но главную тайну пансиона составляет подвал, доступ к которому возможен только через маленькую заднюю дверцу и ржавый решетчатый люк и который, сколько помнят старики, не только никогда не имел никакого отношения к дому, но всегда принадлежал какому-то другому владельцу и, по слухам, был полон добра, хотя какого именно — серебра ли, меди, золота, бочек ли с вином, или бочонков с порохом,— было совершенно неизвестно и мало интересовало пансион и его обитателей.

Крыша дома тоже была достойна внимания. Там имелось что-то вроде площадки, с шестами и обрывками гнилых веревок, когда-то предназначавшихся для сушки белья, и стояло два-три чайных ящика с засохшими растениями, торчащими из них, как палки. Всякий, кто поднимался на эту обсерваторию, бывал сперва ошеломлен, ударившись головой о маленькую наружную дверцу, а потом на секунду лишался дыхания, невольно заглянув в кухонную трубу; но, одолев эти два препятствия, вы нашли бы много такого, на что любопытно было посмотреть с крыши пансиона. Прежде всего, если день был ясный, вы замечали далеко протянувшуюся по крышам длинную темную дорожку — тень Монумента — и, обернувшись, видели и самый оригинал, совсем рядом — высокий, с волосами, вставшими дыбом на его золотой голове, словно он в ужасе от того, что творится в городе. А дальше толпились шпили, колокольни, башни, сверкающие флюгера и корабельные мачты — целый лес. Островерхие кровли, коньки крыш, слуховые окна — сущее столпотворение. Дыма и шума хватило бы на весь мир.

Со второго взгляда из этой общей сутолоки, помимо воли зрителя и без всякой особой причины, начинали выделяться незначительные как будто предметы и завладевали его вниманием. Так, колпаки-вертушки на трубах

домов время от времени поворачивались не спеша один к другому, словно поверяя друг другу шепотом результаты своих наблюдений над тем, что происходит внизу. Другие колпаки, горбатые, казалось никак не хотели выпрямиться назло пансиону и горбились для того только, чтобы загораживать от него вид. Старик, чинивший перо в чердачном окне напротив, приобретал первостепенную важность для всей картины в целом и, скрывшись с горизонта, оставлял пробел, значение которого было до смешного непропорционально его размерам. Скачки и пируэты одного полотнища ткани на шесте красильщика казались гораздо интереснее, чем все приливы и отливы в общем движении толпы. А пока зритель сердился на себя и подыскивал этому объяснение, шум переходил в рев, пестрая картина перед его глазами дробилась и множилась стократ, и, озираясь по сторонам в величайшем испуге, он спешил поскорее спуститься в недра пансиона и в девяти случаях из десяти говорил после того миссис Тоджерс, что если б он задержался наверху хотя бы секундой дольше, то, верно, попал бы на мостовую кратчайшей дорогой, а именно — бросившись головой вниз.

Так говорили и обе мисс Пексниф, покинув наблюдательный пост вместе с миссис Тоджерс и наказав юному привратнику запереть дверцу и спуститься за ними следом; он же, будучи веселого нрава и с восторгом, свойственным его возрасту и полу, приветствуя всякую возможность разбиться вдребезги, несколько замешкался позади, для того чтобы пройтись по парапету.

Шел второй день пребывания обеих мисс Пексниф в Лондоне, так что дело дошло уже до откровенностей, и миссис Тоджерс успела сообщить своим новым подружкам все подробности трех любовных разочарований своей первой молодости, а кроме того, познакомила их в общих чертах с жизнью, поведением и характером мистера Тоджерса, который, как выяснилось, прежде времени нарушил мирное течение супружеской жизни и, противозаконно бежав от семейного счастья, поселился в чужих краях под видом холостяка.

— Ваш папа был одно время очень, очень ко мне внимателен, душеньки мои, — сказала миссис Тоджерс, — но, видно, мне не суждено было такого счастья — сделаться

вашей мамой. Вряд ли вы сможете угадать, с кого это нарисовано?

Она обратила внимание девиц на овальную миниатюру вроде небольшого волдыря, которая висела над крюком для чайника и носила некоторое, довольно отдаленное сходство с чертами самой миссис Тоджерс.

— Боже! Вы тут как живая! — воскликнули обе мисс Пексниф.

— Так это и считалось в прежнее время,— заметила миссис Тоджерс, греясь перед огнем совершенно так, как это делают мужчины,— а все же я никак не ожидала, что вы угадаете, чей это портрет, душеньки мои.

Они узнали бы этот портрет где угодно. Если бы они увидели его где-нибудь на улице или в окне магазина, то непременно закричали бы: «Боже мой! Миссис Тоджерс!»

— Хозяйничать в таком заведении, как мое, очень вредно для здоровья, ужасно портится цвет лица, милые мои мисс Пексниф,— жаловалась миссис Тоджерс.— Одна мясная подливка может состарить лет на двадцать, уверяю вас.

— О господи! — воскликнули обе мисс Пексниф.

— Чего стоит хотя бы только эта забота, милые мои,— продолжала миссис Тоджерс,— из-за нее одной вечно душа не на месте. Нет другой такой страсти в душе человеческой, как страсть к мясной подливке среди джентльменов, занимающихся коммерцией. Не то что с задней ноги, с целого быка не наберешь столько соку, сколько они требуют каждый день за обедом. А что мне пришлось из-за этого вытерпеть! — воскликнула миссис Тоджерс, возводя глаза к небу и тряся головой.— Никто даже не поверит.

— Ни дать ни взять наш мистер Пинч, Мерри,— заметила Чарити.— Мы всегда это за ним замечали, помнишь?

— Еще бы, милая моя,— отвечала Мерри, хихикая,— только мы ему никогда не давали подливки, сама знаешь.

— Вы, мои душечки, имеете дело с учениками вашего папы, которые не сами себе накладывают кушанье, поэтому вы вольны распоряжаться, как вам угодно,— сказала миссис Тоджерс,— но в коммерческом заведении, где каждый джентльмен может вам сказать в субботу вечером: «Миссис Тоджерс, через неделю нам с вами придется расстаться — из-за сыра»,— не так-то легко сохранять мир

и согласие. Ваш папа был так любезен,— прибавила эта добрая дама,— что пригласил меня сегодня покататься с вами и, кажется, упомянул, что вы собираетесь навестить мисс Пинч. Уж не родственница ли она тому джентльмену, о котором вы только что говорили, мисс Пексниф?

— Ради бога, миссис Тоджерс,— перебила бойкая Мерри,— не называйте его джентльменом. Черри, милая моя, Пинч — джентльмен! Подумать только!

— Вот уж насмешница! — воскликнула миссис Тоджерс, в умилении обнимая Мерри.— Сущая заноза, как я погляжу! Милая моя мисс Пексниф, какая это должна быть радость для вас и для вашего папы, что сестрица у вас такая веселая!

— Он пучеглазый и противный-препротивный, каких свет не создавал,— продолжала Мерри,— настоящее чучело, миссис Тоджерс. Самый мерзкий, нескладный и отвратительный урод, какого можно себе представить. А это — его сестра, так что сами можете вообразить, какая она. Да я прямо расхохочусь ей в лицо, это уж непременно,— воскликнула милая девушка,— мне ни за что не удержаться! От одной мысли, что на свете существует мисс Пинч, можно умереть, а уж видеть ее — просто боже сохрани!

Миссис Тоджерс смеялась до слез, слушая душечку Мерри, и объявила, что прямо боится ее, да, боится. Она такая злая.

— Кто это злой? — послышался голос из-за дверей.— В моей семье, надеюсь, не может быть ничего похожего на злость! — И мистер Пексниф, улыбаясь, просунул голову в дверь: — Вы позволите мне войти, миссис Тоджерс?

Миссис Тоджерс чуть не взвизгнула, потому что низенькая дверь между гостиной и внутренним покоем была распахнута настежь и постель, раскинутая на диване, открывалась взорам во всем своем чудовищном неприличии. Однако у миссис Тоджерс достало присутствия духа мгновенно захлопнуть дверь в святая святых, и только после этого она пролепетала в смущении:

— Ах да, мистер Пексниф, вы можете войти, если вам угодно.

— Ну, как мы себя чувствуем сегодня? — игриво начал мистер Пексниф.— И какие у нас планы? И не соби-

раемся ли мы навестить сестру Тома Пинча? Ха-ха-ха! Бедняга Томас!

— И не собираемся ли мы,— возразила миссис Тоджерс, кивая головой с таинственным и понимающим видом,— ответить согласием на петицию мистера Джинкинса? Вот какой будет первый вопрос, мистер Пексниф.

— Но почему же мистера Джинкинса? — осведомился мистер Пексниф, обнимая одной рукой Мерри, а другой миссис Тоджерс, которую он по рассеянности, должно быть, принял за Черри.— Почему именно Джинкинса?

— Потому что он первый все это затеял, и вообще он во всем первый в этом доме,— игриво отвечала миссис Тоджерс.— Вот почему, сэр.

— Джинкинс — человек с большими дарованиями,— заметил мистер Пексниф.— Я очень уважаю Джинкинса. И то, что Джинкинс пожелал оказать внимание моим дочерям, я считаю новым доказательством дружеского расположения со стороны Джинкинса, миссис Тоджерс.

— Ну что ж,— отвечала эта дама,— если уж начали говорить, так договаривайте, мистер Пексниф: расскажите нашим милым барышням, в чем дело.

С этими словами она деликатно уклонилась от объятий мистера Пекснифа и сама обняла мисс Чарити, но было ли вызвано такое поведение одним только непреодолимым сердечным влечением к этой молодой особе, или же объяснения следовало искать в угрюмом, чтобы не сказать озлобленном выражении, которое приняло лицо мисс Пексниф, так и осталось невыясненным. Как бы то ни было, мистер Пексниф тут же начал излагать дочерям историю и существо вышеупомянутой петиции; вкратце дело сводилось к тому, что джентльмены, составляющие в своей совокупности основу того имени существительного собирательного, которое обозначает множество и называется пансионом М. Тоджерс, просят, чтобы девицы Пексниф оказали им честь обедать за общим столом в течение всего того времени, что они пробудут в Лондоне, а также, чтобы они украсили стол своим присутствием не далее как в воскресенье, которое приходилось на следующий день. Кроме того, прибавил он, так как миссис Тоджерс тоже присоединяется к этому приглашению, то и он, со своей стороны, готов его принять,— засим мистер Пексниф уда-

лился, чтобы приступить к сочинению самого любезного ответа, а дамы тем временем привели себя в боевую готовность, надев самые нарядные шляпки, с целью поразить и даже совершенно уничтожить мисс Пинч.

Сестра Тома Пинча жила в гувернантках в одном семействе, занимавшем весьма высокое общественное положение,— а именно в семействе богатого владельца медеплавильных и литейных заводов, быть может самого богатого из тех, какие известны человечеству. Это семейство жило в Кемберуэле *, в таком большом и неприветливом с виду особняке, что один его фасад, напоминая замок великана-людоеда, поражал ужасом обыкновенных смертных и заставлял содрогаться смельчаков. Там были внушительные ворота с внушительным колоколом, ручка которого, похожая на восклицательный знак, невольно исторгала у зрителя восклицание, и внушительная сторожка для привратника, которая несколько портила общий вид, зато намного усиливала впечатление. У входа бессменно торчал на страже внушительный привратник и, дозволив посетителю войти, ударял во второй колокол, на звон которого в свое время являлся внушительный ливрейный лакей с такими внушительными аксельбантами, что он беспрестанно в них путался, цепляясь за стулья и столы, и вел жизнь до такой степени мучительную, что, будь он даже мухой в мире, полном паутины, ему едва ли пришлось бы хуже.

К этому-то особняку бесстрашно подъехал в одноконном экипаже мистер Пексниф вместе с дочерьми и миссис Тоджерс. После того как все вышеописанные церемонии были проделаны, их впустили в дом, и в конце концов они добрались до небольшой, полной книг комнаты, где сестра мистера Пинча как раз давала урок своей старшей ученице, вернее сказать — скороспелой маленькой женщине тринадцати лет от роду, доведенной до такого совершенства тугой шнуровкой и воспитанием, что в ней уже не оставалось ровно ничего детского, на радость всем ее родным и знакомым.

— Посетители к мисс Пинч! — провозгласил лакей, как видно молодой человек редких дарований, судя по тому, до чего ловко это у него получилось,— не так сдержанно и почтительно, как если бы он докладывал о ви-

зитерах к хозяевам, но и без того теплого участия, с оттенком личного интереса, с каким он объявил бы о гостях к кухарке.

— Посетители к мисс Пинч!

Мисс Пинч торопливо поднялась с места со всеми признаками волнения, ясно говорившими о том, что список ее посетителей весьма краток. В то же время маленькая ученица угрожающе выпрямилась, приготовляясь запомнить все, что при ней будет сказано и сделано. Ибо хозяйка дома была любознательна и, проявляя интерес к жизни и нравам животного, именуемого гувернанткой, поощряла дочерей при всяком удобном случае доносить о ее поведении, что было весьма похвально, а также полезно и приятно для всех участвующих.

Как это ни грустно, однако же нельзя умолчать о том, что сестра мистера Пинча была отнюдь не урод. Совсем напротив, у нее было приятное лицо, очень кроткое и привлекательное, и хорошенькая фигурка, тоненькая и не очень высокая, зато удивительно стройная. Было что-то, напоминавшее брата, и даже очень напоминавшее,— в мягкости ее манер и в выражении робкой доверчивости; однако она до такой степени не походила на страшилище, или на чумичку, или на пугало, или на что-нибудь еще в том же роде, как предсказывали мисс Пексниф, что обе эти молодые особы смотрели на нее негодуя, ибо рассчитывали увидеть совсем не то и обманулись в своих ожиданиях.

Мисс Мерри, как более жизнерадостная, легче примирилась с этим разочарованием, по крайней мере не проявила его ничем, кроме хихиканья, зато ее сестрица, не желая скрывать своего презрения, откровенно выразила его взглядом. Что же касается миссис Тоджерс, то она опиралась на руку мистера Пекснифа, сохраняя вид благовоспитанной непреклонности, которую можно было толковать как угодно.

— Не пугайтесь, мисс Пинч,— произнес мистер Пексниф, снисходительно забирая руку мисс Пинч в свою правую ладонь и похлопывая сверху левой.— Я приехал к вам с визитом, исполняя обещание, данное вашему брату, Томасу Пинчу. Моя фамилия — успокойтесь, мисс Пинч! — моя фамилия Пексниф.



Доброжелательный человек произнес эти слова с особенным выражением, как бы говоря: «Вы видите во мне, молодая особа, благодетеля всего вашего рода, покровителя вашей семьи, кормильца вашего брата, который ежедневно питается манной с моего стола и ради которого мне многое зачтется на небесах. Но я не горжусь. К чему мне гордиться, когда я могу обойтись и без этого!»

Бедная девушка поверила всему этому, как евангельской истине. Брат в простоте души не раз писал ей то же самое. Как только мистер Пексниф замолчал, она опустила голову, и на его руку скатилась слеза.

«Очень хорошо, мисс Пинч! — сообразила понятливая ученица.— Плакать перед посторонними, как будто вам не нравится ваше место!»

— Томас здоров,— сообщил мистер Пексниф,— он посылает вам поклон и вот это письмо. Нельзя ожидать, чтобы он, бедняга, когда-нибудь отличился в нашей профессии, зато он старается быть полезным, а стараться почти то же что мочь, и потому мы должны быть к нему снисходительны. А? Что?

— Я знаю, что он старается,— сказала сестра Тома Пинча,— и знаю, сколько заботы и ласки он видит от вас. Мы не раз писали друг другу, что никогда не сможем вас отблагодарить. И ваших дочерей тоже,— прибавила она, смотря с признательностью на обеих мисс Пексниф,— я знаю, как много мы им обязаны.

— Дорогие мои,— сказал мистер Пексниф, обращаясь к ним с улыбкой,— послушайте-ка, что говорит сестра Тома; я думаю, вам это будет приятно.

— Мы тут совершенно ни при чем, папа,— воскликнула Черри, в то же время реверансом давая понять сестре Тома Пинча, что она премного их обяжет, если будет держаться на расстоянии.— Тем, что о нем так хорошо заботятся, мистер Пинч обязан только вам одному, нам же очень приятно слышать, что он это ценит, вот и все, что мы можем сказать.

«Очень хорошо, мисс Пинч! — опять заметила про себя ученица.— У вас имеется благодарный братец, который живет на чужой счет!»

— Вы очень добры,— говорила сестра Тома Пинча, простодушно, как Том, и улыбаясь, как Том,— что при-

ехали навестить меня; вы очень, очень добры, хотя вы и сами не подозреваете, как много сделали для меня тем, что дали мне возможность увидеть и поблагодарить вас лично, ведь вы придаете так мало значения своим добрым делам.

— Вот это благодарность, вот это такт, вот это воспитание,— прошептал мистер Пексниф.

— И еще меня радует,— продолжала Руфь Пинч, которая теперь, оправившись от первого потрясения, стала весела и говорлива, от чистого сердца желая видеть во всем самую лучшую сторону, что было как две капли воды похоже на Тома,— меня бесконечно радует, что вы сможете передать ему, как хорошо мне здесь живется, более чем роскошно, и что ему вовсе незачем горевать и жалеть о том, что мне приходится жить своими трудами. О боже мой! Пока я знаю, что он счастлив, и пока он знает то же самое обо мне,— говорила сестра Тома,— мы оба можем вытерпеть без единого слова жалобы, без единой горькой мысли гораздо больше того, что нам приходилось терпеть до сих пор, в этом я твердо уверена.— И если когда-нибудь говорили чистую правду на нашей грешной земле, то, конечно, ее высказала в этих словах сестра Тома.

— Да, да, разумеется! — воскликнул мистер Пексниф, чьи глаза тем временем приковались к воспитаннице.— А как поживаете вы, мое прелестное дитя?

— Очень хорошо, благодарю вас, сэр,— ответила эта замороженная невинность.

— Какое милое личико, дорогие мои,— сказал мистер Пексниф, обращаясь к дочерям.— Очаровательные манеры!

Обе девицы уже с первой минуты начали восторгаться отпрыском благородного семейства (надо полагать, что это был кратчайший путь к сердцу родителей). Миссис Тоджерс божилась, что никогда в жизни не видела ничего до такой степени ангелоподобного.

— Только крыльев не хватает душечке, а то ни дать ни взять настоящий сиропчик! — говорила добрая женщина, подразумевая, вероятно, серафимчика.

— Если вы передадите вот это вашим почтеннейшим родителям,— сказал мистер Пексниф, доставая визитную карточку,— и скажете, что я и мои дочери...

— И миссис Тоджерс, папа,— подсказала Мерри.

— И миссис Тоджерс из Лондона,— прибавил мистер Пексниф,— что я, мои дочери и миссис Тоджерс из Лондона не решились беспокоить их без приглашения, так как нашей целью было просто справиться о здоровье мисс Пинч, брат которой, молодой человек, служит у меня, и что я, как архитектор, не могу уйти из этого весьма элегантного дома, не воздав должного строгому и изящному вкусу владельца и его умению ценить то высокое искусство, которому я посвятил всю свою жизнь и расцвету и успехам которого пожертвовал... гм... всем состоянием,— то я буду вам весьма признателен.

— Миледи посылает поклон мисс Пинч,— неожиданно появившись, произнес лакей, совершенно тем же тоном, что и раньше,— и желала бы знать, чему барышня сейчас обучается.

— А! Вот и молодой человек,— сказал мистер Пексниф.— Он может передать карточку. Будьте любезны, молодой человек, с поклоном от меня. Дорогие мои, мы препятствуем занятиям. Идемте.

На минуту возникло некоторое замешательство из-за того, что миссис Тоджерс открыла плетеную корзиночку и поспешила вручить «молодому человеку» одну из своих собственных карточек, на которых, кроме разных подробностей насчет условий оплаты в коммерческом заведении, имелось еще и примечание в том смысле, что М. Т. при сем пользуется случаем принести благодарность джентльменам, которые оказали ей предпочтение, и просит, если они довольны столом, не отказать в любезности порекомендовать ее своим знакомым. Но мистер Пексниф с замечательным присутствием духа перехватил этот документ, спрятал к себе в карман и застегнулся на все пуговицы.

После чего он обратился к мисс Пинч еще снисходительнее и любезнее прежнего,— так как было желательно дать ясно понять лакею, что они вовсе ей не друзья, а покровители:

— Всего лучшего! До свидания! Господь вас благослови! Вы можете рассчитывать на мое постоянное покровительство вашему брату Томасу. Не беспокойтесь ни о чем, мисс Пинч!

— Благодарю вас,— растроганно сказала сестра Тома,— тысячу раз благодарю!

— Не стоит благодарности,— возразил мистер Пексниф, ласково гладя ее по голове.— Лучше и не поминайте про это. Иначе я рассержусь. Мое милое дитя (к воспитаннице), прощайте! Это волшебное создание,— продолжал мистер Пексниф, мечтательно глядя в упор на лакея, как будто имел в виду именно его,— явившись на моем пути, озарило его таким блеском, что я никогда этого не забуду. Дорогие мои, вы готовы?

Они были еще не совсем готовы, потому что никак не могли расстаться с воспитанницей мисс Пинч. В конце концов они оторвались от нее и, величественно прошелестев юбками мимо бедной мисс Пинч, каждая с надменным кивком и книксеном, задушенном при самом рождении, выплыли в коридор.

Молодому человеку очень не скоро удалось выпроводить их за дверь, потому что мистер Пексниф, восхищаясь убранством дома, поминутно задерживался то здесь, то там (а особенно у дверей в гостиную) и изливал свой восторг очень громко и в самых ученых выражениях. Следуя от кабинета к прихожей, он успел изложить в общих чертах всю архитектурную премудрость, относящуюся к жилым домам, и когда они выбрались в сад, его красноречие было в самом разгаре.

— Посмотрите,— пятясь от крыльца, говорил мистер Пексниф, слегка прищурившись и склонив голову набок, чтобы таким образом лучше оценить пропорции фасада,— посмотрите, дорогие мои, на этот карниз, который поддерживает крышу, и обратите внимание на его воздушность, особенно в том месте, где он огибает южный угол здания, и вы согласитесь со мною, что... Как поживаете, сэр? Надеюсь, вы здоровы?

Прервав свою речь этими словами, он весьма учтиво поклонился пожилому джентльмену в окне верхнего этажа, к которому обратился не потому, что тот мог его слышать (это было совершенно невозможно), а просто в виде аккомпанемента, сопутствующего поклону.

— Не сомневаюсь, дорогие мои, что это и есть владелец,— сказал мистер Пексниф, делая вид, будто указывает на разные другие красоты здания.— Я был бы очень

рад с ним познакомиться. Мало ли что из этого может воспоследовать. Он смотрит в нашу сторону, Чарити?

— Он открывает окно, па!

— Ага! — негромко воскликнул мистер Пексниф.— Отлично! Он догадался, что я архитектор. Он, верно, слышал меня сейчас, в доме. Не смотрите на него! Что же касается желобчатых колонн портала, дорогие мои...

— Эй, вы! — крикнул джентльмен.

— Ваш слуга, сэр,— сказал мистер Пексниф, снимая шляпу,— честь имею представиться...

— Сойдете вы с травы или нет! — зарычал джентльмен.

— Прошу прощения, сэр,— сказал мистер Пексниф, не веря своим ушам.— Вы изволили сказать...

— Сойдите с травы! — сердито повторил джентльмен.

— Мы не хотели беспокоить вас, сэр,— начал мистер Пексниф с улыбкой.

— А сами беспокоите,— возразил джентльмен,— да, да, непозволительно беспокоите и лезете на траву. Вы же видите: вот дорожка. Для чего она, по-вашему? Эй, откройте-ка там ворота! Выведите их всех вон!

С этими словами он захлопнул окно и скрылся.

Мистер Пексниф не спеша надел шляпу и в глубоком молчании направился к экипажу, по дороге с большим интересом разглядывая облака. Подсадив в экипаж сначала обеих дочерей, а потом миссис Тоджерс, он некоторое время стоял, глядя на него, как будто был не вполне уверен, коляска это или храм. Решив, наконец, этот вопрос, он уселся на свое место, положил руки на колени и улыбнулся трем своим спутницам.

Однако его дочери, не обладая таким присутствием духа, дали волю своему негодованию. Вот что значит, говорили они, носиться с такими, как эти Пинчи. Вот что значит ставить себя на одну доску с подобными личностями. Вот что значит унижаться до знакомства с такими отвратительными, наглыми, дерзкими, хитрыми девчонками, как эта Пинч. Так они и думали. Так они и предсказывали, не дальше как сегодня утром,— свидетельница миссис Тоджерс. К этому они прибавили, что хозяин дома, который принял их, конечно, за друзей мисс Пинч, поступил совершенно правильно, именно так, как следо-

вало ожидать при создавшихся обстоятельствах. К этому они прибавили еще (не совсем последовательно), что он медведь и грубиян,— и тут уже рекой хлынули слезы, унося с собой все прочие эпитеты.

Впрочем, мисс Пинч вряд ли была столько виновата в этом деле, сколько серафим, который немедленно по отбытии гостей полетел в главный штаб с донесением и во всех подробностях доложил о том, с какой наглостью ему навязывали визитную карточку, которую потом передали через лакея, и это-то преступление, вместе с некоторыми скромными замечаниями мистера Пекснифа насчет архитектуры, возможно, в известной мере содействовало их изгнанию. Бедной мисс Пинч, однако, пришлось выдержать атаку с обеих сторон: мамаша серафима сделала ей строжайший выговор за то, что у нее такие вульгарные знакомства; и она убежала к себе в комнату, обливаясь слезами, которых долгое время не могли осушить ни свойственная ей жизнерадостность и кротость характера, ни радость свидания с мистером Пекснифом, ни полученное от брата письмо.

А мистер Пексниф, едучи в кабриолете со своими дамами, высказался в том смысле, что всякое доброе дело уже в себе самом заключает награду и что если б ему даже дали пинка по этому случаю, то он только порадовался бы. Но это нисколько не утешило девиц, которые ожесточенно грызли его всю обратную дорогу, а подчас в их словах сквозило и живейшее желание наброситься на преданную миссис Тоджерс, чьей внешности, а главное неприличной визитной карточке и плетеной корзинке, они приписывали неудачу визита.

В пансионе этот вечер проходил весьма оживленно, что объяснялось отчасти разными дополнительными приготовлениями к завтрашнему обеду, отчасти же обычной для этого дома субботней суетой, особенно в те часы, когда белье каждого из джентльменов приносилось от прачки в особом маленьком узелке с приколотым сверху особым счетом. В доме чуть не до полуночи слышалась беготня и топот, во дворе беспрерывно мелькали таинственные огни, усиленно громыхал колодезный насос и без отдыха дребезжала ведерная ручка. Из отдаленной кухни доносились визгливые пререкания неизвестных

особ женского пола с миссис Тоджерс, а также звуки, говорившие о том, что в мальчишку швыряют какими-то металлическими предметами небольших размеров. По субботам этот юноша имел обыкновение сновать по всему дому в зеленом байковом фартуке, закатав рукава выше локтей; по субботам же, именно оттого что работы было много, он сравнительно чаще поддавался искушению, отпирая кому-нибудь дверь, выскочить в переулок и поиграть с уличными мальчишками в чехарду и другие игры, пока за ним не отправляли кого-нибудь в погоню и не тащили его домой за волосы или за ухо; таким образом, его присутствие особенно чувствовалось в этот день и заметно способствовало субботнему оживлению в пансионе миссис Тоджерс.

В эту субботу он был особенно деятелен и выказывал обеим мисс Пексниф немало внимания; пробегая мимо комнаты миссис Тоджерс, где девицы сидели вдвоем перед камином и вышивали при свете одинокой свечи, он никак не мог удержаться от того, чтобы не просунуть голову в дверь и не адресоваться к ним с каким-нибудь юмористическим замечанием, вроде: «А, вот они где!», или: «Ишь ты, как здорово!», и тому подобными приветствиями.

— Слушайте-ка, барышни,— сообщил он шепотом, улучив минуту во время беготни взад и вперед,— завтра будет суп. Она сейчас его варит. Думаете, воды подливает? Ну ни капельки, вот хоть бы столечко!

Когда в дверь снова постучались, он побежал на стук и по пути опять просунул к ним голову:

— Слушайте-ка! Завтра куры будут. Думаете, одна кожа да кости? Как бы не так!

Через минуту он сообщил в замочную скважину:

— Завтра будет рыба — только что привезли. Смотрите, не ешьте! — и с этим зловещим предостережением исчез опять.

В скором времени он вернулся накрывать на стол, так как между девицами и миссис Тоджерс было условлено, что они скушают специально для них приготовленные телячьи котлетки в уединении хозяйских апартаментов. При этом мальчишка развлекал девиц, беря в рот зажженную свечку и демонстрируя светящуюся изнутри физио-

номию, а после этого фокуса приступил к исполнению своих обязанностей, причем, раскладывая ножи, предварительно дышал на лезвие и полировал его о фартук, уже знакомый читателю. Накрыв на стол, он ухмыльнулся сестрам и высказал уверенность в том, что им предстоит «знатное угощение».

— А долго его еще ждать, Бейли? — спросила Мерри.

— Да нет,— ответил Бейли,— все уже готово. Когда я уходил наверх, она там выковыривала вилкой кусочки помягче и пробовала.

Не успел он произнести эти слова, как уже получил благодарность по затылку, такую полновесную, что отлетел к стене, и увидел перед собой негодующую миссис Тоджерс с блюдом в руке.

— Ах ты негодяй! — воскликнула эта дама.— Ах ты скверный лгунишка!

— Сами-то вы не лучше,— огрызнулся Бейли, оберегая голову по способу, изобретенному знаменитым боксером Томасом Криббом.— А ну-ка, ну-ка, еще! Валяйте, чего стесняться.

— Отвратительный мальчишка,— пожаловалась миссис Тоджерс, ставя тарелку на стол,— я в жизни такого не видывала. Джентльмены его балуют ужасно и учат бог знает чему, так что теперь, пожалуй, одна только виселица его исправит.

— Ну да, как же! — отозвался Бейли.— А вы зачем подливаете воду в пиво? Я от этого захворать могу.

— Ступай вниз, дрянной мальчишка! — закричала миссис Тоджерс, распахивая дверь настежь.— Слышишь? Ступай сию минуту!

Ловко увернувшись от нее, он убежал и больше не показывался в тот вечер, кроме одного только раза, когда принес наверх стаканы и горячую воду и очень смущал обеих мисс Пексниф, корча страшные рожи за спиной ничего не подозревавшей миссис Тоджерс. Воздав таким образом должное своим оскорбленным чувствам, он удалился вниз и здесь, в обществе сальной свечи и кишевших кругом тараканов, с завидной энергией принялся за чистку платья и сапог и провозился с этим делом до глубокой ночи.

Предполагалось, что по-настоящему малолетнего слугу

зовут Бенджамином, но, кроме этого, у него было множество самых разнообразных кличек. Бенджамина очень скоро переделали в дядю Бена, а дядю Бена просто в дядю, а от этой клички было уже недалеко перейти к Барнуэлу — в память некоего дядюшки, убитого в Кемберуэле своим племянником Джорджем Барнуэлом во время уединенной прогулки по собственному саду. Постояльцы имели, кроме того, обыкновение, шутки ради, то и дело присваивать ему имя очередной знаменитости — какого-нибудь известного преступника или министра; если же текущие события не представляли ничего интересного, они не брезговали и историей и на ее страницах отыскивали какое-нибудь громкое имя, например: мистер Питт *, юный Браунригг *, сын убийцы, и тому подобное. В то время, о котором идет речь, он был известен среди джентльменов под именем Бейли-младшего, присвоенным ему, должно быть, в противовес Старому Бейли *, а возможно и в память одной злополучной девицы Бейли, которая безвременно погибла, наложив на себя руки, и была увековечена в балладе.

По воскресеньям в пансионе миссис Тоджерс обыкновенно обедали в два часа — самое подходящее время, как нельзя лучше устраивавшее всех — и миссис Тоджерс в отношении булочника и джентльменов в отношении послеобеденных визитов. Но в то воскресенье, когда должно было состояться официальное знакомство девиц Пексниф с пансионом и со всем обществом, обед отложили до пяти, затем чтобы все было на благородную ногу, как того требовали обстоятельства.

Около этого часа Бейли-младший с величайшим восторгом облачился в полный комплект подержанного платья, которое было ему не по росту велико, а самое главное — в чистую рубашку таких необыкновенных размеров, что один из джентльменов (славившийся своим остроумием) немедленно окрестил ее «хомутом». Без четверти пять в дверь комнаты миссис Тоджерс постучалась депутация, состоявшая из мистера Джинкинса и еще одного джентльмена, по фамилии Гендер, и оба они, будучи официально представлены обеим девицам Пексниф их папашей, который находился тут же, попросили разрешения сопровождать девиц наверх.

Гостиная в пансионе М. Тоджерс была совсем не похожа на обыкновенную гостиную, до такой степени не похожа, что человеку непосвященному и в голову не пришло бы, что это гостиная; полы были сплошь застланы половиками, потолок, включая даже и толстую балку посередине, был оклеен обоями. Кроме трех небольших окон в глубоких нишах, смотревших на противоположные ворота, имелось еще одно окно, которое заглядывало, ничуть не пытаясь этого скрыть, прямо в спальню мистера Джинкинса. По одной стороне комнаты, под самым потолком, шли в два ряда застекленные окошечки, освещавшие лестницу; тут были расположенные лесенкой стенные шкафчики самого странного устройства, со стеклянными дверцами, придававшими им вид стенных часов; и даже дверь, выкрашенная в черную краску, смотрела на всех двумя круглыми стеклянными глазками с любопытным зеленым зрачком посредине каждого.

Здесь-то и собрались все джентльмены. Как только появился мистер Джинкинс под руку с Чарити, раздались крики: «Идут, идут!» и «Браво, Джинк!»; но эти крики перешли в восторженный рев, когда за ним показались мистер Гендер, ведущий Мерси, и мистер Пексниф, замыкавший шествие рука об руку с миссис Тоджерс.

Затем джентльмены были представлены дамам. Был тут и джентльмен спортсменской складки, любитель задавать редакторам воскресных газет каверзные вопросы насчет скачек, считавшиеся среди его приятелей настоящими головоломками: и джентльмен актерской складки, в юности серьезно помышлявший о сцене, но благодаря интригам так и просидевший всю жизнь за кулисами; и джентльмен ораторской складки, мастер произносить спичи; и джентльмен литературной складки, писавший пасквили на всех остальных и знавший наперечет все чужие слабости, но только не свои собственные. Был тут и джентльмен музыкальной складки, любитель пения; был и любитель трубки; был и охотник кутнуть; некоторые джентльмены были любители сразиться в вист, и почти все они были большие охотники играть на бильярде и держать пари. Надо думать, что все это были джентльмены деловой складки, так как все они имели занятия по торговой части, а сверх того все они, каждый на

свой лад, были большие охотники до развлечений. Мистер Джинкинс был джентльмен светской складки, он почти каждое воскресенье прогуливался в парках и знал по внешнему виду множество карет. Кроме того, он любил намекать весьма таинственно на каких-то роскошных женщин; подозревали даже, что он скомпрометировал одну графиню. Мистер Гендер был джентльмен юмористической складки, тот самый, который пустил в ход шуточку насчет «хомута», и это блистательное словцо переходило теперь из уст в уста под названием «последняя острота Гендера», встречая во всех углах комнаты самый восторженный прием. Не мешает добавить, что мистер Джинкинс, сорокалетний кассир из рыбной лавки, был значительно старше всего остального общества. Он был также старейшим из жильцов и по праву этого двойного старшинства занимал в доме первое место, о чем уже упоминала миссис Тоджерс.

С обедом произошла значительная заминка, и бедная миссис Тоджерс, получив с глазу на глаз выговор от Джинкинса, по меньшей мере раз двадцать выбегала на кухню поторопить и каждый раз возвращалась с беспечным видом, будто у нее и в мыслях не было ничего подобного и она вовсе никуда не выходила. Тем не менее разговор шел без перебоя, ибо один из джентльменов, коммивояжер парфюмерной фирмы, показывал всему обществу интереснейшую штучку — какое-то совсем особенное мыло для бритья, вывезенное им из Германии, а джентльмен литературной складки прочел (по общей просьбе) сатирические стихи, написанные им не так давно по поводу замерзшего во дворе бака с водой. Эти развлечения и происходившие по их поводу разговоры отлично помогли скоротать время до появления обеда, о котором Бейли-младший доложил следующим образом:

— Харч на столе!

После такого сообщения все немедленно спустились вниз, причем некоторые шутники в задних рядах вели под руку других джентльменов, в подражание счастливчикам, завладевшим девицами Пексниф.

Мистер Пексниф произнес молитву — краткую и благочестивую молитву,— призывая благословение свыше на аппетит присутствующих и поручая всех тех, кому нечего

есть, заботам провидения, которое, как сказано было в молитве, обязано о них печься. После чего приступили к еде не слишком чинно, зато с аппетитом; стол ломился под тяжестью не только тех деликатесов, о которых обе мисс Пексниф были предупреждены заранее, но и от разварной говядины, жареной телятины, грудинки, пирогов, паштетов и изобилия тех неудобоваримых овощей, которые пользуются особым уважением хозяек за их насыщающие свойства. Кроме того, тут были бутылки с портером, бутылки с вином, бутылки с элем и другими крепкими напитками, отечественного и иностранного происхождения.

Все это очень нравилось обеим мисс Пексниф, которые пользовались огромным спросом; сидя во главе стола по правую и левую руку мистера Джинкинса, они ежеминутно получали приглашение чокнуться с каким-нибудь новым поклонником. Вряд ли еще когда-нибудь в жизни они были так приятно настроены и так разговорчивы, особенно Мерси, которая была в необыкновенном ударе и столько наговорила остроумного своим собеседникам, что поразила всех своей живостью и находчивостью, и все на нее смотрели как на чудо. «Словом сказать,— как заметила эта молодая особа,— только теперь мы почувствовали, что действительно находимся в Лондоне, да еще первый раз в жизни».

Их юный приятель Бейли принимал в обеих девицах живейшее участие, не оставляя, впрочем, покровительственного тона; он поощрял их всеми средствами, какие были в его власти: когда никто другой на него не смотрел, он выказывал им свое одобрение кивками, подмигиванием и тому подобными знаками внимания, а также поминутно прикладывал к носу штопор, намекая на вакхический характер сборища. По правде сказать, даже остроумие обеих мисс Пексниф и неусыпная бдительность миссис Тоджерс, провожавшей глазами каждый кусок, были не так любопытны, как поведение этого замечательного мальчика, который ровно ничем не смущался и ни от чего не терял душевного равновесия. Если что-нибудь из посуды, какое-нибудь блюдо или тарелка, выскальзывало у него из рук (что произошло раза два), он не обращал на это никакого внимания, как и подобает светскому человеку, и не выражал ни малейшего сожаления, что-

бы не усугублять тягостных переживаний всего общества. Не докучал он присутствующим и постоянным шнырянием взад и вперед, чем грешат ныне хорошо вышколенные слуги; наоборот, сознавая, что услужить такому многолюдному собранию дело совершенно безнадежное, он предоставил джентльменам накладывать себе на тарелки все что им вздумается, а сам почти безотлучно стоял за стулом мистера Джинкинса, широко расставив ноги и засунув руки в карманы, и, явно наслаждаясь беседой, первый смеялся всякой шутке.

Десерт был роскошный. И долго ждать не пришлось. Тарелки из-под пудинга наскоро вымыли в маленькой лоханке за дверью, пока подавали сыр, и, вытертые не досуха и еще теплые от трения, они все же подоспели вовремя, что от них и требовалось. Горы миндаля, десятки апельсинов, целые фунты изюма, пирамиды печеных яблок, полные тарелки орехов! Да, уж у М. Тоджерс сумеют угостить, коли захотят! Зарубите это себе на носу.

На стол подали еще вина, красные вина и белые вина, а кроме того, большую фарфоровую чашу с пуншем, который был сварен одним из джентльменов, охотником кутить, заклинавшим обеих мисс Пексниф не смущаться скромными размерами чаши, потому что в доме найдется из чего сварить и еще хоть полдюжины таких. Боже ты мой, как девицы смеялись! Как они раскашлялись, отхлебнув самую капельку,— такой крепкий был этот пунш! И как они опять смеялись, когда кто-то стал уверять их, что если бы не цвет, этот пунш можно было бы принять за парное молоко, такого он невинного свойства. Какой крик подняли джентльмены, когда девицы стали трогательно упрашивать мистера Джинкинса, чтобы он позволил им разбавить пунш горячей водой, и с каким стыдливым румянцем каждая из них допила свой стакан до дна!

Но вот наступает трудная минута. Солнце, по выражению мистера Джинкинса (ловкий кавалер, этот Джинкинс,— никогда не ударит лицом в грязь), готовится покинуть небосклон.

— Мисс Пексниф,— говорит чуть слышно миссис Тоджерс,— не хотите ли вы...

— О нет, что вы, миссис Тоджерс, больше ничего не хочу.

Миссис Тоджерс поднимается с места, обе мисс Пексниф поднимаются с места, все поднимаются с места. Мисс Мерси Пексниф ищет глазами свой шарф на полу. Где же он? Бог ты мой, куда же он девался? Милая девушка, шарф на ней, только не на прелестной шейке, он спустился ниже, на ее пышный стан. Десятки рук тянутся помочь ей. Она — вся смущение. Самый младший из джентльменов жаждет крови мистера Джинкинса. Она одним прыжком догоняет старшую сестру. Та стоит в дверях, одной рукой обнимая за талию миссис Тоджерс. Другой рукой она обнимает сестру. Диана, какое зрелище! Последнее, что видят джентльмены,— это легкий силуэт, затем пируэт — и все кончено!

— Джентльмены, за здоровье дам!

Неописуемый восторг! Встает джентльмен ораторской складки и разражается вдруг потоком красноречия, который не знает решительно никаких преград. Но тут ему подсказали еще один тост — такой тост, к которому, конечно, присоединится все общество. Среди них присутствует некто — именно это лицо имеет в виду оратор,— кому все они обязаны благодарностью. Он повторяет: обязаны благодарностью. Их грубые натуры испытали сегодня смягчающее и возвышающее влияние прелестных женщин. В их обществе находится джентльмен, которого две очаровательные, исполненные совершенств девушки почитают и уважают как виновника своего существования. Да, еще в те дни, когда обе мисс Пексниф лепетали едва внятно, они уже называли этого человека папой! (Взрыв аплодисментов.) Оратор провозглашает тост: «За мистера Пекснифа, да благословит его бог!» Все пожимают руку мистеру Пекснифу и пьют его здоровье. Самый младший из джентльменов проделывает эту церемонию с трепетом; ему кажется, что некии таинственные флюиды исходят от человека, который имеет право называть прелестное создание в розовом шарфе своей дочерью.

Что говорит мистер Пексниф в ответной речи? Или лучше поставим вопрос так: что оставляет он невысказанным? Решительно ничего. Требует еще пунша, пунш

приносят, и все пьют. Восторг доходит почти до предела. Каждый из присутствующих проявляет свои склонности свободнее. Джентльмен актерской складки декламирует. Джентльмен-вокалист угощает общество песней. Гендер оставляет далеко за флагом Гендера всех предшествующих пиров. Он встает и предлагает тост: «За патриарха нашего пансиона! За нашего общего друга Джинкинса! За старину Джинка, если будет позволено назвать его этим фамильярным и ласкательным именем!» Самый младший из джентльменов неистово протестует. Он этого не потерпит, он не согласен, он решительно против. Но его глубокое чувство остается непонятым. Думают, что он хватил лишнее, и никто не обращает на него внимания.

Мистер Джинкинс благодарит присутствующих от всего сердца. Это вне всякого сомнения счастливейший день в его ничем не замечательной жизни. Окидывая взглядом собрание, он чувствует, что ему не хватает слов, чтобы выразить свою благодарность. Он скажет только одно. Можно, он надеется, считать вполне установленным, что пансион М. Тоджерс всегда постоит за себя и, при случае, не ударит лицом в грязь, не осрамится перед соседями, а, быть может, даже превзойдет их. Под гром рукоплесканий он напоминает джентльменам, что им не раз приходилось слышать о заведении приблизительно того же типа на Кэннон-стрит; приходилось слышать и похвальные отзывы о нем. Он вовсе не желает обидеть кого бы то ни было этим сравнением, он как нельзя более далек от этого, но если заведение на Кэннон-стрит сможет когда-нибудь блеснуть таким сочетанием ума и красоты, какое блистало сегодня у них за столом, или угостить таким обедом, каким их только что угощали,— он первый принесет свои поздравления. А до тех пор, джентльмены, он останется верен пансиону М. Тоджерс.

Опять пунш, опять восторг, опять речи! Пьют за здоровье всех по очереди, кроме самого младшего из джентльменов. Тот сидит в стороне, опершись локтем на спинку свободного стула, и презрительно-злобно косится на Джинкинса. Гендер, распираемый красноречием, предлагает выпить за здоровье Бейли-младшего, слышится икота и звон разбитого стакана. Мистер Джинкинс чув-

ствует, что пора присоединиться к дамам. Он провозглашает напоследок здоровье миссис Тоджерс. Она достойна того, чтобы ее чествовали особо. Слушайте, слушайте! Вот именно, без сомнения достойна. Обычно все они к ней придираются, но сейчас каждый чувствует, что жизни не пожалел бы ради нее.

Они поднимаются наверх, где их не ждут так скоро: миссис Тоджерс дремлет, мисс Чарити поправляет прическу, а Мерси полулежит в грациозной позе, устроившись на широком подоконнике, как на диване. Она торопится встать, но мистер Джинкинс умоляет ее не шевелиться; она так прелестна, так грациозна, замечает он, что просто грех ее тревожить. Она снисходит к его просьбе, смеясь обмахивается веером, роняет этот веер на пол, и все толпой бросаются поднимать его. Будучи единогласно признана царицей праздника, она становится жестокой и капризной, посылает своих поклонников с поручениями к другим джентльменам и совершенно забывает о них, прежде чем они успевают вернуться с ответом, изобретает для них тысячи пыток, раздирая их сердца в клочки. Бейли разносит чай и кофе. Вокруг Чарити тоже собралась горсточка поклонников — из тех, которые не могут пробиться к ее сестре. Самый младший из джентльменов бледен, но спокоен и по-прежнему сидит в стороне, ибо ум его находит отраду в общении с самим собой и душа его бежит шумной беседы. Его присутствие и его обожание не остаются незамеченными. Он видит это по блеску ее глаз, по взгляду, брошенному украдкой. Берегись, Джинкинс, не доводи до крайности человека, впавшего в отчаяние!

Мистер Пексниф последовал наверх за своими молодыми друзьями и уселся на стул рядом с миссис Тоджерс. Он уже пролил чашку кофе себе на брюки, по-видимому не замечая этого обстоятельства, не видит он и того, что кусок печенья лежит у него на колене.

— Ну, как же они вас чествовали там, внизу? — спросила хозяйка.

— Мне был оказан такой прием, сударыня,— отвечал мистер Пексниф,— что я никогда не смогу вспомнить о нем без слез или думать о нем без волнения. Ах, миссис Тоджерс!

— Силы небесные! — воскликнула эта дама.— Отчего это вы так расстроились, сударь?

— Я человек, сударыня,— произнес мистер Пексниф, обливаясь слезами и еле ворочая языком,— но кроме того, я отец семейства. Кроме того, я вдовец. Мои чувства, миссис Тоджерс, нельзя окончательно задушить подушкой, как малолетних принцев в Тауэре *. Они в полном расцвете, и сколько бы я ни старался подавить их, они все-таки прорвутся!

Тут он вдруг заметил кусок печенья у себя на колене и уставился на него, бессмысленно покачивая головой, с таким убитым видом, будто в этом кондитерском изделии таился его злой гений и мистер Пексниф посылал ему кроткий упрек.

— Она была прекрасна, миссис Тоджерс! — сказал он без всяких предисловий, обращая к ней свои осовелые глаза.— У нее было небольшое состояние.

— Так мне говорили,— отозвалась миссис Тоджерс весьма сочувственно.

— Вот это ее дочери,— сказал мистер Пексниф, указывая на девиц и расстраиваясь еще больше.

Миссис Тоджерс в этом не сомневалась.

— Мерси и Чарити,— сказал мистер Пексниф.— Милосердие и Сострадание. Надеюсь, в этих именах нет ничего греховного?

— Мистер Пексниф! — воскликнула миссис Тоджерс.— Какая ужасная улыбка! Уж не больны ли вы, сударь?

Он сжал рукой ее плечо и ответил очень торжественно и очень слабым голосом:

— Хроническое.

— Гастрическое? — вскрикнула испуганная миссис Тоджерс.

— Хроническое,— повторил он с некоторым усилием.— Это хроническое. Хроническая болезнь. Я с детства этим страдаю. Она сведет меня в могилу.

— Боже сохрани! — вскрикнула миссис Тоджерс.

— Да, сведет,— повторил мистер Пексниф, в отчаянии махнув на все рукой.— И пусть, я даже рад. Вы на нее похожи, миссис Тоджерс.

— Оставьте мое плечо, мистер Пексниф, прошу вас. Как бы не увидел кто из джентльменов.

— Ради нее,— сказал мистер Пексниф.— Позвольте мне — в память покойницы. Ради голоса из-за могилы... Вы так похожи на нее, миссис Тоджерс. В каком мире мы живем!

— Ах! Вот уж, можно сказать, ваша правда! — воскликнула миссис Тоджерс.

— Боюсь, что это легкомысленный и тщеславный мир! — изрек мистер Пексниф, преисполнясь скорби.— Эти молодые люди вокруг нас... Разве они понимают, какая на нас лежит ответственность? Ничуть. Дайте мне другую вашу руку, миссис Тоджерс.

Миссис Тоджерс заколебалась и ответила, что это, пожалуй, ни к чему.

— Разве голос из-за могилы не имеет никакого значения? — сказал мистер Пексниф с нежным укором.— Какое неверие! Чудное созданье!

— Тише! — убеждала его миссис Тоджерс.— Ну что вы это, право!

— Это не я,— ответил мистер Пексниф.— Не думайте, что это я. Это голос, ее голос.

Покойная миссис Пексниф обладала, как видно, необыкновенно густым и хриплым для дамы голосом, несколько даже заикающимся голосом и, сказать по правде, довольно-таки пьяным голосом, если он хоть сколько-нибудь был похож на тот, каким говорил мистер Пексниф. Возможно, однако, что он ошибался.

— Это был радостный день для меня, миссис Тоджерс, но это был и мучительный день. Он напомнил мне о моем одиночестве. Что я такое на земле?

— Джентльмен редких качеств, мистер Пексниф,— отвечала миссис Тоджерс.

— Что же, тут есть своего рода утешение,— воскликнул мистер Пексниф.— Но так ли это?

— Лучше вас не найти человека,— сказала миссис Тоджерс.— Я уверена.

Мистер Пексниф улыбнулся сквозь слезы и слегка покачал головой.

— Вы очень добры,— сказал он,— благодарю вас. Для меня всегда большая радость, миссис Тоджерс,

осчастливить кого-нибудь из молодого поколения. Счастье моих учеников — это главная цель моей жизни. Я просто души в них не чаю. Они тоже души во мне не чают — иногда.

— Всегда, я думаю,— сказала миссис Тоджерс.

— Когда они говорят, будто ничему не выучились у меня, сударыня,— прошептал мистер Пексниф, глядя на миссис Тоджерс с таинственностью заговорщика и делая знак, чтобы она подставила ухо поближе,— когда они говорят, будто ничему не выучились и будто бы плата слишком высока,— они лгут, сударыня! Мне бы, вполне естественно, не хотелось этого касаться, и вы меня поймете, но я говорю вам по старой дружбе: они лгут!

— Какие, должно быть, дрянные мальчишки! — сказала миссис Тоджерс.

— Сударыня,— произнес мистер Пексниф,— вы правы. Я уважаю вас за это замечание. Позвольте сказать вам на ухо. Родителям и Опекунам! Надеюсь, это останется между нами, миссис Тоджерс?

— О, совершенно между нами, разумеется! — воскликнула эта дама.

— Родителям и Опекунам! — повторил мистер Пексниф.— Ныне вам представляется редкая возможность, соединяющая в себе все преимущества лучшего для архитектора практического образования с семейным уютом и постоянным общением с лицами, которые, как бы ни были ограниченны их способности (обратите внимание!) и скромна их сфера, тем не менее вполне сознают свою моральную ответственность...

Миссис Тоджерс, по-видимому, никак не могла понять, что бы это могло значить, да и недаром, ибо, если читатель припомнит, это был обычный текст объявления о том, что мистеру Пекснифу нужен ученик, а сейчас оно пришлось ни к селу ни к городу. Однако мистер Пексниф поднял палец кверху, предупреждая, чтобы она его не прерывала.

— Не знаете ли вы кого-нибудь из родителей или опекунов, миссис Тоджерс,— спросил мистер Пексниф,— кто желал бы воспользоваться таким случаем для молодого джентльмена? Предпочтение будет оказано сироте.

Не знаете ли вы какого-нибудь сироты с тремя или четырьмя сотнями фунтов дохода?

Миссис Тоджерс призадумалась, потом покачала головой.

— Если вы услышите про сироту с тремя-четырьмя сотнями фунтов годового дохода,— сказал мистер Пексниф,— то пускай друзья этого милого юноши адресуют письмо с оплаченным ответом на почту в Солсбери, для С. П. Нет, нет, мне неизвестно, кто он такой. Не тревожьтесь, миссис Тоджерс,— произнес мистер Пексниф, наваливаясь на нее всей тяжестью,— это хроническое, хроническое! Дайте мне чего-нибудь промочить горло!

— Боже мой, мисс Пексниф! — закричала миссис Тоджерс во весь голос.— Вашему папе очень плохо!

Все опрометью бросились к мистеру Пекснифу, но сей достойный джентльмен, сделав невероятное усилие, выпрямился и, поднявшись на ноги, обвел собрание взглядом, выражавшим неизреченную мудрость. Мало-помалу это выражение уступило место улыбке, слабой, беспомощной, скорбной улыбке, умильной до приторности.

— Не сокрушайтесь обо мне, друзья мои,— ласково сказал мистер Пексниф.— Не рыдайте надо мной. Это хроническое.— И с этими словами, сделав бесплодную попытку стащить с себя башмаки, он повалился головой в камин.

Самый младший из джентльменов во мгновенье ока извлек его оттуда. Да, прежде чем успел загореться хотя бы один волосок на голове мистера Пекснифа, он вытащил на предкаминный коврик его, *ее* отца!

*Она* была почти вне себя. *Ее* сестра тоже. Джинкинс утешал обеих. Все их утешали. Каждый нашел, что им сказать, кроме самого младшего из джентльменов, который делал всю черную работу и с благородным самопожертвованием, не замеченный решительно никем, держал голову мистера Пекснифа. Наконец все собрались вокруг мистера Пекснифа и решили перенести его наверх, в постель. Самый младший из джентльменов получил от Джинкинса выговор за то, что разорвал сюртук мистера Пекснифа. Ха-ха! Но какое это имеет значение.

Они понесли его наверх, толкая на каждом шагу младшего из джентльменов. Спальня была на самом

верху, и нести было не близко, однако в конце концов они его донесли. По дороге он все время просил чего-нибудь промочить горло. Как видно, навязчивая идея! Самый младший из джентльменов предложил ему глоток воды, за что мистер Пексниф выбранил его как нельзя обиднее.

Все остальное взяли на себя Джинкинс и Гендер; они уложили его как могли удобнее на кровать, поверх одеяла, и оставили отходящим ко сну. Но не успела еще вся компания спуститься с лестницы, как на верхней площадке, пошатываясь, возник призрак мистера Пекснифа в весьма странном одеянии. Как выяснилось, ему желательно было узнать их воззрения на жизнь человеческую.

— Друзья мои,— воскликнул мистер Пексниф, выглядывая из-за перил,— давайте совершенствовать наш разум путем взаимного обмена мнений! Будем добродетельны. Будем размышлять о жизни. Где Джинкинс?

— Здесь,— отозвался этот джентльмен.— Ложитесь-ка опять в постель.

— Постель! — сказал мистер Пексниф.— В постель! «Это плачется ленивец, громко жалуется он, для чего так рано утром вы нарушили мой сон». Если есть среди вас юный сирота, который не прочь продекламировать остальные строки этого простенького стихотворения из сборника доктора Уотса *, то ныне ему предоставляется редкая возможность.

Никто на это не отважился.

— Весьма утешительно,— произнес мистер Пексниф после некоторого молчания.— Даже до чрезвычайности. Прохладно и освежительно, в особенности для ног. Ноги человека, друзья мои, представляют собою прекраснейшее произведение природы. Сравните их с деревянными ножками и заметьте разницу между анатомией природы и анатомией искусства. А знаете ли,— вдруг возвестил мистер Пексниф, перевешиваясь через перила и ни с того ни с сего переходя на игривый тон, каким он беседовал у себя дома с новыми учениками,— мне было бы весьма интересно, как представляет себе миссис Тоджерс деревянную ногу, если, конечно, она ничего не имеет против?

Так как после этой речи стало совершенно ясно, что ничего хорошего от мистера Пекснифа ждать уже нельзя,

то мистер Джинкинс с мистером Гендером опять поднялись наверх и еще раз уложили его в постель. Но не успели они спуститься и до второго этажа, как он опять выскочил на площадку; и только-только они начали спускаться с лестницы в третий раз, повторив эту операцию, как он выскочил опять. Одним словом, сколько раз его ни уводили в комнату, он каждый раз опять выскакивал на площадку, вооруженный какой-нибудь новой моральной сентенцией, и, свесившись через перила, неизменно повторял ее с таким необычайным воодушевлением и таким неукротимым стремлением учить добру своих ближних, что с ним просто сладу не было.

Ввиду таких обстоятельств, уложив мистера Пекснифа в тридцатый раз или около того, Джинкинс взялся силой удерживать его в лежачем положении, а Гендера отправил вниз, на поиски Бейли-младшего, в сопровождении которого тот вскоре и возвратился. Сей юноша, узнав, какого рода услуга от него требуется, воодушевился как нельзя больше и тотчас принес табурет, свечку и свой ужин, для того чтобы держать вахту перед дверью спальни со всевозможным комфортом.

После того как с приготовлениями было покончено, мистера Пекснифа заперли, оставив ключ снаружи и поручив Бейли-младшему внимательнее прислушиваться, не будет ли каких-нибудь симптомов апоплексического характера, угрожающих жизни пациента, и если таковые окажутся в наличии, звать на помощь немедленно; на это мистер Бейли с достоинством ответил, что он и сам не без понятия и вообще не зря ставит на письмах к друзьям адрес пансиона М. Тоджерс.

## ГЛАВА X,

*где творятся странные вещи, от которых окажутся в зависимости многие события нашего повествования*

Однако мистер Пексниф приехал в город по делу. Неужели он об этом забыл? Неужели он только и знал, что веселился с гостеприимными питомцами миссис Тоджерс, пренебрегая более важными обязанностями, тре-

бующими пристального внимания, в чем бы они ни заключались? Нет.

Время и прилив никого не ждут, говорит пословица. Зато каждому приходится ждать времени и прилива. Тот прилив, который, достигнув высшей точки, должен был подхватить Сета Пекснифа и понести навстречу фортуне, уже поднимался, и час его был известен. И не где-нибудь на сухом месте, позабыв о приливах и отливах, топтался нерадивый Пексниф,— нет, именно здесь, у самой воды, замочившей уже его подошвы, стоял этот достойный джентльмен, готовый барахтаться в грязи, лишь бы вместе с ней докатиться до обители своих упований.

Доверие, которым его дарили прелестные дочери, было поистине умилительно. Натуру своего родителя они знали как нельзя лучше, и это позволяло им питать твердую уверенность в том, что он никогда не упустит из виду своей основной цели, чем бы ни занимался. А что этой благородной целью и предметом всех его попечений был он сам и, стало быть, по необходимости, и они обе, девицы тоже знали. Их преданность отцу была беспримерна.

Это дочернее доверие было тем трогательнее, что истинные намерения их родителя в данном случае оставались им совершенно неизвестны. О его делах они знали только то, что каждое утро, после раннего завтрака, он уходил на почту справиться, нет ли писем. По выполнении этой задачи его деловой день бывал закончен, и он снова предавался отдыху, до тех пор пока новый восход солнца не предвещал прибытия новой почты.

Так продолжалось дня три или четыре. Наконец в одно прекрасное утро мистер Пексниф возвратился домой, едва переводя дух от спешки, что было даже странно видеть в нем, обыкновенно медлительном и спокойном, и, пожелав безотлагательно переговорить с дочерьми, заперся с ними на целых два часа для приватной беседы. Изо всего, что произошло за это время, известны только следующие слова, сказанные мистером Пекснифом:

— Нам не стоит задумываться над тем, как это вышло, что он так изменился (если окажется, что он действительно изменился). Дорогие мои, у меня есть на этот счет свои догадки, но делиться ими я не стану. Довольно,

если я скажу, что нам надо смириться духом, все простить и не помнить зла. Ему нужна наша дружба — пожалуйста. Надеюсь, мы знаем свой долг.

Около полудня в тот же день почтенный старик вышел из наемного экипажа у почтовой конторы и, назвав свою фамилию, справился, нет ли на его имя письма, оставленного до востребования. Письмо лежало уже несколько дней. Оно было надписано рукой мистера Пекснифа и запечатано печатью мистера Пекснифа.

Письмо было очень кратко и не содержало, в сущности, ничего, кроме адреса — с почтительнейшим поклоном и (невзирая на все, что произошло) совершеннейшим почтением мистера Пекснифа. Старик оторвал от него адрес, развеяв все остальное по ветру, и дал его кучеру, с наказом подъехать как можно ближе к месту. В соответствии с этим наказом он был подвезен к Монументу, где опять вышел, отпустил экипаж и пешком направился к пансиону М. Тоджерс.

Хотя все в этом старике — и лицо, и фигура, и походка, и даже непреклонный вид, с каким он опирался на трость,— выражало неумолимую решимость и твердую волю (хорошо или дурно направленную, сейчас не имеет значения), каких в былое время не сломила бы даже пытка и кои в смертной слабости являли жизни силу, однако в нем заметны были следы колебаний, заставивших его пройти мимо дома, который он искал, и некоторое время прохаживаться взад и вперед в полосе солнечного света, пересекавшей соседнее маленькое кладбище. Быть может, в присутствии этих недвижных груд праха рядом с кипучей городской жизнью было нечто такое, что усилило его колебания, но он ходил по кладбищу взад и вперед, будя своими шагами эхо, до тех пор, пока часы на колокольне не начали во второй раз отбивать четверть и не вывели его из задумчивости. Как только в воздухе замер звон колоколов, он стряхнул с себя оцепенение и, подойдя к дому большими шагами, постучался в дверь.

Мистер Пексниф сидел в комнатке хозяйки, и гость застал его — совершенно случайно, мистер Пексниф даже извинился — за чтением серьезнейшего богословского трактата. Рядом, на маленьком столике, стояли вино и печенье — опять-таки случайно, и мистер Пексниф опять-

таки извинился. По его словам, он уже перестал ожидать гостя, и когда тот постучался в дверь, собирался разделить это скромное угощение со своими дочерьми.

— Дочери ваши здоровы? — спросил старик, кладя шляпу и трость.

Отвечая на этот вопрос, мистер Пексниф напрасно пытался скрыть свое родительское волнение. Да, они здоровы. Они добрые девушки, сказал он, очень добрые. Он не берет на себя смелость советовать мистеру Чезлвиту сесть в кресло или держаться подальше от сквозняка. Он опасается, что, отважившись на это, навлечет на себя самые несправедливые подозрения. Поэтому он ограничится указанием, что в комнате есть кресло и что от двери дует. С этим последним неудобством, если ему будет позволено прибавить еще одно слово, довольно часто приходится встречаться в старых домах.

Старик сел в кресло и после нескольких минут молчания сказал:

— Прежде всего, позвольте поблагодарить вас за то, что вы так скоро приехали в Лондон по моей просьбе, не спрашивая о причинах,— приехали, разумеется, за мой счет.

— За *ваш* счет, уважаемый сэр? — воскликнул мистер Пексниф тоном величайшего изумления.

— Не в моих правилах,— продолжал Мартин, нетерпеливо отмахнувшись рукой,— не в моих правилах вводить моих... ну, родственников, что ли, в какие бы то ни было расходы из-за личных капризов.

— Капризов, уважаемый сэр? — воскликнул мистер Пексниф.

— Да, это слово едва ли тут подходит,— сказал старик.— Да, вы правы.

Услышав это, мистер Пексниф в душе очень обрадовался, хотя и неизвестно почему.

— Да, вы правы,— повторил Мартин.— Это не каприз. Это доказано, проверено рассудком и испытано путем беспристрастного сравнения. С капризами так не бывает. Кроме того, я человек не капризный. И никогда не был капризным.

— Вне всякого сомнения, нет,— сказал мистер Пексниф.

— А вы почем знаете? — возразил старик резко.— Вы только теперь начнете со мной знакомиться. Вам предстоит проверить это на деле в самом ближайшем времени. Вы и ваши еще узнаете, что я могу быть тверд, и уж если я что задумал, меня не собьешь с толку. Слышите?

— Как нельзя лучше,— сказал мистер Пексниф.

— Я очень сожалею,— размеренно и не спеша продолжал Мартин, глядя прямо в глаза собеседнику,— я очень сожалею, что в последнюю нашу встречу между нами произошел такой разговор. Я очень сожалею, что был так откровенен с вами. Теперь у меня совершенно другие намерения: брошенный всеми, кому я доверился, обманутый и обойденный всеми, кто должен был бы оказывать мне помощь и поддержку, я обращаюсь к вам в поисках убежища. Я хочу, чтобы вы стали моим союзником, чтобы вас соединял со мной личный интерес и надежды на будущее,— он с особенным ударением произнес эти слова, хотя мистер Пексниф настойчиво просил его не беспокоиться,— и с вашей помощью последствия самой гнусной низости, лицемерия и коварства обрушатся на головы истинных виновников.

— Достойный сэр! — воскликнул мистер Пексниф, схватывая протянутую ему руку.— Вам ли сожалеть о том, что вы думали обо мне несправедливо! *Вам* ли, с вашими седыми волосами!

— Сожаления,— сказал Мартин,— неотъемлемый удел седых волос, и хотя бы эта доля человеческого наследия у меня общая со всеми людьми. Но довольно об этом. Я сожалею, что так долго чуждался вас. Если б я узнал вас раньше и раньше начал обращаться с вами, как вы того заслуживаете, я, возможно, был бы счастливее.

Мистер Пексниф воззрился на потолок и сжал в умилении руки.

— Ваши дочери,— сказал Мартин после недолгого молчания.— Я их не знаю. Похожи они на вас?

— В подбородке моей младшей дочери и носу старшей,— ответствовал вдовец,— возродился ангел на земле — не я, но их родительница, святая женщина!

— Я говорю не о внешности,— возразил старик.— О духовном сходстве, о духовном!

— Не мне об этом судить,— ответил мистер Пекснифф с кроткой улыбкой.— Я сделал все, что мог, сэр.

— Мне бы хотелось их видеть,— сказал Мартин.— Они тут где-нибудь близко?

Да, они были очень близко: по правде сказать, они подслушивали за дверью с самого начала разговора и до последней минуты, но тут поспешно ретировались. Отерев следы родительской слабости со своих глаз и, таким образом, дав дочерям время подняться наверх, мистер Пекснифф отворил дверь и ласково крикнул в коридор:

— Дорогие мои девочки, где вы?

— Здесь, милый папа! — ответил издали голос Чарити.

— Прошу тебя, сойди в малую гостиную, душа моя,— сказал мистер Пекснифф,— и приведи с собой сестру.

— Хорошо, милый папа! — крикнула в ответ Мерри; и обе сейчас же сошли вниз (воплощенное послушание!), напевая на ходу.

Трудно описать, как удивились обе мисс Пекснифф при виде незнакомого гостя, сидевшего вместе с их милым папой. Невозможно изобразить, как обе они замерли в немом изумлении при его словах: «Дети мои, это мистер Чезлвит!» Когда же мистер Пекснифф сказал им, что они теперь друзья с мистером Чезлвитом и что добрые и ласковые речи мистера Чезлвита потрясли его душу и проникли в самое сердце, обе мисс Пекснифф воскликнули в один голос: «Слава богу!» — и бросились на шею старику. И обняв его с таким пылким чувством, которое просто не поддается описанию, они потом не отходили ни на шаг от его кресла, ухаживали за ним и вообще вели себя так, будто никогда не мечтали о другом счастье на земле, кроме возможности предупреждать все его желания, служить ему, излить на закат его жизни всю ту любовь, которая могла бы до краев заполнить их существование с самого детства, если бы только он сам — милый упрямец! — согласился тогда принять эту бесценную жертву.

Старик внимательно переводил глаза с одной на другую, потом взглянул на мистера Пекснифа.

— Как их зовут? — спросил он мистера Пекснифа, случайно поймав его опускающийся взор, до сих пор на-



божно возведенный горе, с тем выражением, какое стихотворцы исстари приписывают птичке, испускающей последний вздох при раскатах грома и блеске молнии.

Мистер Пексниф назвал их имена и прибавил торопливо, в надежде, как, вероятно, сказали бы клеветники, что у старика могла появиться мысль о завещании:

— Быть может, дорогие мои, вам лучше написать свои имена. Ваши скромные автографы сами по себе не имеют ценности, но истинная любовь конечно оценит их.

— Истинная любовь,— сказал старик,— обратится на живые оригиналы. Не беспокойтесь, милые мои, я не так скоро вас забуду, Чарити и Мерси, чтобы мне понадобились напоминания. Кузен!

— Сэр? — с готовностью отозвался мистер Пексниф.

— Неужели вы никогда не садитесь?

— Нет, отчего же, сэр, иногда сажусь,— ответил мистер Пексниф, который стоял все это время.

— Не угодно ли вам сесть?

— Как можете вы спрашивать, сэр,— возразил мистер Пексниф, моментально скользнув на стул,— хочу ли я сделать то, чего желаете вы?

— Я вижу, вы доверяетесь мне,— сказал Мартин,— и намерения у вас добрые; однако вам едва ли известно, что такое стариковские причуды. Вы не знаете, каково поддакивать старику во всех его пристрастиях и предубеждениях, потакать его предрассудкам, слушаться его во всем, терпеть подозрительность и придирки и тем не менее всегда с одинаковым усердием прислуживать ему. Когда я вспоминаю, сколько у меня недостатков, и недостатков поистине исключительных, судя уже по тому, как несправедливо я думал о вас,— мне кажется, я не смею рассчитывать на вашу дружбу.

— Досточтимый сэр,— ответил его родственник,— зачем предаваться таким тягостным размышлениям? Было более чем естественно с вашей стороны сделать одну незначительную ошибку, когда во всех других отношениях вы нисколько не ошибались и оказались безусловно правы,— к сожалению, безусловно и бесспорно правы,— видя всех окружающих вас в самом черном свете!

— Да, правда,— ответил старик.— Вы очень снисходительны ко мне.

— Мои дочери и я, мы всегда говорили,— воскликнул мистер Пекснифф еще более подобострастно,— что хотя мы и оплакиваем наше тяжкое несчастье, то есть то, что нас поставили на одну доску с людьми низкими и корыстными, все же мы этому не удивляемся. Дорогие мои, помните, мы об этом говорили?

Еще бы не помнить! Сотни раз!

— Мы не жаловались,— продолжал мистер Пекснифф.— Время от времени мы позволяли себе утешаться мыслью, что истина все же победит и добродетель восторжествует,— но не часто. Милые мои, вы помните это?

Ну конечно! Какие же тут могут быть сомнения, милый папа? Вот странный вопрос!

— А когда я увидел вас,— заключил мистер Пекснифф еще более почтительно,— в той маленькой, скромной деревушке, где мы, если позволительно так выразиться, влачим существование, я только позволил себе заметить, что вы во мне несколько ошибаетесь, досточтимый; и это было, мне кажется, все.

— Нет, не все,— ответил Мартин, который сидел, прикрыв лоб рукой, и только теперь взглянул на мистера Пекснифа.— Вы сказали гораздо больше; и это вместе с другими обстоятельствами, которые стали мне известны, открыло мне глаза. Вы вполне бескорыстно замолвили слово за... надо ли говорить, за кого! Вы знаете, о ком я говорю.

Смятение изобразилось на лице мистера Пекснифа, и, крепко сжав трепетные руки, он ответил смиренно:

— Совершенно бескорыстно, сэр, уверяю вас.

— Я это знаю,— сказал старик, спокойно как всегда.— Я уверен в этом. Я так и сказал. И с тем же бескорыстием вы отвлекли от меня стаю гарпий и сами сделались их жертвой. Другой на вашем месте сначала дал бы им проявить всю их алчность, чтобы по сравнению с ними выиграть в моем мнении. А вы пожалели меня и отвлекли их, за что мне и следует вас поблагодарить. Так что, видите, мне известно все, что произошло за моей спиной, хоть я и уехал оттуда!

— Вы меня удивляете, сэр! — воскликнул мистер Пексниф, что было истинной правдой.

— Но это еще не все, что мне известно о вашем поведении,— продолжал старик.— У вас в доме есть новый жилец.

— Да, сэр, есть,— ответил архитектор.

— Он должен уехать,— сказал старик.

— Куда? К вам? — растерянно и с дрожью в голосе спросил мистер Пексниф.

— Туда, где сможет найти себе приют,— отвечал старик.— Он обманул вас.

— Надеюсь, что нет,— с жаром сказал мистер Пексниф.— Верю и надеюсь, что нет. Я был в высшей степени расположен к этому молодому человеку. Надеюсь, нельзя будет доказать, что он лишил себя всяких прав на мою поддержку. Обман, обман, уважаемый мистер Чезлвит,— ничего не может быть хуже обмана. Если будет установлено, что он меня обманул, я сочту себя вынужденным немедленно отречься от него.

Старик взглянул на его прелестных союзниц, а особенно на мисс Мерси, которой он посмотрел прямо в лицо с гораздо большим интересом и оживлением, чем обнаруживал до сих пор. Опять встретивши взгляд мистера Пекснифа, он сказал сдержанно:

— Вам, разумеется, известно, что он уже выбрал себе подругу жизни?

— Боже мой! — воскликнул мистер Пексниф, изо всех сил ероша волосы и глядя на дочерей дикими глазами.— Это превосходит всякое вероятие!

— Вам это известно? — повторил Мартин.

— Но ведь не без разрешения и одобрения своего дедушки, достоуважаемый сэр? — воскликнул мистер Пексниф.— Нет, лучше не говорите мне! Из уважения к природе человеческой не говорите мне ничего подобного!

— Я так и думал, что он скрыл это от вас,— сказал старик.

Негодование, которое ощутил мистер Пексниф при этом ужасном открытии, могло сравниться только с пламенным гневом его дочерей. Как! Они допустили к себе в дом, к своему семейному очагу змея, обручившегося

тайно, крокодила, который присватался к кому-то на стороне, нищего самозванца, притворщика, выдающего себя за холостяка и обманом втершегося в их девический мир?! И подумать только, что он позволял себе обманывать кроткого, почтенного старика, имя которого он носит, доброго и нежного опекуна, который заменил ему отца (не говоря уже о матери),— ужасно, просто ужасно! Выгнать его с позором — этого мало. Неужели за такие дела не полагается наказания или штрафа? Возможно ли, чтобы в законах страны это было упущено из виду и за такое преступление не назначено кары? Изверг! Как подло он обманул их!

— Я очень доволен, что вы так горячо меня поддержали,— сказал старик, поднимая руку, чтобы остановить поток их гнева.— Не стану отрицать, меня радует такое ваше рвение. Будем считать, что с этим предметом покончено.

— Нет, достоуважаемый сэр,— воскликнул мистер Пексниф,— не покончено, пока я не очищу свой дом от скверны!

— Все в свое время,— сказал старик.— Будем считать, что это уже сделано вами.

— Вы очень добры, сэр,— ответил мистер Пексниф, пожимая ему руку.— Вы делаете мне честь. Да, вы можете так считать, даю вам мое слово!

— Есть другое дело,— сказал Мартин,— в котором вы мне, надеюсь, поможете. Вы помните Мэри, кузен?

— Это та самая молодая особа, которая произвела на меня такое глубокое впечатление? Дорогие мои, я уже говорил вам,— заметил мистер Пексниф, обращаясь к дочерям.— Простите, что я прервал вас, сэр.

— Я рассказывал вам ее историю,— продолжал старик.

— И об этом я тоже говорил вам,— помните, милые мои? — воскликнул мистер Пексниф.— Такие дурочки, мистер Чезлвит,— они чуть не расплакались, сэр, представьте себе!

— Да что вы! — сказал Мартин, по-видимому очень довольный.— Я боялся, что мне придется убеждать вас, просить, чтобы вы отнеслись к ней доброжелательно ради меня. А вы, оказывается, не завистливы? Что ж, завидо-

вать вам, конечно, нет причины. Она от меня ничего не получит, милые мои, и это ей известно.

Обе мисс Пексниф пролепетали своё одобрение такой мудрой предусмотрительности и сочувственно отозвались об ее интересной жертве.

— Если бы я мог предвидеть то, что произошло сейчас между нами четверыми,— сказал старик в раздумье,— впрочем, теперь уже поздно об этом думать. Так вы встретите ее приветливо, барышни, и будете к ней добры, если понадобится?

Где та сиротка, которую обе мисс Пексниф не приняли бы с восторгом в свои распростертые сестринские объятия? А уж если эту сиротку поручал их заботам тот, на кого, прорвав, наконец, плотину, хлынули их долго сдерживаемые чувства,— судите сами, какие неисчерпаемые запасы нежности должны были излиться на нее!

Последовала пауза, в продолжение которой мистер Чезлвит сидел в раздумье, уставясь в землю и не говоря ни слова; и так как он явно не желал, чтобы его размышления были нарушены, мистер Пексниф и обе его дочери тоже хранили глубокое молчание. Во все время разговора старик подавал свои реплики с какой-то холодной, безжизненной готовностью, словно затвердил их наизусть и устал повторять сотни раз одно и то же. Даже в те минуты, когда его слова были всего теплее и тон всего ласковее, он оставался все таким же, нисколько не смягчаясь. Но вдруг его глаза оживились и заблестели, и голос стал как будто выразительнее, когда он произнес, очнувшись от задумчивости:

— Вы знаете, что об этом скажут? Подумали вы?

— О чем скажут, досточтимый сэр? — спросил мистер Пексниф.

— Об этом новом согласии между нами.

Мистер Пексниф выразил на своем лице мудрую снисходительность, давая понять, что он выше всех низменных кривотолков, а вслух заметил, покачав головой, что без сомнения говорить будут очень многое.

— Очень многое,— подтвердил старик.— Некоторые скажут, что я выжил из ума на старости лет, одряхлел после болезни, ослаб духом и впадаю в детство. Выдержите ли вы все это?

Мистер Пексниф отвечал, что выдержать это будет необычайно трудно, однако он думает, что выдержит, если приложит все силы.

— Другие скажут — я говорю о разочарованных, озлобленных людях,— что вы лгали, прислуживались, пресмыкались, стараясь втереться ко мне в доверие, и что таких сделок с совестью, такого криводушия, таких низостей и таких отвратительных подлостей не сможет оплатить ничто — да, ничто, хотя бы вы получили в наследство полмира! Выдержите ли вы это?

Мистер Пексниф ответил, что это тоже нелегко будет выдержать, поскольку здесь в известной мере подвергается сомнению здравый смысл мистера Чезлвита. Однако он питает скромную уверенность, что выдержит даже и эту клевету, опираясь на свою чистую совесть и на дружбу мистера Чезлвита.

— У большинства клеветников,— продолжал старик Мартин, откидываясь на спинку кресла,— сплетня, насколько я догадываюсь, примет такой вид: обо мне скажут, что, желая выразить свое презрение к этому сброду, я выбрал среди них худшего из худших, заставил его плясать по своей дудке, приблизил к себе и осыпал золотом, обойдя всех остальных. Скажут, что после долгих поисков такого наказания, которое больнее всех других поразило бы этих коршунов и было бы для них всего горше, я придумал этот план в то самое время, когда последнее звено цепи, соединявшей меня с моей родней узами любви и долга, было грубо разорвано; грубо — потому что я любил его; грубо — потому что я верил в его привязанность ко мне; грубо — потому что он порвал эту цепь именно тогда, когда я любил его всего сильнее. О боже, боже! Как мог он оставить меня без всякого сожаления, когда я прилепился к нему всем сердцем! Так вот,— продолжал старик, успокаиваясь так же мгновенно, как и поддался этой вспышке чувства,— уверены ли вы, что выдержите и это? Знайте, что вам приходится рассчитывать только на себя, и не надейтесь на мою поддержку!

— Дорогой мой мистер Чезлвит! — в умилении воскликнул мистер Пексниф.— Для такого человека, каким вы себя показали сегодня, для человека, так глубоко

оскорбленного и в то же время исполненного гуманных чувств, для человека, который... не знаю, как бы это выразить... и который в то же время так удивительно... просто не нахожу слов... для такого именно человека, думаю, не будет с моей стороны преувеличением сказать, что я и — надеюсь, можно прибавить — обе мои дочери (дорогие мои, у нас, кажется, в этом вопросе полное согласие?) — для такого человека мы вынесли бы решительно все на свете!

— Довольно! — сказал Мартин.— Я не отвечаю за последствия. Когда вы возвращаетесь домой?

— Когда вам будет угодно, сэр. Сегодня же, если вы этого желаете.

— Я не желаю ничего неразумного,— возразил старик.— А такая просьба с моей стороны была бы неразумна. Сможете ли вы вернуться к концу недели?

Именно этот срок мистер Пексниф назвал бы и сам, если бы ему был предоставлен выбор. Что касается его дочерей, то слова: «Давай вернемся в субботу, милый папа»,— уже готовы были сорваться у них с языка.

— Ваши расходы, кузен,— сказал старик, доставая из бумажника сложенную бумажку,— возможно, превышают эту сумму. Если это так, вы сообщите мне, сколько я вам должен, в следующую нашу встречу. Вам нет надобности знать, где я живу сейчас: у меня, в сущности, нет постоянного адреса. Когда он у меня будет, я извещу вас. Вы и ваши дочери увидите меня в самом скором времени, а до тех пор — незачем и говорить вам — каждому из нас следует хранить эту беседу в тайне. Что именно вам надлежит сделать по возвращении домой, вы уже знаете. Отчета мне не нужно; не нужно вообще никаких напоминаний. Прошу об этом как об одолжении. Я не люблю тратить лишних слов, кузен, и, мне кажется, все, что надо было сказать, уже сказано.

— Рюмку вина, сэр, ломтик вот этого простого кекса? — упрашивал мистер Пексниф, пытаясь удержать гостя.— Дорогие мои! Что же вы?

Обе сестры бросились угощать старика.

— Бедные мои девочки! — сказал мистер Пексниф.— Вы извините их волнение, сэр. Они у меня сама чувствительность. Это неходкий товар, мистер Чезлвит, с ним не

проживешь на свете. Моя младшая дочь тоже совсем взрослая женщина, не правда ли, сэр? Почти такая же, как старшая.

— А которая из них моложе? — спросил старик.

— Мерси моложе на пять лет,— ответил мистер Пексниф.— Мы иногда позволяем себе думать, что у нее статная фигура. Мне, как художнику, быть может разрешено будет указать на изящество и правильность ее сложения. Я, естественно, горжусь,— продолжал мистер Пексниф, вытирая руки платком и почти при каждом слове беспокойно поглядывая на кузена,— что у меня есть дочь, которая сложена наподобие лучших образцов скульптуры, если можно так выразиться.

— Она, по-видимому, очень живого нрава? — заметил Мартин.

— Боже мой! — воскликнул мистер Пексниф.— Это поистине замечательно! Вы так верно определили ее характер, досточтимый сэр, будто знаете ее с рождения. Да, она весьма живого нрава. Смею вас уверить, сэр, ее веселость очень оживляет наш незатейливый домашний мирок.

— Не сомневаюсь,— отозвался старик.

— Чарити, с другой стороны,— продолжал мистер Пексниф,— отличается большим здравым смыслом и необыкновенной глубиной чувства, если отцу извинительно такое отцовское пристрастие. На редкость привязаны друг к другу, достоуважаемый сэр! Разрешите мне выпить за ваше здоровье! Желаю вам!

— Еще месяц назад я не мог и думать,— отвечал Мартин,— что буду есть с вами хлеб и пить вино. За ваше здоровье!

Отнюдь не смутившись необычайной сухостью, с какой были сказаны последние слова, мистер Пексниф рассыпался перед ним в благодарностях.

— А теперь позвольте мне уйти,— сказал Мартин, ставя на стол рюмку, которую он только пригубил.— Всего хорошего, милые мои!

Но такое прохладное прощание показалось недостаточным для нежных, стремительных чувств обеих девиц, которые опять бросились обнимать старика от всей души и уж во всяком случае изо всех сил, чему их новообре-

тенный друг подчинился гораздо более кротко, чем можно было бы ожидать от человека, который всего минуту назад так нелюбезно пил за здоровье их папаши. Как только нежности кончились, старик коротко попрощался с мистером Пекснифом и удалился, сопровождаемый до самой двери отцом и дочерьми, которые стояли в дверях, расточая воздушные поцелуи и ласковые улыбки, пока он не скрылся из виду,— хотя, по правде сказать, едва переступив порог, старик ни разу уже потом не оглянулся.

Как только они снова вернулись в дом и остались одни в комнате миссис Тоджерс, обе девицы пришли в необыкновенно веселое настроение, до того даже, что хлопали в ладоши и хохотали, плутовски и задорно поглядывая на своего драгоценного родителя. Это поведение было до такой степени необъяснимо, что мистер Пексниф (будучи сам настроен довольно мрачно) не мог не спросить их, что все это значит, и даже сделал им выговор за такое легкомыслие, впрочем довольно мягкий.

— Если бы для этой веселости имелась какая-либо причина, хотя бы самая отдаленная,— сказал он,— я бы не стал вас упрекать. Но когда причины не может быть решительно никакой... ну право же, никакой ровно!..

Это увещание столь мало подействовало на Мерси, что она была вынуждена приложить платок к своим розовым губкам и откинуться на спинку стула, по всем признакам едва сдерживая смех. Мистер Пексниф был до такой степени оскорблен ее непослушанием, что упрекнул дочь довольно сурово и дал ей родительский совет уединиться и подумать о своем поведении. Но тут его прервал шум спорящих голосов, и поскольку этот шум доносился из соседней комнаты, то содержание спора в самом скором времени достигло их ушей.

— Мне какое дело, миссис Тоджерс! — говорил молодой джентльмен, тот, что был самым молодым из всего общества на обеде.— Никакого мне нет дела до вашего Джинкинса. Даже вот столько я о нем не забочусь,— сказал он, прищелкнув пальцами.— И не думайте, пожалуйста.

— Да я вовсе и не думаю, сэр,— отвечала миссис Тоджерс.— С вашим независимым умом и сильным характером вы никому на свете не уступите. И совершенно

правильно. С какой стати вы должны уступать кому бы то ни было из джентльменов? Пускай все так и знают.

— Мне ничего не стоит пристрелить вашего Джинкинса,— говорил молодой человек отчаянным голосом,— он для меня все равно что любая собака.

Миссис Тоджерс даже и не подумала спросить, зачем ее жильцу понадобилось пристрелить собаку, и не лучше ли оставить эту собаку в покое, пускай живет, сколько ей назначено природой,— она только заломила руки и слегка простонала.

— И пускай держит ухо востро,— говорил молодой человек.— Предупреждаю. Пусть лучше никто не становится мне поперек дороги, когда я жажду отомстить. Я знаю тут одного парня,— в волнении у него сорвалось с языка это вульгарное слово, но он тут же поправился, прибавив: — то есть джентльмена со средствами, который каждый день стреляет в цель из собственных пистолетов, у него же их, кстати, пара. Так вот, в конце концов меня доведут до того, что я займу пистолеты у этого джентльмена и отправлю к Джинкинсу своего секунданта, и тогда во всех газетах будет напечатано об этой трагедии. Вот и все.

Миссис Тоджерс опять простонала.

— Я долго терпел молча,— продолжал младший из джентльменов,— но больше я этого выносить не намерен, вся душа у меня просто кипит. Я ведь даже из дому уехал из-за того, что есть во мне такая черта характера: не захотел быть под башмаком у сестры — и все! Так что же вы думаете, неужели я позволю этому вашему Джинкинсу сесть мне на голову? Никогда.

— Это очень нехорошо со стороны мистера Джинкинса, я думаю, прямо-таки непростительно, если у него такие намерения,— поторопилась вставить миссис Тоджерс.

— А какие же еще? — воскликнул самый младший из джентльменов.— Кто перебивает меня и противоречит мне на каждом шагу? Кто не жалеет усилий, чтобы оттереть меня от предмета моего поклонения, чем бы или кем бы я ни увлекся? Кто делает вид, будто совсем позабыл про меня, каждый раз как наливает всем пиво? Кто постоянно хвастается своими бритвами и делает оскорби-

тельные намеки на людей, которым нет надобности бриться чаще одного раза в неделю? Только уж пусть глядит в оба! Как бы я его не отбрил, вот что я ему скажу.

Молодой человек допустил одну незначительную ошибку в этой последней фразе: он обратился с этой угрозой не к Джинкинсу, а все к той же миссис Тоджерс.

— Впрочем,— поправился он,— все это материя не для дамских ушей. Вам же, миссис Тоджерс, я могу сказать только одно: я от вас съезжаю ровно через неделю после той субботы. Я больше не в состоянии жить под одной крышей с этим мерзавцем. Если до того времени у нас обойдется без кровопролития — ваше счастье, миссис Тоджерс. Не думаю, однако, чтобы обошлось.

— Боже мой, боже мой! — воскликнула миссис Тоджерс.— Чего бы я только не дала, чтобы этого не было! Потерять вас, сэр, это для моего заведения все равно что потерять правую руку. Вы пользуетесь такой популярностью среди джентльменов, все вас так уважают, так любят! Надеюсь, вы передумаете — если не ради кого-нибудь другого, то хотя бы ради меня.

— У вас остается ваш Джинкинс,— сказал молодой человек мрачно.— Ваш любимчик. Он утешит и вас и всех ваших постояльцев, хотя бы вы потеряли двадцать таких, как я. Меня не понимают в этом доме. И никогда не понимали.

— Не поддавайтесь этой гибельной мысли, сэр! — воскликнула миссис Тоджерс тоном самого искреннего протеста.— Не обвиняйте понапрасну наше заведение, прошу вас! Этого просто быть не может, сэр. Говорите что хотите против джентльменов или против меня, только не говорите, что вас не понимают в этом доме.

— Если бы понимали, тогда не обращались бы так,— отвечал молодой человек.

— Вот в этом вы очень ошибаетесь,— возразила миссис Тоджерс все тем же тоном.— Как не раз говорили и многие из джентльменов, и я сама, вы чересчур впечатлительны. В этом вся суть. Слишком у вас чувствительная натура; таким уж вы родились.

Молодой человек кашлянул.

— А что касается мистера Джинкинса,— продолжала миссис Тоджерс,— то, уж если нам суждено расстаться, я прошу вас понять, что я нисколько не потакаю мистеру Джинкинсу. Вовсе нет. Я бы желала, чтобы мистер Джинкинс не командовал в моем заведении и не становился причиной недоразумений между мной и джентльменами, с которыми мне будет гораздо тяжелей расстаться, чем с мистером Джинкинсом. Мистер Джинкинс вовсе не такой постоялец,— прибавила миссис Тоджерс,— чтобы ради него жертвовать всеми, кого я уважаю и кому сочувствую. Совершенно наоборот, уверяю вас.

Молодой человек настолько смягчился от этих и им подобных слов миссис Тоджерс, что они с ней как-то незаметно обменялись ролями; теперь она была оскорбленной стороной, причем подразумевалось, что он-то и есть оскорбитель, но в самом лестном, отнюдь не обидном смысле, поскольку его жестокое поведение приписывалось исключительно возвышенности натуры — и ничему больше. В конце концов молодой человек раздумал съезжать и долго уверял миссис Тоджерс в своем неизменном уважении к ней, после чего отправился на службу.

— Боже мой, душеньки мои мисс Пексниф! — воскликнула эта дама, входя в малую гостиную, усаживаясь на стул с корзинкой на коленях и в изнеможении роняя на нее руки.— Какие нужны нервы, чтобы вести такой дом. Вам, я думаю, было слышно, что тут происходит? Ну, видали ли вы что-нибудь подобное?

— Никогда! — отвечали обе мисс Пексниф.

— Видала я на своем веку бестолковых мальчишек,— продолжала миссис Тоджерс,— но такого пустого и вздорного вижу первый раз. Правда, мистер Джинкинс бывает с ним строг, но все же не так, как он того заслуживает. Ставить себя на одну доску с таким джентльменом, как мистер Джинкинс! Это, знаете ли, уж слишком! Да еще хорохорится, господь с ним, как будто они ровня!

Девиц очень позабавило объяснение миссис Тоджерс, а еще больше кое-какие, весьма кстати рассказанные анекдоты, рисующие характер молодого человека. Зато мистер Пексниф сурово и гневно нахмурился и, как только она замолчала, произнес многозначительно:

— Простите, миссис Тоджерс, нельзя ли спросить, сколько именно вкладывает этот молодой человек в хозяйство вашего заведения?

— Ну, много ли там с него приходится, сэр; он платит за все шиллингов восемнадцать в неделю! — сказала миссис Тоджерс.

— Восемнадцать шиллингов в неделю! — повторил мистер Пексниф.

— Неделя на неделю не приходится, но что-то около того,— отвечала миссис Тоджерс.

Мистер Пексниф поднялся со стула, скрестил руки на груди, взглянул на миссис Тоджерс и покачал головой:

— И вы хотите сказать, сударыня,— мыслимо ли это, миссис Тоджерс,— что из-за такого ничтожного вознаграждения, как восемнадцать шиллингов в неделю, женщина с вашим умом способна унизиться до фальши, до двуличия, хотя бы на одну только минуту?

— Ведь должна же я как-то выходить из положения, сэр,— нерешительно пролепетала миссис Тоджерс.— Надо и о том позаботиться, чтобы они не ссорились, и о том, чтобы мне не растерять жильцов. Пользы от них очень мало, мистер Пексниф.

— Польза! — воскликнул мистер Пексниф, делая сильное ударение на этом слове.— Польза, миссис Тоджерс! Вы меня изумляете!

Он был до такой степени беспощаден, что миссис Тоджерс ударилась в слезы.

— Польза! — повторил мистер Пексниф.— Польза притворства! Поклоняться золотому тельцу, или Ваалу *,— ради восемнадцати шиллингов в неделю!

— Не судите меня слишком строго, мистер Пексниф,— всхлипнула миссис Тоджерс, доставая платок из кармана.

— О телец, телец! — скорбно провозгласил мистер Пексниф. — О Ваал, Ваал! О друг мой, миссис Тоджерс! Пресмыкаться перед всякой тварью, променять эту бесценную жемчужину — уважение к себе — на восемнадцать шиллингов в неделю!

Он был так подавлен и расстроен этой мыслью, что тут же снял шляпу с гвоздика в коридоре и вышел прогуляться для успокоения чувств. Каждому, кто встречался с ним на улице, с первого взгляда становилось ясно, что

перед ним добродетельный человек: после нравоучения, прочитанного им миссис Тоджерс, вся его фигура дышала сознанием исполненного долга.

Восемнадцать шиллингов в неделю! Справедливо, в высшей степени справедливо твое порицание, о неподкупный Пексниф! Еще если б это было ради какой-нибудь ленты, звезды или подвязки *, ради епископской мантии, улыбки значительного лица или места в парламенте; ради удара по плечу королевской шпагой; * ради повышения в должности или приглашения на бал, или ради какой-нибудь большой выгоды — ради восемнадцати тысяч фунтов или хотя бы ради тысячи восьмисот! Но поклоняться золотому тельцу из-за восемнадцати шиллингов в неделю! Печально, весьма печально!

## ГЛАВА XI,

### *где один молодой человек выказывает особенное внимание одной девице и где на нас ложится тень многих грядущих событий*

Семейство Пексниф готовилось уже покинуть пансион миссис Тоджерс, и все до одного джентльмены были безутешны и предавались скорби ввиду предстоящей разлуки, когда однажды, в веселый полуденный час, Бейли-младший предстал перед мисс Чарити Пексниф, которая сидела с сестрой в памятной банкетной зале, подрубая полдюжины новых платков для мистера Джинкинса, и, выразив предварительно благочестивую надежду когда-нибудь провалиться в тартарары, дал ей понять, дурачась по привычке, что один джентльмен желает засвидетельствовать ей свое почтение и в настоящее время ждет ее в гостиной. Последнее сообщение доказывало всю простоту и беззаботность натуры Бейли гораздо лучше, чем любая пространная речь, потому что, встретив этого джентльмена в прихожей, мальчик тут же его покинул, намекнув, что тот хорошо сделает, если поднимется наверх, и предоставив ему руководствоваться собственным чутьем. А потому ровно половина шансов была за то, что гость в это время бродит где-нибудь по крыше дома или тщетно пытается выбраться из лабиринта

спален,— пансион М. Тоджерс был именно такого рода заведением, где без опытного кормчего новый человек мог оказаться именно там, где его меньше всего ожидали и куда он меньше всего желал попасть.

— Джентльмен ко мне! — воскликнула Чарити, бросая работу.— Что ты, Бейли, господи помилуй!

— Ага! — сказал Бейли.— «Помилуй!», вот оно как? Никто вас не помилует, и не ждите; я бы ни за что не помиловал на его месте!

Это замечание не отличалось ясностью в силу множества отрицаний, что, быть может, заметил читатель; но в сопровождении весьма выразительной пантомимы, изображающей счастливую парочку, которая шествует под ручку к приходской церкви, обмениваясь нежными взглядами, оно ясно выражало твердую уверенность этого юноши в том, что гость явился с амурными целями. Мисс Чарити сделала вид, что возмущена такой вольностью, но не могла удержаться от улыбки. Ну, не странный ли мальчик? Какую бы глупость он ни сказал, в ней все-таки можно отыскать смысл. Это в нем всего лучше.

— Но я не знаю никакого джентльмена, Бейли,— сказала мисс Пексниф.— По-моему, ты что-то ошибаешься.

Мистер Бейли только ухмыльнулся в ответ на такое нелепое предположение, глядя на сестер с неизменной благосклонностью.

— Дорогая моя Мерри,— сказала Чарити,— кто бы это мог быть? Как странно! Мне что-то не хочется к нему выходить, право. Что-то уж очень странно, знаешь ли.

Младшая сестра, по-видимому, сочла, что старшая слишком уж чванится этим визитом; не рассчитывает ли она взять реванш и отомстить за то, что Мерри покорила решительно всех коммерческих джентльменов? Поэтому она ответила очень ласково и любезно, что это в самом деле очень странно и что она решительно отказывается понять, зачем Черри понадобилась неизвестному чудаку.

— Совершенно невозможно угадать! — сказала Чарити язвительно.— Хотя тебе все-таки не на что сердиться, милая моя!

— Спасибо,— отвечала Мерри, напевая за рукоделием.— Я и сама это прекрасно знаю, душенька моя.

— Боюсь, что тебе совсем вскружили голову, дурочка,— сказала Черри.

— Знаешь, милая,— отвечала Мерри с пленительной откровенностью,— я и сама этого все время боюсь! Столько лести, чести и всего прочего, что закружилась бы голова и покрепче моей. Хорошо тебе, моя милая, что ты можешь быть совершенно спокойна, к тебе не пристают эти противные мужчины. Как ты это делаешь, Черри?

Бесхитростный вопрос мисс Мерри мог бы вызвать целую бурю, если бы не сильнейший восторг, проявленный Бейли-младшим; неожиданный оборот разговора так его воодушевил, что он немедленно пустился в пляс и исполнил чрезвычайно сложный танец, удающийся только в минуту вдохновения и именуемый в просторечии «Матросской пляской». Это бурное проявление чувств напомнило девицам великое правило добродетели: «Всегда ведите себя прилично», в котором обе они были воспитаны. Они сразу притихли и в один голос объявили мистеру Бейли, что, если он еще раз посмеет при них упражняться в танцах, они немедленно сообщат об этом миссис Тоджерс и попросят, чтобы она его как следует наказала. Бейли не замедлил выразить свое огорчение и раскаяние, якобы утирая слезы фартуком и делая вид, будто выжимает из него потоки воды, а потом распахнул двери перед мисс Чарити, и эта достойная девица торжественно проследовала наверх, чтобы принять своего таинственного поклонника.

По странному стечению благоприятных обстоятельств он все-таки разыскал гостиную и сидел там в одиночестве.

— А! Сестрица! — сказал он.— Вот я и пришел, видите. А вы небось думали, я совсем пропал. Ну как вы нынче в своем здоровье?

Мисс Чарити ответила, что она совсем здорова, и подала руку мистеру Чезлвиту.

— Вот это правильно,— сказал мистер Джонас,— и после дороги вы тоже, я думаю, успели отдохнуть? Ну, а как та, другая?

— Сестра, кажется, хорошо себя чувствует,— отвечала молодая особа.— Я не слыхала, чтобы она жаловалась на нездоровье. Может быть, вы хотите ее видеть? Подите спросите сами.

— Нет, нет, сестрица! — сказал мистер Джонас, усаживаясь рядом с нею под окном.— Не спешите; это, знаете ли, совершенно ни к чему. Какая вы все-таки злая!

— Об этом не вам судить, злая я или нет,— отпарировала Черри.

— Что ж, может быть и так,— отвечал мистер Джонас.— Послушайте! Вы небось думали, что я пропал, а? Вы так мне и не сказали.

— Я совсем об этом не думала,— объявила Черри.

— Вот как, не думали? — повторил Джонас, размышляя над этим странным ответом.— А та, другая?

— Как это я могу вам сказать, что думала или чего не думала моя сестра? — воскликнула Черри.— Она мне ничего не говорила об этом — ни да, ни нет.

— И даже не смеялась надо мной? — спросил Джонас.

— Нет, даже и не смеялась.

— Вот здоровá смеяться, верно? — сказал Джонас, понизив голос.

— Она очень веселая.

— Веселость хорошая вещь, когда не ведет к мотовству. Верно? — спросил мистер Джонас.

— Да, вот именно,— поддакнула Черри со скромностью, которая достаточно ясно свидетельствовала о том, что в ее согласии нет корысти.

— Вот, например, ваша веселость,— заметил мистер Джонас, подтолкнув ее локтем.— Я бы и раньше пришел повидаться с вами, да не знал, где вы живете. Что вы так быстро убежали тогда утром?

— Я должна слушаться того, что папа скажет,— отвечала мисс Чарити.

— Жалко, что мне он ничего не сказал,— возразил ее кузен,— тогда бы я вас разыскал раньше. Да я и сейчас не нашел бы вас, если б не встретил его на улице нынче утром. Ну и хитрец и проныра же он у вас! Настоящий старый кот, верно?

— Я попрошу вас, мистер Джонас, выражаться почтительнее о моем папе,— сказала Чарити.— Я не могу позволить такого тона даже в шутку.

— Ну вот! Ей-богу, про моего папашу можете говорить все что угодно, я вам позволяю,— сказал мистер Джонас.— Надо полагать, в жилах у него не кровь, а

какая-нибудь ядовитая гадость. Как вы думаете, сестрица, сколько лет моему папаше?

— Не мало, конечно,— отвечала мисс Чарити,— но это такой доброй души старичок.

— Доброй души старичок! — повторил Джонас, сердито стукнув кулаком по своей шляпе.— Да, вот именно, пора бы ему о душе подумать! Ведь ему восемьдесят!

— Вот как, неужели? — удивилась молодая особа.

— Ей-богу! — воскликнул Джонас.— Дожил до таких лет, и хоть бы ему что! Этак он до девяноста доживет,— и ничего не поделаешь. Какое там, доживет и до ста! Ведь надо же и совесть иметь; как только не стыдно жить до восьмидесяти лет, а дальше я уж и не говорю! Какой же он после этого верующий, хотел бы я знать, когда в открытую идет против библии? Семьдесят лет — вот предел, и ежели человек имеет совесть и знает, чего от него ждут, он и сам не заживется дольше, чем полагается.

Неужели кого-нибудь удивляет, что мистер Джонас ссылается на библию в этом случае? Вспомните старую пословицу насчет того, что дьявол (хотя и не будучи духовным лицом) любит цитировать священное писание, толкуя его в свою пользу. Если читатель возьмет на себя труд оглянуться вокруг, то за один-единственный день у него наберется больше подтверждений этому и доказательств, чем за одну минуту можно выпустить пуль из духового ружья.

— Ну, довольно про моего папашу,— сказал Джонас,— не стоит без толку себя расстраивать. Я зашел пригласить вас на прогулку, сестрица, поглядим разные достопримечательности, а после того зайдем к нам перекусить. Пексниф, наверно, заглянет вечерком, он так и сказал, и проводит вас домой. Вот, это он пишет, я его заставил давеча утром, на всякий случай, когда он сказал, что не скоро вернется,— а то, может, вы мне не поверите. Письменное доказательство всего лучше, не так ли? Ха-ха! Послушайте, а ту, другую, вы тоже прихватите с собой?

Мисс Чарити бросила взгляд на автограф своего папаши, где было сказано просто: «Ступайте, дети мои, с вашим кузеном. Да пребудет между нами единение, если это возможно», и, поломавшись ровно столько, сколько надо было, чтобы придать цену своему согласию, пошла

сообщить о прогулке сестре и одеться. Вскоре она вернулась в сопровождении мисс Мерри, которой вовсе не хотелось променять блестящие успехи у Тоджерса на общество мистера Джонаса и его почтенного папаши.

— Ага! — воскликнул Джонас.— Вот и вы! Явились наконец?

— Да, страшилище,— отвечала Мерри,— вот и я, хотя очень была бы рада оказаться подальше от вас.

— Вы этого не думаете,— сказал мистер Джонас.— Нет, нет, знаете ли. Не может этого быть.

— Это уж как вам угодно, страшилище, как хотите,— возразила Мерри.— Я остаюсь при своем мнении, а мое мнение такое, что вы самое неприятное, противное, мерзкое существо.— Тут она громко расхохоталась, по-видимому очень довольная собой.

— О, вы девушка бойкая! — сказал мистер Джонас.— Сущая язва! Верно, сестрица?

Мисс Чарити отвечала, что понятия не имеет, каковы должны быть свойства и наклонности сущей язвы, и даже если б это было ей известно, она ни за что не согласится с тем, что в их семье может быть особа с таким нелестным прозвищем, а уж тем более не позволит обзывать этим именем свою любимую сестру,— «какой бы ни был у нее характер»,— прибавила Черри с сердитым взглядом в сторону Мерри.

— Ну, милая моя,—ответила та,— я могу сказать только одно: если мы не уйдем сейчас же, я снимаю шляпку и остаюсь дома.

Эта угроза подействовала как нельзя лучше, предупредив дальнейшие пререкания, ибо мистер Джонас немедленно объявил, что прения сторон прекращаются, и, получив единогласную поддержку, увел обеих сестер из дома. На крыльце он взял и ту и другую под руки, а Бейли-младший, который наблюдал за ними из чердачного окна, приветствовал эту галантность сильнейшим кашлем, который не затихал до тех пор, пока они не завернули за угол.

Мистер Джонас прежде всего спросил девиц, любят ли они ходить пешком, и, получив ответ, что любят, подверг их способность к пешему хождению весьма строгому экзамену, показав им за одно утро столько достопримеча-

тельностей — мостов, церквей, улиц, театральных зданий и прочих бесплатных зрелищ, сколько другим не удастся увидеть и за год. Нетрудно было заметить, что этот джентльмен питал неописуемое отвращение к осмотру зданий изнутри и отлично знал истинную цену тем зрелищам, где за вход требовалась плата, ибо все они, по его словам, никуда не годились и совершенно не заслуживали внимания. Он был, по-видимому, глубоко убежден в этом, ибо, когда мисс Чарити сказала, между прочим, что они были раза два-три в театре с мистером Джинкинсом и другими джентльменами, первым делом спросил, где достали контрамарки, а узнав, что мистер Джинкинс и другие джентльмены платили за билеты, несказанно развеселился, заметив: «Вот, должно быть, олухи», и не раз в течение прогулки разражался неудержимым смехом, потешаясь над такой сверхъестественной глупостью и, надо полагать, радуясь своему умственному превосходству.

После того как они походили по улицам несколько часов и порядком устали, начало уже темнеть, и мистер Джонас сообщил девицам, что теперь он покажет им самую что ни на есть смешную штуку. Штука оказалась весьма нехитрой — вся соль заключалась в том, чтобы взять кэб и проехаться за один шиллинг как можно дальше. К счастью, их довезли как раз до того места, где жил мистер Джонас, иначе девицы вряд ли были бы в состоянии оценить ее.

Старинная фирма Энтони Чезлвит и Сын, оптовая торговля манчестерскими сукнами и т. д., помещалась в очень узенькой улочке, неподалеку от почтамта, где все дома даже в ясное летнее утро казались очень хмурыми, где рассыльные в жаркое время поливали мостовую перед домами своих хозяев прихотливыми узорами и где в хорошую погоду в дверях пыльных складов простаивали целые часы франтоватые джентльмены, заложив руки в карманы брюк и созерцая собственные щегольские сапоги, что, казалось, было самой трудной их работой, не считая разве ношения пера за ухом. Темный, грязный, закоптелый, неимоверно облупленный и ветхий был этот дом, но в этом доме, каков бы он ни был, фирма Энтони Чезлвит и Сын вела все свои дела и развлекалась, как умела; ибо ни молодой человек, ни старик не знали другого

жилища и других помыслов и забот, кроме тех, которые были ограничены его стенами.

Дело, как легко себе представить, было главной заботой этой фирмы, до такой даже степени, что оно вытолкало за двери всякие житейские удобства и на каждом шагу опрокидывало домашний распорядок. Так, в убогих спальнях висели на стенах пачки изъеденных молью писем, полы были усеяны остатками старых образцов и негодными обрывками товара, а колченогие кровати, умывальники и ветхие коврики жались по углам, как предметы второстепенные, которые не стоят внимания,— ибо они не дают никакой прибыли и только мешают единственно важному в жизни, являясь неприятной необходимостью. Гостиная была в том же роде — хаос ящиков и старых бумаг, да и конторских табуретов в ней было гораздо больше, чем стульев, не говоря уже о громадной уродливой конторке, растопырившейся посередине комнаты, и о несгораемом шкафе, вделанном в стену над камином. Одинокий столик для трапез и приема гостей по сравнению с конторкой и прочей конторской мебелью значил для хозяев так же мало, как всякие приятности жизни и безобидные удовольствия по сравнению с погоней за наживой, Сейчас этот столик был довольно скаредно накрыт к обеду, и сам Энтони, сидевший в кресле перед огнем, поднялся навстречу сыну и двум прелестным сестрицам.

Известная пословица предупреждает нас, чтобы мы не искали старой головы на молодых плечах; к этому можно прибавить, что мы редко встречаемся с таким противоестественным сочетанием, не испытывая желания сшибить эту голову с плеч долой, просто из присущего нам стремления видеть каждую вещь на своем месте. Нет ничего невероятного в том, что многие, отнюдь не обладая холерическим темпераментом, испытывали такое желание, впервые знакомясь с мистером Джонасом; но если бы они узнали его ближе, в его собственном доме, и посидели бы с ним вместе за его столом, то это желание несомненно пересилило бы все другие соображения.

— Ну, скелет! — начал мистер Джонас, как почтительный сын адресуясь с этим прозвищем к родителю.— Обед скоро будет готов?

— Должно быть, скоро,— отвечал старик.

— Что это за ответ? — возразил сын.— «Должно быть, скоро». Я хочу знать наверно.

— А! Ну, этого я не знаю,— сказал Энтони.

— Этого вы не знаете! — отвечал сын, несколько понизив голос.— Ничего-то вы не знаете как следует, ровно ничего. Дайте-ка сюда свечу, мне она нужна для барышень.

Энтони подал ему облезлый конторский подсвечник, и мистер Джонас проводил девиц в соседнюю спальню, где и оставил их снимать шали и шляпки; после чего, возвратившись в гостиную, принялся откупоривать бутылку с вином и точить большой нож, бормоча комплименты по адресу папаши, чем и занимался до тех пор, пока не подали обед, одновременно с которым появились и девицы. Трапеза состояла из жареной баранины с зеленью и картофелем, которые были принесены какой-то растрепанной старухой, но она тут же ушла, предоставив сотрапезникам наслаждаться сколько угодно.

— Холостяцкое хозяйство, сестрица,— сказал мистер Джонас, обращаясь к Чарити.— Воображаю, как та, другая, будет смеяться над нами, когда вернется домой. Вот, садитесь справа от меня, а ее я посажу слева. Ну, вы, другая, идете сюда, что ли?

— Вы такое страшилище,— отвечала Мерри,— что я в рот ничего не возьму, если сяду рядом с вами; ну да уж нечего делать.

— Вот бойкая какая, верно? — прошептал мистер Джонас, по своей излюбленной привычке толкая старшую сестру локтем.

— Ах, право, не знаю! — обидчиво возразила мисс Пексниф.— Мне надоело отвечать на такие глупые вопросы.

— Что это еще затеял мой драгоценный родитель? — сказал мистер Джонас, видя, что его отец снует взад и вперед по комнате, вместо того чтобы садиться за стол.— Что вы там ищете?

— Я потерял очки, Джонас,— сказал Энтони.

— Садитесь без очков, не можете, что ли? — возразил его сын.— Ведь вы из них, я думаю, не едите и не пьете! А куда девался этот старый соня Чаффи? Ну, вы, разиня! Что вы, имени своего не знаете, что ли?

По-видимому, тот не знал, так как не вышел к столу, пока его не позвал старик Энтони. Дверь маленькой стеклянной каморки медленно открылась, и оттуда выполз маленький подслеповатый старичок, очень дряхлый и совсем сморщенный. Он казался таким же старомодным и пыльным, как и вся обстановка; одет он был в ветхий черный сюртук и в короткие штаны до колен, украшенные сбоку порыжевшими черными бантами, словно отпоротыми со старых туфель; на тонких, как веретено, ногах были заношенные шерстяные чулки того же цвета. Он выглядел так, как будто его лет пятьдесят тому назад убрали в чулан и позабыли там, а теперь кто-то нашел и вытащил.

Еле-еле дотащился он до стола и с трудом уселся на свободный стул, с которого опять поднялся, по-видимому намереваясь отвесить поклон, когда до его смутно брезжившего сознания дошло, что тут присутствуют посторонние и что эти посторонние — дамы. Однако он так и не поклонился и, снова усевшись и подышав на свои морщинистые руки, чтобы отогреть их, уткнулся в тарелку унылым посиневшим носом и уже ни на что больше не глядел и ни на что не откликался. В таком состоянии он был воплощенное ничто — нуль и ничего более.

— Наш конторщик,— представил его мистер Джонас в качестве хозяина и церемониймейстера.— Старик Чаффи.

— Он глухой? — спросила одна из девиц.

— Нет, не сказал бы. Он ведь не глухой, папаша?

— Я не слыхал, чтобы он на это жаловался,— ответил старик.

— Слепой? — спросили девицы.

— Н-нет, не думаю, чтобы он был слепой,— сказал Джонас равнодушно.— Вы ведь не считаете его слепым, папаша?

— Разумеется, нет,— возразил Энтони.

— Так что же с ним такое?

— Пожалуй, я вам скажу, что с ним такое,— прошептал мистер Джонас, обращаясь к девицам: — он зажился на свете, во-первых, и я не вижу причины этому радоваться; думаю, как бы и папаша не пошел по его дорожке. А во-вторых, он чудной старикашка,— добавил он погромче,— и никого решительно не понимает, кроме вот

него! — Он ткнул в сторону своего почтенного родителя вилкой, чтобы девицам было понятно, кого он имеет в виду.

— Как это странно! — воскликнули обе сестры.

— Видите ли,— продолжал мистер Джонас,— он всю жизнь корпел над цифрами и счетными книгами, а лет двадцать назад взял да и заболел горячкой. Все время, пока он был не в себе (недели этак три), он считал не переставая и дошел напоследок до миллионов, так что это, я думаю, и сбило его с панталыку. Ну, работы у нас теперь не так много, а конторщик он не плохой.

— Очень хороший,— сказал Энтони.

— Да и недорого обходится,— сказал Джонас,— во всяком случае свой хлеб ест не даром, а мы с него больше и не спрашиваем. Я вам говорил, что он почти никого не понимает, кроме папаши; зато его он всегда понимает и даже в себя приходит, просто удивительно. Он давно служит у папаши и привык к нему. Да вот вам: я видел, как он играет в вист с папашей — роббер за роббером, даже не имея понятия, кто их партнеры.

— Он ничего не ест? — спросила Мерри.

— О да,— ответил Джонас, усердно работая ножом и вилкой.— Он ест, когда его кормят. Только ему все равно, сколько ждать, минуту или час, если папаша сидит тут же; так что когда я голоден, вот как сегодня, я ему даю его порцию после того, как сам немного закушу, знаете ли. Ну, Чаффи, старый разиня, вы готовы, что ли?

Чаффи не пошевельнулся.

— Всегда был упрямый старый пень,— сказал мистер Джонас, хладнокровно кладя себе на тарелку второй кусок.— Спросите его, папаша.

— Вы готовы, Чаффи, можно вам давать обедать? — спросил старик.

— Да, да,— сказал Чаффи, весь просияв и становясь разумным человеческим существом при первом звуке его голоса, так что видеть это было и любопытно и трогательно,— да, да, совсем готов, мистер Чезлвит. Совсем готов, сэр. Готов, готов, готов.— Тут он остановился и стал слушать, не скажет ли старик что-нибудь еще; но так как с ним больше не говорили, свет мало-помалу угас на его лице, и он снова обратился в ничто, в нуль.

— Смотреть на него не очень приятно, имейте в виду,— сказал Джонас кузинам, передавая отцу тарелку с порцией старика.— Если это не суп, он всегда давится. Вот поглядите! Таращится, как слепая лошадь! Не будь это так смешно, я бы и не посадил его сегодня за стол; только, я думаю, это вас позабавит.

Бедный старик, предмет этой гуманной речи, к счастью для себя, не понимал ее, как и почти всего, что при нем говорилось. Но так как баранина была жесткая, а зубов у него совсем не осталось, он вскоре оправдал замечание насчет его наклонности давиться и до такой степени мучился, пытаясь пообедать, что мистер Джонас ужасно развеселился и объявил, что старик сегодня решительно в ударе, просто лопнуть можно со смеху. Он до того разошелся, что стал уверять сестер, будто Чаффи даже папашу заткнет за пояс, а это, прибавил он многозначительно, не так-то легко сделать.

Казалось странным, что Энтони Чезлвит, сам глубокий старик, находил удовольствие в выходках своего любезного сынка по адресу бедной тени, сидевшей за их столом. Однако он находил в этом удовольствие, хотя, надо отдать ему справедливость, радовался не столько шуткам по адресу престарелого конторщика, сколько остроумию мистера Джонаса. По той же причине грубые намеки молодого человека, метившие даже в него самого, наполняли его ликованием, заставляя потирать руки и хихикать исподтишка, словно он хотел сказать: «Я его учил, я его воспитывал. Это мой наследник, мое произведение! Хитрый, пронырливый, скупой, он не растратит моих денег. Для этого я работал, на это я надеялся, это было целью всей моей жизни».

Поистине благородная цель, достижением которой стоило восхищаться! Но ведь есть и такие люди, которые, создав себе кумиров по образу и подобию своему, отказываются им поклоняться, обвиняя в их уродливости ни в чем не повинную природу. Энтони, во всяком случае, был лучше этих людей.

Чаффи так долго возился со своей тарелкой, что мистер Джонас, потеряв терпение, отобрал ее и попросил отца сообщить этому почтенному старичку, чтобы он лучше «навалился на хлеб», что Энтони и сделал.

— Да, да! — воскликнул старик, просияв, как прежде, едва это сообщение было ему передано.— Совершенно верно, совершенно верно. Весь в вас, мистер Чезлвит, ваш родной сын. Господь с ним, острого ума паренек! Господь с ним, господь с ним!

Мистеру Джонасу это показалось таким ребячеством (быть может, не без основания), что он расхохотался еще пуще и сказал кузинам, что в один прекрасный день Чаффи его, верно, уморит. После этого скатерть сняли и поставили на стол бутылку вина, из которой мистер Джонас налил девицам по стакану, прося их не церемониться с вином, так как там, откуда его взяли, найдется и еще. Однако, пошутив таким образом, он поторопился прибавить, что это он сказал только так и уверен, что они не приняли шутку всерьез.

— Я выпью за Пекснифа,— сказал Энтони.— За вашего отца, милые мои! Умный человек, этот Пексниф. Осмотрительный человек! Хотя и лицемер, а? Ведь он лицемер, милые, а? Ха-ха-ха! Да, лицемер. Между нами говоря, лицемер. Он от этого не хуже, хоть иной раз и хватает через край. Во всем можно перестараться, дорогие мои, даже и в лицемерии. Спросите хоть Джонаса!

— Ну, когда бережешь свое здоровье, не бойся перестараться,— заметил многообещающий юноша, набивая себе рот.

— Слышите, милые мои? — воскликнул Энтони в полном восторге.— Умно, умно! Отлично сказано, Джонас! Да, в этом отношении нельзя перестараться.

— Разве только,— шепнул мистер Джонас своей любимой кузине,— если заживешься на свете! Ха-ха! Послушайте, скажите это и той, другой.

— Господи боже! — воскликнула Черри обидчиво.— Неужели вы не можете сказать ей сами, если вам так хочется?

— Уж очень она любит издеваться,— отвечал мистер Джонас.

— Тогда чего же вы о ней беспокоитесь? — спросила Чарити.— По-моему, она не очень-то о вас беспокоится.

— Неужто нет? — спросил Джонас.

— Боже мой, разве вы сами не видите? — возразила молодая особа.

Мистер Джонас ничего не ответил, зато посмотрел на Мерри как-то странно и сказал, что от этого его сердце не разобьется, можете быть уверены. После чего он стал поглядывать на Чарити еще благосклоннее и попросил ее, со свойственной ему любезностью, «придвинуться поближе».

— А вот еще в чем нельзя перестараться, папаша,— заметил Джонас после краткого молчания.

— В чем это? — спросил отец, заранее ухмыляясь.

— В делах,— ответил сын.— Вот вам правило для всяких сделок. «Жми других, чтобы тебя не прижали». Вот чем надо руководиться в делах. А все прочее — обман.

Восхищенный отец откликнулся на эту мысль так горячо и до того обрадовался, что положил немало трудов, пытаясь сообщить ее своему дряхлому конторщику, который потирал руки, кивал трясущейся головой, мигал слезящимися глазами и восклицал тоненьким голосом: «Отлично! Отлично! Ваш родной сын, мистер Чезлвит! Весь в вас!» — выражая свой восторг всеми доступными ему средствами. Но это ликование старика скрашивалось тем, что было обращено к единственному человеку, с которым его соединяли узы привычки и теперешняя беспомощность. И если бы здесь присутствовал участливый наблюдатель, он сумел бы найти следы так и не развившихся человеческих чувств в мутном осадке на дне ветхого сосуда, именуемого Чаффи.

Однако не нашлось никого, кто принял бы в старике участие, и Чаффи опять удалился в темный уголок возле камина, где всегда проводил вечера; больше его никто уже не видел и не слышал, и только когда ему подали чашку чаю, присутствующие могли заметить, как он машинально макает в нее хлеб. Трудно было предположить, что он спит в это время или же видит, слышит, думает, чувствует что-нибудь. Он сидел, словно замороженный, если к нему можно применить такое сильное выражение, и оттаивал только на минуту, когда Энтони с ним заговаривал или прикасался к нему.

Мисс Чарити, разливавшая чай по просьбе мистера Джонаса, вошла в роль хозяйки дома и совсем расчувствовалась, тем более что мистер Джонас сидел рядом и нашептывал ей разные нежности, выражая свое восхищение.

Мисс Мерри, досадуя, что этот вечер и все удовольствия принадлежат несомненно и исключительно им двоим, безмолвно сожалела о коммерческих джентльменах, в эту самую минуту, конечно, тосковавших по ней, и зевала над вчерашней газетой. Что же касается Энтони, он сразу уснул; таким образом, арена была предоставлена Джонасу и Черри на все время, пока им самим будет угодно.

Когда чайный поднос, наконец, убрали, мистер Джонас достал замасленную колоду карт и принялся развлекать сестер разными фокусами, главная суть которых состояла в том, чтобы заставить кого-нибудь держать с вами пари, а потом выиграть пари и прикарманить денежки. Мистер Джонас сообщил девицам, что такие развлечения сейчас в большой моде в самом высшем обществе и что при азартной игре постоянно переходят из рук в руки большие деньги. Следует заметить, что он и сам этому искренне верил; на всякого хитреца довольно простоты, так же как и на всякого простака; и во всех случаях, где доверие основывалось на убеждении в человеческой низости и плутовстве, мистер Джонас оказывался самым легковерным человеком. Впрочем, читателю не следует также упускать из виду его поразительное невежество.

Этот прекрасный молодой человек имел все качества, чтобы стать записным кутилой, но к полному списку пороков ему недоставало единственного хорошего свойства, отличающего настоящего прожигателя жизни, а именно широты натуры. Ему мешали жадность и скаредность; и как один яд уничтожает действие другого там, где оказываются бессильны лекарства, так и этот порок удерживал его от полной меры зла, что вряд ли удалось бы добродетели.

После того как мистер Джонас показал свое нехитрое искусство, наступил уже поздний вечер; и так как мистер Пекснif все еще не показывался, девицы выразили желание отправиться домой. Но этого мистер Джонас по своей галантности никак не мог допустить, не угостив их сыром и портером, и даже тогда ему ужасно не хотелось с ними расставаться, и он то просил мисс Чарити посидеть еще немножко, то придвинуться поближе,— словом, не скупился на просьбы самого лестного характера, неуклюже играя роль радушного хозяина. Когда все его усилия удер-

жать сестер оказались тщетны, он надел шляпу и пальто, готовясь сопровождать их в пансион, и заметил, что они, конечно, предпочтут идти пешком и что он со своей стороны вполне с ними согласен.

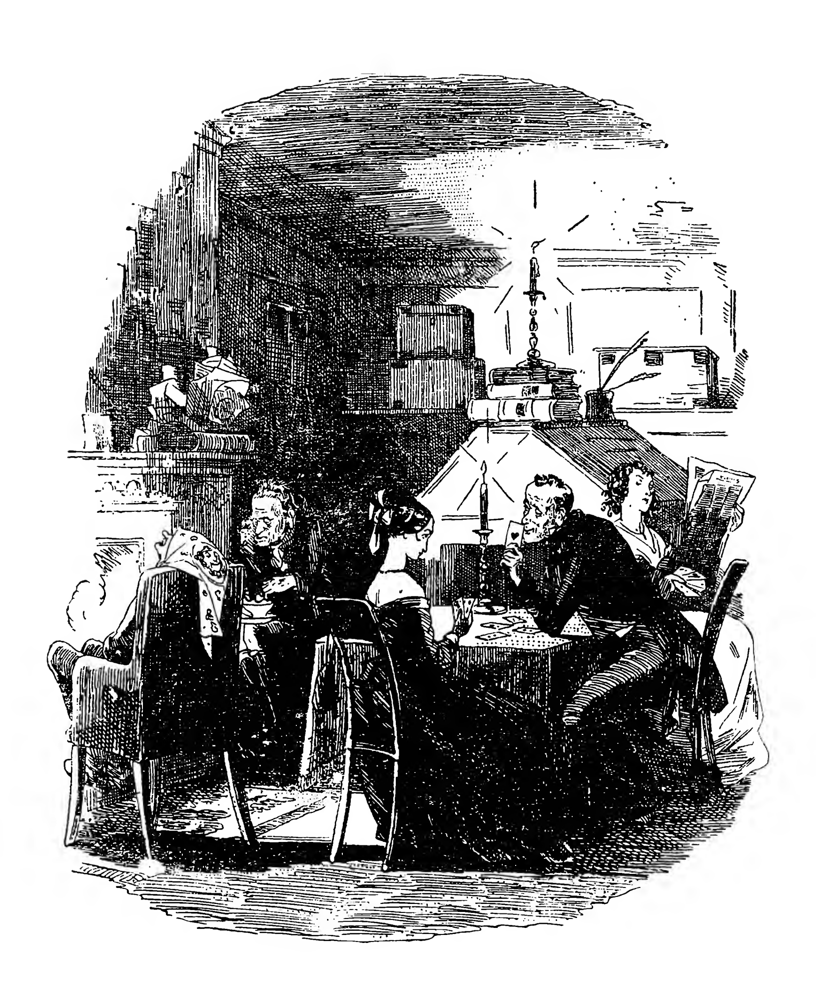
— Спокойной ночи,— сказал Энтони,— спокойной ночи! Кланяйтесь от меня — ха-ха-ха! — Пекснифу! Берегитесь вашего кузена, милые барышни. Бойтесь Джонаса, он опасный человек. Да смотрите не поссорьтесь из-за него.

— Ах он страшилище! — воскликнула Мерри.— Очень нужно из-за него ссориться. Можешь совсем взять его себе, Черри, милочка моя. Дарю тебе свою долю.

— Ага! Зелен виноград! Верно, сестрица? — сказал Джонас.

Этот остроумный ответ насмешил мисс Чарити гораздо больше, чем можно было ожидать, принимая во внимание почтенный возраст и крайнюю незамысловатость остроты. Но, как любящая сестра, она упрекнула мистера Джонаса за то, что он бьет лежачего, и попросила оставить в покое бедную Мерри, иначе она, Чарити, его просто возненавидит. Мерри, которая не лишена была чувства юмора, только засмеялась на это, и они возвращались домой довольно мирно, без обмена колкостями по дороге. Мистер Джонас, находясь между двумя кузинами и ведя их под руки, иногда прижимал к себе не ту, которую следовало, и так крепко, что она едва терпела; но так как он все время шептался с Чарити и выказывал ей всяческое внимание, это была, вероятно, простая случайность. Как только они дошли до пансиона и им отперли дверь, Мерри сейчас же вырвалась от них и убежала наверх, а Чарити и Джонас целых пять минут простояли на крыльце, разговаривая; словом, как заметила миссис Тоджерс на следующее утро в беседе с третьим лицом, «было совершенно ясно, что́ между ними происходит, и она очень этому рада, потому что мисс Пексниф давно пора подумать о себе и пристроиться».

И вот уже близился день, когда светлое видение, так внезапно явившееся пансиону М. Тоджерс и озарившее солнечным сиянием мрачную душу Джинкинса, готовилось исчезнуть, когда его должны были запихнуть в дилижанс, словно бумажный сверток, или корзину с рыбой, или бочонок устриц, или какого-нибудь толстяка, или еще



какую-нибудь скучную прозу жизни, и увезти далеко-далеко от Лондона!

— Никогда еще, дорогие мои мисс Пексниф,— говорила миссис Тоджерс, после того как они удалились на покой в последний день их пребывания в пансионе,— никогда еще мне не приходилось видеть, чтобы какое-нибудь заведение так горевало, как мое теперь. Не думаю, чтобы джентльмены опять сделались прежними джентльменами или стали хоть сколько-нибудь на себя похожи раньше чем через несколько недель, да и то вряд ли. И в этом виноваты вы, вы обе.

Девицы сочувственно ахали и скромно оправдывались, ссылаясь на неумышленность своей вины в этом печальном положении вещей.

— И ваш папа тоже,— продолжала миссис Тоджерс.— Это такая потеря! Милые мои мисс Пексниф, ваш благочестивый папа — вестник мира и любви! Ну, прямо миссионер!

Девицы, однако, приняли этот комплимент довольно холодно, не зная наверное, какого рода любовь подразумевает миссис Тоджерс.

— Если бы я осмелилась,— сказала миссис Тоджерс, заметив это,— нарушить то доверие, которого меня удостоили, и рассказать вам, почему я прошу вас не закрывать нынче вечером дверь между нашими комнатами, я думаю, вы бы услышали нечто весьма для вас интересное. Но я не могу этого сделать, я дала мистеру Джинкинсу честное слово, что буду молчать, как могила.

— Милая миссис Тоджерс! Что вы этим хотите сказать?

— Ну, в таком случае, милые мои мисс Пексниф,— начала хозяйка дома,— душеньки мои, если только вы позволите мне такую фамильярность накануне нашей с вами разлуки: мистер Джинкинс и остальные джентльмены составили по секрету небольшую музыкальную программу и намерены ровно в полночь задать вам серенаду перед дверью на лестнице. Признаться, я бы предпочла,— продолжала миссис Тоджерс с обычной своей предусмотрительностью,— чтобы они выбрали время часа на два пораньше, потому что, когда джентльмены долго засиживаются, они много пьют, а когда выпьют, то слушать их

далеко не так приятно, как трезвых. Но все уже решено, и я знаю, что вы будете очень польщены таким их вниманием, дорогие мои мисс Пексниф.

Девицы сначала так взволновались и так обрадовались этой новости, что решили совсем не ложиться спать, пока не кончится серенада. Но полчаса ожидания охладили их и заставили переменить мнение, и они не только улеглись в постель, но и заснули, да еще мало того — отнюдь не пришли в восторг, когда через некоторое время были разбужены сладкозвучными руладами, нарушившими мирную тишину ночи.

Это было очень трогательно, очень! Более заунывного пения нельзя было пожелать, даже обладая самым придирчивым вкусом. Любитель вокальной музыки был первым факельщиком или главным плакальщиком, Джинкинс пел басом, остальные — кто во что горазд. Самый младший из джентльменов изливал свою меланхолию на флейте. Выливалось у него далеко не все, но это было только к лучшему. Даже если бы обе мисс Пексниф — и миссис Тоджерс вместе с ними — погибли от самовозгорания и серенада была дана их праху, то и тогда вряд ли она могла бы выразить такую безысходную скорбь, какая звучала в хоре «Туда, где слава тебя ожидает!». Это был реквием, панихида, плач, стон, вопль, жалоба, воплощение всего, что заунывно и невыносимо для слуха! Флейта младшего из джентльменов звучала как-то странно и неровно. Она то затихала, то слышалась порывами, как ветер. Довольно долго казалось, что флейтист совсем перестал играть; но когда миссис Тоджерс и обе девицы уже решили, что он удалился, в избытке чувств заливаясь слезами, флейта вдруг опять вступила в строй, и при этом на такой визгливой ноте, что сама захлебнулась. Исполнитель он был бесподобный. Никак нельзя было предвидеть, в какую минуту его услышишь; и именно тогда, когда вы думали, что он отдыхает и собирается с силами, тут-то он и проделывал что-нибудь из ряда вон выходящее.

Таких номеров в программе было несколько, и даже, может быть, на два, на три больше, чем нужно,— хотя, как сказала миссис Тоджерс, всегда лучше ошибиться в эту сторону. Но даже и тут, в такую торжественную минуту,

когда волнующие звуки должны были проникнуть, так сказать, в самую сокровенную глубину его существа,— если у него вообще имелась эта глубина,— Джинкинс не оставлял в покое младшего из джентльменов. Перед началом второго номера он попросил его довольно громко, да еще в порядке личного одолжения,— нет, вы заметьте, каков злодей! — не играть. Да, он так и выразился: не играть. Дыхание младшего из джентльменов было слышно даже сквозь замочную скважину. Он и не играл. Разве флейта могла дать выход страстям, бушевавшим в его груди? Тут и тромбон был бы слишком нежен.

Концерт близился к концу. Уже приступали к самому интересному номеру. Джентльмен литературной складки написал кантату на отъезд молодых девиц, приспособив ее к старому мотиву. Пели все, кроме младшего из джентльменов, который, по вышеуказанным причинам, хранил гробовое молчание. Кантата (носившая классический характер) обращалась к оракулу Аполлону и вопрошала, что станет с коммерческим пансионом М. Тоджерс, когда Сострадание и Милосердие его покинут? По обычаю, весьма распространенному среди оракулов, начиная с древнейших времен и до наших дней, оракул воздержался от сколько-нибудь вразумительного ответа. Не получив разъяснений по этому вопросу, кантата бросала его на полпути и переходила к дальнейшему, доказывая, что обе мисс Пексниф состоят в близком родстве с гимном «Правь, Британия» * и что если б Англия не была островом, то обеих мисс Пексниф не было бы на свете. Затем кантата принимала мореходный характер и заканчивалась так:

Плыви, о Пексниф, дай Зевес
Тебе погоды ясной!
Ты архитектор, и артист,
И человек прекрасный!

Предоставив воображению дам дорисовывать картину отплытия, джентльмены неспешным шагом проследовали на покой, чтобы музыка эффектно замирала в отдалении; и когда ее звуки мало-помалу утихли, пансион М. Тоджерс погрузился в сон.

Мистер Бейли приберег свое вокальное подношение до утра; просунув голову в дверь как раз в ту минуту, когда

девицы стояли на коленях перед чемоданами и укладывались, он изобразил завывания щенка в ту трудную минуту жизни, когда, по представлению людей, наделенных живой фантазией, это животное, желая облегчить душу, требует пера и чернил.

— Ну, барышни,— сказал этот юноша,— так, значит, вы уезжаете? Не везет же нам.

— Да, Бейли, мы уезжаем,— ответила Мерри.

— И неужели так-таки никому не оставите по локону своих волос? — спросил Бейли.— Они ведь у вас настоящие?

Девицы засмеялись и ответили, что, разумеется, настоящие.

— Ах, разумеется, вот оно как? — сказал Бейли.— Что я вам скажу! У нее-то ведь фальшивые. Сам видел, висели вот на этом гвоздике у окна. А один раз я подкрался к ней сзади, когда обедали, и дернул, а она даже и не почувствовала. Вот что, барышни, я тоже тут не останусь. Только и знает, что ругается; мне это надоело, хватит с меня.

Мисс Мерри осведомилась, какие у него планы на будущее, и мистер Бейли сообщил, что думает поступить или в лакеи, или в армию.

— В армию! — воскликнули девицы со смехом.

— Ну да,— отвечал Бейли,— что ж тут такого? В Тауэре сколько угодно барабанщиков. Я с ними знаком. Скажете, родина ими не дорожит? Как бы не так!

— Тебя застрелят, вот увидишь,— сказала мисс Мерри.

— Ну, и что же из этого? — воскликнул Бейли.— Зато я буду герой,— верно, барышни? Уж лучше пусть убьют из пушки, чем скалкой, а она всегда чем-нибудь таким швыряется, если джентльмены много едят. Ну и что ж,— сказал Бейли,— вспоминая перенесенные обиды,— что ж, если они истребляют провизию. Я, что ли, виноват?

— Никто этого не говорит, конечно,— сказала Мерси.

— Не говорят? — возразил Бейли.— Нет. Да. Ах! Ох! Может, никто и не говорит, да зато некоторые думают. Каждый раз, как провизия вздорожает, я это на своей шее чувствую. Не желаю, чтоб меня колотили до полусмерти из-за того, что на рынке все дорого. Не останусь нипочем. И значит,— прибавил мистер Бейли, распускаясь в

улыбку,— если вы что-нибудь собираетесь мне подарить, давайте сейчас, а то, когда вы еще приедете, здесь и духу моего не будет; а если будет другой мальчишка, он того не стоит, чтоб ему давать,— верно говорю.

Девицы поступили согласно этому мудрому совету и, ввиду особо дружеских отношений, так щедро наградили мистера Бейли и от себя и от мистера Пекснифа, что тот не знал, как выразить свою благодарность, и весь день украдкой похлопывал себя по карману и разыгрывал другие веселые пантомимы, чтобы дать хоть какой-нибудь выход своим чувствам. Но и этого ему было мало: успешно раздавив картонку вместе с шляпой, он нанес затем серьезные повреждения саквояжу мистера Пекснифа, с таким усердием он его перетаскивал с верхнего этажа вниз; короче говоря, Бейли всеми доступными ему средствами проявлял живейшее чувство благодарности за щедрость, проявленную этим джентльменом и его семейством.

Мистер Пексниф вернулся к обеду под руку с мистером Джинкинсом, который нарочно отпросился со службы пораньше, намного опередив самого младшего из джентльменов, да и всех остальных, чье время, к несчастью, было занято до самого вечера. Мистер Пексниф выставил бутылку вина, и оба они настроились весьма общительно, хотя неизбежная разлука очень их огорчала. Обед был как раз наполовине, когда доложили о приходе старика Энтони с сыном, что весьма удивило мистера Пекснифа и решительно обескуражило Джинкинса.

— Пришли попрощаться, как видите,— сказал Энтони, понизив голос, после того как они с Пекснифом уселись у стола, пока остальные беседовали между собой.— Какой нам интерес ссориться? Порознь мы с вами — как две половинки ножниц, Пексниф, а вместе мы кое-что значим. Ну как?

— Единодушие, уважаемый,— отвечал мистер Пексниф,— всегда приятно видеть.

— Насчет этого не знаю,— сказал старик,— есть такие люди, с которыми я лучше буду ссориться, чем соглашаться. Но вам известно, какого я о вас мнения.

Мистер Пексниф, до сих пор не забывший «лицемера», только мотнул головой, не то в утвердительном, не то в отрицательном смысле.

— Оно самое лестное,— продолжал Энтони.— Самое лестное, даю вам слово. Даже и в то время это была невольная дань вашим способностям; ведь случай был совсем не такой, чтобы льстить. Но зато в дилижансе мы с вами договорились; мы отлично понимаем друг друга.

— О, вполне! — согласился мистер Пекснифф, своим тоном давая почувствовать, что его совершенно не понимают, но что он на это не жалуется.

Энтони посмотрел на сына, сидевшего рядом с мисс Чарити, потом на мистера Пекснифа, потом опять на сына, и так много раз подряд. Взгляды мистера Пекснифа невольно приняли то же направление, но он тут же спохватился и опустил глаза, а потом и совсем закрыл их, словно для того, чтобы старик ничего не мог в них прочесть.

— Джонас неглупый малый,— сказал старик.

— По-видимому,— ответил мистер Пекснифф самым невинным тоном,— он очень неглуп.

— Уж он не даст маху,— сказал старик.

— Не сомневаюсь и в этом,— отвечал мистер Пекснифф.

— Послушайте! — сказал Энтони ему на ухо.— Мне кажется, он влюблен в вашу дочку.

— Пустяки, уважаемый,— сказал мистер Пекснифф, не открывая глаз.— Молодежь, молодежь! И кроме того, родня все-таки. Вот и вся любовь, сэр.

— Ну, какая это любовь, судя по нашему с вами опыту! — возразил Энтони.— А не кажется ли вам, что тут кое-что побольше?

— Ничего не могу сказать,— отвечал мистер Пекснифф.— Решительно ничего! Вы меня удивляете.

— Понимаю,— сухо сказал старик.— Может быть, это всерьез — то есть любовь, а не удивление; а может быть, и нет. Если предположить, что всерьез (вы ведь припасли кое-что на черный день, и я тоже),— дело может представить для нас с вами интерес.

Мистер Пекснифф, кротко улыбаясь, хотел было заговорить, но Энтони остановил его:

— Знаю, что вы собираетесь сказать. Можете не трудиться. Вы, мол, никогда об этом не думали, ни единой минуты, а в таком деле, где речь идет о счастье вашей любимой дочери, вы, как любящий отец, не можете вы-

сказать определенного мнения, ну и так далее. Правильно, совершенно правильно. И очень похоже на вас! Но мне кажется, дорогой мой Пекснифф,— прибавил Энтони, кладя руку ему на плечо,— что если мы с вами и дальше будем прикидываться, будто ничего не видим,— как бы одному из нас не остаться в накладе; а так как мне лично очень этого не хочется, то вы уж извините, что я взял на себя такую вольность и с самого начала решил с вами договориться, что мы это видим, и знаем, и принимаем к сведению. Спасибо за внимание. Мы теперь с вами в одинаковом положении, и это, я думаю, нам обоим одинаково приятно.

Он встал и, многозначительно кивнув мистеру Пекснифу, перешел туда, где сидела молодежь, оставив этого добродетельного человека несколько расстроенным и озадаченным после такого прямого натиска и к тому же несвободным от чувства, что он побежден своим же собственным оружием.

Но вечерний дилижанс имел обыкновение отправляться вовремя, и пора было идти к конторе; она находилась так близко, что, предварительно отослав багаж, они сами решили идти пешком. Туда они и направились всей компанией, замешкавшись не более, чем требовалось для завершения туалета обеих мисс Пексниф и миссис Тоджерс. Дилижанс был уже на месте, и лошади впряжены. Там же оказалось подавляющее большинство коммерческих джентльменов, включая и самого младшего, который был, видимо, взволнован и находился в глубочайшем унынии.

Ничто не могло сравниться с волнением миссис Тоджерс при расставании с девицами, разве только грусть, которую она проявила, прощаясь с мистером Пекснифом. Вероятно, никто и никогда еще не вынимал носовой платок из ридикюля так часто, как миссис Тоджерс; стоя на тротуаре у самой дверцы дилижанса, причем два коммерческих джентльмена справа и слева поддерживали ее под руки, а она при свете фонарей взирала на лицо добродетельного Пекснифа в те редкие и краткие мгновения, когда его не заслоняла спина мистера Джинкинса, Ибо Джинкинс, являвший собою камень преткновения на жизненном пути младшего из джентльменов, стоял на подножке, беседуя с девицами. На другой подножке стоял мистер Джонас, занимавший эту позицию по праву

родства; а самый младший из джентльменов, который первым прибежал на остановку, прятался в глубине конторы, среди черных с красным плакатов и изображений скорых дилижансов, где его бессовестно толкали носильщики и где ему приходилось поминутно вступать в единоборство с тяжелыми чемоданами. Это ложное положение вместе с расстройством нервов привело к катастрофе, завершившей все его несчастья: в минуту расставания он бросил цветок — оранжерейный цветок, который стоил денег,— намереваясь попасть в лилейную ручку Мерри, а вместо того угодил в кучера, который поблагодарил его и воткнул цветок в петлицу.

Итак, они уехали, и пансион миссис Тоджерс опять осиротел. Обе девицы, каждая в своем углу, были заняты собственными мыслями и сожалениями. Один только мистер Пексниф, презрев эфемерные соблазны светских удовольствий и развлечений, сосредоточил все свои помыслы на единой добродетельной цели, которую он себе поставил, а именно: вышвырнуть за дверь этого неблагодарного, этого обманщика, чье присутствие до сих пор омрачает его домашний очаг и святотатственно оскверняет алтарь его пенатов *.

## ГЛАВА XII,

*которая близко касается мистера Пинча и других, как это видно будет рано или поздно. Мистер Пексниф стоит на страже оскорбленной добродетели. Молодой Мартин принимает безрассудное решение*

Мистер Пинч и Мартин, не помышляя о надвигающейся грозе, чувствовали себя очень уютно в Пекснифовых чертогах и с каждым днем сходились все ближе и ближе. Мартин работал с необыкновенной легкостью, придумывал и осуществлял придуманное, и план начальной школы весьма энергично двигался вперед; Том постоянно твердил, что если бы в человеческих расчетах было сколько-нибудь надежности или в судьях сколько-нибудь беспристрастия, то проект, отличающийся такой новизной и высокими достоинствами, непременно получил бы первую премию на будущем конкурсе. Мартин, хотя и настроенный

гораздо более трезво, тоже возлагал много надежд на будущее, и эти надежды позволяли ему работать быстро и с увлечением.

— Если я стану когда-нибудь выдающимся архитектором,— сказал однажды новый ученик, отходя на несколько шагов от своего чертежа и разглядывая его с большим удовольствием,— сказать вам, что я построю в первую очередь?

— Да! — воскликнул Том.— Что именно?

— Вашу судьбу, вот что.

— Не может быть! — сказал Том с такой радостью, как будто это было уже сделано.— Неужели? Как это мило с вашей стороны!

— Я построю вашу судьбу на таком прочном фундаменте,— ответил Мартин,— что вам хватит на всю вашу жизнь, и вашим детям тоже, и внукам. Я буду вашим покровителем, Том. Я возьму вас под свою защиту. Пусть-ка кто-нибудь попробует обойтись пренебрежительно с тем, кого я возьму под свою защиту и покровительство, если мне удастся выйти в люди!

— Ну, честное слово,— сказал Пинч,— не помню, чтобы я когда-нибудь был так доволен. Право, не помню.

— О, ведь я это не для красного словца говорю,— ответил Мартин с таким откровенным снисхождением к собеседнику и даже как бы с сожалением, как будто его уже назначили первым придворным архитектором всех коронованных особ Европы.— Я это сделаю. Я вас пристрою.

— Боюсь,— сказал Том, качая головой,— что меня будет не так-то легко пристроить.

— Ну, ну, не беспокойтесь,— возразил Мартин.— Если мне вздумается сказать: «Пинч дельный малый, я высоко ценю Пинча», хотел бы я видеть, кто осмелится мне противоречить. А кроме того, черт возьми, Том, вы мне тоже можете быть полезны во многих отношениях!

— Если я не буду полезен хотя бы в одном, то не по недостатку усердия,— отвечал Том Пинч.

— Например,— продолжал Мартин после краткого размышления,— вы отлично можете ну хотя бы следить за тем, чтобы мои планы выполнялись как следует; наблюдать за ходом работ, пока они не продвинутся настолько, что будут интересны для меня самого; одним словом, вы

мне понадобитесь везде, где нужна черновая работа. Потом вы прекрасно можете показывать посетителям мою мастерскую и беседовать с ними об искусстве, если мне самому будет некогда, ну и так далее, в том же роде. Для моей репутации было бы очень полезно (я говорю совершенно серьезно, даю вам слово) иметь около себя человека с вашим образованием, вместо какого-нибудь заурядного тупицы. Да, я о вас позабочусь. Вы будете мне полезны, не беспокойтесь!

Сказать, что Том никогда не думал играть первую скрипку в оркестре и был вполне доволен, если ему указывали стопятидесятое место в нем, значило бы дать весьма неполное представление о его скромности. Он был очень рад слышать эти слова Мартина.

— К тому времени я, конечно, женюсь на ней, Том,— продолжал Мартин.

Отчего вдруг перехватило дыхание у Тома Пинча, отчего в самом разгаре радости краска залила его честное лицо и раскаяние закралось в его честное сердце, будто он недостоин уважения своего друга?

— К тому времени я женюсь на ней,— продолжал Мартин, улыбаясь и щурясь на свет,— и у нас, я надеюсь, будут дети. Они вас будут очень любить, Том.

Но ни единого слова не вымолвил мистер Пинч. Те слова, которые он хотел произнести, замерли на его устах и ожили в его душе, в самоотверженных мыслях.

— Все дети здесь любят вас, Том,— продолжал Мартин,— и мои тоже, конечно, будут любить вас. Может быть, одного ребенка я назову в вашу честь Томом, а? Не знаю, право. Неплохое имя — Том! Томас Пинч Чезлвит. Т. П. Ч.— на передничках. Вы не возражаете?

Том откашлялся и улыбнулся.

— Ей вы понравитесь, Том, я знаю,— сказал Мартин.

— Да? — отозвался Том слабым голосом.

— Я могу вам сказать совершенно точно, какие она будет питать к вам чувства,— продолжал Мартин, опершись подбородком на руку и глядя в окно так, как будто читал в нем.— Я ее хорошо знаю. Сначала она будет часто улыбаться, глядя на вас, Том, или, разговаривая с вами,— весело улыбаться; но вы на нее не обидитесь,— такой ясной улыбки вы еще не видели.

— Нет, нет,— сказал Том,— я не обижусь.

— Она будет нежна с вами, Том,— продолжал Мартин,— как если бы вы сами были ребенком. Да так оно и есть, в некоторых отношениях вы совсем ребенок, Том, ведь правда?

Мистер Пинч кивнул в знак полного согласия.

— Она всегда будет с вами добра и ласкова и всегда рада вас видеть,— сказал Мартин,— а когда она узнает хорошенько, что вы за человек (что будет очень скоро), она нарочно станет давать вам всякие поручения и просить, чтобы вы оказывали ей маленькие услуги, зная, что вы сами рветесь их оказывать; и, стараясь доставить вам удовольствие, будет делать вид, что это вы ей доставили удовольствие. Она к вам ужасно привяжется, Том, и будет понимать вас гораздо лучше, чем я; и часто будет говорить, это уж я наверно знаю, какой вы кроткий, безобидный, добрый и ко всем благожелательный человек.

Как притих бедный Том Пинч!

— В память старых времен,— продолжал Мартин,— и в память того, как она слушала вашу игру в этой затхлой маленькой церковке — да еще безвозмездную,— у нас в доме тоже будет орга̀н. Я выстрою концертный зал по собственному плану, и орга̀н будет выглядеть совсем неплохо в глубине зала. И вы будете играть на нем, сколько сами захотите, а так как вам нравится играть в темноте, там будет темно; и летними вечерами мы с ней будем сидеть и слушать вас, Том, вот увидите.

Со стороны Тома Пинча потребовалось, быть может, гораздо больше усилий, чтобы с ясным лицом, выражающим одну только благодарность, подняться со стула и пожать своему другу обе руки от чистого сердца, чем для свершения многих и многих подвигов, к которым призывает нас мощными звуками неверная труба Славы. Потому неверная, что от парения над смертными схватками, в дыму и огне сражений засорились клапаны этого благородного инструмента, и далеко не всегда он звучит верно и стройно.

— Это доказывает только, как добр человек от природы,— сказал Том, со свойственной ему скромностью избегая говорить о себе: — все, кто бы сюда ни приехал, относятся ко мне гораздо лучше и внимательнее, чем я мог

бы надеяться — если б был первым оптимистом на свете, или мог бы выразить — если б был первым оратором. Я просто не нахожу слов. Но верьте мне,— сказал Том,— что я вам благодарен, что я этого ввек не забуду и когда-нибудь докажу вам всю правду моих слов, если смогу.

— Все это прекрасно,— заметил Мартин, засунув руки в карманы. Он откинулся на спинку стула и зевнул от скуки.— Неплохо сказано, Том; только я все еще у Пексника, сколько помнится, и скорее в тупике, чем на торной дороге славы. Так вы нынче утром опять получили письмо от этого... как его?

— От кого это? — спросил Том, кротко вступаясь за отсутствующего друга.

— Ну, вы знаете. Как его? Зюйдвест, что ли.

— Уэстлок,— отвечал Том несколько громче обыкновенного.

— Да, верно,— сказал Мартин,— Уэстлок. Помню, что фамилия в этом роде, имеет отношение к компасу. Ну, так что же пишет этот Уэстлок?

— О! Его, наконец, ввели в права наследства,— ответил Том, покачивая головой и улыбаясь.

— Повезло же человеку,— сказал Мартин.— Хотел бы я быть на его месте. И это вся тайна, которую вы мне хотели сообщить?

— Нет, не вся,— сказал Том.

— А что же еще? — спросил Мартин.

— В сущности, это и не тайна,— сказал Том,— и для вас это не так важно, но для меня очень приятно. Джон всегда говорил, когда был еще здесь: «Попомните мои слова, Пинч: когда душеприказчики моего папаши раскошелятся...» — он иногда выражается очень странно, такая у него привычка.

— «Раскошелятся» отличное выражение, если касается не нас,— заметил Мартин.— Ну? Какой вы мямля, Пинч!

— Да, я знаю,— сказал Том,— только не надо мне этого говорить, не то я собьюсь. Вот уже и сбился немножко, не помню, что хотел сказать.

— «Когда душеприказчики раскошелятся»,— нетерпеливо подсказал Мартин.

— Ах да, верно,— воскликнул Том,— да, да! «Тогда,—

сказал Джон,— я угощу вас обедом, Пинч, и нарочно для этого приеду в Солсбери». Так вот, в письме, которое он прислал на днях,— в то утро, знаете ли, когда уехал Пексниф,— он писал, что его дела устраиваются и деньги он получит очень скоро, так нельзя ли узнать, когда мы с ним можем встретиться в Солсбери? Я ответил, что в любой день на этой неделе, а кроме того, написал ему, что у нас есть новый ученик, написал также, какой вы прекрасный человек и как мы с вами подружились. Джон прислал мне в ответ это письмо,— Том показал его,— назначает свидание на завтра, посылает вам поклон и просит вас отобедать вместе с нами. Не там, где мы были прошлый раз, а в самой первой гостинице в городе. Прочтите, что он пишет.

— Очень хорошо,— сказал Мартин со своим обычным хладнокровием.— Премного ему обязан. Буду очень рад.

Тому хотелось бы, чтобы он немножко больше удивился, немножко больше обрадовался, проявил бы несколько больше интереса к такому важному событию. Но Мартин выказал полнейшее самообладание и, прибегнув к обычному своему утешению — свисту, опять принялся за начальную школу, как будто ровно ничего не случилось.

Так как лошадь мистера Пекснифа была в некотором роде священное животное, которым мог править только он сам в качестве верховного жреца или какое-нибудь доверенное лицо, временно возведенное им в этот высокий сан, то молодые люди решили идти в Солсбери пешком; и, когда наступило для этого время, так и сделали, что было, впрочем, гораздо лучше, чем ехать в двуколке, ибо погода стояла очень холодная и ветреная.

Еще бы не лучше! На редкость приятная, здоровая, укрепляющая силы прогулка — добрых четыре мили в час,— неужели это не лучше, чем трястись, подпрыгивать и подскакивать в громыхающей, скрипучей, жесткой и неудобной старой двуколке? Даже и сравнивать нечего. Было бы оскорблением для прогулки ставить эти вещи рядом. Где это видано, чтобы двуколка ускоряла у человека кровообращение,— разве только грозя опасностью сломать ему шею и вызывая у него звон в ушах и колотье и жар во всем теле, скорее странные, чем приятные. Где это слыхано, чтобы двуколка живительно действовала на

ум и энергию человека,— разве только если лошадь закусит удила и бешено помчится с косогора прямо вниз, на каменную стену, и такое отчаянное положение заставит единственного уцелевшего седока наскоро придумать новый, неслыханный способ полета на землю с облучка. Лучше чем в двуколке! Как прекрасен этот

Воздух был морозный, Том, это так, нечего и говорить,— но разве в двуколке он стал бы теплее? Огонь в кузнице пылал так ярко и взвивался так высоко, словно стремился согреть кого-нибудь, но разве он казался бы менее заманчивым с ледяных подушек двуколки? Ветер так и рвал, стараясь отморозить нос отважно шагавшему путнику, швыряя ему в глаза его собственные волосы, если их имелось достаточно, или морозную пыль, если их не было, перехватывая ему дыхание, словно под ледяным душем, стараясь сорвать с него одежду и просвистывая его до костей; но разве в двуколке все это не было бы в тысячу раз хуже? Ничего не стоит ваша двуколка!

Лучше чем в двуколке! Кто видел у седоков в двуколке такие красные щеки, как у этих пешеходов? Когда они бывали так весело и добродушно настроены? Когда седоки так звонко смеялись, отворачиваясь от крепчавших порывов ветра, и, стоило ветру стихнуть, снова бодро шагали, грудью вперед, и оглядывались на проезжающих, блистая таким здоровым румянцем, с которым ничто не могло сравниться, кроме порожденного здоровьем веселого настроения. Лучше чем в двуколке! Да вот их нагоняет человек в двуколке. Взгляните, как он перекладывает хлыст из правой руки в левую и растирает онемевшими пальцами гранитную ногу и стучит холодным, как мрамор, носком по полу. Ха-ха-ха! Кто бы променял быстрый бег крови на этот жалкий застой, хотя бы двуколка и двигалась в двадцать раз быстрее!

Лучше чем в двуколке! Ни один человек в двуколке не мог бы так интересоваться дорожными столбами. Человек в двуколке не мог бы столько видеть, столько чувствовать и думать, сколько эти веселые пешеходы. Посмотрите, как ветер, пролетая по меловым холмам, отмечает свой путь волнистой линией в траве и легкой тенью на косогорах! Оглянитесь еще и еще раз на эту голую, холодную равнину, посмотрите, как хороши тени здесь в

ясный зимний день! Увы, их красота мимолетна. Все прекрасное в жизни есть только тень: оно так же быстро приходит и уходит, меняется и исчезает!

Еще одна миля, и начинает падать густой снег, и оттого ворона, которая летит над самой землей, уклоняясь от ветра, кажется чернильным пятном на белом поле. Но хотя снег бьет им прямо в лицо, примерзает к полам одежды и леденеет на ресницах, они вовсе не желают, чтобы он падал реже,— нет, ни снежинкой меньше, хотя бы идти в такую вьюгу пришлось еще двадцать миль! Но вот уже встают вдали башни старого собора, и скоро они добираются до защищенных от ветра улиц, необычайно тихих под толстым белым ковром, а там и до гостиницы, где являют замороженному лакею такие разгоряченные, раскрасневшиеся лица и такую кипучую энергию, что он чувствует себя не в силах им противиться (хотя и закален в огне, всегда пылающем в столовой) и, взятый приступом, сдается на милость победителей.

Славная гостиница! Сущий рай, где все стены увешаны битой дичью и бараньими окороками, а в углу стоит хорошо знакомый каждому буфет со стеклянными дверцами; сквозь них видны и жареные куры, и сочные ростбифы, и сладкие пироги, в которых малиновое варенье скромно выглядывает из-за решетки сдобного теста, как и подобает такому соблазнительному лакомству. Но посмотрите-ка, наверху, в самой парадной комнате, со спущенными на всех окнах шторами, с пылающим камином, полным дров чуть не до самой трубы, против которого греются тарелки,— в этой комнате зажжены восковые свечи, а за столом, накрытым на троих и заставленным серебром и хрусталем на тридцать человек, сидит Джон Уэстлок! Не тот, прежний Джон, что был у Пекснифа, а настоящий джентльмен, который смотрит совсем по-другому, гораздо внушительнее,— сразу видно, что он сам себе господин и что у него лежат деньги в банке. И все же в некоторых отношениях это все тот же Джон, потому что он схватил Тома Пинча за обе руки, как только его увидел, и чуть не задушил в объятиях, приветствуя от всего сердца.

— А это,— сказал Джон,— мистер Чезлвит? Очень рад его видеть! — У Джона была своя открытая, привет-

ливая манера обращения с людьми; они крепко пожали друг другу руки и в одну минуту подружились.

— Отодвиньтесь-ка немножко, Том! — воскликнул бывший ученик, кладя обе руки на плечи Тому и на всю длину руки отодвигаясь от него.— Дайте мне посмотреть на вас! Все такой же! Ничуть не изменился.

— Да ведь прошло совсем не так много времени в конце концов,— сказал Том.

— А мне кажется, целый век! — воскликнул Джон.— И вам так должно было показаться, бессовестный! — И тут он подтолкнул мистера Пинча к самому удобному креслу и так ласково похлопал его по спине — ну совсем как в прежнее время, в прежней их комнате у Пексницфа,— что Том не знал, плакать ему или смеяться. Смех пересилил, и они все втроем засмеялись.

— Я заказал на обед все, о чем мы с вами, бывало, мечтали, Том,— заметил Джон.

— Не может быть! — сказал Том.— Неужели все?

— Все решительно! Если можете, не смейтесь при лакеях. Я не выдержал и расхохотался, когда заказывал обед. Это как во сне.

Тут он был неправ, потому что никому не снился такой суп, какой в скором времени подали на стол, или такая рыба, или такие соуса, или такой ростбиф, или такая дичь и сладкое — словом, хоть что-нибудь похожее на тот обед, который был подан наяву и стоил по десять шиллингов шесть пенсов с персоны, не считая вина. Что же касается вин, то если кому может присниться такое замороженное шампанское, такие красные вина, такой портвейн и такой херес, ему лучше лечь в постель и не вставать.

Но, быть может, всего приятнее в этом банкете было то, что сам Джон радовался больше других и беспрестанно заливался веселым смехом, а потом спохватывался и напускал на себя сверхъестественную важность, чтобы лакеи не догадались, насколько это для него ново. Некоторые блюда, подносимые ему лакеями, выглядели так замысловато, что непонятно было, как за них взяться. и это тоже вызывало смех; а когда мистер Пинч, вопреки почтительным советам официанта, настоял на том, чтобы проломить ложкой корку глазированного паштета, а

затем и съесть эту корку, Джон забыл о собственном достоинстве до того, что, усевшись во главе стола перед блестящей крышкой с блюда, хохотал так, что его слышно было на кухне. Но он был нисколько не прочь посмеяться и сам над собой, что и доказал, когда они уселись втроем вокруг камина. Подали десерт, и старший лакей почтительно и заботливо осведомился, по вкусу ли ему этот легкий белый портвейн и не хочет ли он попробовать другого, более крепкого и с замечательным букетом. На это Джон важно ответил, что находит и этот портвейн неплохим и что, по его мнению, это тоже вполне приличное вино; и лакей, поблагодарив его, удалился. После чего Джон, широко ухмыляясь, сказал своим друзьям, что, кажется, он не наврал, а впрочем, не знает наверно, и залился громким смехом.

В продолжение всего обеда друзья были веселы и полны оживления, но едва ли не всего приятнее было сидеть после обеда у огня, щелкая орехи, попивая вино и оживленно разговаривая. Тому Пинчу понадобилось сказать слова два своему приятелю, помощнику органиста, и он, не откладывая этого в долгий ящик, ушел на несколько минут из своего теплого уголка, оставив молодых людей вдвоем.

Без Тома они, разумеется, выпили за его здоровье, и Джон Уэстлок, воспользовавшись этим случаем, сказал, что они с Пинчем ни разу не сказали друг другу худого слова за все время, что прожили вместе у мистера Пексняфа. От этого он, естественно, перешел к характеру Тома и намекнул, что мистер Пексниф отлично в нем разбирается. Он только намекнул на это, и то очень издалека, зная, что Тому неприятно, когда об этом джентльмене отзываются неодобрительно, и думая, что новому ученику полезнее будет самому кое в чем разобраться.

— Да,— сказал Мартин.— Нельзя относиться к Пинчу лучше, чем я отношусь, или больше ценить его хорошие качества. Он самый покладистый малый, какого я знаю.

— Даже слишком покладистый,— заметил Джон, отличавшийся наблюдательностью.— Это в нем доходит до слабости.

— Да,— сказал Мартин.— Совершенно верно. С не-

делю тому назад у нас был один такой — мистер Тигг,— занял у него все деньги и пообещал отдать через несколько дней. Всего полсоверена, правда; но и хорошо, что не больше, ведь этих денег ему не видать.

— Бедняга! — сказал Джон, очень внимательно выслушав его слова.— Быть может, вы не имели еще случая заметить, что в денежных отношениях Том очень щепетилен?

— Да что вы! Нет, я не замечал. То есть в каком смысле? Он не возьмет взаймы?

Джон Уэстлок кивнул головой.

— Это очень странно,— сказал Мартин, ставя на стол пустую рюмку.— Да, большой чудак.

— А чтобы принять деньги в подарок,— заключил Джон,— так, я думаю, он скорее умрет.

— Он сама простота,— сказал Мартин.— Наливайте себе.

— Не сомневаюсь, однако,— продолжал Джон, наполнив свою рюмку и с любопытством поглядывая на своего собеседника,— что вы, будучи гораздо старше, чем большинство учеников мистера Пексийфа, и, по-видимому, гораздо опытнее, понимаете Тома и видите, как легко его обмануть.

— Конечно,— сказал Мартин, вытягивая ноги и рассматривая свою рюмку с вином на свет.— И мистер Пексниф это знает. И дочери его тоже. А?

Джон Уэстлок улыбнулся, но ничего не ответил.

— Кстати,— сказал Мартин,— это мне напомнило... Какого вы мнения о Пекснифе? Как он с вами обращался? Что вы о нем думаете сейчас? Хладнокровно, знаете ли, когда все уже позади.

— Спросите Пинча,— ответил бывший ученик.— Ему известно, каковы были мои чувства в этом отношении. Они не переменились, уверяю вас.

— Нет, нет,— сказал Мартин.— Я бы хотел услышать это от вас самих.

— Но Пинч говорит, что я несправедлив,— настаивал Джон, улыбаясь.

— Ах, так! Ну, тогда я наперед могу сказать, каковы они,— заметил Мартин,— и вы можете говорить прямо, без церемоний. Меня вам нечего стесняться. Скажу вам

откровенно, мне он не нравится. Я живу у него потому, что это меня устраивает ввиду некоторых особенных обстоятельств. У меня как будто есть способности к архитектуре, и если кто кому останется обязан, то уж скорее он мне, чем я ему. На худой конец мы будем квиты, и значит, ни о каких одолжениях не может быть и речи. Так что можете говорить со мной, как если бы я не имел к нему никакого отношения.

— Если вы непременно хотите знать мое мнение...— начал Джон Уэстлок.

— Да, хочу,— сказал Мартин.— Буду вам очень обязан.

— ...так я бы сказал, что это первейший мерзавец на всем свете,— закончил Джон.

— Ого! — заметил Мартин с неизменным спокойствием.— Довольно сильно сказано.

— Не сильнее, чем он заслуживает,— сказал Джон,— и если б он потребовал, чтобы я высказал свое мнение ему в лицо, я сделал бы это в тех же самых выражениях, нисколько не смягчая. Взять хоть то, как он обращается с Пинчем! А когда я оглядываюсь на те пять лет, что провел в его доме, и вспоминаю лицемерие, подлость, низость, притворство, пустословие этого человека и его манеру прикрывать личиной святошества самые некрасивые дела, когда я вспоминаю, сколько раз мне приходилось видеть все это и как бы принимать участие во всем этом, хотя бы уже в силу того, что я у него жил и он был моим учителем,— даю вам слово, я начинаю презирать самого себя.

Мартин допил свое вино и уставился в огонь.

— Я не хочу сказать, что это так и нужно,— продолжал Джон Уэстлок,— потому что во всем этом не было моей вины; я могу понять вас, например; вы прекрасно знаете, чего он стоит, и все же вынуждены обстоятельствами оставаться у него. Я просто говорю вам то, что чувствую; и даже теперь, когда, как вы говорите, все прошло и я имею удовольствие знать, что он всегда меня ненавидел, и что мы всегда не ладили, и я всегда говорил ему, что думал,— даже теперь мне жаль, что я не поддался искушению, которое часто испытывал еще мальчишкой: убежать от него и махнуть за границу.

— Почему же за границу? — спросил Мартин, обращая взгляд на говорившего.

— В поисках средств к жизни,— отвечал Джон Уэстлок, пожав плечами,— которых я не мог добыть на родине. В этом была бы хоть смелость. Но довольно! Налейте себе вина, и забудем о Пекснифе.

— Чем скорей, тем лучше, если вам угодно,— сказал Мартин.— О себе самом и моих отношениях с ним я могу только повторить то, что уже говорил. До сих пор я у него делал что хотел и дальше буду держаться так же, и даже в большей мере; потому что (сказать вам по правде) он, видимо, надеется, что я буду за него работать, и вряд ли захочет со мной расстаться. Я так и думал, когда решил к нему ехать. За ваше здоровье!

— Благодарю вас,— ответил молодой Уэстлок.— И за ваше! Дай бог, чтобы новый ученик пришелся вам по душе!

— Какой новый ученик?

— Счастливый юноша, родившийся под благоприятной звездой,— смеясь, отвечал Джон,— чьим родителям или опекунам суждено пойматься на объявление. Как, вы не знали, что он опять напечатал объявление?

— Нет.

— Да, да, еще бы! Я прочел его вот только что, перед обедом, во вчерашней газете. Я знаю, что это его объявление, потому что достаточно знаком с его стилем. Тсс! Вот и Пинч. Странно, не правда ли, что чем больше он предан Пекснифу (а преданность его просто не знает границ), тем больше для нас причин любить Тома. Однако тише, иначе мы испортим ему настроение.

При этих словах вошел Том, сияя улыбкой, и снова уселся в свой теплый уголок, потирая руки скорее от удовольствия, чем от холода (он очень быстро бежал), и радуясь, как умел радоваться только Том Пинч. Никакое другое сравнение не изобразит состояния его души.

— Так вот,— сказал он, после того как долго и с удовольствием глядел на своего друга,— наконец-то вы стали настоящим джентльменом, Джон. Ну да, разумеется.

— Стараюсь, Том, стараюсь! — отвечал тот добродушно.— Хотя еще неизвестно, что из меня получится со временем.

— Думаю, что теперь вы не понесете сами чемодан к остановке,— с улыбкой сказал Том Пинч,— пускай лучше он у вас совсем пропадет!

— Не понесу? — возразил Джон.— Много же вы обо мне знаете, Пинч. Чемодан должен быть непомерной тяжести, чтобы я не ушел с ним от Пекснифа, Том.

— Ну вот! — воскликнул Пинч, оборачиваясь к Мартину.— Что я вам говорил? Его слабое место — это несправедливость к Пекснифу. Не слушайте его, когда он говорит на эту тему. Какое-то невероятное предубеждение.

— Зато у Тома полное отсутствие всяких предубеждений,— сказал Джон Уэстлок, кладя руку на плечо мистера Пинча и смеясь от души,— это просто удивительно. Если когда-нибудь человек глубоко понимал другого, видел его в истинном свете и в натуральную величину, то именно так наш Том понимает мистера Пекснифа.

— Совершенно верно! — воскликнул Том.— Я это столько раз говорил вам. Если б вы знали его так хорошо, как я, Джон,— а я бы никаких денег для этого не пожалел,— вы бы восхищались им, уважали и почитали его. Невольно уважали бы. Ах, уезжая, вы поразили его в самое сердце!

— Если б я знал, где у него находится сердце,— отвечал молодой Уэстлок,— я бы уж постарался его поразить, Том, можете быть уверены. Но так как нельзя ранить то, чего нет у человека и о чем он не имеет никакого понятия, разве только способен уязвлять в самое сердце других, то я совершенно не заслужил такого комплимента.

Мистер Пинч, не желая затягивать спор, который мог дурно повлиять на Мартина, воздержался и ничего не ответил на эти слова; тем не менее Джон Уэстлок, которого мог унять разве только стальной намордник, если речь шла о достоинствах мистера Пекснифа, продолжал:

— В самое сердце! Да, действительно мягкосердечный человек! Его сердце! Да ведь это сознательный, расчетливый, бессовестный негодяй! Его сердце! Но что с вами, Том?

Мистер Пинч стоял, выпрямившись во весь рост, на предкаминном коврике и весьма энергично застегивал сюртук.

— Я и слушать вас не хочу,— сказал Том,— нет, право, не хочу. Вы должны извинить меня, Джон. У меня к вам чувство большого уважения и дружбы, я очень люблю вас и сегодня был просто вне себя от радости, что вы все такой же и ничуть не переменились, но этого я никак не могу вынести.

— Да ведь это моя старая привычка, Том; а вы сами сейчас радовались, что я ничуть не переменился.

— Только не в этом отношении,— сказал Том Пинч.— Вы должны извинить меня, Джон. Я, право, не могу, да и не хочу здесь оставаться. Вы очень несправедливы, вам следует быть сдержаннее в выражениях. Я с вами был несогласен и тогда, когда мы говорили с глазу на глаз, а при данных обстоятельствах я этого просто не могу вынести. Нет, никак не могу.

— Вы совершенно правы,— воскликнул Джон, переглядываясь с Мартином,— а я не прав, Том! Не знаю, какого черта нам вздумалось разговаривать на эту тему. От всего сердца прошу у вас прощения.

— Характер у вас мужественный и прямой, я знаю,— сказал Пинч,— тем больше меня огорчает, что вы так невеликодушны в одном-единственном случае. Не у меня вам следует просить прощения, Джон. Мне вы ничего не сделали, кроме добра.

— Что ж, значит у Пекснифа? — сказал молодой Уэстлок.— Все что угодно, Том, и у кого угодно. Буду просить прощение у Пекснифа. Это вас удовлетворит? Так вот! Выпьем за здоровье Пекснифа!

— Благодарю вас! — воскликнул Том, горячо пожимая ему руку и наполняя бокал вином.— Благодарю вас, я от всей души выпью за него. За здоровье мистера Пекснифа, и пожелаем ему успехов!

Джон Уэстлок пожелал мистеру Пекснифу того же, но с небольшой поправкой, ибо, выпив за его здоровье, он посулил ему кой-что еще, но что именно, трудно было расслышать. После того как единодушие было восстановлено, друзья придвинули стулья ближе к камину и разговаривали в полном согласии и веселье до тех пор, пока не отправились ко сну.

Пожалуй, ничто не могло лучше выказать разницу между характерами Джона Уэстлока и Мартина Чезл-

вита, чем их отношение к Тому Пинчу после только что описанной маленькой размолвки. Правда, оба они глядели на него с улыбкой, но на этом и кончалось сходство. Бывший ученик всеми силами старался показать Тому, как сердечно он к нему относится, и его дружеское уважение стало как будто еще глубже и серьезнее. Новый же, наоборот, только забавлялся, вспоминая крайнюю простоту Тома, и к его улыбке примешивалось что-то оскорбительное и высокомерное, по-видимому говорившее о том, что мистер Пинч слишком прост, чтобы считаться другом положительных и серьезных людей и быть с ними на равной ноге.

Джон Уэстлок, который, по возможности, ничего не делал наполовину, позаботился и о ночлеге для своих гостей, и, проведя вечер очень весело, они, наконец, удалились на покой. Мистер Пинч, сняв галстук и башмаки, сидел на кровати, размышляя о том, как много хорошего в характере его старого друга, когда его размышления прервал стук в дверь и голос самого Джона:

— Вы не спите еще, Том?

— Господь с вами! И не собираюсь. Я думаю о вас,— ответил Том, открывая дверь.— Входите.

— Я не задержу вас,— сказал Джон,— но я весь вечер забывал об одном маленьком поручении, которое взял на себя, и боюсь, как бы опять не забыть, если я не передам его сейчас же. Вы, я думаю, знаете некоего мистера Тигга?

— Мистера Тигга! — воскликнул Том.— Тигг! Это тот джентльмен, который занял у меня деньги?

— Вот именно,— сказал Джон Уэстлок.— Он просил кланяться и с благодарностью возвращает вам долг. Вот деньги. Надеюсь, монета не фальшивая, но человек он очень подозрительный, Том.

Мистер Пинч взял маленькую монетку с таким сияющим видом, что и золото по сравнению с ним казалось тусклым, и сказал, что нисколько не боялся за свои деньги.

— Я очень рад,— прибавил Том,— что мистер Тигг оказался таким пунктуальным и добросовестным в денежных отношениях.

— Ну, сказать вам по правде, Том,— возразил его друг,— он далеко не всегда таков. Послушайтесь моего совета, держитесь от него подальше, если повстречаетесь с ним снова. И ни в коем случае, Том,— не забывайте этого, пожалуйста, потому что я говорю совершенно серьезно,— ни в коем случае не давайте ему больше взаймы.

— Ну, что вы! — сказал Том, широко раскрыв глаза.

— Это далеко не лестное знакомство,— возразил молодой Уэстлок,— и чем яснее вы дадите ему понять ваше мнение, тем лучше для вас, Том.

— Послушайте, Джон,— произнес мистер Пинч с вытянутой физиономией и горестно качая головой,— надеюсь, вы не попали в дурное общество?

— Нет, нет,— отвечал тот, смеясь.— Не беспокойтесь на этот счет.

— А я все-таки беспокоюсь,— сказал Том Пинч.— И не могу не беспокоиться, когда слышу, что вы так говорите. Если мистер Тигг действительно таков, как вы описываете, то он вам не компания, Джон. Можете смеяться, но это вовсе не шуточное дело, уверяю вас.

— Нет, нет,— отвечал его друг, принимая серьезный вид.— Совершенно верно. Конечно, не шуточное.

— Вы знаете, Джон,— сказал мистер Пинч,— при вашем великодушии и доброте сердечной вы очень беззаботны, а с людьми надо быть как можно осторожнее. Честное слово, для меня было бы просто горем услышать, что вы попали в дурное общество, потому что я знаю, как нелегко порвать с ним. Лучше бы у меня совсем пропали эти деньги, Джон, чем получить их обратно такой ценой.

— Говорю же вам, милый мой старый друг,— воскликнул Джон, раскачивая его взад и вперед обеими руками и улыбаясь ему такой веселой, открытой улыбкой, которая могла бы убедить и гораздо менее доверчивого человека, чем Том,— уверяю вас, что опасности нет никакой.

— Отлично! — воскликнул Том.— Я рад это слышать, не могу вам сказать, до чего рад! Значит — нет, раз вы так прямо это говорите. Вы ведь не обиделись, Джон, на то, что я сейчас сказал?

— Обиделся! — сказал тот, дружески пожимая ему руку.— За кого вы меня принимаете? Я вовсе не так близко знаком с мистером Тиггом, чтобы вам стоило из-за этого тревожиться, уверяю вас самым серьезным образом. Теперь вы совсем успокоились?

— Совсем,— сказал Том.

— Тогда спокойной ночи еще раз.

— Спокойной ночи! — воскликнул Том.— И таких приятных снов, какие могут сниться только самому лучшему человеку на свете!

— После Пекснифа,— сказал его друг, останавливаясь на минуту в дверях и весело оглядываясь.

— Разумеется, после Пекснифа,— ответил Том очень серьезно.

Так они распрощались на ночь, и Джон Уэстлок лег спать в веселом и беззаботном настроении, а бедняга Том Пинч — совершенно успокоившись; хотя, поворачиваясь в постели на бок, он все-таки пробормотал про себя: «Право, было бы куда лучше, чтоб он совсем не знался с этим мистером Тиггом».

Они позавтракали все вместе очень рано утром, потому что гостям хотелось вернуться домой засветло, а Джон Уэстлок собирался уехать в Лондон с дневным дилижансом. Так как у него было несколько свободных часов, он провожал их мили три или четыре и расстался с ними, наконец, единственно в силу необходимости. Прощание было самое дружеское, не только с мистером Пинчем, но также и с Мартином, который обнаружил, что бывший ученик совсем не похож на ту мокрую курицу, какую он рассчитывал встретить.

Отойдя немного, молодой Уэстлок поднялся на пригорок и оглянулся. Они шли быстрым шагом, и Том что-то говорил с большим увлечением. Ветер дул им теперь в спину, так что Мартин снял пальто и нес его на руке. Джон видел, как Том отнял у него пальто, после довольно вялого сопротивления, и, сложив его вместе со своим собственным, взвалил на себя эту двойную ношу. Этот незначительный случай, по-видимому, сильно поразил Джона, потому что он стоял, глядя им вслед, пока они не скрылись из виду, а потом, покачав головой, словно его тревожили какие-то грустные

мысли, в раздумье зашагал по направлению к Солсбери.

Тем временем Мартин с Томом продолжали свой путь и благополучно вернулись в дом мистера Пекснифа, где нашли краткое послание от этого добродетельного джентльмена к мистеру Пинчу, извещавшее о прибытии всего семейства с ночным дилижансом. Так как дилижанс должен был проезжать мимо перекрестка около шести часов утра, мистер Пексниф просил, чтобы к этому времени была выслана двуколка и дожидалась их у придорожного столба вместе с тележкой для багажа. А для того чтобы оказать ему больше почета, молодые люди решили встать пораньше и встретить его на остановке.

Это был самый невеселый день из тех, что они провели вместе. Мартин был неразговорчив и не в духе; при каждом удобном случае он сравнивал свое положение с положением молодого Уэстлока, и каждый раз к собственной невыгоде. Его дурное настроение угнетало и Тома, и даже воспоминания о сегодняшнем прощании и вчерашнем обеде нисколько его не радовали. Время тянулось без конца, и они были рады пораньше улечься спать.

Они были вовсе не так рады, когда пришлось вставать в половине пятого, дрожа от холода, в потемках зимнего утра, однако поднялись минута в минуту и оказались на остановке за целых полчаса до назначенного времени. Утро ни в коем случае нельзя было назвать веселым, так как небо было хмурое, все в тучах, и лил проливной дождь; но Мартин заметил, что все-таки приятно видеть, как эта скотина (он подразумевал арабского скакуна мистера Пекснифа) промокнет до костей, и оттого он даже рад, что дождик поливает изо всех сил. Отсюда можно заключить, что настроение Мартина нисколько не улучшилось; да так оно и было, судя по тому, что все время, пока они с мистером Пинчем стояли под изгородью, глядя на ливень, на кабриолет, на тележку и промокшего до нитки кучера, он только и делал, что ворчал, и непременно поссорился бы с мистером Пинчем, если бы для ссоры не было обязательно участие обеих сторон.

Наконец в отдалении послышался слабый шум колес, и вскоре показался дилижанс, разбрызгивая грязь и сля-

коть, с одним несчастным пассажиром снаружи, скрючившимся в мокрой соломе, под мокрым насквозь зонтиком, и с промокшими до костей кучером, кондуктором и лошадьми — его товарищами по несчастью. Как только дилижанс остановился, мистер Пексниф опустил окно и окликнул Тома Пинча:

— Боже мой, мистер Пинч! Вы ли это? Ну, можно ли выходить в такую неблагоприятную погоду!

— Да, сэр,— воскликнул Том, бросаясь к нему,— это мы с мистером Чезлвитом!

— О! — сказал мистер Пексниф, глядя не столько на Мартина, сколько на то место, где он стоял.— О! В самом деле! Сделайте мне такое одолжение, мистер Пинч, приглядите, пожалуйста, за чемоданами!

Тут мистер Пексниф вышел из дилижанса и помог выйти своим дочерям; однако ни он, ни девицы не обратили ни малейшего внимания на Мартина, который подошел, чтобы предложить свою помощь, но не был допущен мистером Пекснифом, или, вернее, его спиной, плотно загородившей ему дорогу. Действуя таким же образом и сохраняя нерушимое молчание, мистер Пексниф подсадил своих дочерей в двуколку, а за ними уселся и сам, забрал вожжи в руки и тронулся с места.

Растерявшись от изумления, Мартин стоял, глядя на дилижанс, а после того как дилижанс отъехал — на мистера Пинча и багаж, пока тележка не уехала тоже, и, наконец, сказал Тому:

— Объясните мне, ради бога, что это значит?

— Что?

— Да поведение этого господина, то есть, я хочу сказать, мистера Пекснифа. Вы видели?

— Нет, право, не видел,— ответил Том.— Я был занят багажом.

— Ну, все равно,— сказал Мартин.— Идемте скорей! — И, не говоря больше ни слова, он зашагал так быстро, что Тому стоило большого труда поспевать за ним.

Не разбирая дороги, Мартин шагал как попало по грязи и лужам, глядя прямо перед собой и время от времени улыбаясь какой-то странной улыбкой. Том понимал, что уговаривать его не стоит, так как от этого он только

больше заупрямится, и полагался всецело на то, что дома мистер Пексниф сумеет рассеять ложное впечатление, ибо новый ученик был в таком фаворе, что у него не могло быть решительно никаких оснований беспокоиться. Однако, возвратившись домой и войдя в гостиную, где мистер Пексниф сидел перед огнем и пил горячий чай, он и сам немало удивился, обнаружив, что, вместо того чтобы обратить благосклонное внимание на своего родственника, а мистера Пинча оставить в тени, тот поступил как раз наоборот и стал расточать Тому такие любезности, что бедный малый совсем смутился.

— Выпейте чая, мистер Пинч, выпейте чая,— приглашал его Пексниф, помешивая в камине.— Вы, должно быть, очень озябли и промокли. Выпейте, пожалуйста, чая и сядьте, где потеплее, мистер Пинч.

По лицу Мартина Том видел, что тот охотно послал бы мистера Пекснифа в самое жаркое место, однако Мартин молчал и, стоя у стола, как раз против этого джентльмена, не сводил с него глаз.

— Садитесь, мистер Пинч,— сказал Пексниф.— Садитесь, пожалуйста. Как шли дела в наше отсутствие, мистер Пинч?

— Вы... вы будете очень довольны планом начальной школы, сэр,— сказал мистер Пинч.— Он почти закончен.

— Если вы хотите оказать мне любезность, мистер Пинч,— заметил Пексниф, махнув рукой и улыбнувшись,— мы с вами сейчас не будем касаться ничего такого, что стоит в связи с этим вопросом. Что делали *вы*, Томас, а?

Том, все время переводивший взгляд с учителя на ученика, а с ученика опять на учителя, до того потерялся и расстроился, что не сразу нашелся что ответить. Во время наступившей неловкой паузы мистер Пексниф (отлично знавший, что Мартин упорно на него смотрит, хотя сам ни разу не взглянул в том направлении) прилежно мешал в камине, а когда мешать стало нечего, принялся за чай.

— Ну, мистер Пексниф,— наконец сказал Мартин, не повышая голоса,— если вы достаточно отдохнули и освежились, я буду очень рад услышать, что означает ваше обращение со мной.

— Так что же,— вопросил мистер Пексниф, глядя на Тома еще более кротко и безмятежно, чем прежде,— так что же делали *вы*, Томас, а?

Повторив этот вопрос, он оглядел стены, словно желая удостовериться, не осталось ли в них случайно старых гвоздей.

Том совершенно потерял голову и, не зная, что сказать, даже сделал движение рукой, словно обращая внимание мистера Пекснифа на того джентльмена, который только что к нему адресовался, когда Мартин избавил его от дальнейших хлопот, заговорив сам.

— Мистер Пексниф! — сказал он, раза два или три негромко стукнув по столу и сделав шаг вперед, так что теперь он мог бы дотронуться до Пекснифа,— вы слышали, что я сказал сейчас. Пожалуйста, потрудитесь мне ответить. Я спрашиваю вас,— тут он слегка повысил голос,— что это значит?

— Я поговорю с вами, сударь, в скором времени,— сурово отвечал мистер Пексниф, в первый раз удостаивая Мартина взглядом.

— Вы очень любезны,— возразил Мартин,— «в скором времени» мне не подходит. Я прошу вас поговорить со мной сейчас.

Мистер Пексниф сделал вид, будто глубоко заинтересован своей записной книжкой, однако руки у него так дрожали, что книжка подскакивала в них.

— Сейчас,— повторил Мартин, снова стуча по столу,— сейчас. «В скором времени» мне не подходит. Сейчас!

— Вы угрожаете мне, сударь! — воскликнул мистер Пексниф.

Мартин посмотрел на него и ничего не ответил, однако любопытный наблюдатель мог бы заметить, что рот у него зловеще перекосился, а правая рука непроизвольно дернулась по направлению к галстуку мистера Пекснифа.

— Как это ни грустно, я вынужден сказать, сударь,— продолжал мистер Пексниф,— что угрозы были бы в полном соответствии с вашей репутацией. Вы обманули меня. Вы воспользовались известной вам простотой и доверчивостью моего характера. Вы проникли в этот

дом,— продолжал мистер Пексниф, вставая,— обманным образом, под ложным предлогом.

— Продолжайте,— сказал Мартин, презрительно улыбаясь.— Теперь я вас понимаю. Еще что?

— Вот что еще, сударь! — воскликнул мистер Пексниф, дрожа с головы до ног и потирая руки, словно от холода.— Вот что еще, если вы принуждаете меня оглашать ваш позор перед третьим лицом, чего я не желал и не имел намерения делать. Эту скромную обитель, сударь, не должно осквернять присутствие человека, который обманул, и жестоко обманул, почтенного, всеми любимого и уважаемого старца и который умышленно скрыл этот обман от меня, когда искал моего покровительства и защиты, зная, что я, при всем моем смирении, человек честный и стараюсь выполнить свой долг на этой грешной земле, воюя с пороком и вероломством. Я оплакиваю вашу развращенность, сударь,— произнес мистер Пексниф,— я скорблю о вашем падении, я сожалею о вашем добровольном удалении с путей добродетели и мира, усыпанных цветами,— тут он ударил себя по груди, этому вертограду добродетели,— но я не могу терпеть в своем доме змею и ехидну. Ступайте, молодой человек,— произнес мистер Пексниф, простирая руку,— ступайте! Я отрекаюсь от вас, как и все, кто вас знает!

Трудно сказать, для чего Мартин при этих словах сделал шаг вперед. Довольно нам знать, что Том Пинч удержал его в своих объятиях и что мистер Пексниф так поспешно попятился, что оступился, споткнулся о стул и с размаху сел на пол, где и остался недвижим, не делая попытки подняться и уткнувшись головой в угол,— быть может потому, что считал это место самым безопасным.

— Пустите меня, Пинч! — кричал Мартин, вырываясь.— Для чего вы меня держите! Неужели вы думаете, что от одной оплеухи этому негодяю что-нибудь сделается? Неужели вы думаете, что, если я плюну ему в лицо, это может его хоть сколько-нибудь унизить? Взгляните на него, взгляните на него, Пинч!

Мистер Пинч невольно взглянул. Нельзя сказать, чтобы мистер Пексниф, несколько помятый и весьма непрезентабельный после дороги, сидя, как мы уже говорили, на ковре и упираясь головой в острый угол панели, являл

собой образец привлекательности и человеческого достоинства. И все же это был Пексниф; никак нельзя было отнять у него это единственное и неотразимое, с точки зрения Тома, преимущество. Он ответил Тому взглядом, как бы говоря: «Да, мистер Пинч, взгляните на меня! Вот он я! Вы знаете, что поэт сказал о честном человеке: честный человек есть одно из великих созданий природы, которые можно видеть даром! Взгляните же на меня!»

— Вот он перед вами во всей красе,— продолжал Мартин,— опозоренный, продажный, ни на что больше не годный, тряпка для грязных рук, подстилка для грязных ног, лживый, подлый, виляющий хвостом пес, самый последний, самый гнусный из проходимцев на земле! Попомните мои слова, Пинч! Придет день,— он это знает, это и сейчас видно по его лицу,— когда даже вы его раскусите и поймете, как понимаю я! *Он* отрекается от *меня*! Запечатлейте в памяти образ отступника, Пинч, и пусть воспоминание о нем поможет вам прозреть!

При этих словах он указал на Пекснифа с невыразимым презрением и, нахлобучив шляпу на голову, вышел из комнаты, а там и из дому. Он шел так быстро, что уже миновал последние дома в селении, когда услышал, что Том Пинч, задыхаясь, окликает его издали.

— Ну, в чем дело? — спросил Мартин, когда Том подошел ближе.

— Боже мой, боже мой! — воскликнул Том.— Вы уходите?

— Ухожу! — отозвался он эхом.— Ухожу!

— Я не про это, но как же вы уходите так сразу, в такую погоду, пешком, без вещей, без денег?

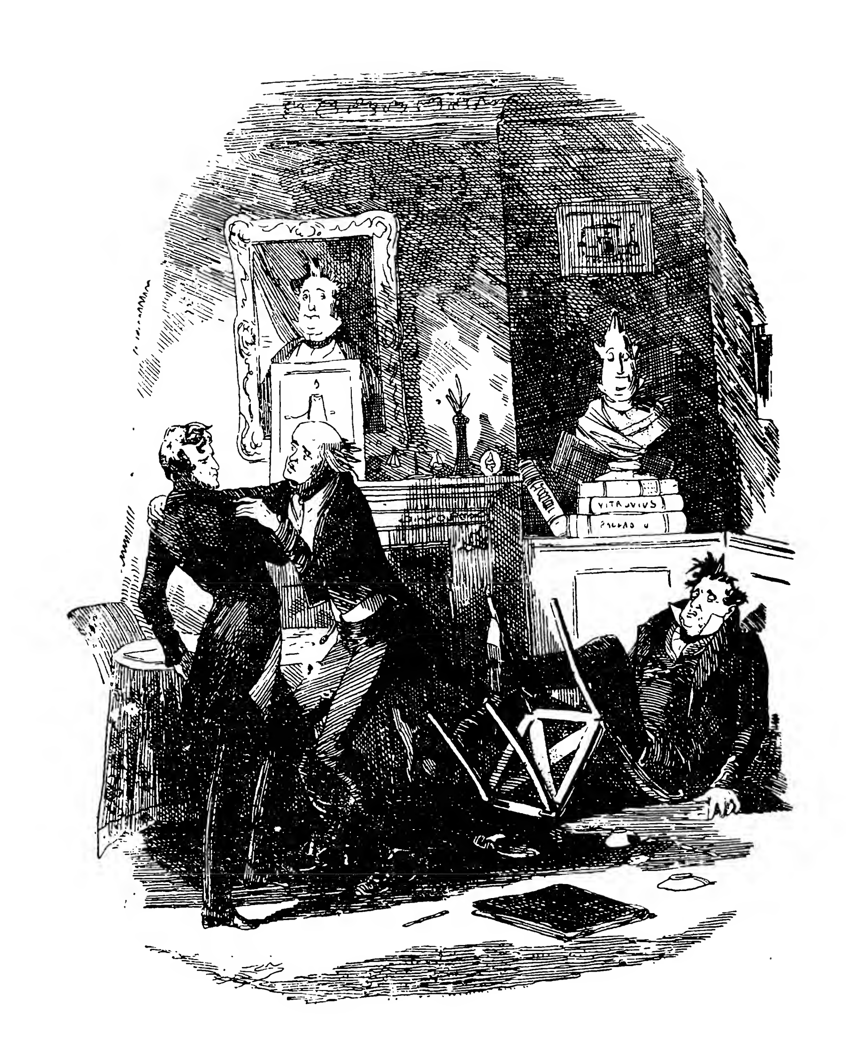
— Да,— ответил Мартин непреклонно,— вот так и ухожу.

— Но куда? — воскликнул Том.— Куда вы денетесь?

— Не знаю,— сказал он.— Впрочем, знаю: я уеду в Америку!

— Нет, нет! — воскликнул Том с грустью.— Не уезжайте туда! Пожалуйста! Одумайтесь! Пожалейте себя. Не уезжайте в Америку!

— Я уже решил,— сказал Мартин.— Ваш друг был прав. Я уеду в Америку. Спасибо вам, Пинч!


VITRUVIUS

— Возьмите это! — сказал Том, в сильном волнении протягивая ему книгу.— Мне нужно поскорей домой, и я никак не могу сказать всего, что хотел. Господь с вами! Взгляните на листок, который я загнул. Прощайте же, прощайте!

Простая душа, он со слезами на глазах пожал Мартину руку, и, торопливо попрощавшись, они пошли каждый своей дорогой.

## ГЛАВА XIII

***повествует о том, к чему привело Мартина его безрассудное решение, после того как он покинул дом мистера Пекснифа; с кем он повстречался; какие тревоги пережил и какие новости услышал***

Машинально зажав книгу Тома Пинча под мышкой и даже не застегнув пальто в защиту от проливного дождя, Мартин упрямо шел вперед все тем же быстрым шагом, пока не миновал придорожного столба и не свернул на большую дорогу в Лондон. Но даже и тут он почти не замедлил шага, хотя уже начинал думать и смотреть по сторонам, мало-помалу высвобождаясь из тисков гнева и негодования, до того времени державших его в плену.

Надо сказать, что в эту минуту ничто вокруг не радовало его глаз и не отвлекало от грустных размышлений. День занимался на востоке бледной полосой водянистого света и гнал перед собой мрачные тучи, из которых густой и влажной пеленой падал дождь. Он струился с каждой ветки, с каждой колючки в живой изгороди, прокладывал водостоки на тропе, бороздил дорогу сотнями ручейков, пробивал бесчисленные дырки на поверхности каждого пруда и каждой лужи. Он падал в траву, хлюпая и чмокая, и превращал каждую борозду на вспаханном поле в грязную канаву. Нигде не видно было ни одной живой души. Пейзаж не мог бы казаться более унылым, даже если бы вся одушевленная природа растворилась в воде и снова пролилась дождем на землю.

Перспективы одинокого путника были так же безрадостны, как и окружавшие его виды. Без друзей и без

денег, взбешенный до последней степени, глубоко уязвленный в своем самолюбии и гордости, он лелеял в душе множество независимых замыслов и терзался сознанием невозможности их осуществить,— поистине, даже самый мстительный враг был бы доволен размерами его несчастий. Вдобавок ко всем остальным бедам, он только теперь почувствовал, что вымок насквозь и продрог до костей.

В этом плачевном положении он вспомнил о книге мистера Пинча, скорее оттого, что ее было не слишком удобно нести, чем в надежде извлечь утешение из этого прощального дара. Он взглянул на полустертые буквы на корешке и, увидев, что это был случайный томик «Бакалавра из Саламанки» * на французском языке, раз двадцать послал к черту Тома Пинча с его чудачеством. Раздосадованный и сильно не в духе, он уже собирался зашвырнуть книжку подальше, как вдруг припомнил, что Том просил его посмотреть загнутый лист, и, раскрыв книгу на этой странице, для того чтобы иметь еще одну причину подосадовать на Тома за предположение, будто какие-то прокисшие остатки премудрости «Бакалавра» могут его ободрить в таких обстоятельствах, нашел...

Ну что ж! Немного — но все, что имел Том. Те самые полсоверена. Том наспех завернул деньги в бумажку и приколол к странице. На обороте были нацарапаны карандашом следующие слова: «Мне они, право, не нужны. Я бы не знал, куда их девать». Бывает такая ложь, Том, которая возносит человека к небесам, словно светлые крылья. И бывает такая правда, холодная, горькая, язвительная правда, до тонкости известная нашим ученым, которая приковывает к земле свинцовыми цепями. Кто не предпочел бы в свой смертный час легчайшее перо лжи, такой, как твоя, Том, всем иглам, вырванным с начала времен из колючего дикобраза горькой правды!

Мартин был очень чувствителен ко всему, что касалось его лично, и это доброе дело Тома сильно его взволновало. Уже через несколько минут у него значительно повысилось настроение, и он вспомнил, что еще не совсем обнищал, так как оставил у Пекснифа порядочный запас платья, а в кармане у него лежат золотые часы с крышкой. Мартин испытывал также немалое удо-

вольствие при мысли о том, какой он, должно быть, обаятельный молодой человек, если произвел такое впечатление на Тома, а также — насколько он выше Тома во всех отношениях и насколько у него больше шансов выйти в люди. Воодушевленный этими мыслями и еще более укрепившись в своем намерении добиться счастья за рубежом, он решил, не теряя времени, отправиться в Лондон, чтобы по возможности собраться со средствами.

В добрых десяти милях от селения, замечательного тем, что в нем обитал мистер Пекснифф, он остановился позавтракать в маленькой придорожной харчевне и, усевшись перед очагом на скамью с высокой спинкой, стянул с себя мокрое пальто и повесил его сушиться перед весело пылающим огнем. Эта харчевня была совсем не похожа на ту гостиницу, где он пировал прошлый раз; она не могла похвастаться никакими особенными удобствами, разве только кухней с кирпичным полом; но дух так скоро приспособляется к нуждам тела, что этот бедный постоялый двор, которым Мартин пренебрег бы еще вчера, показался ему теперь лучше всякой гостиницы, а яичницу с салом и кружку пива он отнюдь не счел грубой пищей, вполне соглашаясь с надписью на оконном ставне, объявлявшей эти яства «Лучшим угощением для путешественников».

Он отодвинул от себя пустую тарелку и, в то время как вторая кружка пива грелась для него на очаге, глядел, задумавшись, на огонь, пока не заболели глаза. Потом стал рассматривать ярко раскрашенные картинки из священного писания в узеньких, как на дешевых зеркальцах для бритья, черных рамках, где волхвы, похожие друг на друга, как родные братья, поклонялись младенцу в розовых яслях; где блудный сын в красных лохмотьях возвращался к лиловому отцу и уже предвкушал мысленно заклание зеленого, как морская волна, тельца. Мартин посмотрел в окно на косой дождь, струйками стекавший с вывески на столбе напротив дома, на переполненную колоду для водопоя, а потом снова перевел глаза на огонь, казалось различая среди горящих поленьев отражение далекого Лондона.

Он много раз повторил этот осмотр в одном и том же порядке, как будто это было необходимое дело, когда

шум колес за окном привлек его внимание и нарушил этот порядок. Выглянув во двор, он увидел крытый фургон, запряженный четверкой лошадей и груженный, насколько можно было разглядеть, зерном и соломой. Возчик, который приехал один, остановился перед харчевней напоить свою четверку и скоро вошел в общую комнату, топая ногами и стряхивая воду со шляпы и куртки.

Это был краснощекий и дюжий молодой парень, щеголь в своем роде и с добродушной физиономией. Подойдя к огню, он в знак приветствия поднес ко лбу указательный палец жесткой кожаной перчатки и заметил (без особенной надобности), что погода нынче из ряду вон дождливая.

— Да, очень дождливая,— сказал Мартин.

— Что-то я и не запомню такого ливня.

— Мне еще не приходилось под таким мокнуть,— сказал Мартин.

Возчик взглянул на забрызганное грязью платье Мартина, на мокрые рукава его рубашки, на пальто, сохнущее перед огнем, и после некоторого молчания сказал, грея руки:

— Попали под дождик, сэр?

— Да,— коротко ответил Мартин.

— Верхом ехали, должно быть? — спросил возчик.

— Ехал бы, если бы у меня была лошадь,— ответил Мартин.

— Плохо дело,— сказал возчик.

— Бывает и хуже,— сказал Мартин.

Возчик сказал «плохо дело» не столько потому, что у Мартина не было лошади, сколько потому, что в его ответе слышался бесшабашный вызов своему положению, заставляя предполагать многое. Ответив возчику, Мартин засунул руки в карманы и засвистал, давая этим понять, что он нисколько не интересуется фортуной и вовсе не желает прикидываться ее любимчиком, когда этого нет в действительности, и что ему нет ровно никакого дела до нее, до возчика и вообще ни до кого на свете.

С минуту возчик глядел на него украдкой, а затем стал греться у огня, время от времени прерывая это занятие свистом. Наконец он спросил, указывая большим пальцем на дорогу:

— Туда или обратно?

— Куда это «туда»? — спросил Мартин.

— В Лондон, разумеется,— сказал возчик.

— Значит, туда,— ответил Мартин. После чего он небрежно кивнул головой, словно говоря: «Теперь вам все известно»,— и, засунув руки глубже в карманы, засвистал громче прежнего, но уже на другой мотив.

— И я туда,— заметил возчик.— В Хаунсло, десять миль не доезжая Лондона.

— Вот как? — отозвался Мартин и, перестав свистать, взглянул на него.

Возчик стряхнул над огнем мокрую шляпу, так что зашипело в очаге, и ответил:

— Ну, разумеется.

— Тогда,— сказал Мартин,— я буду с вами откровенен. Судя по моему платью, вы, может быть, думаете, что у меня много лишних денег. У меня их нет. Я не могу заплатить за проезд больше кроны, потому что их у меня всего две. Если вы можете довезти меня за эту цену да еще за мой жилет или вот этот шелковый платок — пожалуйста. Если нет — не надо.

— Коротко и ясно,— заметил возчик.

— Вы хотите больше? — сказал Мартин.— Ну так больше у меня не найдется, и взять мне неоткуда; значит, разговор кончен.— И тут он опять засвистал.

— Разве я говорил, что мне надо больше? — спросил возчик с некоторым даже возмущением.

— Вы не сказали, что с вас этого довольно,— возразил Мартин.

— Да как же я мог, когда вы не даете слова вымолвить? Насчет жилета, сказать по правде, я его и даром не возьму, а уж господский жилет мне и вовсе не нужен; шелковый платок другое дело: ежели останетесь довольны, когда доедем до Хаунсло, я не откажусь от такого подарка.

— Значит, по рукам? — спросил Мартин.

— По рукам,— отвечал возчик.

— Тогда допейте это пиво,— сказал Мартин, подавая ему кружку и с большой готовностью натягивая пальто,— и давайте поедем как можно скорей.

Через какие-нибудь две минуты он заплатил по счету — что-то около шиллинга, растянулся во весь рост

на охапке соломы на самом верху воза, слегка приподняв брезент впереди, чтобы удобнее было разговаривать с новым приятелем, и покатил в нужном ему направлении так лихо и весело, что это было одно удовольствие.

Возчика звали Вильям Симмонс, как он вскоре сообщил Мартину, а более известен он был под именем Билла, и его щеголеватая наружность объяснялась причастностью к большой конторе дилижансов в Хаунсло, куда он вез солому и зерно с одной фермы в Вильтшире, принадлежавшей этой конторе. По его словам, он часто ездил туда и обратно с такими поручениями, а также приглядывал за больными и сменными лошадьми, и об этих животных у него нашлось что порассказать, причем рассказ отнял довольно много времени. Он мечтал о постоянной должности возчика и надеялся ее получить, как только откроется вакансия. Кроме того, он был любителем музыки и носил в кармане маленький корнет-а-пистон, на котором, как только умолкал разговор, наигрывал начало множества мотивов, непременно сбиваясь в конце.

— Эх! — сказал Билл со вздохом, вытерев губы ладонью и укладывая свой инструмент в карман, после того как отвинтил и прочистил мундштук.— Молодчина Нэд, кондуктор Скорого Солсберийского, вот это так мастер был играть. Вот это был кондуктор. Можно сказать, ангел, а не кондуктор!

— Разве он умер? — спросил Мартин.

— Умер! — пренебрежительно ответил возчик.— Как бы не так! Попробуйте-ка его уморить. Не выйдет. Не так-то он глуп.

— Вы говорили о нем в прошедшем времени,— заметил Мартин,— оттого я и подумал, что его больше нет на свете.

— Его больше нет в Англии, если вы это имеете в виду,— сказал Билл.— Он уехал в Америку.

— В Америку? — спросил Мартин, вдруг заинтересовавшись.— Давно ли?

— Лет пять назад или около того,— сказал Билл.— Он тут завел было трактир, только запутался в долгах и в один прекрасный день взял да и сбежал в Ливерпуль, не сказав никому ни слова, а там отплыл в Америку.

— Ну и что же? — спросил Мартин.

— Ну и что же! А когда он высадился на берег без гроша в кармане, в Соединенных Штатах ему, конечно, очень обрадовались.

— Что вы этим хотите сказать? — с раздражением спросил Мартин.

— Что хочу сказать? — ответил Билл.— Да вот что. В Соединенных Штатах все люди равны, верно? Там, говорят, совсем неважно, есть у человека тысяча фунтов или нет ничего, особенно в Нью-Йорке, куда попал Нэд.

— В Нью-Йорке, да? — спросил Мартин в раздумье.

— Да,— сказал Билл,— в Нью-Йорке. Я потому это знаю, что он писал домой, будто в Нью-Йорке ему все время вспоминается Старый Йорк *; просто как живой,— оттого, должно быть, что нисколько на него не похож. По какой части Нэд там пристроился, этого я, право, не знаю, только он писал домой, что все время распевает с приятелями «Здравствуй, Колумбия!» * да бранит президента; так что, мне думается, это опять что-нибудь по трактирной части, а может, клуб какой-нибудь. Как бы там ни было, капитал он нажил.

— Не может быть! — воскликнул Мартин.

— Да, нажил,— сказал Билл.— Я это знаю, потому что он тут же все потерял, когда лопнуло разом двадцать шесть банков. Удостоверившись, что платить по ним ничего не будут, он переписал много бумаг на имя отца и послал домой вместе с почтительным письмом. Их показывали у нас во дворе, когда делали сбор в пользу старика, чтобы ему было на что побаловаться табачком в работном доме.

— Почему же он не берег деньги, пока они были? — сказал Мартин с негодованием.

— Ваша правда,— сказал Билл,— тем более что все они были в бумагах, так что и беречь их ничего не стоило, надо было только сложить помельче.

Мартин ничего ему не ответил, но вскоре после этого задремал и проспал целый час или более того. Проснувшись и увидев, что дождь перестал, он перебрался на козлы к вознице и стал задавать ему разного рода вопросы: сколько времени счастливый кондуктор Скорого Солсберийского дилижанса плыл через Атлантический

океан; в какое время года он отправился в плавание; как назывался корабль, на котором он ехал; сколько он заплатил за билет; сильно ли страдал от морской болезни, и так далее. Но обо всех этих обстоятельствах его приятелю не было известно ровно ничего или очень мало, и он отвечал на вопросы либо явно наобум, либо признавался, что ничего на этот счет не слыхал или позабыл; и хотя Мартин не раз возвращался к этой теме, он так и не мог добиться толкового ответа насчет всех этих существенных подробностей.

Они тащились целый день и останавливались так часто — то закусить, то переменить лошадей, то сменить или захватить с собой упряжь, то по одному, то по другому делу, связанному с движением дилижансов по этой дороге,— что была уже полночь, когда они добрались до Хаунсло. Не доезжая конюшни, куда направлялся фургон, Мартин сошел, уплатил крону, заставил своего честного приятеля взять шелковый платок, несмотря на все отговорки, которым явно противоречило жадное выражение его разгоревшихся глаз. После этого они распрощались, и когда фургон въехал во двор и ворота за ним заперли, Мартин остался на темной улице и с особенной силой почувствовал, что он изгнан без возврата и одинок в этом страшном мире.

Однако и в эту минуту уныния и нередко впоследствии воспоминание о мистере Пекснифе, подобно горькому лекарству, поддерживало его силы, пробуждая в нем негодование, которое действовало очень благотворно, заставляя его упрямо держаться и терпеть. Под влиянием этого жгучего чувства он без дальнейших проволочек отправился в Лондон. Добравшись туда в середине ночи и не зная, где искать еще не запертую харчевню, он вынужден был до самого утра ходить по улицам и площадям.

За час до рассвета он очутился в той части города, близ театра Аделфи *, где дома победней, и, обратившись к человеку в меховой шапке, который снимал ставни с окон дрянного трактира, сообщил ему, что он приезжий, и спросил, нельзя ли получить здесь ночлег. На его счастье оказалось, что можно. Постель, хотя и не из роскошных, была довольно чистая, и Мартин, забрав-

шись в нее, радовался теплу, покою и возможности забыться.

Был уже поздний день, когда он проснулся. И пока он умылся, оделся и позавтракал, опять уже начало темнеть. Это вышло даже к лучшему, ибо Мартину было совершенно необходимо расстаться со своими часами, заложив их какому-нибудь услужливому ростовщику. Он все равно стал бы дожидаться наступления темноты, даже если бы это был самый длинный день в году и с утра ему не пришлось бы позавтракать.

Он миновал больше золотых шаров, чем нашлось бы у всех жонглеров Европы вместе взятых, прежде чем решился отдать предпочтение какой-нибудь из ссудных касс, которым эти символические изображения служили вывеской. В конце концов он вернулся к одной из первых лавок, какие видел по дороге, и, войдя через боковую дверь, где три золотых шара вместе с надписью «Денежные ссуды» отражались туманно и призрачно в тусклом стекле, вошел в один из чуланчиков, или отдельных клеток, отгороженных для удобства более робких и неопытных клиентов. Он юркнул туда, достал из кармана часы и положил их на прилавок.

— Клянусь душой и жизнью,— говорил закладчику в соседнем отделении чей-то негромкий голос,— вам следовало бы дать больше, хоть немножко больше! Право, следовало бы! Не мешало бы скинуть хоть четверть унции с вашего фунта мяса, мой любезный Шейлок *, пускай уж будет два шиллинга шесть пенсов.

Мартин невольно отступил назад, сразу узнав этот голос.

— Вы все шутите,— вполне деловым тоном сказал приемщик; он свернул заклад (очень похожий на рубашку) и теперь чинил гусиное перо на прилавке.

— Мне не до шуток, пока я сюда хожу,— сказал мистер Тигг.— Ха-ха! Недурно сказано! Пусть будет два шиллинга шесть пенсов, дорогой друг, только для этого случая. Полкроны — дивная монета. Два шиллинга шесть! Идет за два шиллинга шесть! В последний раз — за два шиллинга шесть пенсов!

— Последний раз будет, когда совсем износится,— отвечал приемщик.— И так она вся пожелтела на службе.



— Ее хозяин пожелтел на службе, если вы это имели в виду, мой друг,— сказал мистер Тигг,— на службе неблагодарной родине. Так вы дадите два шиллинга шесть?

— Дам, как всегда давал,— возразил приемщик,— два шиллинга. Фамилия, полагаю, все та же?

— Все та же,— сказал мистер Тигг,— моя претензия на титул пэра пока еще не утверждена палатой лордов.

— Адрес прежний?

— Ничего подобного,— сказал мистер Тигг.— Я перенес мою городскую резиденцию из номера тридцать восьмого, Мэйфер, в номер тысяча пятьсот сорок второй, Парк-лейн *.

— Ну, знаете ли, этого я записывать не стану,— усмехнувшись, сказал закладчик.

— Можете записать все, что вам угодно, мой друг,— произнес мистер Тигг.— Факт остается фактом. Помещение для второго дворецкого и пятого лакея оказалось до неприличия мизерным и непрезентабельным, и я был вынужден из уважения к их чувствам, которые делают им большую честь, снять на семь лет, на четырнадцать лет или на двадцать один год, с возобновлением аренды по желанию съемщика, элегантный особняк со всеми удобствами, номер тысяча пятьсот сорок два, Парк-лейн. Давайте два шиллинга шесть пенсов и приходите ко мне в гости.

Приемщика так развеселила эта юмористическая выходка, что мистер Тигг и сам не мог удержаться от выражения некоторого торжества. Оно проявилось отчасти в желании посмотреть, как отнесся к его шутке посетитель в соседнем отделении, для чего он заглянул за перегородку и при свете газового рожка сразу узнал Мартина.

— Помереть мне,— сказал мистер Тигг, вытягивая шею так далеко, что его голова очутилась в клетке Мартина,— если это не самая удивительная встреча во всей древней и новой истории! Как вы поживаете? Какие новости из сельскохозяйственных округов? Как поживают наши друзья Пекснифы? Ха-ха! Дэвид, немедленно окажите особенное внимание этому джентльмену, как моему другу, прошу вас!

— Вот, пожалуйста, дайте мне за эти часы как можно больше,— сказал Мартин, подавая часы приемщику.— Мне очень нужны деньги.

— Ему очень нужны деньги! — весьма сочувственно воскликнул мистер Тигг.— Дэвид, будьте добры сделать все, что только возможно, для моего друга, которому крайне нужны деньги. Отнеситесь к моему другу так же, как ко мне самому. Золотые охотничьи часы, Дэвид, отличной работы, двойная крышка, ход на четырех камнях, с регулятором, горизонтальный завод, с гарантией за верность — могу поручиться собственной честью, так как пристально наблюдал их в течение многих лет при самых неблагоприятных обстоятельствах,— тут он подмигнул Мартину, давая ему понять, что эта рекомендация окажет на закладчика большое влияние.— Так что же вы скажете моему другу, Дэвид? Уж постарайтесь оправдать рекомендацию старого клиента, Дэвид!

— Могу ссудить вам под них три фунта, если хотите,— сказал закладчик Мартину доверительным тоном.— Часы очень старомодные. Больше никак нельзя.

— И то еще очень щедро,— воскликнул мистер Тигг.— Два фунта двенадцать шиллингов шесть пенсов за часы, а семь шиллингов шесть пенсов — из личного уважения ко мне. Я доволен,— может быть, это слабость, но я доволен. Трех фунтов достаточно. Мы берем их. Фамилия моего друга — Смайви, Петух Смайви; Холборн *, номер двадцать шесть с половиной, Б, квартирант.— Тут он опять подмигнул Мартину, сообщая ему таким образом, что все церемонии и формальности, предписанные законом, исчерпаны, и теперь остается только получить деньги.

В сущности, так оно и оказалось, ибо Мартин, у которого не было иного выхода, как только взять то, что ему предлагали, изъявил свое согласие кивком головы и скоро вышел из лавки с деньгами в кармане. В дверях к нему присоединился мистер Тигг и, взяв его под руку, проследовал вместе с ним на улицу, горячо поздравляя его с успешным исходом операции.

— О моем участии в ней,— сказал мистер Тигг,— не стоит и говорить. Не благодарите меня, я этого не выношу.

— У меня такого намерения и не было, уверяю вас,— возразил Мартин, высвобождая свою руку и останавливаясь.

— Чрезвычайно вам обязан,— сказал мистер Тигг.— Благодарю вас.

— Вот что, сэр,— заметил Мартин, кусая губы,— Лондон большой город, и нам нетрудно будет разойтись в разные стороны. Если вы мне покажете, в какую сторону идете, я пойду в другую.

Мистер Тигг хотел что-то сказать, но Мартин прервал его:

— После того что вы сейчас видели, едва ли нужно говорить вам, что у меня нет ничего для вашего друга, мистера Слайма. И также нет надобности объяснять вам, что ваше общество для меня нежелательно.

— Постойте! — воскликнул мистер Тигг, простирая руку.— Погодите! Существует весьма замечательная, прозорливая, убеленная сединами и патриархальная пословица, которая гласит, что человек обязан прежде всего быть справедливым, а потом уже великодушным. Будьте справедливы, великодушие вы можете проявить потом. Не смешивайте меня с этим Слаймом. Не считайте этого Слайма моим другом, ибо ничего подобного нет. Я был вынужден, сэр, расстаться с личностью, которую вы именуете Слаймом. Я ничего не знаю о личности, которую вы именуете Слаймом. Я, сэр,— произнес мистер Тигг, ударяя себя в грудь,— я премированный тюльпан, сэр, и совершенно иначе взращен и воспитан, чем этот капустный кочан Слайм, сэр.

— Мне очень мало дела до того,— холодно сказал Мартин,— решили ли вы бродяжничать в одиночку, за свой страх, или все еще побираетесь от имени мистера Слайма. Я не желаю поддерживать с вами никаких отношений. Черт возьми, любезный, пойдете вы, наконец, в ту или другую сторону? — воскликнул Мартин; несмотря на всю свою досаду, он едва удерживался от улыбки, глядя на мистера Тигга, который преспокойно приглаживал волосы, прислонившись к оконному ставню.

— Позвольте мне напомнить вам, сэр,— произнес мистер Тигг, вдруг преисполнившись достоинства,— что вы, а не я,— подчеркиваю — вы,— свели нашу сегодняшнюю встречу к холодным и отдаленным деловым отношениям, тогда как я, со своей стороны, был склонен встретиться с вами на дружеской ноге. А так как это деловые отно-

шения, сэр, позволю себе сказать, что я надеюсь на небольшой подарок (он будет истрачен на дела благотворительности) в качестве комиссионных с денежной суммы, при получении которой я оказал вам скромную услугу. После того как вы обратились ко мне с такими выражениями, сэр,— закончил мистер Тигг,— прошу вас не оскорблять меня, предлагая более полукроны.

Мартин вынул из кармана монету в полкроны и швырнул ее мистеру Тиггу. Мистер Тигг поймал монету на лету, проверил, не фальшивая ли она, подкинул в воздух, как делают пирожники, и спрятал ее в карман. В конце концов он слегка приподнял шляпу, держась по-военному, и, постояв минуту-другую с важным видом, словно решая, в каком направлении пойти и кого из своих друзей, маркизов и графов, осчастливить визитом, засунул руки в карманы и развязно повернул за угол. Мартин избрал противоположное направление; и таким образом они расстались, к его великому удовольствию.

С горьким чувством унижения он снова и снова проклинал свою незадачу — надо же было повстречать этого человека в лавке закладчика. Утешало его только добровольное признание мистера Тигга в том, что он разошелся со Слаймом: таким образом, размышлял Мартин, о его делах по крайней мере не будут знать родственники, при одной мысли о такой возможности он мучился от стыда и оскорбленной гордости. Рассуждая здраво, было гораздо больше оснований считать всякое заявление мистера Тигга вымыслом, чем давать ему хотя бы малейшую веру; однако оно казалось вполне возможным, если припомнить, на чем основывалась близость между этим джентльменом и его закадычным другом, и предположить, что мистер Тигг повел дело самостоятельно, пользуясь кругом знакомых мистера Слайма; во всяком случае, Мартин так надеялся, а это само по себе немало.

Первым его делом было, обзаведясь деньгами на самое необходимое, оставить за собой койку в харчевне, впредь до дальнейшего уведомления, и написать Тому Пинчу официальное письмо (зная, что его будет читать Пексниф) с просьбой переслать его платье в Лондон с дилижансом и оставить в конторе до востребования. Приняв эти меры, остальные три дня, пока не прислали

сундук, Мартин наводил справки о пароходах, отправляющихся в Америку, заходил в конторы судовых агентов в Сити и подолгу простаивал около доков и верфей, в смутной надежде наняться на отплывающий корабль клерком или судовым кладовщиком — присматривать за чем-нибудь или за кем-нибудь, лишь бы это помогло ему получить бесплатный билет. Однако вскоре он обнаружил, что наняться на такое место нет возможности, и, опасаясь последствий вынужденной задержки, составил краткое объявление и поместил его в самых распространенных газетах. Питая смутную надежду получить на свое объявление не меньше двадцати или тридцати ответов, Мартин тем временем сократил свой гардероб до самых минимальных размеров, какие допускались приличиями, а остальное снес в разное время к закладчику для превращения в деньги.

И даже самому Мартину было странно, очень странно, как, быстро и незаметно шагая со ступени на ступень, он утратил свою щепетильность и чувство собственного достоинства и стал ходить к закладчику, не терзаясь сомнениями, которые всего несколько дней тому назад жгли его как огнем. Когда он шел к закладчику в первый раз, ему всю дорогу казалось, будто каждый встречный подозревает, куда он идет; а на обратном пути — будто вся толпа, валившая ему навстречу, знает, где он побывал. А теперь проницательность прохожих нимало его не беспокоила. В начале своих скитаний по унылым улицам он старался подражать твердому шагу человека, у которого есть какая-то цель, но вскоре усвоил себе небрежную и развинченную походку вялой праздности, научился стоять на углу, покусывая соломинку, прохаживаться по одному и тому же месту и с печальным равнодушием глядеть в окна одних и тех же лавок по пятьдесят раз на дню. Сначала он выходил из своего жилища с неприятным чувством, что за ним наблюдают, хотя бы это были случайные прохожие, выходящие поутру из пивной, которых он никогда раньше не видал и, по всей вероятности, никогда больше не увидит; теперь же, уходя или приходя, он не стеснялся постоять в дверях трактира или погреться на солнце, ни о чем не думая, прислонясь к деревянному столбу, усаженному сверху донизу колышками, на кото-

рых, словно на ветвях дерева, висели пивные кружки. И всего только за пять недель он спустился на самую нижнюю ступень этой высокой лестницы!

О моралисты, толкующие о счастье и чувстве собственного достоинства, якобы доступных человеку на любой ступени общества и озаряющих каждую песчинку на уготованной для нас господом богом торной дороге, которая так гладка для колес вашей кареты и так неровна для босых ног,— подумайте, глядя на быстрое падение людей, когда-то уважавших себя, что на свете прозябают десятки тысяч неутомимых тружеников, которые в этом смысле никогда не жили и не имели возможности жить! Идите, о вы, что так спокойно полагаетесь на слова псалмопевца, который когда-то был молод и лишь в старости настроил свою арфу, который не видел праведников покинутыми и своих потомков просящими хлеба; идите, о вы, учащие довольствоваться малым и гордиться честностью, в шахты, на фабрики, на заводы, в кишащие всякой скверной бездны невежества, в глубочайшие бездны человеческого унижения и скажите: может ли чье-либо здоровье процвести в воздухе настолько затхлом, что он гасит яркое пламя души, едва оно возгорится?! О вы, фарисеи христианской науки девятнадцатого столетия, вы громко взываете к человеческой природе,— позаботьтесь же сначала, чтобы она стала человеческой! Берегитесь, как бы она не превратилась в звериную природу, пока вы дремали и целые поколения были погружены в непробудный сон!

Пять недель! Из двадцати или тридцати ответов, которых он ждал, не пришел ни один. Его деньги — даже добавочная сумма, которую он собрал, продав лишнее платье (очень небольшая, ибо платье покупают задорого, а продают задешево),— быстро таяли. Но что же он мог сделать? По временам это его так мучило, что он выбегал из дома, даже если только что вернулся туда, и снова шел в какое-нибудь место, где уже побывал двадцать раз без успеха. По годам он давно уже не годился в юнги, по совершенному отсутствию опыта его нельзя было принять в простые матросы. Кроме того, его платье и манеры, к несчастью, не позволяли предложить ему такую должность; и все же он домогался ее, ибо если в его расчеты

и входило высадиться в Америке совершенно без денег, то у него теперь не хватило бы даже на проезд и на самое скудное питание в пути.

И за все это время — такова уж человеческая натура — он ни разу не усомнился и, напротив, вполне был уверен, что совершит великие подвиги в Новом Свете, стоит только ему туда попасть. Чем более плачевными становились его обстоятельства и чем дальше ускользала возможность уехать в Америку, тем больше он убеждал себя, что это единственное место, где он может достигнуть любой высокой цели, и тем больше его терзала мысль, что другие его опередят и осуществят его заветные помыслы. Он часто думал о Джоне Уэстлоке, и, помимо того, что везде и всегда его искал, он даже ходил три дня по Лондону, только для того чтобы встретить Джона. Однако, хотя ему это не удалось и хотя он не посовестился бы занять у Джона денег и верил, что тот не отказал бы ему, он никак не мог заставить себя написать Пинчу и спросить, где живет его друг. Ибо, хотя, как мы видели, Мартин и любил Тома по-своему, он не допускал и мысли, что может принять от Тома (которого считал неизмеримо ниже себя) какую-либо помощь на пути к успеху; его гордость так возмущалась подобным предположением, что даже и теперь останавливала его.

Тем не менее его гордость сдалась бы, и несомненно сдалась бы очень скоро, если бы не одно очень странное и неожиданное происшествие.

Пять недель подходили уже к концу, и положение Мартина было поистине отчаянное, как вдруг однажды вечером, когда он только что вернулся к себе на квартиру и зажигал свечу от газового рожка в буфете, перед тем как уныло подняться к себе в комнату, хозяин окликнул его по имени. Мартин немало удивился, так как не сообщал никому своего имени, а, наоборот, старательно скрывал его; и он настолько явно показал свое волнение, что хозяин успокоительно заметил, что это «всего-навсего письмо».

— Письмо! — воскликнул Мартин.

— Для мистера Мартина Чезлвита,— сказал хозяин, читая надпись на конверте, который держал в руке.— Отправлено в полдень. С главного почтамта. Оплачено.

Мартин взял письмо, поблагодарил и поднялся наверх. Оно было не запечатано, а плотно заклеено, и почерк был ему совершенно незнаком. Он вскрыл письмо и нашел внутри, без приложения какой бы то ни было записки, фамилии или адреса, кредитный билет Английского банка в двадцать фунтов.

Сказать, что он совершенно остолбенел от изумления и радости, что он долго переводил взгляд с билета на конверт и обратно, что он тут же бросился вниз проверять, не фальшивый ли билет, а потом поспешно поднялся наверх удостовериться в пятидесятый раз, не проглядел ли он какой-нибудь надписи на конверте, что он совсем запутался и сбился, строя всякие предположения, и ничего не мог понять, кроме того, что деньги налицо и он неожиданно разбогател,— значило бы только перегружать наше повествование излишними подробностями. На первый раз дело кончилось тем, что он решил угоститься хорошим, хотя и скромным, обедом у себя в комнате и, приказав затопить камин, немедленно отправился за покупками.

Он купил вареной говядины, ветчины, масла, французскую булку и вернулся домой, порядком нагрузив карманы. Не совсем приятно было найти комнату полной дыма, что объяснялось двумя причинами: во-первых, тем, что труба оказалась неисправна и дымила, а во-вторых, тем, что, растапливая камин, забыли вынуть один-два мешка и еще кое-какую ветошь, которой затыкали трубу от дождя. Впрочем, это упущение уже исправили, окно подняли и подперли связкой щепок, и, если не считать того, что от дыма щипало глаза и першило в горле, в комнате стало совсем хорошо.

Даже если бы беспорядка было еще больше, Мартин не стал бы к этому придираться, особенно после того как на стол поставили сверкающую кружку портера и служанка ушла, получив от Мартина строжайший наказ немедленно принести стакан горячего грога, как только он позвонит. Вареное мясо было завернуто в афишу, и Мартин расстелил этот документ вместо скатерти на круглом столике, печатной стороной вниз, и разложил на нем закуски. В ногах кровати, которая стояла близко к огню, он устроил буфет и, покончив с приготовлениями, втиснул

старое кресло в самый теплый уголок и уселся закусывать.

Он уже начал есть с большим аппетитом, в то же время оглядывая комнату с торжествующим чувством человека, который завтра покинет ее навсегда, когда его внимание привлекли осторожные шаги на лестнице, а потом и стук в дверь, очень тихий сам по себе, однако сообщивший связке щепок такое сотрясение, что она мгновенно вылетела из окна и упала на улицу.

«Должно быть, опять с углем»,— решил Мартин и сказал:

— Войдите!

— Не примите за дерзость, сэр, хотя с виду оно и похоже,— ответил мужской голос.— Ваш слуга, сэр. Надеюсь, что вы в добром здоровье, сэр?

Мартин в недоумении смотрел на лицо человека, который кланялся ему с порога; он прекрасно помнил черты и выражение, но совершенно забыл, кому они принадлежат.

— Тэпли, сэр,— сказал его гость.— Тот самый, что раньше служил в «Драконе», а потом ушел искать чего-нибудь повеселей, сэр.

— Ну конечно! — воскликнул Мартин.— Как же вы сюда попали?

— Прямо по коридору, сэр, а потом вверх по лестнице,— сказал Марк.

— Я хочу сказать, как вы меня разыскали? — спросил Мартин.

— Очень просто, сэр,— сказал Марк,— раза два я встречал вас на улице, если не ошибаюсь, а сейчас я глядел в окно колбасной лавки, вместе с голодным трубочистом, как будто нарочно созданным для того, чтобы развеселить человека, сэр,— а вы покупаете вот это.

Мартин покраснел, когда мистер Тэпли указал кивком на стол, и спросил, несколько заторопившись:

— Ну, а потом?

— А потом, сэр,— ответил Марк,— я взял на себя смелость последовать за вами; и так как я сказал внизу, что вы меня ждете, то меня впустили.

— У вас есть какое-нибудь поручение ко мне, раз вы сказали, что вас ждут? — спросил Мартин.

— Нет, сэр, никакого,— сказал Марк.— Это была, что называется, святая ложь, вот как.

Мартин бросил на него сердитый взгляд, но в жизнерадостном лице Марка и в его манерах было что-то такое, при всей веселости далекое от навязчивости или фамильярности, что невольно обезоруживало. Кроме того, Мартин пять недель прожил в одиночестве, и ему было приятно слышать этот голос.

— Тэпли,— сказал он.— Я буду с вами откровенен. Насколько я могу судить и насколько я слышал от Пинча, вы не такой человек, чтобы вас могло привести сюда дерзкое любопытство или еще что-либо столь же оскорбительное. Садитесь. Я рад вас видеть.

— Благодарю вас, сэр,— сказал Марк.— Я уж лучше постою.

— Если вы не сядете,— возразил Мартин,— я с вами не стану разговаривать.

— Очень хорошо, сэр,— заметил Марк.— Ваша воля — закон, сэр. Садиться так садиться.— И с этими словами он уселся на кровать.

— Угощайтесь,— сказал Мартин, подавая ему единственный нож.

— Благодарю вас, сэр,— отвечал Марк,— после вас.

— Возьмите сейчас, а то вам ничего не останется,— сказал Мартин.

— Очень хорошо, сэр. Если такое ваше желание — пусть будет сейчас.— И с этими словами он степенно принялся за еду. Мартин, некоторое время молча жевавший, вдруг спросил:

— Что вы делаете в Лондоне?

— Ровно ничего, сэр,— ответил Марк.

— Как это так? — спросил Мартин.

— Ищу места... — сказал Марк.

— Мне вас очень жаль,— заметил Мартин.

— ...к одинокому джентльмену,— продолжал Марк.— Более желательно, чтобы к приезжему. Предпочтительно что-нибудь временное. За жалованьем не гонюсь.

Он говорил это так подчеркнуто, что Мартин перестал жевать и сказал:

— Если вы имеете в виду меня...

— Да, вас, сэр,— прервал его Марк.

— Тогда сами можете судить, по моему образу жизни здесь, есть ли у меня средства держать слугу. Кроме того, я на днях уезжаю в Америку.

— Что ж, сэр,— возразил Марк, нисколько не смутившись этим сообщением,— по всему, что я слышал, думается, Америка для меня самое подходящее место, там-то и быть веселым!

Мартин опять посмотрел на него сердито, и опять его гнев невольно смягчился.

— Господь с вами, сэр, какой нам толк ходить вокруг да около, прятаться за углом и увертываться, когда все дело можно решить в двух словах? Последние две недели я следил за вами, не спуская глаз. Я отлично вижу, что дела ваши не очень-то ладятся. Еще тогда, когда я в первый раз встретил вас в «Драконе», я понял, что этим кончится, рано или поздно. Так что вот, сэр, я к вашим услугам. Сам я тоже без места, а без жалованья обойдусь хоть целый год, потому что скопил кой-что в «Драконе» (не собирался копить, да так уж вышло), вот я, весь тут, сэр! Люблю всякие приключения, и вы мне нравитесь, сэр, и хочется мне показать себя в таких обстоятельствах, когда всякий другой упал бы духом. Так возьмете вы меня или не возьмете, сэр?

— Как же я могу вас взять? — воскликнул Мартин.

— Когда я говорю «взять»,— ответил Марк,— то это значит — хотите ли вы взять меня с собой, а когда я говорю взять с собой, это значит — позволите ли вы мне ехать вместе с вами, потому что я все равно поеду, так или иначе. Как только вы сказали «Америка», я сразу понял, что это самое подходящее для меня место. И потому, если я не куплю себе билета на тот пароход, с которым поедете вы, сэр, то куплю себе билет на другой. И попомните мои слова, сэр: коли я поеду один, то уж — из принципа — только на самом гнилом и трухлявом старом корыте, на каком можно будет получить место даром или за деньги. Так что, ежели я утону по дороге, сэр, на вашей душе будет грех, да еще какой грех, сэр? Поверьте моему слову.

— Это просто глупо,— сказал Мартин.

— Очень хорошо, сэр,— возразил Марк.— Рад это слышать, потому что, раз вы меня с собой не берете, вам будет легче, оттого что вы так думаете. А я с джентльме-

ном не стану спорить. Я только говорю: будь я проклят, коли в таком случае не уеду в Америку на самой дрянной старой посудине, какая выходит из порта!

— Вы сами не верите тому, что говорите,— сказал Мартин.

— Нет, верю! — воскликнул Марк.

— Не спорьте со мной, говорят вам! — возразил Мартин.

— Отлично, сэр,— сказал Марк с тем же выражением полной удовлетворенности.— Пока что пусть будет так, сэр, поживем — увидим. Да, господи твоя воля, я только в том и сомневаюсь, будет ли с моей стороны заслуга ехать с таким джентльменом, как вы: ведь вы так же легко пробьете там себе дорогу, как гвоздь пробивает трухлявое дерево.

Это задевало слабую струну Мартина; перед лестью он не мог устоять. К тому же он невольно подумал о том, какой живой характер у Марка и какую перемену он уже внес в унылую атмосферу этой тесной комнатки.

— Что ж, конечно, Марк,— сказал он,— я надеюсь добиться там успеха, иначе не поехал бы. Может быть, у меня есть качества, нужные для успеха.

— Разумеется есть, сэр,— сказал Марк Тэпли.— Это всем известно.

— Видите ли,— сказал Мартин, опершись подбородком на руку и глядя в огонь,—декоративная архитектура в применении к жилым домам должна пользоваться в Америке большим спросом, потому что люди там постоянно меняют место жительства и переезжают дальше: ясно, что им нужны дома.

— Я бы сказал, сэр,— заметил Марк,— что такое положение вещей открывает для архитектуры на редкость веселую перспективу, просто неслыханное дело!

Мартин быстро взглянул на него, подозревая, что эти слова выражают некоторое сомнение в успехе его замыслов. Но мистер Тэпли уписывал хлеб и говядину с таким простодушным и чистосердечным видом, что Мартин сразу успокоился. Однако не успело это сомнение рассеяться, как другое зародилось в его душе. Он достал пустой конверт, куда прежде была вложена ассигнация, передал его Марку и, пристально глядя на него, спросил:

— А теперь скажите мне правду. Вам известно что-нибудь об этом?

Марк вертел конверт и так и эдак, подносил его к глазам, смотрел издали, вытянув руку во всю длину, поворачивал его надписью то вверх, то вниз и, наконец, покачал головой, так искренне удивляясь вопросу, что Мартин сказал, беря у него конверт:

— Нет, я вижу, что вы ничего не знаете. Да и откуда вам знать? Хотя, право, это было бы не более удивительно, чем то, что конверт вообще попал сюда. Ну, вот что, Тэпли,— прибавил он, подумав с минуту,— я расскажу вам свою историю, как она есть, и тогда вам станет понятно, чему вы себя подвергаете, если поедете со мной.

— Прошу прощения, сэр,— сказал Марк,— но, пока вы еще не начали, возьмете ли вы меня, если я захочу ехать? Неужели вы прогоните меня, Марка Тэпли, который раньше служил в «Синем Драконе», которого может рекомендовать мистер Пинч и которому нужен хозяин с таким сильным характером, как у вас, на кого можно было бы надеяться? Быть может, сами, поднимаясь все выше и выше, вы позволите мне следовать за вами в почтительном отдалении? Я знаю, сэр,— сказал Марк,— для вас это ровно ничего не значит, но для меня значит очень много; может, вы будете так добры и подумаете об этом?

Если это второе обращение к слабой стороне Мартина было сделано намеренно и основывалось на успехе первого, значит мистер Тэпли был тонкий и проницательный наблюдатель. Так или иначе, а выстрел попал в цель, ибо Мартин, смягчившись еще больше, сказал снисходительным тоном, который был ему невыразимо приятен после недавнего унижения:

— Посмотрим, Тэпли. Вы скажете мне, в каком расположении проснетесь завтра.

— Если так, сэр,— сказал Марк, потирая руки,— дело сделано. Продолжайте, пожалуйста, сэр. Я весь внимание.

Откинувшись на спинку кресла и только время от времени посматривая на Марка, который в таких случаях глубокомысленно кивал головой, выражая глубокий интерес и внимание, Мартин повторил Марку самые важные события своей истории, почти в тех же выражениях, в каких несколько недель тому назад рассказывал

мистеру Пинчу. Однако он приспособил ее к пониманию мистера Тэпли и потому коснулся своей любви лишь вскользь, рассказав о ней по возможности короче, в нескольких словах. Но тут он плохо рассчитал, ибо этой частью повествования Марк заинтересовался всего больше; он буквально засыпал Мартина вопросами, в оправдание своего любопытства ссылаясь на то, что видел молодую леди в «Драконе».

— И другой такой леди, которой всякий джентльмен мог бы гордиться, на всем свете не сыщется! — с убеждением воскликнул Марк.

— Еще бы! Вы знали ее, когда она была несчастлива,— сказал Мартин, по-прежнему глядя в огонь.— Если б вы знали ее в прежнее время, тогда действительно...

— Что ж, она, конечно, немножко приуныла, сэр, и была гораздо бледнее, чем следовало бы,— сказал Марк,— но нисколько не подурнела от этого. Мне кажется, она поправилась, сэр, после того как приехала в Лондон.

Мартин поднял глаза от огня и, глядя на Марка с таким выражением, словно тот ни с того ни с сего рехнулся, спросил его, что он этим хочет сказать.

— Ничего обидного, сэр,— уверил его Марк.— Я вовсе не хотел сказать, что без вас ей лучше, только мне показалось, что она выглядит лучше, сэр.

— Вы хотите сказать, что она была в Лондоне? — спросил Мартин, вставая и отталкивая второпях стул.

— Ну разумеется,— в изумлении ответил Марк, тоже вставая с кровати.

— Вы хотите сказать, что она и сейчас в Лондоне?

— Очень может быть, сэр. То есть была неделю тому назад.

— И вы знаете где?

— Да! — отозвался Марк.— А вы? Неужели не знаете?

— Милый мой,— воскликнул Мартин, схватив его за плечи,— я ее ни разу не видел с тех пор, как ушел от деда!

— Ну, в таком случае,— сказал Марк, стукнув по столу кулаком с такой силой, что заплясали ломти говядины и ветчины, и от удовольствия так высоко подняв брови, что вся кожа с лица собралась на лбу,— ежели я вам не прирожденный слуга, посланный судьбой, то

никакого «Синего Дракона» не существует в природе! Как же! Гуляю я взад и вперед по старому кладбищу в Сити, стараясь развеселиться, и кого же вижу, как не вашего дедушку! Он тоже топал взад и вперед по кладбищу битый час, никак не меньше. Разве я не видел, как он вошел в коммерческий пансион миссис Тоджерс, как он вышел, разве не проводил его да самой гостиницы и не сказал ему, что давно уже собираюсь поступить к нему на службу — мои услуги, его деньги,— еще до того как ушел из «Дракона»? И разве не сидела с ним тогда молодая леди; еще она начала смеяться так, что смотреть было одно удовольствие. А ваш дедушка сказал: «Приходите на той неделе», и я пришел, и он сказал, что никому больше не верит и оттого не возьмет меня, зато угостил меня таким вином, что диво! Так велика ли честь,— воскликнул мистер Тэпли, комически мешая радость с унынием,— быть веселым при таких обстоятельствах! Кто же не будет веселым, когда дела так складываются.

Несколько минут Мартин стоял, глядя на него, словно не веря своим глазам и сомневаясь, что это в самом деле Марк Тэпли стоит перед ним. Наконец он спросил, думает ли Марк, что сумеет тайком передать письмо молодой леди, если она еще в городе.

— Думаю ли я? — воскликнул Марк.— Еще бы не думать! Вот, садитесь сюда, сэр! Пишите письмо, сэр!

С этими словами он быстро убрал со стола, стряхнув все, что на нем было, в камин, схватил чернильницу с каминной доски, поставил стул перед столом, усадил на него Мартина, окунул перо в чернила и подал ему.

— Валяйте, сэр! — крикнул Марк.— Пишите поубедительнее, сэр. Чтобы в точку попало, сэр. Думаю ли я? Еще бы не думать! Принимайтесь за письмо, сэр!

Мартин принялся писать с большой быстротой, не заставляя себя долее упрашивать, а мистер Тэпли снял куртку и без дальнейших формальностей приступил к обязанностям камердинера и слуги, наводя порядок в комнате, выгребая золу из камина и все время беседуя шепотом сам с собой.

— Веселенькая квартирка,— говорил Марк, почесывая нос ручкой угольного совка и оглядывая убогую ком-

нату,— хоть это утешение. Да еще и крыша протекает. Недурно. Кровать едва жива, могу ручаться, и уж, конечно, полным-полна всякими кровопийцами. Ну, мне опять становится веселей. Ночной колпак весь в дырках. Очень хорошая примета. Мы еще поживем! Эй, Джейн, милая моя,— крикнул он с лестницы вниз,— неси-ка моему хозяину стакан горячего грога, что готовили, когда я пришел. Вот это правильно, сэр,— обратился он к Мартину.— Пишите так, чтоб было от души, сэр. И понежней, пожалуйста, сэр. Чтоб вышло как можно убедительней, сэр.

## ГЛАВА XIV,

*где Мартин прощается с дамой сердца и поручает ее покровительству незаметной личности, которую намерен вывести в люди*

После того как письмо было должным образом подписано, запечатано и адресовано, его вручили Марку Тэпли для немедленной передачи, если это окажется возможным. И он так удачно выполнил поручение, что вернулся в тот же вечер, как раз когда запирали трактир, с радостным сообщением, что препроводил письмо наверх молодой леди, вложив его в собственное краткое послание, содержащее просьбу быть принятым на службу к мистеру Чезлвиту, и что она сама сошла вниз и сказала ему, сильно волнуясь и спеша, что встретится с его господином завтра, в восемь часов утра, в Сент-Джеймском парке *. Новый хозяин и новый слуга тут же условились, что Марк будет заблаговременно дожидаться у гостиницы, чтобы проводить молодую леди на место свидания, а после того как они, уговорившись, расстались на ночь, Мартин опять взялся за перо и, прежде чем лечь в постель, написал еще одно письмо, о котором в свое время можно будет узнать больше.

Он поднялся до рассвета и явился в парк вместе с утром, которое было облечено в самый непривлекательный из трехсот шестидесяти пяти туалетов в гардеробе года. Оно было сырое, холодное, темное и хмурое; тучи были такие же грязно-серые, как земля, и укороченная

перспектива каждой улицы и переулка замыкалась пеленой тумана, словно грязным занавесом.

— Нечего сказать, хорошенькая погода,— с горечью говорил сам себе Мартин,— для того чтобы расхаживать тут, как вору! Хорошенькая погода для свидания влюбленных под открытым небом, да еще у всех на виду. Нет, надо уезжать из Англии как можно скорее, потому что здесь я уже дошел до последней крайности.

Продолжая размышлять таким образом, он, быть может, додумался бы и до того, что молодой девушке тоже вряд ли годилось бы выходить из дома в такое утро, самое неподходящее во всем году, да еще с такой целью. Однако, если его размышления и клонились к этому, они были прерваны появлением самой девушки, показавшейся невдалеке, и Мартин поспешил ей навстречу. Ее рыцарь, мистер Тэпли, в ту же минуту скромно отступил в сторону и, подняв голову, стал разглядывать туман с выражением величайшего интереса.

— Мартин, дорогой! — сказала Мэри.

— Дорогая Мэри! — сказал Мартин. И такой странный народ эти влюбленные, что оба они в ту минуту не сказали больше ничего, хотя Мартин обнял ее и взял за руку и они прошлись раз десять взад и вперед по короткой аллее, которая показалась им укромнее других.

— Если вы хоть сколько-нибудь переменились, милая, после нашей разлуки,— сказал Мартин, глядя на нее с гордостью и восхищением,— то только к лучшему!

Если бы она принадлежала к обыкновенной породе влюбленных девиц, она стала бы отрицать это с самыми кокетливыми ужимками; стала бы говорить, что превратилась в собственную тень, или что совсем зачахла от горя и слез, или что тает от тоски, которая сведет ее в раннюю могилу, или еще что-нибудь в таком же утешительном роде, или что ее душевные страдания невыносимы. Она дала бы ему это понять если не словами, так слезами, не жалея ни тех, ни других, и измучила бы его как только возможно. Но она воспитывалась в более суровой школе, чем та, которую проходит большинство девушек; закалив свой характер тяжкой нуждой и лишениями, она вышла из испытаний юности с душой самоотверженной, верной, серьезной и преданной, приобретя — к

счастью для себя и для Мартина, или нет, сейчас неважно для нашего рассказа,— то благородство, свойственное кротким сердцам, которое обычно развивается невзгодами и борьбой в зрелые лета или же вынесенными из этих лет уроками. Не избалованная, не изнеженная ни в радости, ни в печали, питая искреннюю, сильную, глубокую привязанность к предмету своей первой любви, она видела в нем человека, который ради нее лишился крова и хлеба, и не думала выражать свою любовь иными словами, кроме радостных и ободряющих, полных упования, благодарности и доверия, так же как не думала отрекаться от нее, поддавшись низким обольщениям света.

— А отчего переменились вы, Мартин,— отвечала она,— ведь это касается меня всего ближе? Вы кажетесь более встревоженным и озабоченным, чем раньше.

— Что до этого, милая,— сказал Мартин, обнимая ее за талию, но прежде оглянувшись по сторонам, нет ли поблизости наблюдателей, и убедившись, что мистер Тэпли созерцает туман еще пристальнее прежнего,— было бы странно, если бы я не переменился: мне жилось очень нелегко, особенно последнее время.

— Я знаю, что вам было тяжело,— ответила она.— Разве я когда-нибудь хоть на минуту забывала о вашей жизни и о вас?

— Надеюсь, не часто,— сказал Мартин.— Уверен, что не часто. Имею некоторое право думать, что не часто, Мэри; ибо я пережил много унижений и горя и, само собой, рассчитываю на эту награду.

— Ничтожная награда,— отвечала она с робкой улыбкой.— Но она ваша, и навсегда останется вашей. Вы заплатили дорогой ценой за это бедное сердце, Мартин, но зато оно ваше и никогда не изменит вам.

— Разумеется, я в этом совершенно уверен,— сказал Мартин,— иначе я не допустил бы себя до такого положения. И не говорите, что оно бедное, Мэри,— я знаю, что это богатое сердце. А теперь я хочу поделиться с вами одним планом, Мэри, который удивит вас сначала, но задуман ради вас. Я уезжаю,— с расстановкой прибавил он, заглядывая в чудесную глубину ее темных блестящих глаз,— за границу.

— За границу, Мартин?

— Только в Америку. Ну вот — вы уже опустили голову!

— Если и опустила,— ответила она, поднимая голову после краткого молчания и снова глядя ему в лицо,— то от горя, при мысли о том, что вы решили вынести ради меня. Я не стану отговаривать вас, Мартин, но ведь это очень, очень далеко, за океаном, который надо переплыть; болезнь и нужда везде тяжелы, но в чужой стране они особенно страшны. Подумали ли вы обо всем этом?

— Подумал ли? — воскликнул Мартин, который даже ради любви к ней,— а он очень ее любил,— не старался обуздать обычную свою горячность.— Что же мне делать? Вам хорошо говорить «подумал ли я», дорогая; но вы бы уж спросили меня кстати, подумал ли я, каково будет голодать на родине, или каково будет взяться за ремесло носильщика пропитания ради, или день за днем держать под уздцы лошадей на улицах ради куска хлеба? Ну, ну,— прибавил он мягче,— не вешайте головы, дорогая; ведь только ваше милое лицо может дать мне утешение, в котором я так нуждаюсь. Вот хорошо! Теперь вы опять стали храброй.

— Я стараюсь быть храброй,— отвечала она, улыбаясь сквозь слезы.

— Стараться или быть всем, что только есть хорошего, для вас одно и то же. Разве я не знаю этого с давних пор? — весело воскликнул Мартин.— Так! Вот и отлично! Теперь я могу рассказать обо всем, что задумал, с такой же радостью, как если бы вы уже были моей женой, Мэри.

Она крепче прижалась к его плечу и, подняв к нему лицо, попросила его продолжать.

— Вы знаете,— сказал Мартин, играя маленькой ручкой, лежавшей на его руке,— что моим попыткам выдвинуться на родине мешали, не давали хода. Не буду говорить, кто это делал, Мэри, нам обоим это было бы тяжело. Но это так. Слышали ли вы от него за последнее время об одном нашем родственнике по фамилии Пексниф? Ответьте мне только на этот вопрос, больше ничего.

— Я слышала, к моему удивлению, что он оказался гораздо лучше, чем его считали.

— Я так и думал,— прервал ее Мартин.

— И что, может быть, мы познакомимся с ним и даже будем жить вместе с ним и, кажется, с его дочерьми. У него есть дочери, правда, милый?

— Целых две,— ответил Мартин.— Замечательная парочка! Алмазы чистой воды!

— Ах, вы шутите!

— Бывают шутки, которые очень похожи на правду и заключают в себе немало истинного отвращения,— сказал Мартин.— В таком духе я шучу насчет мистера Пекснифа (у которого в доме я жил как помощник и который меня оскорбил и унизил). Что бы ни случилось, как бы близко вам ни пришлось познакомиться с его семьей, не забывайте, Мэри, и ни на минуту не упускайте из виду того, что́ я вам скажу, как бы видимость ни противоречила моим словам: Пексниф — негодяй!

— Неужели?!

— Помышлением и делом и во всех других отношениях! Негодяй от головы до пяток! О его дочерях я скажу одно: насколько мне известно, они очень послушные молодые девушки и во всем берут пример с отца. Я уклонился в сторону; однако это подводит меня к тому, что я хотел сказать.

Он остановился, чтобы еще раз заглянуть ей в глаза, и, торопливо осмотревшись по сторонам и уверившись, что поблизости никого нет, а Марк все так же погружен в созерцание тумана, не только посмотрел на ее губы, но и поцеловал их.

— Так вот, я уезжаю в Америку с надеждой преуспеть и очень скоро вернуться на родину, может быть для того, чтобы увезти вас туда на несколько лет, и во всяком случае для того, чтобы предъявить свои права на вас. После стольких испытаний я уже не побоюсь того, что вы сочтете своим долгом остаться с человеком, который пойдет на все (ведь это правда), но не даст мне жить в родной стране. Сколько я пробуду в отсутствии, разумеется, неизвестно, но не очень долго. Положитесь в этом на меня.

— А тем временем, дорогой Мартин...

— Как раз об этом я и собирался говорить. Тем временем вы всегда будете знать обо всем, что я делаю. Вот каким образом.

Он замолчал на минуту, доставая из кармана письмо, написанное ночью, потом продолжал:

— У этого человека служит и в доме этого человека (я подразумеваю мистера Пекснифа) живет некий Пинч — не забудьте фамилии,— бедный и безвестный чудак, Мэри, но по-настоящему честный и искренний друг, усердный и сердечно преданный мне, за что я намерен отплатить ему со временем, так или иначе устроив его судьбу.

— Вы по-старому великодушны, Мартин!

— О,— сказал Мартин,— об этом не стоит говорить, дорогая. Он очень благодарен по натуре и жаждет быть мне полезным, и я более чем вознагражден. Как-то вечером я рассказал этому Пинчу мою историю, рассказал и про нашу помолвку, и могу вас уверить, он проявил большой интерес, так как знает вас! Да, можете удивляться, и чем больше, тем лучше, ведь это вам идет: вы слышали, как он играл на органе в их сельской церкви, а он видел, как вы его слушаете, и вдохновлялся!

— Так это он был органист! — воскликнула Мэри.— Я благодарна ему от всего сердца!

— Да, был и остался,— ответил Мартин,— и ничего за это не получает. Такого простака днем с огнем не сыщешь. Совершенное дитя! Но очень доброе создание, уверяю вас!

— Я в этом уверена,— сказала Мэри серьезно.— Таким он и должен быть!

— О да, вне всякого сомнения,— отвечал Мартин небрежным, как всегда, тоном.— Он такой и есть. И вот мне пришло в голову... но погодите, я вам прочту то, что написал и собираюсь послать ему с сегодняшней почтой, и все будет ясно само собой. «Дорогой Том Пинч». Это, может быть, несколько фамильярно,— сказал Мартин, вдруг вспомнив, как гордо он держался, расставаясь с Пинчем,— но я его зову дорогой Том Пинч, потому что он это любит и это ему льстит.

— Какой вы добрый и великодушный,— сказала Мэри.

— Вот именно! — сказал Мартин.— Отчего же и не быть великодушным, когда можно, а как я уже говорил, он отличный малый. «Дорогой Том Пинч, я посылаю это письмо на имя миссис Льюпин, в «Синий Дракон», и в



короткой записке прошу ее передать письмо вам, никому об этом не сообщая, и в дальнейшем поступать так же со всеми письмами, какие она получит от меня. Почему я прибегаю к этому, догадаться нетрудно...» — не знаю, впрочем, поймет ли он,— сказал Мартин, прерывая чтение,— потому что он туго соображает, бедняга; но со временем поймет, конечно. Причина очень простая: я не хочу, чтобы другие читали мои письма, а в особенности этот негодяй, которого он считает ангелом.

— Опять мистер Пекснифф? — спросила Мэри.

— Он самый,— сказал Мартин,— «...догадаться нетрудно. Мои приготовления к отъезду в Америку закончены, и вы удивитесь, услышав, что меня сопровождает Марк Тэпли, на которого я случайно натолкнулся в Лондоне и который хочет, чтобы я был его покровителем...» Я имею в виду, дорогая моя,— сказал Мартин, опять прерывая чтение,— нашего друга, который идет за нами.

Она была очень рада это слышать и бросила ласковый взгляд на Марка, который ради такого случая отвел глаза от тумана и встретил ее взгляд с величайшим восторгом. Она сказала вслух, достаточно громко, что он добрая душа и весельчак и, конечно, будет предан Мартину; и мистер Тэпли про себя поклялся заслужить такие похвалы из ее уст, хотя бы ему пришлось умереть ради этого.

— «А теперь, дорогой Пинч,— продолжал Мартин читать письмо,— я хочу оказать вам большое доверие, зная, что я вполне могу положиться на вашу честь и на вашу скромность, а также потому, что мне сейчас не на кого больше положиться».

— Этого я не стала бы говорить, Мартин.

— Не стали бы? Ну что ж! Я вычеркну. Хотя это совершенная правда.

— Но не слишком лестная для него, быть может.

— О, с Пинчем я не стесняюсь,— возразил Мартин.— Нет никакой надобности с ним церемониться. Но все-таки я это вычеркну, если хотите, и поставлю точку после «скромность». Очень хорошо! «Я не только...» — это, понимаете ли, опять письмо.

— Я понимаю.

— «Я не только поручаю вам пересылать мои письма той молодой леди, о которой я вам говорил, когда она потребует, но и самым серьезным образом поручаю ее вашим заботам и попечениям, если вам придется встретиться с ней за время моего отсутствия. У меня есть основания думать, что возможность встречаться — и даже весьма часто — у вас скоро появится; и хотя вы в вашем положении можете сделать очень мало для того, чтобы облегчить ее тревогу, я вполне уверен, что вы сделаете все что можно и таким образом оправдаете доверие, которое я к вам питаю». Видите ли, дорогая Мэри,— сказал Мартин,— для вас будет большим утешением иметь кого-нибудь, хотя бы и совершеннейшего простака, с кем можно было бы говорить обо *мне*; а как только вы заговорите с Пинчем, вы сразу же почувствуете, что стесняться его решительно не стоит: все равно что какой-нибудь старухи.

— Как бы ни было,— возразила она, улыбаясь — он ваш друг, и этого довольно.

— О да, он мой друг,— сказал Мартин,— конечно. В сущности, я так и говорил ему, что мы всегда будем относиться к нему хорошо и оказывать ему покровительство, и он за это очень благодарен, действительно благодарен, это в нем хорошая черта. Я знаю, вам он понравится, милая. Вы подметите много комичного и старомодного в Пинче; не бойтесь посмеяться над ним, он не из обидчивых. Скорее ему это даже придется по вкусу, право!

— Думаю, что я не стану его испытывать, Мартин.

— И не надо, разумеется,— сказал он,— но, по-моему, вам не удастся удержаться от улыбки. Однако это к делу не идет и уж конечно не относится к письму, которое кончается так: «Зная, что мне нет надобности распространяться более о характере поручения, которое я вам доверил, так как оно достаточно запечатлелось в вашей памяти, скажу только, прощаясь с вами и надеясь на скорую встречу, что с этого времени я беру на себя заботу о вашем преуспеянии и счастье, как о своих собственных. Можете на это положиться. И верьте мне, дорогой Том Пинч, я остаюсь навсегда вашим верным другом.— Мартин Чезлвит. При сем прилагаю ту сумму, которую вы по

доброте вашей...» Ну, это неважно,— спохватился Мартин, складывая письмо.

В эту критическую минуту его прервал Марк Тэпли, который, извинившись, заметил, что часы на здании Конногвардейского штаба бьют девять.

— Я бы ничего не стал говорить, сэр,— прибавил Марк,— если бы молодая леди сама настоятельно не просила меня.

— Да, я просила,— сказала Мэри.— Благодарю вас. Через минуту я буду готова вернуться. Время не терпит, дорогой Мартин, и хотя мне надо сказать вам очень многое, пусть оно останется недосказанным до будущей счастливой встречи. Дай вам бог удачи и скорого возвращения! Я верю, что так и будет.

— Верите! — воскликнул Мартин.— А кто не верит? Что такое несколько месяцев? Что такое хотя бы и целый год? Когда я вернусь торжествуя, проложив себе дорогу в жизни,— тогда нынешнее наше свидание действительно покажется печальным, если на него оглянуться. Но сейчас! Да я и не желал бы себе более благоприятных обстоятельств для отъезда, даже если б это было возможно: ведь тогда я не захотел бы уезжать и не был бы убежден, что это необходимо.

— Да, да. Я тоже так чувствую. Когда вы уезжаете?

— Сегодня вечером. Сперва в Ливерпуль. Корабль отплывает через три дня, как говорят. Через месяц, самое большее, мы будем на месте. Но что такое месяц! Сколько месяцев прошло со времени нашей последней встречи!

— Много, если оглянуться назад,— сказала Мэри, вторя его жизнерадостному тону,— но время идет незаметно!

— Еще как незаметно! — воскликнул Мартин.— Я увижу другие места, другую природу, других людей, другие нравы, узнаю другие заботы и надежды! Время полетит, как на крыльях! Я могу вынести все, потому что главное для меня — быть в движении, Мэри.

Неужели он думал только о ее любви к нему и преданности, нимало не беспокоясь о том, что принесет разлука на ее долю: о безмолвном, однообразном терпении, о грызущем страхе изо дня в день? Разве не было фальшивой ноты в этой браваде, в этом «я, я, я», звучащем

поминутно, в каком бы возвышенном тоне ни велась речь? Да, но только не для ее ушей! Может, для нее лучше было бы, если б дело обстояло иначе, но такая уж это была натура. Ей слышался в его речах все тот же смелый дух, который ради нее отбросил, словно грязную ветошь, всякую выгоду, всякую корысть, презрел опасности и лишения, чтобы она была спокойна и счастлива! Ничего другого она не слышала. То сердце, которому чужд эгоизм и которое не воздвигает ему алтарей, не сразу узнает его безобразную личину, столкнувшись с ним лицом к лицу. В старину считалось, что только одержимый злым духом видит демонов, таящихся в сердцах других людей; не так ли и ныне родственные пороки всегда узнают друг друга, где бы ни скрывались, в то время как добродетель легковерна и слепа.

— Четверть часа прошло! — воскликнул мистер Тэпли предостерегающе.

— Сейчас,— отвечала Мэри.— Еще одно я должна сказать вам, дорогой Мартин. Несколько минут назад вы просили у меня ответа всего лишь на один вопрос, но вы непременно должны знать — иначе я не буду спокойна,— что со времени нашей разлуки, несчастной виновницей которой была я, он ни разу не назвал вашего имени, ни разу не упомянул его, хотя бы в самом отдаленном намеке, с горечью или гневом, и всегда был одинаково добр ко мне.

— Благодарю его за последнее,— сказал Мартин,— и ни за что больше. Хотя, как подумаешь, я мог бы поблагодарить его и за молчание, тем более что я вовсе не желаю и не жду, чтобы он когда-нибудь упомянул мое имя. Он, может быть, упомянет его с упреком — в своем завещании! Что ж, пускай, если ему угодно! К тому времени, как его упрек дойдет до меня, сам он будет лежать в могиле воплощенной насмешкой над собственным гневом, помоги ему боже!

— Мартин! Если бы вы хоть иногда, в спокойный час, зимой у камелька или летом на воздухе, слушая тихую музыку или думая о смерти, о родине, о своем детстве... если бы вы в такое время вспомнили хоть раз в месяц, хоть раз в год о том, кто причинил вам зло, вы простили бы его в душе, я знаю!

— Если бы я думал, что это может случиться, Мэри,— возразил он,— я бы решил совсем не вспоминать о нем в такое время, чтобы избавиться от постыдной слабости. Я родился не для того, чтобы стать чьей бы ни было игрушкой, марионеткой, а тем более забавой для человека, в жертву чьим капризам и прихотям была принесена вся моя юность, как бы в уплату за добро, которое он мне сделал. Это было для нас обоих чем-то вроде полюбовной сделки, не больше; и за мной не осталось долга, мне не надо со слезами умолять о прощении. Я знаю, он запретил вам упоминать мое имя,— прибавил Мартин.— Ну же! Ведь правда?

— Это было давно,— возразила она,— сейчас же после ссоры и перед тем как вы ушли из дома. С тех пор он ничего больше не говорил.

— С тех пор он ничего больше не говорил, потому что не было случая,— сказал Мартин,— но так или иначе, это отнюдь не важно. Пускай отныне между мной и вами будет запрещено всякое упоминание о нем. И потому, дорогая,— он быстро привлек ее к себе, так как пришло время расставаться;— в первом письме, которое вы мне пошлете, адресуя его на почтамт в Нью-Йорке, и во всех остальных, которые вы мне будете пересылать через Пинча, вы не станете писать о нем: помните, что он не существует и все равно что умер для нас. Ну, бог с вами! Здесь не место для такой встречи и такого прощания, как наше, но в следующий раз мы встретимся иначе и лучше, с тем чтобы уж не расставаться до последнего горького прощания.

— Еще один вопрос, Мартин. Есть ли у вас деньги на дорогу?

— Есть ли? — отозвался Мартин, в котором, быть может, говорила гордость, быть может желание успокоить ее.— Есть ли у меня деньги? Да, это вопрос для жены эмигранта! Как же я мог бы без них передвигаться по суше и по морю, дорогая моя?

— Я хочу сказать, довольно ли?

— Довольно ли? Более чем довольно! В двадцать раз больше чем достаточно. Полны карманы! У нас с Марком столько денег на все наши нужды, как будто фортунатова сума лежит в нашем багаже!

— Полчаса прошло! — крикнул мистер Тэпли.

— Прощайте, прощайте, тысячу раз прощайте! — сказала Мэри дрожащим голосом.

Но как холодно и малоутешительно слово «прощайте»! Марк Тэпли отлично это понимал. Быть может, он узнал это из книг, быть может по опыту, быть может угадал чутьем — трудно сказать. Однако он понимал это, и понимание подсказало ему самый мудрый образ действий, какой только можно было избрать при существующих обстоятельствах. Он неудержимо расчихался и потому был вынужден отвернуться в сторону. Таким образом он отгораживал влюбленных, создав для них укромный уголок.

Последовало недолгое молчание. Неизвестно почему, но Марк чувствовал, что все идет так, как нужно. Потом Мэри, опустив вуаль, прошла мимо него быстрой походкой, кивнув ему, чтобы он шел за ней. Она остановилась еще раз, прежде чем завернуть за угол, оглянулась и помахала рукой Мартину. Он рванулся к ней, как будто еще не все сказал на прощание, но Мэри заторопилась, пошла быстрее, и мистер Тэпли провожал ее, как полагается.

Когда он снова вошел в комнату Мартина, тот сидел в угрюмом раздумье перед камином, поставив ноги на пыльную решетку, а локти на колени и не слишком картинно опершись подбородком на руку.

— Ну, Марк?

— Ну, сэр,— сказал Марк, переводя дух,— я благополучно проводил молодую леди домой, и теперь на сердце у меня спокойно. Она шлет вам самые лучшие пожелания, и вот это,— подавая ему кольцо,— на память.

— Бриллианты! — сказал Мартин, целуя кольцо — надо отдать ему справедливость: ради Мэри, а не ради бриллиантов — и надевая его на мизинец.— Прекрасные бриллианты, Марк! Мой дедушка большой чудак. Должно быть, это его подарок.

Марку Тэпли было ясно как день, что Мэри сама купила кольцо, для того чтобы его беспечный собеседник мог взять с собою хоть что-нибудь ценное на случай нужды. Хотя история драгоценности, сверкавшей на пальце Мартина, была известна ему не больше, чем тому же Мартину, однако он был так же твердо уверен, что на эту

покупку Мэри потратила все, что скопила, как если бы деньги уплатили при нем монета за монетой. Странная непонятливость ее возлюбленного в этом незначительном случае сразу же навела Марка на мысль об истинных корнях и причине такой непонятливости, и с этой минуты ему стала совершенно ясна единая, всепоглощающая основа характера Мартина.

— Она достойна всех жертв, которые я принес,— сказал Мартин, скрестив руки и глядя на пепел в очаге, словно подводя итоги своим прерванным размышлениям.— Вполне достойна. Никакие богатства,— тут он потер подбородок и задумался,— не могли бы вознаградить меня за утрату такой девушки. Не говоря уже о том, что, добиваясь ее любви, я следовал собственной склонности и препятствовал эгоистическим планам других, которые не имели на это никаких прав. Она вполне достойна, более чем достойна, всех жертв, которые я принес. Да, достойна. Несомненно!

Эти размышления, может быть, дошли до Марка Тэпли, а может быть, и не дошли, ибо хотя они отнюдь не предназначались для него, все же были произнесены вслух, тихим, но внятным голосом. Во всяком случае, он стоял, глядя на Мартина с неописуемым и весьма сложным выражением лица до тех пор, пока тот не пришел в себя и не взглянул на Марка; тогда Марк отвернулся и поспешно занялся приготовлениями к дороге, молчком, не произнося ни одного членораздельного звука и только улыбаясь особенно мрачной улыбкой. Однако, по тому, как кривилось его лицо и шевелились губы, можно было догадаться, что он облегчил душу своим излюбленным словцом: «Весело!»

## ГЛАВА XV,

### *на мотив «Да здравствует Колумбия!»*

Темная, непроглядная ночь; люди укрылись в постелях или жмутся поближе к огню; нищета, не пригретая благотворительностью, мерзнет на углах улиц; колокольни еще гудят от слабого дрожания колокольных языков, отдыхаю-

щих после заунывного возгласа «Час!». Земля одета траурным покровом, словно после вчерашних похорон; группы темных деревьев печально колеблют огромные султаны траурных перьев; все притихло, все молчит, объятое глубоким покоем, кроме быстрых облаков, скользящих мимо луны, да осторожного ветра, который гонится за ними по земле и то замираст, прислушиваясь, то с шорохом бежит дальше, то опять застывает на месте, то крадется, как индеец по следу.

Куда же мчатся так быстро облака и ветер? Если, подобно злым духам, они отправляются на сборище темных сил, то среди каких буйных просторов держат совет стихии и куда они устремляются в своем страшном веселье?

Сюда! На волю из тесной тюрьмы, которая зовется землей, на простор водной пустыни. Здесь они свирепствуют, ревут, свистят и воют всю ночь напролет. Гулко доносятся сюда голоса из пещер на побережье того островка, что спит так спокойно за тысячи миль отсюда среди бушующих волн; сюда, навстречу им, рвутся вихри из неведомых пустынь мира. Здесь, не зная удержа, разъярившись на воле, они борются и бушуют до тех пор, пока море не взыграет еще бешенее, и тогда все кругом неистовствует.

Все дальше, дальше, дальше, по бесконечным бушующим пространствам катятся длинные вздымающиеся валы. Горы и пропасти то появляются, то исчезают, и там, где сейчас была гора, разверзлась пропасть, и вдруг все обращается в кипящую громаду стремительно мчащейся воды. Погоня и бегство, и бешеный откат волны за волной, и яростная борьба, и все рассыпается пеной, белеющей в черной тьме. Беспрестанно меняя место, и форму, и цвет, непостоянные во всем, кроме вечной борьбы, дальше, дальше, дальше катятся волны; и все темнее становится ночь, и все громче завывание ветра, и все грознее и оглушительнее рев миллиона голосов над океаном, как вдруг среди шума бури раздается яростный вой: «Корабль!»

Он несется вперед, отважно сражаясь со стихиями, и гнутся его высокие мачты, и дрожит под ударами обшивка; он несется вперед, то возносясь на гребни волн,

то падая в провалы между ними, словно прячась на мгновение от ярости моря; и голоса бури в воздухе и на воде вопиют еще громче: «Корабль!»

И все же он стремится далее; и, заслышав этот вопль, разгневанные волны поднимают седые головы и заглядывают через плечо друг другу, чтобы подивиться на его дерзость, и толпятся вокруг корабля, насколько видно во тьме морякам, стоящим на палубе, и топят одна другую, и вновь возникают, привлеченные бог весть откуда грозным любопытством. Высоко над кораблем разбиваются они, и ревут, и бушуют вокруг; и, уступая место другим, исчезают со стоном, в тщетном гневе разлетаясь впрах. И все же он отважно несется вперед. И хотя всю ночь теснятся вокруг него беспокойные орды и рассвет открывает бесконечное пространство бурлящей воды, неутомимо атакующей корабль,— он все идет вперед, и горят на нем тусклые огни, и люди в каютах спят, как будто пагубная стихия не глядит в каждую щель и могила утонувших моряков, прикрытая одною только доской, не разверзла под ногами бездонные глубины.

Среди спящих пассажиров находились Мартин и Марк Тэпли, которые забылись тяжелым сном, утомленные непривычным движением, не чувствуя духоты в каюте и шума волн. Уже совсем рассвело, когда Марк проснулся, смутно припоминая, что видел во сне, будто он лег в кровать с четырьмя колонками, которая за ночь перевернулась вверх ногами. В этом было, однако, больше смысла, чем он полагал, так как первое, что он увидел, проснувшись, были его собственные пятки, глядевшие на него сверху вниз, как он рассказывал впоследствии, и поднятые почти перпендикулярно.

— Ну,— сказал Марк, приняв, наконец, сидячее положение после долгой и малоуспешной борьбы с качкой,— это первый раз в жизни, что я стоял на голове всю ночь.

— Не надо было ложиться головой в подветренную сторону,— проворчал пассажир на одной из коек.

— Головой куда? — спросил Марк.

Пассажир повторил свое замечание.

— Да уж, в другой раз не лягу,— сказал Марк,— посмотрю по карте, где находится эта самая сторона. А пока что могу дать и вам и всем прочим своим друзьям-

приятелям совет еще лучше: никогда не ложитесь спать на корабле.

Пассажир недовольно пробурчал что-то в знак согласия, повернулся на другой бок и закрылся с головой одеялом.

— Потому что,— продолжал мистер Тэпли развивать свою мысль уже в монологе и понизив голос,— другой такой безмозглой твари, как море, не сыщешь. Оно никогда не знает, что с собой делать. Занять голову ему нечем, потому там пустота. Все равно как белые медведи в зверинце: они все время мотают головой из стороны в сторону и никак не могут успокоиться,— единственно по своей необыкновенной глупости.

— Это вы, Марк? — спросил слабый голос с другой койки.

— Это все, что от меня осталось, сэр, после двух недель такой тряски. Оттого ли, что я веду мушиный образ жизни с тех пор, как попал на борт,— хожу вверх ногами и вечно хватаюсь за что-нибудь,— от этого ли, сэр, оттого ли, что внутрь принимаешь очень мало, да и того никак не удержать,— от меня почти ничего не осталось. Как вы себя чувствуете нынче утром, сэр?

— Как нельзя хуже,— простонал Мартин раздраженно.— Уф! Такая в самом деле скверность!

— Тем больше чести,— пробормотал Марк, прикладывая руку к больной голове и оглядываясь вокруг с невеселой усмешкой.— Это все-таки утешение. Тем больше чести не падать духом здесь. Добродетель заключает награду в самой себе. И веселость тоже.

Марк был прав в том отношении, что любой пассажир, сохранивший веселость в третьем классе прославленного и быстроходного почтового парохода «Винт», был всецело обязан этим самому себе и вез с собою хорошее настроение, так же как и провизию, без всякого содействия и помощи со стороны владельцев парохода. Темная, низкая, душная каюта с койками вдоль стен, битком набитая мужчинами, женщинами и детьми в разных стадиях нищеты и болезни, и обычно не представляет собой веселого места; но когда она так переполнена (а в третьем классе пакетбота «Винт» это бывало каждый раз, когда он шел в Америку), что матрацы и постели навалены прямо на

полу, вопреки всяким представлениям об удобстве, опрятности и приличии,— такая каюта отнюдь не способствует смягчению нравов, а скорее развитию эгоизма и грубости. Марк это почувствовал, оглядевшись по сторонам, и его настроение соответственно повысилось.

Тут были англичане, ирландцы, валлийцы и шотландцы, все со своими скудными запасами пищи и узелками поношенного платья, и почти все с детьми. Тут были дети всех возрастов, от грудного ребенка до растрепанной девушки, которая казалась почти такой же увядшей как ее мать. Все виды отечественных бедствий, порожденных нищетой, болезнью, изгнанием, горем и долгим странствием по бурному морю, были втиснуты в узкую клетку; и все же в этом погибельном ковчеге было несравненно меньше жалоб и свар и несравненно больше взаимной помощи и доброты друг к другу, чем во многих пышных залах.

Марк невесело оглядел каюту, и сейчас же его лицо просветлело. В одном углу старая бабушка пестовала больного младенца, укачивая его на руках, едва ли не более исхудалых, чем его собственные; в другом бедная женщина, держа одного ребенка на коленях, чинила платье другому и успокаивала третьего, который подползал к ней по полу, слезши с убогой подстилки; а там старики неловко возились с мелкими домашними делами и казались бы смешными, если б не их добрые намерения и благая цель. Были тут и смуглые молодцы, настоящие великаны, которые оказывали окружающим небольшие знаки внимания с нежностью, скорее свойственной добрым карликам; и даже идиот, который целыми днями сидел гримасничая в углу, подражал по мере сил тому, что видел вокруг, и щелкал пальцами, забавляя плачущего ребенка.

— А ну-ка,— сказал Марк Тэпли, кивая женщине, которая одевала своих детей неподалеку от него, и улыбаясь все шире и шире,— давайте-ка мне сюда одного малыша, я его умою как полагается.

— Вы бы лучше позаботились о завтраке, Марк, вместо того чтобы возиться с людьми, которые не имеют к вам никакого отношения,— заметил Мартин раздраженно.

— Ничего,— сказал Марк.— Она позаботится, сэр. Это отличное разделение труда, сэр. Я умою мальчишек,

а она приготовит нам чай. Я никогда не умел заваривать чай, а умыть мальчишку всякий сумеет.

Женщина, худенькая и болезненная, чувствовала и понимала его доброту,— что было не удивительно, потому что ее каждую ночь укрывало пальто Марка, а сам он спал на голых досках, завернувшись в плед. Но Мартин, который редко вставал с койки и почти не замечал, что делается кругом, пришел в ярость от его безрассудных слов и выразил свое неудовольствие сердитым стоном.

— То-то оно и есть, разумеется,— сказал Марк, причесывая ребенку волосы так невозмутимо, словно родился цирюльником.

— О чем это вы говорите? — спросил Мартин.

— О том, что вы сказали,— отвечал Марк,— или хотели сказать, так мрачно выражая свои чувства. Ей приходится очень трудно.

— Почему трудно?

— Быть в дороге одной с этим вот малолетним грузом, ехать к мужу в такую даль и в такое время года! Если вы не желаете, чтобы мыло попало вам в глаза, молодой человек,— заметил мистер Тэпли второму мальчишке, которого в это время умывал над тазиком,— зажмурьтесь как следует.

— Где же она встретится с мужем? — спросил Мартин, зевая.

— Как вам сказать, я очень боюсь,— заметил мистер Тэпли, понизив голос,— что она и сама этого не знает. Надеюсь, она с ним не разминется. Она послала последнее письмо с оказией, а до тех пор это, кажется, не было точно между ними условлено; и если она не увидит его на берегу с носовым платком в руках, как на картинке в песеннике,— по-моему, она умрет с горя.

— О чем же, черт возьми, эта женщина думала, когда садилась на пароход? — воскликнул Мартин.

Мистер Тэпли с минуту глядел на Мартина, лежавшего в изнеможении на койке, потом очень спокойно сказал:

— Да! В самом деле, о чем? Понять не могу! Он вот уже два года как уехал. На родине она жила в бедности, очень одиноко, и только и ждала, когда снова увидится с мужем. Очень странно, как это она сюда попала! Про-

сто удивительно! Рехнулась немножко, должно быть! Другого объяснения, пожалуй, не подберешь.

Мартин слишком ослабел от морской болезни, чтобы как-нибудь ответить на эти слова или хотя бы прислушаться к ним внимательно. А так как та, о которой они говорили, вошла в эту минуту с горячим чаем, то разговор этот больше не возобновлялся, и мистер Тэпли, подав завтрак и оправив постель Мартина, ушел на палубу мыть посуду, состоявшую из двух жестяных кружек и такого же бритвенного тазика.

Отдавая должное мистеру Тэпли, следует сказать, что он страдал от морской болезни не меньше всякого другого пассажира на борту и к тому же отличался особенным талантом ушибаться обо все что возможно и падать вверх тормашками от каждого толчка. Однако, решив, как он выражался, «не ударить лицом в грязь» при самых неблагоприятных обстоятельствах, он был душой общества среди пассажиров третьего класса и нисколько не стеснялся отойти в сторонку, почувствовав себя плохо, а затем как ни в чем не бывало возвращался к прерванному разговору, словно это было в порядке вещей.

Нельзя сказать, чтобы, оправившись от болезни, он стал веселее и добродушнее, потому что к этим его качествам трудно было бы что-нибудь прибавить, но теперь он еще деятельнее помогал самым слабым из пассажиров и занимался этим во всякое время и при всякой погоде. Если луч солнца проглядывал на пасмурном небе, Марк стремглав бросался в каюту и скоро выходил опять с женщиной на руках, или с кучей ребят, или со стариком, или с матрацем, или с кастрюлькой, или с корзиной — короче, с тем или другим одушевленным или неодушевленным предметом, который, по его мнению, следовало «проветрить». Если среди дня выдавался час-другой ясной погоды и соблазнял тех, кто почти не выходил из каюты, забраться в шлюпку или полежать на спардеке и съесть что-нибудь, среди них непременно оказывался мистер Тэпли: он то раздавал им солонину с сухарями и грог, то помогал детям, мелко кроша их порции карманным ножиком, то читал вслух какую-нибудь видавшую виды газету или пел для избранного общества веселую старую песню, то писал письма на родину для тех, кто не умел

писать, то шутил с матросами, то чуть не падал за борт, то выходил, захлебываясь, из водопада брызг, то помогал кому-нибудь — словом, всегда делал что-то такое, что развлекало всех. По вечерам, когда на палубе разводили огонь для стряпни и искры стаей летали между снастями и громадой парусов, угрожая кораблю верной гибелью от пожара, на тот случай, если стихиям воздуха и воды не удастся уничтожить его, мистер Тэпли опять был тут как тут и, сняв куртку и закатав рукава до локтей, работал за повара, стряпал самые необыкновенные блюда, давал советы, как признанный авторитет, и помогал всем и каждому довести до конца что-нибудь такое, что без него вовсе не было бы сделано и даже задумано. Короче говоря, еще никогда на борту прославленного и быстроходного пакетбота «Винт» не бывало такой популярной личности, как Марк Тэпли; и в конце концов общее восхищение зашло так далеко, что он начал серьезно сомневаться, есть ли какая-нибудь заслуга в том, чтобы быть веселым при таких радостных обстоятельствах.

— Если так пойдет и дальше,— изрек однажды мистер Тэпли,— то между «Винтом» и «Драконом» не окажется никакой разницы, сколько я могу заметить. В чем же тут заслуга? Я уж начинаю бояться, что судьба решила пустить меня по легкой дороге.

— Ну, Марк,— спросил Мартин, рядом с койкой которого высказывались эти соображения,— когда же все это кончится?

— Говорят, еще неделя, сэр,— сказал Марк,— и мы придем в порт. Пароход сейчас ведет себя неплохо, насколько возможно для парохода, сэр, хотя я не считаю, что это уж такая похвала.

— Я тоже этого не думаю,— простонал Мартин.

— Вам было бы много легче, сэр, если бы вы встали,— заметил Марк.

— И показался бы на палубе дамам и джентльменам,— возразил Мартин, с горечью напирая на каждое слово,— вместе с нищими, которых запрятали в эту гнусную дыру! От этого мне станет много легче, как же!

— Я, слава богу, не могу сказать по опыту, что чувствуют джентльмены,— заметил Марк,— но только, по-моему, сэр, джентльмен должен чувствовать себя гораздо

хуже здесь, внизу, чем на свежем воздухе, особенно если дамы и джентльмены в первом классе знают о нем ровно столько же, сколько он о них, и вряд ли станут о нем беспокоиться. То есть я бы так думал.

— Могу сказать вам в таком случае,— возразил Мартин,— что вы ошиблись бы, и сейчас ошибаетесь.

— Очень может быть, сэр,— сказал Марк с невозмутимым благодушием.— Со мной это бывает.

— А лежать здесь! — воскликнул Мартин, приподнимаясь на локте и сердито глядя на своего слугу.— Вы думаете, это такое удовольствие лежать здесь?

— Ни в одном сумасшедшем доме,— сказал мистер Тэпли,— не найдется полоумного, который счел бы это за удовольствие.

— Так зачем же вы вечно меня понукаете и требуете, чтобы я встал? — спросил Мартин.— Я лежу здесь потому, что не желаю, чтобы потом, в лучшие времена, какой-нибудь выскочка-толстосум узнал во мне человека, который ехал вместе с ним третьим классом. Я лежу потому, что желаю скрыть свои обстоятельства и спрятаться сам, чтобы не явиться в Новый Свет с ярлыком последнего нищего. Если бы я мог купить себе билет первого класса, то держал бы голову высоко, наравне с прочими. А так как я этого не могу, то прячусь. Теперь вы поняли?

— Извините меня, сэр,— сказал Марк.— Я не знал, что вы все это принимаете так близко к сердцу.

— Конечно, вы не знали,— возразил его хозяин.— Да и как вы могли знать, если я вам не говорил? Вам нетрудно, Марк, быть всегда довольным и придумывать себе всякие заботы. Это даже естественно для вас в таких обстоятельствах, а для меня — нет. Неужели вы думаете, что на корабле найдется человек, который за это плаванье перенес хотя бы половину тех страданий, какие перенес я? Возможно ли это? — спросил он, садясь на своей койке и глядя на Марка с укором.

Марк сильно наморщил лоб и, склонив голову набок, задумался над этим вопросом, видимо не зная, что ответить. Из замешательства его вывел сам Мартин, который сказал, снова укладываясь на спину и берясь за книгу, которую он до того читал:

— Но что толку предлагать вам такой вопрос, когда

самая суть моих слов заключается в том, чего вы понять не можете? Налейте мне бренди с водой, похолодней и послабее, и дайте сухарь, да скажите вашей знакомой, которую я отнюдь не желал бы иметь столь близкой соседкой, чтобы она получше унимала своих детей, а не так как этой ночью; пускай шумят поменьше,— будьте добры.

Мистер Тэпли с большой готовностью отправился выполнять эти приказания; и, надо думать, воспрянул духом, выполняя их, ибо не раз твердил про себя, что «Винт», без сомнения, имеет гораздо больше преимуществ, чем «Дракон». так как на пароходе не в пример труднее быть веселым. Чрезвычайно приятно, заметил также про себя мистер Тэпли, что главное преимущество сойдет на берег вместе с ним и будет неизменно сопровождать его повсюду,— но что́ именно он подразумевал под этими утешительными словами, он так и не объяснил.

Теперь на борту парохода все заметно оживились; высказывались предположения насчет того, в какой именно день и даже в каком именно часу они придут в Нью-Йорк. На палубе толпилось и глядело вдаль несравненно больше народа, чем до сих пор, и разразилась целая эпидемия укладывания вещей, которые потом приходилось распаковывать на ночь. Те, у которых были письма к кому-нибудь или знакомые в Америке, или определенные намерения ехать туда-то и заняться тем-то, сто раз на дню обсуждали свои планы; поскольку этот разряд пассажиров был весьма немногочислен, а таких, у кого не было видов на будущее, оказалось очень много, то слушателей было подавляющее большинство, а ораторов раз-два и обчелся. Пассажиры, хворавшие всю дорогу, теперь выздоровели, и даже здоровые заметно поправились. Американец из каюты первого класса, всю дорогу кутавшийся в меха и клеенку, неожиданно появился в блестящем черном цилиндре с маленьким чемоданчиком светлой кожи, содержавшим все его платье, белье, щетки, бритву, книги, запонки и прочие пожитки. Он расхаживал по палубе, глубоко засунув руки в карманы и широко раздувая ноздри, словно уже вдыхал воздух свободы, который несет смерть тиранам и которым (ни при каких обстоятельствах, заслуживающих упоминания) не могут дышать рабы. Англичанин, подозреваемый в том, что он сбежал из банка, захва-

тив с собой, кроме ключей от кассы, еще кое-что посущественней, красноречиво рассуждал о правах человека и все время напевал «Марсельезу». Словом, сильное волнение охватило весь пароход,— в самом деле, земля Америки была уже близко, так близко, что, наконец, в одну звездную ночь они взяли на борт лоцмана и через несколько часов стали на якорь до утра, в ожидании парового катера, который должен был отвезти пассажиров на берег.

На следующее утро, как только рассвело, катер появился и, простояв около часа, причем на это время даже кочегары на нем сделались предметом живейшего интереса и любопытства, как если бы это были добрые или злые духи, забрал на борт весь живой груз: среди прочих Марка, который все так же заботился о своей приятельнице с тремя детьми, и Мартина, который на этот раз был одет как следует, но в старом, запачканном плаще поверх обычного костюма — на то время, пока они не расстанутся навсегда со своими недавними спутниками.

Катер — с машиной на палубе, проворно перебиравшей длинными тонкими лапами, словно какое-то допотопное чудовище или увеличенное во много раз насекомое,— быстро шел по красивой бухте; и скоро стали видны возвышенности, острова и длинный плоский, далеко раскинувшийся город.

— Так это и есть земля свободы? — сказал мистер Тэпли, глядя вдаль.— Очень хорошо. Я согласен. Любая земля для меня годится после такой уймы воды!

## ГЛАВА XVI

*Мартин сходит с прославленного и быстроходного пакетбота «Винт» в порту Нью-Йорк в Соединенных Штатах. Он заводит кое-какие знакомства и обедает в пансионе. Подробности этих первых шагов*

Некоторое оживление можно было заметить уже на подступах к стране свободы, ибо накануне был избран член муниципалитета; а так как политические страсти разгоре-

лись особенно сильно по случаю такого радостного события, друзья отвергнутого кандидата решили постоять за великие принципы Непогрешимости Выборов и Свободы Убеждений, переломали кое-кому руки и ноги, а также долго гоняли одного вредоносного субъекта по улицам с намерением раскроить ему череп. Эти добродушные проявления общественного темперамента сами по себе были не так значительны, чтобы взволновать кого-нибудь по прошествии целой ночи; однако мальчишки-газетчики воскресили их и разнесли по городу; они не только оглашали пронзительными воплями все городские пути и перепутья, пристани и суда, но забрались даже на палубы и в каюты парохода, так что он, еще не подойдя к пристани, был взят на абордаж и захвачен легионами этих молодых граждан.

— «Нью-йоркская помойка»! — кричал один.— Утренний выпуск «Нью-йоркского клеветника»! «Нью-йоркский домашний шпион»! «Нью-йоркский добровольный доносчик»! «Нью-йоркский соглядатай»! «Нью-йоркский грабитель»! «Нью-йоркский ябедник»! «Нью-йоркский скандалист»! Все нью-йоркские газеты! Полный отчет о вчерашнем патриотическом выступлении демократов! Виги разбиты наголову! Последнее мошенничество в Алабаме! Интересные подробности дуэли на ножах в Арканзасе! Все новости политической, коммерческой и светской жизни! Вот газеты, вот газеты!

— Вот «Помойка»! — кричал другой.— «Нью-йоркская помойка»! Двенадцатая тысяча экземпляров сегодняшней «Помойки», все сведения о биржевом курсе и прибытии и отправлении судов, четыре столбца вестей из провинции, полный отчет о вчерашнем бале у миссис Уайт, где присутствовали первые красавицы и весь цвет Нью-Йорка, с интимными подробностями из жизни приглашенных дам. Только в «Помойке»! Вот «Помойка»! Двенадцатая тысяча экземпляров «Нью-йоркской помойки»! Разоблачение «Помойкой» банды Уолл-стрита! Разоблачение «Помойкой» вашингтонской банды! Вопиющее мошенничество государственного секретаря, совершенное им в возрасте восьми лет от роду и разоблаченное, за большие деньги, его собственной нянькой! Вот «Помойка»! Вот двенадцатая тысяча «Нью-йоркской помойки», целый столбец с изобличениями жителей Нью-Йорка; все фамилии напечатаны пол-

ностью! Заметка о судье, который третьего дня судил «Помойку» за клевету, и благодарность «Помойки» независимым присяжным, которые ее оправдали, с указанием на то, чего им следовало ожидать, если б они ее осудили!.. Вот «Помойка», кому «Помойку»! Вот недремлющая «Помойка», всегда на страже; руководящая газета Соединенных Штатов, двенадцатая тысяча экземпляров, газета продолжает печататься. Покупайте «Нью-йоркскую помойку»!

— Такими просвещенными путями,— сказал чей-то голос в самое ухо Мартину,— выходят наружу бурные страсти моего отечества.

Мартин невольно обернулся и увидел бок о бок с собой худосочного черноволосого джентльмена со впалыми щеками, узенькими моргающими глазками и странным выражением лица, не то хмурым, не то наглым, как могло показаться с первого взгляда. В самом деле, даже при ближайшем знакомстве трудно было бы определить это выражение иначе, как смесь грубой хитрости и высокомерия. Джентльмен нахлобучил на голову широкополую шляпу, чтобы придать себе более ученый вид, и скрестил руки на груди, для большей внушительности. Он был одет довольно плохо — в синий сюртук чуть не до пяток, в короткие широкие штаны того же оттенка и выцветший рыжий жилет, из-под которого вылезала почерневшая плоеная манишка, силясь уравняться в гражданских правах с прочими статьями туалета и тоже поддержать Декларацию Независимости.

Он полусидел, полулежал, развалясь на фальш-борте и небрежно скрестив ноги, отличавшиеся необыкновенными размерами; толстая трость с крепким железным наконечником и большим круглым набалдашником висела у него на шнурке с кисточкой. Облаченный таким образом джентльмен подмигнул правым глазом и правым уголком рта и повторил с видом величайшего глубокомыслия:

— Такими просвещенными путями выходят наружу бурные страсти моего отечества.

Так как он смотрел на Мартина, а поблизости никого больше не было, Мартин наклонил голову и сказал:

— Вы намекаете на ...?

— На оплот нашей разумной отечественной свободы, сэр, повергающий в трепет иноземных тиранов,— возразил джентльмен, указывая тростью на необыкновенно грязного мальчишку-газетчика с одним глазом.— На предмет зависти всего мира, сэр, на авангард цивилизации. Позвольте мне спросить вас, сэр,— прибавил он, стукнув о палубу железным наконечником трости с видом человека, который не потерпит никаких виляний,— как вам нравится мое отечество?

— Не знаю, право, что вам сказать,— сказал Мартин.— Я еще не был на берегу.

— Что ж, я думаю, вы вряд ли ожидали видеть,— заметил джентльмен,— такие доказательства национального процветания, как вот это?

Он указал на суда, стоявшие у причалов, затем сделал широкий взмах тростью, как бы включая в свое замечание воздух и воду.

— Право, не знаю,— ответил Мартин.— Да. Думаю, что ожидал.

Джентльмен взглянул на него с проницательным видом и сказал, что ему нравится такая линия поведения. Она вполне естественна, сказал он; как философ, он любит наблюдать человеческие предрассудки.

— Я вижу, вы привезли с собою, сэр,— заметил он, повернувшись к Мартину и опершись подбородком на набалдашник трости,— обычный груз бедствий, нищеты, невежества и преступлений — в дар великой республике. Что ж, сэр! Пусть их везут целыми партиями из Старой Англии. Говорят, когда корабль готовится затонуть, крысы бегут с него. Я нахожу, что в этой пословице много правды.

— Старый корабль быть может еще продержится год или два,— сказал Мартин с улыбкой, отчасти вызванной словами джентльмена, отчасти же его манерой говорить — довольно странной, так как он произносил с ударением все короткие и односложные слова, оставляя на произвол судьбы все остальные, как будто считая, что слова покрупнее могут обойтись и так, зато мелочь нуждается в постоянном присмотре.

— Надежда, по словам поэта, сэр,— заметил джентльмен,— есть кормилица юного желания.

Мартин подтвердил, что ему случалось слышать, будто этой руководящей добродетели приходится нести такие чисто домашние обязанности.

— Она не выкормит младенца в данном случае, сэр, вот увидите,— заметил джентльмен.

— Время покажет,— сказал Мартин.

Джентльмен важно кивнул головой и спросил:

— Ваша фамилия, сэр?

Мартин сказал ему.

— Сколько вам лет, сэр?

Мартин сказал ему.

— Ваша профессия, сэр?

Мартин сказал и это.

— Куда вы направляетесь, сэр? — осведомился джентльмен.

— Право,— сказал Мартин, улыбаясь,— не могу вам сообщить ничего удовлетворительного на этот счет, я и сам еще ничего не знаю.

— Вот как? — заметил джентльмен.

— Да,— сказал Мартин.

Джентльмен сунул трость под мышку и осмотрел Мартина с головы до ног, весьма пристально и внимательно, чего не удосужился сделать до сих пор. Закончив осмотр, он протянул правую руку и, обменявшись с Мартином рукопожатием, сказал:

— Меня зовут полковник Дайвер, сэр. Я редактор «Нью-йоркского скандалиста».

Мартин отнесся к его словам настолько почтительно, насколько этого требовал характер такого интересного сообщения.

— «Нью-йоркский скандалист», сэр,— продолжал полковник,— как вам, надеюсь, известно, является органом аристократии в этом городе.

— Ах, так здесь есть и аристократия? — сказал Мартин.— Из кого же она состоит?

— Из разума,— ответил полковник,— из разума и добродетели. А также из необходимого к ним дополнения в этой республике — из долларов, сэр.

Мартин был очень рад это слышать и уже не сомневался, что скоро станет большим капиталистом, если разум и добродетель неизбежно приводят к накоплению

долларов. Он только что собрался выразить свою радость по этому поводу, как его прервал капитан корабля, который подошел пожать руку полковнику, и увидев на палубе хорошо одетого пассажира (Мартин сбросил свой плащ), пожал руку и ему. Мартин сразу вздохнул свободнее, так как, невзирая на признанный авторитет ума и добродетели в этой счастливой стране, он почувствовал бы себя глубоко униженным, если бы выступил перед полковником Дайвером в жалкой роли трюмного пассажира.

— Ну, капитан! — сказал полковник.

— Ну, полковник! — воскликнул капитан.— У вас замечательно бодрый вид, сэр. Вас прямо не узнать, это факт.

— Как шли, капитан? — осведомился полковник, отводя его в сторону.

— Что ж, шли довольно прилично, сэр,— произнес, или скорее пропел, капитан, истый уроженец Новой Англии *,— довольно прилично, принимая во внимание погоду.

— Да? — сказал полковник.

— Да, можно сказать,— ответил капитан.— Я только что послал к вам в редакцию юнгу со списком пассажиров, полковник.

— Может быть, у вас найдется еще один юнга, капитан? — спросил полковник тоном, довольно близким к суровости.

— Хоть десяток, если вам потребуется, полковник,— отвечал капитан.

— Один мальчик средних размеров, может, донес бы дюжину шампанского до редакции,— в раздумье произнес полковник.— Кажется, вы сказали, переход был вполне приличный?

— Да, сказал,— был ответ.

— Это совсем близко, рукой подать,— продолжал полковник.— Я очень рад, что вы шли вполне прилично, капитан. Не беспокойтесь, если у вас не найдется больших бутылок. Мальчик может принести и две дюжины, прогуляется два раза вместо одного. Так переход был первоклассный? Да?

— Самый что ни на есть,— сказал капитан.

— Я в восторге, что вам везет, капитан. Вы могли бы

одолжить мне заодно штопор и полдюжины стаканов? Как бы ни вооружались стихии против замечательного пакетбота моей страны «Винт», сэр,— сказал полковник, оборачиваясь к Мартину и размашисто чертя тростью по палубе,— и туда и обратно он идет с исключительной быстротой!

Капитан, у которого в эту самую минуту в одной каюте роскошно завтракала «Помойка», а в другой допивался до бесчувствия добродушный «Клеветник», любезно простился со своим другом полковником и побежал отправлять ему шампанское, отлично зная (как не замедлило выясниться), что если ему не удастся умилостивить редактора «Нью-йоркского скандалиста», то не пройдет и дня, как этот властитель очернит его с пароходом вместе,— крупным шрифтом,— а быть может, заденет и память его матушки, которая умерла всего двадцать лет тому назад. Полковник, оставшись вдвоем с Мартином, не дал ему уйти и предложил показать город, из уважения к тому, что он англичанин, а также рекомендовать ему, если он пожелает, приличный пансион. Но прежде всего, сказал полковник, он просил бы оказать ему честь: посетить редакцию «Скандалиста» и распить бутылочку шампанского, лично им привезенную из Европы.

Все это было до такой степени любезно и гостеприимно, что Мартин охотно согласился, хотя было еще раннее утро. И потому, наказав Марку, который хлопотал около своей знакомой и ее троих детей, чтобы он, подавши им помощь и управившись с багажом, приходил за дальнейшими распоряжениями в редакцию «Скандалиста», Мартин сошел на берег вместе со своим новым знакомым.

Они с трудом пробрались через унылую толпу эмигрантов на пристани, сидевших на своих постелях и сундуках под открытым небом с таким растерянным видом, словно упали с другой планеты, и некоторое время шли по оживленной улице, вдоль которой тянулись с одной стороны набережные и суда, а с другой — длинный ряд ярко-красных кирпичных складов и контор, украшенных таким множеством черных вывесок с белыми буквами и белых вывесок с черными буквами, какого Мартину не приходилось видеть даже там, где места для них было в пятьдесят раз

больше. Скоро они свернули в узкую улицу, а потом в другие улицы, еще у́же, и, наконец, остановились перед домом, на котором было намалевано крупными буквами:

«НЬЮ-ЙОРКСКИЙ СКАНДАЛИСТ»

Полковник, который всю дорогу шел, заложив руку за борт сюртука, сдвинув шляпу на затылок и время от времени помахивая головой, как подобает человеку, подавленному сознанием собственного величия, повел Мартина по темной и грязной лестнице в такую же темную и грязную комнату, всю заваленную газетами и усеянную измятыми обрывками гранок и рукописей. В этом помещении за обшарпанным письменным столом сидела некая фигура с огрызком пера во рту и большими ножницами резала и кромсала кипу номеров «Нью-йоркского скандалиста»; фигура эта была настолько смехотворна, что Мартину стоило большого труда удержаться от улыбки, хотя он знал, что полковник Дайвер пристально наблюдает за ним.

Субъект, резавший и кромсавший газеты, был молодой человек очень маленького роста, крайне юный по внешности и с болезненно-бледным лицом, что объяснялось отчасти усиленной работой мысли, а отчасти неумеренным употреблением табака, который он усердно жевал в эту минуту. Он носил отложные воротнички и черную ленту вместо галстука; а его прямые, довольно жидкие волосы (вернее то, что от них осталось) были не только прилизаны и зачесаны назад для большей поэтичности, но и кое-где вырваны с корнем, отчего его высокий лоб отличался некоторой прыщеватостью. Нос у него был того фасона, который человечество из зависти окрестило «курносым», с очень сильно вздернутым кончиком, как бы от высокомерия. На верхней губе молодого человека виднелись зачатки рыжеватого пушка, до такой степени редкого, что, несмотря на все его старания, он более походил на следы только что съеденного имбирного пряника, чем на признаки будущих усов; и это сходство еще усиливал его нежный, по-видимому, возраст. Молодой человек был весь погружен в работу. Каждый раз как он щелкал ножницами, его челюсти тоже производили соответствующее движение, что придавало ему весьма устрашающий вид.

Мартин, недолго думая, решил про себя, что это, должно быть, сын полковника Дайвера, надежда семьи и будущая опора газеты. Он уже хотел было сказать полковнику, что очень приятно видеть такого мальчугана играющим в редактора со всей невинностью младенческого возраста, как полковник прервал его, провозгласив с гордостью:

— Мой военный корреспондент, сэр, мистер Джефферсон Брик.

Мартин подскочил при этом неожиданном сообщении, сознавая, какую непоправимую ошибку он едва не совершил.

Мистер Брик был, по-видимому, польщен впечатлением, которое он произвел на незнакомца; он пожал ему руку с покровительственным видом, как бы давая этим понять, что бояться тут нечего и что он, Брик, его не съест.

— Вы, я вижу, слышали о Джефферсоне Брике, сэр,— произнес полковник с улыбкой.— Англия слыхала о Джефферсоне Брике. Европа слыхала о Джефферсоне Брике. Позвольте. Когда вы уехали из Англии?

— Пять недель тому назад,— сказал Мартин.

— Пять недель,— повторил задумчиво полковник, усаживаясь на стол и болтая ногами.— Так позвольте спросить вас, сэр, какая из статей мистера Брика того времени всего ненавистнее парламенту и Сент-Джеймскому дворцу? *

— Честное слово,— сказал Мартин,— я...

— Я имею основания думать,— прервал его полковник,— что аристократические круги вашей родины трепещут перед именем Джефферсона Брика. Мне хотелось бы слышать из ваших уст, сэр, какое из его утверждений нанесло самый тяжкий удар...

— ...стоглавой гидре Коррупции, которая ныне поражена копьем Разума и пресмыкается во прахе, изрыгая фонтаны крови до самых небес,— произнес мистер Брик, надевая маленькую фуражку синего сукна с лакированным козырьком и цитируя свою последнюю статью.

— Алтарь свободы, Брик...— подсказал полковник.

— ...следует иногда орошать кровью, полковник,— воскликнул Брик. И, произнося слово «кровь», он резко щелкнул большими ножницами, словно и они тоже произнесли «кровь», вполне разделяя его мнение.

После этого оба они воззрились на Мартина, ожидая его ответа.

— Честное слово,— сказал Мартин, к которому вернулось его обычное хладнокровие,— я не могу дать вам нужных сведений; сказать по правде, я...

— Погодите! — воскликнул полковник, сурово глядя на своего военного корреспондента и кивая головой после каждой фразы.— Потому, что вы никогда не слыхали о Джефферсоне Брике, сэр. Потому, что вы никогда не читали Джефферсона Брика, сэр. Потому, что вы никогда не видали «Нью-йоркского скандалиста», сэр. Потому, что вы не знали о его могущественном влиянии на кабинеты Европы. Да?

— Действительно, как раз это я и собирался сказать,— заметил Мартин.

— Спокойствие, Джефферсон,— важно сказал полковник,— не кипятитесь! О вы, европейцы! А теперь давайте выпьем по бокалу вина! — С этими словами он слез со стола и вынул из корзины, стоявшей за дверью, бутылку шампанского и три стакана.

— Мистер Джефферсон Брик, сэр, провозгласит нам тост,— сказал полковник, наливая по стакану себе и Мартину и передавая бутылку мистеру Брику.

— Что ж, сэр,— произнес военный корреспондент,— я готов. Я провозглашаю тост за «Нью-йоркского скандалиста», сэр, и за его собратьев, за кладезь истины, чьи воды черны, ибо состоят из типографской краски, но достаточно прозрачны для того, чтобы в них отразились судьбы моего отечества.

— Слушайте, слушайте!— отозвался полковник с большим удовлетворением.— А ведь речь моего друга составлена довольно цветисто, сэр!

— И очень даже,— сказал Мартин.

— Вот сегодняшний номер «Скандалиста», сэр,— заметил полковник, подавая ему газету.— Вы найдете здесь Джефферсона Брика, как всегда, на посту, в авангарде цивилизации и чистоты нравов.

Полковник опять уселся на стол. Мистер Брик сел рядом с ним; и оба они приналегли на шампанское. Они часто посматривали на Мартина, который читал газету, а потом друг на друга. Когда он положил газету,— что слу-

чилось уже после того, как они прикончили вторую бутылку,— полковник спросил, понравилась ли ему газета.

— Как вам сказать, уж очень много намеков на личности,— ответил Мартин.

Полковник был, по-видимому, весьма польщен этим замечанием и высказал надежду, что так оно и есть.

— Мы здесь независимы, сэр,— заметил Джефферсон Брик.— Мы поступаем, как нам нравится.

— Если судить по этому образцу,— возразил Мартин,— сотни тысяч людей здесь, наоборот, зависимы и поступают так, как им не нравится.

— Что ж, они подчиняются могущественному воздействию Всеобщей Воспитательницы, сэр,— сказал полковник Дайвер.— Случается, что они бунтуют; но вообще говоря, мы пользуемся влиянием на наших граждан и в общественной и в частной жизни, что является одним из облагораживающих установлений нашей страны, так же как и...

— Так же как и рабство негров,— подсказал мистер Брик.

— Совершенно верно,— заметил полковник.

— Простите,— сказал Мартин после некоторого колебания,— нельзя ли спросить по поводу одного случая, о котором я прочел в вашей газете: часто ли Всеобщая Воспитательница занимается — не знаю, как бы это выразить, чтобы не обидеть вас,— подлогами? Например, подделкой писем,— продолжал он, видя, что полковник остается совершенно невозмутим и спокоен,— что не мешает ей утверждать, будто они написаны совсем недавно и живыми людьми?

— Что ж, сэр,— ответил полковник,— занимается время от времени.

— А воспитанники? Как они поступают в таком случае? — спросил Мартин.

— Покупают газеты,— сказал полковник.

Мистер Джефферсон Брик сплюнул и засмеялся; сплюнул обильно и засмеялся одобрительно.

— Покупают их сотнями тысяч,— заключил полковник.— Мы ловкий народ и умеем ценить ловкость.

— Разве подлог значит по-американски «ловкость»? — спросил Мартин.


ROWOY
JOURNN ?

— Ну,— ответил полковник,— я думаю, по-американски «ловкость» значит очень многое, что у вас называется по-другому. Зато у вас в Европе руки связаны. А у нас нет.

«И вы этим пользуетесь,— подумал Мартин.— Да еще как бесцеремонно!»

— Во всяком случае, какое бы название мы ни употребили,— продолжал полковник, нагибаясь, чтобы закатить в угол третью пустую бутылку вслед за двумя первыми,— я полагаю, искусство подлога изобрели не здесь, сэр?

— Я тоже так полагаю,— ответил Мартин.

— И другие виды ловкости тоже?

— Изобрели? Нет, думаю, что не здесь!

— Ну,— сказал полковник,— значит, мы все это получили из Старого Света, Старый Свет и виноват, а не Новый. И дело с концом. А теперь, если вы с мистером Джефферсоном Бриком будете любезны пройти вперед, я выйду последним и запру дверь.

Правильно истолковав эти слова как сигнал к отбытию, Мартин спустился с лестницы вслед за военным корреспондентом, который весьма величественно предшествовал ему. Полковник догнал их, и они вышли из редакции «Нью-йоркского скандалиста» на улицу; причем Мартин никак не мог решить, дать ли полковнику в зубы за то, что тот осмелился с ним так разговаривать, или же принять на веру его слова — что он и его газета являются одним из прославленных учреждений этой новой страны.

Было ясно, что полковник Дайвер, будучи уверен в прочности своего положения и в совершенстве зная своего читателя, очень мало беспокоился о том, что думает о нем Мартин или кто бы то ни было. Его остро приправленный товар предназначался для продажи и раскупался бойко; тысячи читателей так же мало могли винить его за то, что они рады валяться в грязи, как обжора — повара за свою скотскую неумеренность. Полковника только порадовало бы, если бы ему сказали, что нигде в другой стране такой человек, как он, не мог бы расхаживать по улицам, наслаждаясь своим успехом: это было бы для него лишним подтверждением того, что его труды угодили господствующим вкусам и что сам он законное и характерное порождение национальных нравов.

Они прошли целую милю или больше того по красивой улице, которая, по словам полковника, называлась Бродвеем, а по словам мистера Джефферсона Брика — «утерла нос всему миру». Свернув, наконец, в одну из множества боковых улиц, ответвлявшихся от главной, они остановились перед довольно невзрачным домом. Мартин увидел жалюзи на окнах, крыльцо перед зеленой входной дверью, блестящие белые шишки на столбиках по обе стороны крыльца, похожие на отполированный окаменевший ананас, продолговатую дощечку из того же материала над дверным молотком с выгравированной на ней фамилией «Паукинс» и четырех случайно забредших сюда свиней, заглядывавших в подвальный этаж.

Полковник постучался в дверь с видом человека, который живет в доме, и девушка-ирландка высунулась из окна в верхнем этаже — посмотреть, кто стучит. Пока она успела сойти вниз, к четырем свиньям присоединились еще две-три приятельницы с соседней улицы, и они всей компанией благодушно разлеглись в канаве.

— Майор дома? — осведомился полковник, входя в дверь.

— Вы это про хозяина, сэр? — спросила девушка с нерешительностью, наводившей на мысль, что у них в заведении сколько угодно майоров.

— Хозяин! — сказал полковник Дайвер, останавливаясь на месте и оглядываясь на своего военного корреспондента.

— О, как унизительны нравы этой Британской империи, полковник! — сказал Джефферсон Брик.— Хозяин!

— Чем же плохо это слово? — спросил Мартин.

— Надеюсь, что его никогда не слыхали в нашей стране, сэр, вот и все,— сказал Джефферсон Брик,— за исключением тех случаев, когда его произносит какая-нибудь невежественная служанка, незнакомая с благами нашего строя, так же как вот эта. Здесь у нас нет хозяев.

— Все «владельцы», не так ли? — сказал Мартин.

Мистер Джефферсон Брик проследовал за редактором «Нью-йоркского скандалиста», ничего не ответив. Мартин шел за ними, думая тем временем, что свободные и неза-

висимые граждане, признавшие полковника Дайвера своим «воспитателем», оказали бы гораздо больше уважения богине Свободы, если бы видели ее только во сне, лежа на печи как русские крепостные.

Полковник повел их в комнату на первом этаже в глубине дома, светлую и большую, но на редкость неуютную, где были только голые стены и потолок, плохонький ковер, длинный обеденный стол, уныло простиравшийся от одного конца комнаты до другого, и невероятное количество стульев с плетеными сиденьями. В глубине этой пиршественной залы стояла печка, с обеих сторон которой красовалось по большой медной плевательнице и которая имела вид трех чугунных бочонков, поставленных стоймя на решетку и соединенных между собою наподобие сиамских близнецов. Перед печкой, покачиваясь в качалке, сидел внушительных размеров джентльмен в шляпе; он развлекался тем, что плевал попеременно то в плевательницу налево от печки, то в плевательницу направо от печки, и снова в том же порядке. Подросток-негр в грязной белой куртке раскладывал на столе двумя длинными рядами ножи и вилки, перемежая их время от времени кувшинами с водой, и, обходя стол с одной стороны, то и дело поправлял грязными руками еще более грязную скатерть, которая вся перекосилась и, как видно, не снималась после завтрака. Воздух в комнате был чрезвычайно жаркий и удушливый; а так как в нем носились тошнотворные пары супа из кухни и исходившие из вышеупомянутых медных сосудов миазмы, отдаленно напоминавшие табачную вонь,— непривычному человеку здесь было почти невозможно дышать.

Джентльмен в качалке, сидевший к ним спиной и весь поглощенный своим интеллектуальным занятием, не замечал их до тех пор, пока полковник, подойдя к печке, не отправил свою лепту в левую плевательницу, как раз в ту минуту, когда майор — это и был майор — нацелился плюнуть туда же. Майор Паукинс приостановил огонь и, подняв глаза, произнес с особенным выражением тихой усталости, как у человека, не спавшего всю ночь, которое Мартин уже подметил и у полковника и у мистера Джефферсона Брика:

— Ну, полковник?

— Вот джентльмен из Англии, майор,— отвечал полковник,— он решил поселиться здесь, если цена подойдет ему.

— Очень рад вас видеть, сэр,— заметил майор, пожимая руку Мартину, причем на его лице не дрогнул ни единый мускул.— Надеюсь, вы хорошо себя чувствуете?

— Очень хорошо,— сказал Мартин.

— Вряд ли вам будет где-нибудь лучше,— возразил майор.— Здесь вы узнаете, что такое свет солнца.

— Мне помнится, я и дома видел иногда, как оно светит,— сказал Мартин, улыбаясь.

— Не думаю,— ответил майор. Он произнес это, разумеется, со стоическим равнодушием, но твердым тоном, не допускавшим никаких пререканий. Разрешив таким образом этот вопрос, он слегка сдвинул шляпу набок, чтобы удобнее было почесать голову, и ленивым кивком приветствовал мистера Джефферсона Брика.

Майор Паукинс, родом из Пенсильвании, отличался весьма тяжеловесным черепом и объемистым желтым лбом, в силу каковых достоинств в барах и прочих увеселительных заведениях распространено было мнение, будто майор человек обширного ума. Кроме того, он отличался осовелым взглядом и вялыми, медлительными движениями, а также тем, что ему требовался большой простор, чтобы развернуться. Однако, пуская свою мудрость в оборот, он неизменно применял правила — выставлять на витрину весь товар, какой у него имеется (и даже больше), и это сильно действовало на его приверженцев. Очевидно, это внушало уважение и мистеру Джефферсону Брику, который не упустил случая шепнуть на ухо Мартину:

— Один из самых замечательных людей нашей страны, сэр!

Не следует полагать, однако, что майор только тем и завоевал общие симпатии и уважение, что постоянно выставлял на продажу или отдавал напрокат весь свой наличный запас товаров. Он был большой политик. Единственный его девиз по части тех обязанностей гражданина, от которых зависит честь и доброе имя его отечества, гласил: «Обмакнув перо, зачеркнуть все начисто и начать снова». Поэтому он считался патриотом. В коммерческих делах он

был отважным прожектером. Проще говоря, он умел весьма ловко мошенничать и мог открыть банк, организовать заем, основать компанию для спекуляции земельными участками (неся разорение, гибель и смерть сотням семейств) не хуже всякой другой изворотливой бестии в Соединенных Штатах. Поэтому он считался замечательным дельцом. Он мог околачиваться в баре, разглагольствуя о государственных делах по двенадцати часов подряд, и при этом ухитрялся нагнать на всех больше скуки, изжевать и выкурить больше табаку и выпить больше ромового пунша, мятного грога, джина и разных смесей, чем любое частное лицо из его знакомых. Поэтому он считался оратором и другом народа. Словом, майор шел в гору, приобретал популярность, и немало шансов было за то, что его изберут в палату представителей штата Нью-Йорк, а не то пошлют и в самый Вашингтон. Но так как личное благосостояние человека не всегда идет в ногу с его патриотической преданностью общественным делам и так как жульнические махинации иногда удаются, а иногда и нет, то майору Паукинсу временами не везло. Как раз поэтому миссис Паукинс содержала теперь меблированные комнаты, а майор Паукинс больше лодырничал, чем занимался делом.

— Вы посетили нашу страну, сэр, во время большого застоя в делах,— сказал майор.

— Внушающего тревогу,— сказал полковник.

— В период невиданного кризиса,— сказал мистер Джефферсон Брик.

— Очень жаль это слышать,— сказал Мартин.— Надеюсь, это не надолго?

Мартин ровно ничего не знал об Америке, иначе ему было бы известно, что, если верить каждому из ее граждан в отдельности, она всегда находится в состоянии кризиса, и всегда в состоянии застоя, и всегда это внушает тревогу, и никогда это не бывало иначе; хотя те же граждане всем скопом готовы поклясться на евангелии, что это самая процветающая и благополучная страна из всех стран на земном шаре.

— Надеюсь, это не надолго? — повторил Мартин.

— Ну,— сказал полковник,— я думаю, мы как-нибудь справимся с этим, и все кончится благополучно.

— Мы гибкая страна,— сказал «Нью-йоркский скандалист».

— Мы молодые львы,— сказал мистер Джефферсон Брик.

— В нас заложена способность к непрестанному возрождению,— заметил майор.— Не выпить ли нам горькой перед обедом, полковник?

Полковник с величайшей готовностью откликнулся на это приглашение, и майор Паукинс предложил им отправиться в ближайший бар, который, по его словам, находился «в двух шагах отсюда». Затем он попросил Мартина адресоваться к миссис Паукинс за всеми подробностями относительно платы за стол и квартиру, сообщив, что эту даму можно видеть за обедом, который скоро подадут, так как обедают в два, а до этого времени осталось всего четверть часа. Тут майор вспомнил, что если они вообще собираются выпить по рюмке горькой, то времени терять нечего, и вышел, не тратя больше слов и предоставив остальным следовать за ним, если им угодно.

Когда майор поднялся с качалки перед печкой, всколыхнув жаркий воздух и носившиеся в нем благоуханные испарения супа, запах табачного перегара настолько усилился, что уже не оставалось никакого сомнения в том, что он шел главным образом от одежды этого джентльмена. В самом деле, идя позади него в бар, Мартин никак не мог отделаться от мысли, что большой и коренастый майор своей вялостью и безжизненностью очень походит на сохнущее растение табака и что его следовало бы выдернуть, как плевел, к большой выгоде других, полезных растений в общественном саду и выбросить на подобающее ему место — в навозную кучу.

В баре они встретили другие плевелы, которые погибали от жажды, так же как и от грязи, и были очень вялы в одном отношении и очень свежи в другом. Среди них находился джентльмен, который, как понял Мартин из разговора, завязавшегося за выпивкой, уезжал сегодня на Дальний Запад по делам на целые полгода и у которого все снаряжение и оборудование состояло из точно такого же блестящего цилиндра и точно такого же чемоданчика светлой кожи, какие составляли весь багаж джентльмена, ехавшего из Англии на пакетботе «Винт».

Они возвращались ничуть не торопясь — Мартин шел рука об руку с мистером Джефферсоном Бриком, следом за майором и полковником,— как вдруг, не доходя одного или двух домов до резиденции майора, они услышали громкий звон колокола. Как только этот звон донесся до их ушей, полковник и майор бросились вперед, взлетели по ступенькам и, как сумасшедшие, ворвались в дверь, которая была открыта настежь, и мистер Джефферсон Брик, вырвав свою руку у Мартина, поспешно ринулся в том же направлении и тоже исчез за дверью.

«Боже мой,— подумал Мартин,— в доме пожар! Это, наверно, набат!»

Но нигде не было видно ни дыму, ни пламени, и нельзя было заметить никаких признаков пожара. Пока Мартин стоял в нерешимости на тротуаре, еще трое джентльменов, на лицах которых были написаны ужас и волнение, стремительно выскочили из-за угла, взлетели на крыльцо, толкая друг друга на ступеньках, секунду побарахтались в дверях и ввалились в дом всей кучей, из которой торчали руки и ноги. Не в силах выносить неизвестность дольше, Мартин ринулся вслед за ними. Как ни быстро он бежал, его настигли, оттолкнули в сторону и обогнали еще два джентльмена, по-видимому окончательно рехнувшиеся от сильного волнения.

— Где это? — задыхаясь, крикнул Мартин негру, который повстречался ему в коридоре.

— В столовой, сэр. Полковник, сэр, оставил вам место рядом с собой, сэр.

— Место? — воскликнул Мартин.

— За обеденным столом, сэр.

Мартин озадаченно смотрел на него с минуту и вдруг от души рассмеялся, на что негр, движимый природным добродушием и желанием угодить, отвечал так искренне, что его зубы блеснули лучом света.

— Вы самый приятный человек, какого я тут видел,— сказал Мартин, хлопая его по спине,— и разговаривать с вами полезней для аппетита, чем рюмка горькой.

С этими словами Мартин вошел в столовую и сел рядом с полковником, уже кончавшим обедать; он оставил стул для Мартина, прислонив его спинкой к столу.

Общество собралось большое, человек восемнадцать —

двадцать. Среди них было пять или шесть дам, сидевших за столом отдельной маленькой фалангой. Все ножи и вилки работали с устрашающей быстротой; разговоров почти не было слышно; каждый ел так, как будто от этого зависело спасение его жизни и как будто не позже завтрашнего утра должен был наступить повальный голод, так что следовало спешить изо всех сил, чтобы выполнить первый закон природы. Птица, составлявшая едва ли не основное блюдо на пиршестве,— ибо во главе стола имелась индейка, в конце — пара уток и посередине — две курицы,— исчезала с такой быстротой, как будто каждое из этих пернатых в отчаянии летело на собственных крыльях прямо в рот обедающим. Устрицы, тушеные и маринованные, соскакивали с больших блюд и десятками скользили в глотку обедающих. Самые острые пикули, целые огурцы проглатывались, как конфетки, и никто даже не морщился. Груды неудобоваримых яств таяли, как лед на солнце. Это было торжественное и устрашающее зрелище. Страдавшие несварением желудка глотали пищу не разжевывая, комками, питая не себя, а целый выводок кошмаров, который всегда следовал за ними по пятам. Сухопарые люди с худыми, втянутыми щеками выходили из-за стола, не насытившись тяжелыми блюдами, и пожирали пристальными взглядами пирожное. Что переживала миссис Паукинс каждый день за обедом, недоступно человеческому разумению. Но одно утешение у нее было — он кончался скоро.

Как только полковник расправился с обедом, что произошло, когда Мартин еще и не приступал к нему, а только дожидался, пока ему подадут порцию индейки, он спросил Мартина, что тот думает о столующихся, которые собрались в Нью-Йорк со всех концов Соединенных Штатов, и не пожелает ли он узнать о них какие-нибудь подробности.

— Скажите, пожалуйста,— спросил Мартин,— кто эта болезненная девочка с круглыми глазами навыкате? Я не вижу тут особы, которая походила бы на ее мать или гувернантку.

— Вы имеете в виду даму в синем, сэр? — значительным тоном спросил полковник.— Это миссис Джефферсон Брик, сэр.

— Нет, нет,— сказал Мартин,— я говорю про девочку, похожую на куклу,— как раз напротив.

— Ну да, сэр,— воскликнул полковник,— это и есть миссис Джефферсон Брик!

Мартин посмотрел в глаза полковнику, но тот был совершенно серьезен.

— Боже мой! Так, значит, скоро можно ожидать и появления молодого Брика? — сказал Мартин.

— Два молодых Брика уже налицо, сэр,— возразил полковник.

Почтенная матрона и сама была так необыкновенно похожа на младенца, что Мартин не мог не высказать этого.

— Да, сэр,— заметил полковник,— некоторые установления развивают человеческую природу, зато другие задерживают ее развитие. Джефферсон Брик,— немного помолчав, заметил он в похвалу своему военному корреспонденту,— один из самых замечательных людей в нашей стране, сэр!

Эти слова он произнес почти шепотом, ибо выдающаяся личность, о которой шла речь, сидела по другую руку Мартина.

— Скажите, пожалуйста, мистер Брик,— начал Мартин, обратившись к нему и задавая вопрос больше для того, чтобы поддержать разговор, чем из интереса к предмету,— кто этот,— он хотел было сказать «молодой», но счел более удобным не употреблять этого слова,— кто этот очень маленький джентльмен вон там, с красным носом?

— Это профессор Муллит, сэр,— отвечал Джефферсон.

— Можно спросить, профессор чего именно?

— Педагогики, сэр,— сказал Джефферсон Брик.

— Что-нибудь вроде школьного учителя, быть может? — отважился заметить Мартин.

— Это человек высоких нравственных правил, сэр, и необыкновенных дарований,— ответил военный корреспондент.— Во время последних выборов президента он счел необходимым разоблачить своего отца, который голосовал за противную сторону, и отречься от него. После этого он написал несколько потрясающей силы памфлетов за подписью «Турб», то есть Брут задом наперед. Это один из самых замечательных людей в нашей стране, сэр.

«Их, кажется, тут видимо-невидимо»,— подумал Мартин.

Продолжая расспросы, Мартин узнал, что здесь присутствует не менее четырех майоров, два полковника, один генерал и один капитан, так что он невольно подумал, как, должно быть, силен офицерский состав в американском ополчении, и полюбопытствовал про себя, командуют ли офицеры друг другом, а если нет, то откуда же берутся рядовые. По-видимому, тут не было ни одного человека без титула, ибо те, которые не имели военного чина, были или доктора, или профессора, или их преподобия. Три очень суровых и неприятных джентльмена прибыли с дипломатическими поручениями из соседних штатов — один по финансовым, один по политическим и один по церковным делам. Среди дам тут была миссис Паукинс, очень прямая, костлявая и неразговорчивая, и одна сухая старая девица, весьма убежденная сторонница эмансипации женщин, которая пропагандировала свои взгляды, читая лекции; зато все остальные дамы были совершенно лишены индивидуальных черт до такой степени, что любая из них могла бы стать на место другой, и никто этого не заметил бы. Кстати сказать, из всего общества только одни дамы не принадлежали, по-видимому, к самым замечательным людям страны.

Некоторые из джентльменов, проглотив последний кусок, вставали и выходили один за другим, задерживаясь лишь на минуту возле печки, чтобы освежиться у плевательниц. Другие, более усидчивые по характеру, оставались за столом целых четверть часа, пока не встали дамы, после чего все поднялись со своих мест.

— Куда они идут? — спросил Мартин на ухо у Джефферсона Брика.

— В свои спальни, сэр.

— Разве после обеда не бывает десерта или каких-нибудь разговоров? — спросил Мартин, которому хотелось развлечься после долгого путешествия.

— Мы деловой народ, сэр, и у нас нет на это времени,— был ответ.

Итак, дамы вышли из столовой гуськом, причем мистер Джефферсон Брик и другие женатые джентльмены, еще остававшиеся в комнате, удостоили на прощание

своих дражайших половин кивком головы — чем дело и ограничилось. Мартин подумал, что это не совсем приятный обычай, но пока что оставил свое мнение при себе, любопытствуя послушать поучительный разговор деловых людей, которые теперь отдыхали у печки, по-видимому чувствуя большое облегчение оттого, что удалился прекрасный пол, и усиленно пользовались плевательницами и зубочистками.

Разговор, по правде сказать, не отличался занимательностью и большую часть его можно было свести к одному слову — доллары! Все их заботы, надежды, радости, привязанности, добродетели и дружеские связи, казалось, были переплавлены в доллары. Что бы ни попадало в медленно кипевший котел их беседы, они усердно подсыпали в эту кашу доллары. Людей ценили на доллары, мерили долларами; жизнь продавалась с аукциона, оценивалась и шла с молотка за доллары. После долларов больше всего уважались всякие дела, помогающие их нажить. Чем больше выбросит человек за борт чести и совести — этого ненужного балласта — с корабля своего Доброго Имени и Благих Намерений, тем больше у него останется места для долларов. Превратите коммерцию в сплошную ложь и повальное воровство, топчите знамя нации, как негодную тряпку, осквернените его звезда за звездой, сорвите с него полосу за полосой, как срывают погоны с разжалованного солдата,— все что угодно ради долларов! Что такое знамя по сравнению с долларами!

Охотник, который гонится за лисицей, рискуя сломать себе шею, всегда скачет очертя голову. Так было и с этими господами. Тот считался у них добрым патриотом, кто громче орал и плевать хотел на всякую порядочность. Тот был у них первым, кто в азартной погоне за корыстью сам не останавливался ни перед чем и потому не клеймил их подлые плутни. Так, за пять минут отрывочного разговора у печки Мартин узнал, что ходить в законодательное собрание с пистолетами, шпагами в тростях и другими невинными игрушками, хватать противников за горло, подобно собакам и крысам, грозить, запугивать и подавлять грубой силой — все это были славные подвиги; не удары в сердце Свободы, разящие глубже, чем ятаганы турецких янычар,— а благовонный фимиам на ее алтарях,

приятно щекотавший ноздри патриотов и поднимавшийся клубами до седьмого неба Славы *.

Один или два раза, воспользовавшись паузой, Мартин задал вопросы, естественно пришедшие ему в голову, как чужестранцу: о национальных поэтах, театре, литературе и искусстве. Но те сведения по этой части, какие могли сообщить ему его собеседники, не шли дальше вдохновенных творений таких великих умов современности, как полковник Дайвер, мистер Джефферсон Брик и другие, которые прославились, по-видимому, тем, что довели до совершенства газетную брань в так называемых «забористых статейках».

— Мы деловой народ, сэр,— сказал один капитан, родом с Запада,— и у нас нет времени читать всякие пустяки. Мы ничего не имеем против, если они попадаются в газетах вместе с чем-нибудь другим поинтереснее, но уж книги ваши — ну их к черту!

Тут генерал, который, казалось, готов был упасть в обморок при мысли о чтении чего-либо, не относящегося ни к торговле, ни к политике и не напечатанного в газете, осведомился, «не пожелает ли кто-нибудь из джентльменов выпить?» Большинство джентльменов сочли эту мысль весьма здравой и своевременной и не спеша отправились один за другим в бар по соседству. Оттуда они, вероятно, пойдут в свои лавки и конторы, а оттуда опять в бар, чтобы еще раз поговорить о долларах и просветить свой ум чтением и обсуждением забористых статеек; а потом каждый отправится к себе домой и завалится на боковую.

«По-видимому, это единственное развлечение, которому они предаются сообща»,— заключил Мартин, следуя течению собственных мыслей. И тут он опять принялся размышлять о долларах, демагогах и барах, гадая про себя: так ли заняты люди этого сорта, как говорят, или они просто не любят общественных и семейных развлечений?

Решить этот вопрос было нелегко; но уже одно то, что все виденное и слышанное им до сих пор неизменно наводило его на эту мысль, было мало утешительно. Мартин сел за опустевший стол и, все больше и больше приходя в уныние при мысли о трудностях и превратностях своей судьбы, тяжело вздохнул.

За обеденным столом вместе с ними сидел темноглазый загорелый человек средних лет, который обратил на себя внимание Мартина необыкновенно привлекательным и честным выражением лица; однако Мартину не удалось ничего узнать о нем от своих соседей, по-видимому считавших ниже своего достоинства замечать его. Он не принимал никакого участия в разговорах у печки и не ушел вместе с другими; теперь же, услышав, как Мартин вздохнул в третий и в четвертый раз, прервал его мысли каким-то случайным замечанием, словно желал, не напрашиваясь на внимание, рассеять его приятным разговором. Мотивы его поведения были настолько ясны и выражены настолько деликатно, что Мартин действительно был ему благодарен и постарался это высказать в своем ответе.

— Я не стану спрашивать,— сказал этот джентльмен, приветливо улыбаясь Мартину и подсаживаясь к нему поближе,— как вам понравилось мое отечество, ибо могу предвидеть, что вы мне на это скажете. Но так как я американец и поэтому должен начать с вопроса, то спрошу вас, как вам понравился полковник?

— Вы так откровенны,— отвечал Мартин,— что я без всякого колебания отвечу вам: он мне совсем не понравился. Хотя надо сказать, что я ему обязан за любезность: он привел меня сюда и устроил — на довольно выгодных условиях, кстати говоря,— прибавил он, вспомнив, что полковник шепнул ему нечто в этом смысле перед уходом.

— Не так уже обязаны,— сухо сказал незнакомец.— Полковник, как мне говорили, частенько заглядывает на почтовые пароходы, собирая последние новости для своей газеты, и иногда приводит сюда новых постояльцев — кажется, ради небольшого процента, который взимает за эту любезность и который хозяйка пансиона вычитает из его недельного счета. Вы не обиделись, надеюсь? — прибавил он, заметив, что Мартин покраснел.

— Дорогой сэр,— возразил Мартин, пожимая ему руку,— возможно ли это? Сказать вам по правде, я...

— Да? —произнес джентльмен, садясь с ним рядом.

— Если уж пошло на откровенность,— сказал Мартин после минутного колебания,— я решительно не могу понять, почему этого полковника ни разу не побили?

— Да нет, били раза два,— спокойно заметил джентльмен.— Это один из тех людей, о которых наш Франклин * писал еще за десять лет до конца прошлого столетия, предвидя, что они навлекут на нас опасность и позор. Быть может, вам неизвестно, что Франклин в очень суровых выражениях высказал в печати мнение, что люди, оклеветанные такими личностями, как этот полковник, не находя достаточной поддержки ни у правосудия, ни со стороны справедливого и разумного общественного мнения, вправе исправлять такое зло крепкой дубиной.

— Я этого не знал,— сказал Мартин,— но очень рад узнать, и думаю, что это вполне достойно памяти Франклина, особенно потому...— тут он опять замялся.

— Продолжайте,— сказал его собеседник с улыбкой, словно догадываясь, чего не договаривает Мартин.

— Особенно потому,— продолжал Мартин,— что, как я теперь понимаю, даже и в его время требовалось большое мужество, чтобы писать независимо о каком-нибудь вопросе, не примыкая ни к одной из клик в этой свободной стране.

— Без сомнения, тогда нужно было мужество,— отвечал его новый знакомый.— А теперь, вы думаете, оно не нужно?

— Думаю, что нужно, и немалое,— сказал Мартин.

— Вы правы. Настолько правы, что, я полагаю, ни один сатирик не мог бы дышать этим воздухом. Если бы среди нас появился второй Ювенал или Свифт *, его затравили бы. Если вы хоть сколько-нибудь знаете нашу литературу и можете назвать мне фамилию какого-нибудь писателя, подлинного американца, который вскрыл бы наши недостатки как нации, а не как той или другой партии, и при этом не навлек на себя самой грязной и грубой клеветы, самой закоренелой ненависти и фанатических гонений, то эта фамилия будет мне незнакома. В некоторых известных мне случаях, когда американский писатель отваживался дать безобидную и добродушную картину наших пороков и недостатков, приходилось объявлять, что во втором издании этот абзац выброшен, или заменен, или разъяснен, или перекроен в славословие.

— Но как же это происходит? — в унынии спросил Мартин.

— Подумайте о том, что вы видели и слышали сегодня, начиная с полковника,— сказал его собеседник,— и вы поймете сами. Откуда произошли они — другой вопрос. Это далеко не образцы разума и добродетели в нашей стране, боже избави; но они на поверхности, их слишком много, и они слишком часто играют роль разума и добродетели. Не хотите ли пройтись?

В его речах слышалась сердечная искренность и неотразимая уверенность в том, что ею не злоупотребят; он сам был честен и простодушно верил в честность незнакомого ему человека, чего Мартин до сих пор ни в ком еще не встречал. Он с готовностью взял американца под руку и вместе с ним вышел на улицу.

Быть может, именно к таким людям, как этот его новый знакомый, обращался путешественник с прославленным именем, который, вступив на эти берега около сорока лет тому назад, неожиданно прозрел, как и многие другие после него, и рядом с крикливыми претензиями разглядел пятна и пороки, которых не замечал издали, в своих радужных мечтах:

О, если бы не вы, Колумбии не жить,
И плод бы там не вызрел ни единый:
С зеленой кожурой, с гнилою сердцевиной,
До времени погибли бы плоды *.

## ГЛАВА XVII

*Мартин расширяет круг своих знакомств и увеличивает запас познаний; ему представляется прекрасный случай сравнить свой опыт с опытом молодчины Нэда со Скорого Солсберийского, известным ему со слов его друга, мистера Вильяма Симмонса*

Для Мартина характерно, что весь этот день он или совершенно забывал о Марке Тэпли, как будто того и на свете не было, или, если фигура этого джентльмена возникала на минуту перед его умственным взором, отмахивался от нее, как от чего-то такого, что вовсе не к спеху, чем можно будет заняться со временем и что

может подождать, пока у него выберется досуг. Но теперь, когда он снова очутился на улице, ему пришло в голову как нечто вполне возможное, что мистеру Тэпли, пожалуй, в конце концов надоест ждать на пороге редакции «Нью-йоркского скандалиста»; поэтому он сказал своему новому знакомому, что если ему безразлично, в каком направлении идти, он был бы очень рад развязаться с этим делом.

— Кстати, говоря о делах,— добавил Мартин,— позвольте мне тоже задать вопрос, чтобы не отстать от американцев: у вас в городе постоянные дела или вы приезжий, так же как и я?

— Приезжий,— отвечал его знакомый.— Я родился в штате Массачузетс и постоянно живу там. Моя родина — тихий провинциальный городок. Я не часто бываю в деловых центрах, и близкое знакомство не расположило меня в их пользу, уверяю вас.

— Вы бывали за границей? — спросил Мартин.

— О да.

— И, как большинство путешественников, еще больше полюбили родные места и родную страну? — сказал Мартин, глядя на него с любопытством.

— Родные места — да,— ответил его знакомый,— родную страну, как отечество,— тоже да.

— Вы подразумеваете какую-то оговорку,— сказал Мартин.

— Ну что ж,— ответил его новый знакомый,— если вы спрашиваете, вернулся ли я с бо́льшим пристрастием к недостаткам моей родины; с бо́льшей любовью к тем людям, которые (за столько-то долларов в день) хотят прослыть ее друзьями; с бо́льшей терпимостью к распространению среди нас тех принципов в общественных и частных делах, защита которых, вне гнусной обстановки уголовного процесса, опозорила бы даже ваших английских крючкотворов из Олд-Бейли,— в таком случае я отвечу прямо: нет!

— Нет?..— отозвался Мартин совершенно тем же тоном, прозвучавшим, как эхо.

— Если вы спрашиваете,— продолжал его спутник,— доволен ли я порядком, который резко делит общество на два лагеря, причем один, составляющий огромное боль-

шинство, кичится мнимой независимостью, весь жалкий смысл которой заключается в позорном пренебрежении к общепризнанным условностям, смягчающим нравы и общественные обычаи, так что чем грубее человек, тем больше эта независимость ему по вкусу, в то время как другой, недовольный низким уровнем, установившимся во всем, ищет утешения в изящной и утонченной частной жизни, предоставив судьбы общественного блага превратностям и шуму общей свалки,— я опять-таки отвечу: нет!

И опять Мартин повторил: «Нет?..» все тем же странным тоном, встревоженный и расстроенный, говоря по правде, не столько общественным неустройством, сколько из-за того, что померкли радужные перспективы в области строительства жилых домов.

— Словом,— продолжал его собеседник,— я ни из чего не усматриваю, а следовательно и не верю и не допускаю мысли, что мы образец мудрости, пример всему миру, вершина человеческого разума и многое другое в том же духе, о чем вам будут твердить двадцать раз на дню,— когда все дело в том, что мы начали политическую жизнь, имея за собой два неоценимых преимущества.

— Какие же это? — спросил Мартин.

— Во-первых, наша история началась так поздно, что миновала века кровопролитий и жестокости, через которые прошли все другие народы, и, таким образом, получила весь свет их опыта без сопутствовавшего ему мрака. Во-вторых, у нас обширная территория и пока еще не так много людей. Принимая все это в соображение, я думаю, что мы сделали очень мало.

— А образование? — нерешительно спросил Мартин.

— Кое-что сделано,— сказал его собеседник, пожав плечами,— но все же хвастаться нечем, потому что и в Старом Свете и даже в деспотических государствах сделали не меньше, если не больше,— и не поднимали такого шума. Конечно, мы затмили Англию, но Англия — это уже крайний случай. Вы же сами похвалили меня за откровенность,— прибавил он, смеясь.

— Я нисколько не удивляюсь, что вы говорите с такой прямотой о моей стране,— ответил Мартин.— Но ваша откровенность по отношению к вашей родине изумляет меня.

— Вы увидите, что это здесь не такое редкое качество, смею вас уверить, только не среди полковников Дайверов, Джефферсонов Бриков и майоров Паукинсов, хотя и лучшие из нас похожи на слугу из комедии Голдсмита *, который никому, кроме себя, не позволял ругать своего барина. Давайте поговорим о чем-нибудь другом,— прибавил он.— Вы приехали сюда, вероятно, затем, чтобы поправить свои средства, и мне бы не хотелось вас разочаровывать. Кроме того, я на несколько лет старше и, быть может, кое в чем мог бы подать вам совет.

Ни малейшего любопытства, ни назойливости не было в этом предложении — чистосердечном, непритязательном и добродушном. Невозможно было не почувствовать доверия, видя такую доброту и располагающие манеры, и Мартин откровенно рассказал, что привело его в эти края, признался даже в своей бедности, как ни трудно это было. Он не сказал, до какой степени беден (уклонившись от полного признания), а повернул дело так, что можно было предположить, будто денег у него хватит на полгода, когда их не было и на полтора месяца; все же он сказал, что беден и что будет рад любому совету, какой его новый друг захочет ему дать.

Нетрудно было заметить,— а особенно легко это было Мартину, восприимчивость которого обострилась в силу всего пережитого им,— что лицо незнакомца сильно вытянулось, едва он услышал о будущем строительстве жилых домов. И хотя он старался ободрить Мартина насколько возможно, он все же не удержался и невольно покачал головой, что в переводе на простой язык значило: «Ничего не выйдет!» Однако, не теряя бодрого тона, он сказал Мартину, что, хотя в этом городе не найдется ничего подходящего, он немедленно возьмется за дело и наведет справки, где может скорее всего понадобиться архитектор; а затем назвал Мартину свою фамилию — Бивен, и свою профессию — он был медик, но почти не занимался практикой; он также рассказал ему о себе и о своей семье, что заняло все время, пока они шли в редакцию «Нью-йоркского скандалиста».

Мистер Тэпли, очевидно, уселся отдыхать на площадке второго этажа, ибо, еще не поравнявшись с домом, они услышали звуки британского гимна, который насвистывал

во всю мочь расположившийся там джентльмен. Поднявшись туда, откуда доносилась эта музыка, они увидели мистера Тэпли, который, сидя на бастионах из багажа, исполнял национальный гимн, как видно ради увеселения седовласого негра, восседавшего на одном из бастионов (то есть на чемодане) и не сводившего глаз с Марка; а тот, подперев голову рукой, отвечал ему таким же задумчивым взглядом и свистел без умолку. Он, должно быть, только что пообедал, потому что нож, фляжка и какие-то объедки в носовом платке валялись рядом. Некоторую часть своего досуга он употребил на украшение редакционной двери, изобразив на ней свои инициалы буквами в полфута вышиной и месяц и число несколько помельче, причем все это было обведено затейливой каемкой и сразу бросалось в глаза.

— Я уж начал бояться, как бы вы не пропали, сэр! — воскликнул Марк, вскочив на ноги и бросив насвистывать на том самом месте, где англичане обычно заявляют (впрочем, это дело темное, когда мотив насвистывают), что они никогда, никогда, никогда...

— Надеюсь, ничего не случилось, сэр?

— Ничего, Марк. Где ваша приятельница?

— Эта сумасшедшая, сэр? — спросил Марк.— О! У нее все слава богу, сэр.

— Нашла она своего мужа?

— Да, сэр. По крайней мере нашла то, что от него осталось,— прибавил Марк для большей точности.

— Он не умер, надеюсь?

— Не совсем умер, сэр,— ответил Марк,— но перенес больше лихорадок и горячек, чем полагается живому человеку. Когда жена увидела, что его нет на пристани, я думал, она и сама умрет, честное слово!

— Так разве его не было?

— *Его* не было. Была какая-то еле живая тень, которая насилу приползла, так же мало похожая на него, как ваша тень, вытянутая во всю длину, похожа на вас. Но это было все, что от него осталось, сомневаться не приходится. Она обрадовалась, бедная, как будто заполучила его целого и невредимого.

— Он купил землю? — спросил мистер Бивен.

— Да, купил,— сказал Марк, покачивая головой,— и


ROWDY
JOURNAL
MARK TAPLEY

даже заплатил за нее. Агенты говорили, что там имеются всякие природные богатства; и одно действительно оказалось в неограниченном количестве: воды хоть отбавляй!

— Без воды он не мог бы обойтись, я думаю,— раздраженно заметил Мартин.

— Конечно не мог, сэр. В воде там отказа нет — пользуйся вовсю, и платы за нее не берут. Кроме трех-четырех болотистых рек поблизости, на самой ферме всегда от четырех до шести футов воды в сухую погоду. Какая глубина бывает во время дождя, он не мог сказать,— у него не было под руками шеста такой длины, чтобы смерить.

— Это правда? — спросил Мартин своего спутника.

— Очень возможно,— ответил он.— Какой-нибудь участок на Миссисипи или Миссури, я полагаю.

— Тем не менее,— продолжал Марк,— он приехал бог знает откуда сюда, в Нью-Йорк, чтобы встретить жену и детей; и все они сегодня уехали на пароходе обратно, такие счастливые, оттого что собрались все вместе, как будто отправлялись прямо в рай. Да, я думаю, так оно и есть, судя по виду этого бедняги.

— А нельзя ли спросить,— сказал Мартин, переводя взгляд с Марка Тэпли на негра, но без всякого неудовольствия,— кто этот джентльмен? Тоже ваш приятель?

— Как же, сэр,— отвечал Марк, отведя его в сторону и говоря ему на ухо по секрету,— ведь он черный, сэр.

— Вы, должно быть, принимаете меня за слепого,— с некоторым раздражением заметил Мартин,— к чему это говорить, когда черней его лица нигде не встретишь?

— Нет, нет,— отвечал Марк,— я хочу сказать, что он из тех, кого изображают на картинках,— ну, вы знаете, сэр,— наш младший брат,— и мистер Тэпли очень похоже представил фигуру, так часто изображаемую в душеспасительных книжечках и на дешевых литографиях.

— Раб! — воскликнул Мартин шепотом.

— Да! — отозвался Марк также шепотом.— Вот именно — раб. Как же, когда он был еще молодой,— не глядите на него, пока я рассказываю,— ему прострелили ногу, рассекли руку, надрезали ему спину, как живой рыбе, прежде чем жарить, надели железный ошейник, который натирал ему шею, и железные кольца на руки и на ноги. Шрамы у него остались и по сей час. Когда я только

что здесь обедал, он снял куртку, чем и отбил у меня всякий аппетит.

— И это правда? — спросил Мартин у своего друга, стоявшего рядом.

— Не имею оснований в этом сомневаться,— ответил тот, качая головой.— Такие вещи у нас не редкость.

— Господь с вами,— сказал Марк,— я же знаю, что это правда, ведь я слышал всю его историю. Первый хозяин умер, и второй хозяин тоже умер, потому что раб раскроил ему голову топором, а после того пошел и утопился; потом у моего приятеля был хозяин получше. Много лет подряд он копил деньги и выкупился на волю, которая в конце концов досталась ему дешево, потому что он к тому времени окончательно состарился и лишился сил. После этого он приехал сюда. А теперь опять копит деньги, чтобы порадовать себя перед смертью еще одной покупочкой: пустяки, не о чем говорить — всего-навсего его родная дочь, не больше того! — воскликнул мистер Тэпли, приходя в раж.— Да здравствует свобода! Ура! Да здравствует Колумбия!

— Тише! — крикнул Мартин, зажимая ему рот рукой.— Не валяйте дурака. Что он тут делает?

— Дожидается, чтобы отвезти наш багаж на тачке,— сказал Марк.— Он мог бы прийти и после, но я нанял его по сходной цене (за свой собственный счет), чтобы он сидел со мной и развлекал меня, и теперь я весел; а будь я богат, подрядил бы его заходить ко мне каждый день; глядел бы на него и только б и знал, что веселился.

Хотя это может навести на серьезные сомнения в правдивости Марка, однако следует признать, что в данную минуту выражение его лица и весь его тон противоречили тому, что он так азартно утверждал о своем настроении.

— Господь с вами, сэр,— прибавил он,— в этой части земного шара они так любят свободу, что покупают ее, и продают, и таскают за собой на рынок. У них такая страсть к свободе, что они позволяют себе всякие вольности с ней. Вот отчего это все и происходит.

— Очень хорошо,— сказал Мартин, желая переменить тему.— Если вы уже пришли к такому выводу, Марк, может быть вы меня выслушаете? На этой карточке напе-

чатано, куда надо отвезти багаж,— в пансион миссис Паукинс.

— В пансион миссис Паукинс,— повторил Марк.— Ну, Цицерон!

— Его так зовут? — спросил Мартин.

— Вот именно,— ответил Марк. И негр, ухмыляясь в знак согласия из-под кожаного чемодана, более светлого, чем его лицо, заковылял вниз по лестнице, неся свою долю багажа, так как Марк Тэпли уже спускался вниз со своей долей.

Мартин и его друг последовали за ними к выходу и готовы были продолжать прогулку, как вдруг мистер Бивен остановился и спросил нерешительно, можно ли положиться на этого молодого человека.

— На Марка? Разумеется, в чем угодно.

— Вы меня не понимаете. Я думаю, что ему лучше идти с нами. Он честный малый и слишком откровенно высказывает свое мнение.

— Дело в том,— сказал Мартин, улыбаясь,— что он еще не жил в свободной республике и привык высказываться откровенно.

— Я думаю, что ему лучше идти с нами,— отвечал его спутник.— Иначе он может попасть в беду. Это не рабовладельческий штат, но, к стыду моему, я должен сознаться, что живой дух терпимости не слишком распространен в этих широтах; здесь больше чтут мертвую букву. Мы не отличаемся сдержанностью по отношению друг к другу, когда расходимся в мнениях, а с чужим человеком... Нет, право, я думаю, что ему лучше идти с нами.

Мартин тут же пригласил Марка присоединиться к ним, и Цицерон с тележкой пошел в одну сторону, а они в другую.

Часа два или три они ходили по городу, осматривая его с самых лучших точек зрения и останавливаясь на главных улицах перед общественными зданиями, которые им указывал мистер Бивен. Надвигалась темнота, и Мартин предложил отправиться в пансион миссис Паукинс выпить кофе; но это предложение было отвергнуто его новым знакомым, которому, по-видимому, во что бы то ни стало хотелось привести Мартина, хотя бы на часок, к своим друзьям, жившим поблизости. Чувствуя, что было

бы очень нелюбезно отговариваться тем, что он с ними не знаком, когда его великодушный друг выразил полную готовность его представить, Мартин первый раз в жизни — надо отдать ему должное — пожертвовал своим удовольствием, сделав так, как желает другой, и согласился без дальних слов. Очевидно, путешествие уже принесло ему кое-какую пользу.

Мистер Бивен постучался в дверь небольшого уютного особняка, из окон которого на тёмную уже улицу лился яркий свет. Им тут же отворил человек с таким истинно ирландским лицом, что странно было видеть его не в лохмотьях; казалось, откуда только у него берется смелость улыбаться всем, напялив на себя совершенно крепкий костюм.

Оставив Марка на попечение этого феномена — ибо, на взгляд Мартина, он был именно феноменом,— мистер Бивен повел молодого человека в ту комнату, откуда лился наружу такой веселый свет, где и представил его хозяевам как англичанина, с которым он имел удовольствие недавно познакомиться. Они приняли Мартина чрезвычайно учтиво и вежливо, и не прошло и пяти минут, как он сидел у камина и, чувствуя себя вполне непринужденно, обстоятельно знакомился со всей семьей.

Тут были две молодые девушки, одна лет восемнадцати, другая двадцати,— обе очень тоненькие и очень хорошенькие; их мать, которая, как показалось Мартину, выглядела гораздо более пожилой и более увядшей, чем следовало в ее годы; бабушка — маленькая живая старушка с быстрыми глазами, которая, по-видимому, благополучно пережила критический возраст и опять помолодела. Кроме них, тут был и отец молодых девушек, и брат молодых девушек: первый занимался коммерцией, второй учился в колледже; и тот и другой отличались приветливостью, так же как и новый друг Мартина, и несколько походили на него лицом. Это было не удивительно, ибо скоро выяснилось, что он им близкий родственник. Мартин невольно проследил родословную семьи, начиная с обеих молодых девушек, так как они больше других занимали его мысли и не только потому что были, как уже сказано, очень недурны, но и потому, что носили удивительно маленькие башмачки и невероятно тонень-

кие шелковые чулочки и, качаясь на качалках, выставляли их напоказ самым соблазнительным образом.

Конечно, было чрезвычайно приятно сидеть в уютной, хорошо обставленной комнате, согреваемой веселым огнем и полной самых изящных украшений, включая сюда и четыре маленьких башмачка и четыре шелковых чулочка вместе — почему же и нет? — с облеченными в них ножками. И конечно, Мартин был склонен воспринимать все эти обстоятельства именно так, особенно после недавних переживаний на пароходе и в пансионе миссис Паукинс. Он сделался очень любезен и, к тому времени как подали чай и кофе (за которыми последовали варенья и отлично приготовленные пирожные), пришел в самое веселое настроение и успел завоевать симпатии всей семьи.

Другое приятное обстоятельство выяснилось еще до того, как была выпита первая чашка чаю. Все семейство побывало в Англии. Вот это было приятно! Но Мартин не слишком обрадовался, узнав, что они близко знакомы с великими герцогами, лордами, виконтами, маркизами, герцогинями и баронетами и чрезвычайно интересуются всем, что их касается, вплоть до самых мельчайших подробностей. Тем не менее, когда они спрашивали о каком-нибудь носителе графской короны, «хорошо ли он себя чувствует?» — Мартин отвечал: «Да, о да,— как нельзя лучше»; а если спрашивали: «Сильно ли переменилась герцогиня, матушка его светлости?», он говорил: «О, ничуть, вы бы узнали ее с первого взгляда», и таким образом беседа ладилась. Когда молодые девушки расспрашивали Мартина, все так же ли много рыбок в аквариуме, украшающем оранжерею такого-то вельможи, он задумывался и серьезно докладывал, что их стало по крайней мере вдвое больше; а про экзотические растения говорил: «Невозможно рассказать; это надо видеть собственными глазами, иначе не поверишь». Такое блестящее положение дел напоминало всему семейству великолепный праздник (где присутствовало все сословие пэров и двор в полном составе), на который они были специально приглашены и который давали в их честь; и тут довольно много времени заняли воспоминания о том, что́ сказал мистер Норрис-отец маркизу, и что̀ сказала миссис Нор-

рис-мать маркизе, и как маркиз с маркизой оба говорили, что им, право, очень хотелось бы, чтобы и мистер Норрис-отец, и миссис Норрис-мать, и обе мисс Норрис-дочки, и мистер Норрис-сын переселились на постоянное жительство в Англию и позволили бы им наслаждаться вечной дружбой всего семейства Норрис.

Мартину казалось довольно странным и до некоторой степени непоследовательным, что во все время этих рассказов и в разгаре увлечения ими и мистер Норрис-отец и мистер Норрис-сын (который вел переписку с четырьмя английскими пэрами) усиленно распространялись о том, каким неоценимым преимуществом является отсутствие всяких условных различий в этой просвещенной стране, где нет иного благородства, кроме природного, и где общество зиждется на едином фундаменте братской любви и естественного равенства. Мистер Норрис-отец пустился ораторствовать на эту благодарную тему, нагоняя на всех скуку, но тут мистер Бивен отвлек его мысли в другую сторону, задав какой-то случайный вопрос о жильцах соседнего дома, в ответ на что мистер Норрис заметил, что «не одобряет религиозных убеждений этих людей и потому не имеет чести быть с ними знакомым». Миссис Норрис-мать не замедлила поддержать супруга, сказав, в сущности, то же самое, но иными словами, а именно, что это, как ей кажется, неплохие по-своему люди, но они не принадлежат к обществу.

Еще одна черточка невольно запомнилась Мартину. Мистер Бивен рассказал им про Марка Тэпли и негра, и тут выяснилось, что все семейство Норрисов аболиционисты *. Слышать это было весьма утешительно, и Мартин настолько приободрился, находясь в таком обществе, что выразил сочувствие угнетенным и несчастным неграм. Одну из девиц — более изящную и хорошенькую — очень рассмешила его серьезность, и когда он попросил ее сказать, в чем дело, она так смеялась, что долго не могла выговорить ни слова. Успокоившись, она сказала, что негры такой забавный народ, до такой степени смешные по манерам и внешности, что для всякого, кто хорошо их знает, совершенно невозможно относиться к ним серьезно. Мистер Норрис-отец, и миссис Норрис-мать, и мисс Норрис-сестра, и мистер Норрис-брат, и даже мис-

сис Норрис-бабушка были того же мнения и поддержали ее весьма решительно,— хотя страдания и рабство сами по себе настолько страшны, что заставляют относиться серьезно к любому человеческому существу, будь оно по внешности забавно, как самая забавная обезьяна, а по нравственным качествам — как самый незадачливый республиканский Немврод *, охотящийся за аристократами.

— Одним словом,— сказал мистер Норрис-отец, решая вопрос самым утешительным образом,— между черной и белой расами существует естественная антипатия.

— Доходящая до самых жестоких истязаний,— тихим голосом сказал друг Мартина,— и до торговли еще не родившимися поколениями.

Мистер Норрис-сын ничего не сказал, он только поморщился и вытер пальцы, как делает Гамлет, бросая череп Йорика *,— словно он дотронулся до негра и к рукам у него пристало черное.

Мартин переменил разговор, живо чувствуя, что этой темы лучше было бы не касаться при любых обстоятельствах, даже самых благоприятных, и опять обратился к девицам. Заметив, что они пышно разодеты в шелка нежнейших оттенков и что все статьи их туалета такие же дорогие, как маленькие башмачки и тоненькие шелковые чулочки, Мартин подумал, что они должны знать толк в французских модах, как и оказалось на самом деле; ибо хотя их сведения не отличались новизной, зато были весьма разносторонни; в особенности у старшей, которая занималась и метафизикой, и гидравликой, и правами человека и умела сочетать все эти премудрости на новый лад и пользоваться ими в разговоре на любую тему — от косметики до космоса, причем с таким успехом, что иностранцы, поговорив с ней пять минут, доходили чуть не до помешательства.

Чувствуя, что его рассудок колеблется, Мартин ради собственного спасения попросил вторую сестру спеть что-нибудь. Она охотно согласилась; начался бравурный концерт, исполненный исключительно силами обеих мисс Норрис. Они пели на всех языках, кроме своего родного. По-немецки, по-французски, по-итальянски, по-испански, по-португальски и даже по-швейцарски — лишь бы не было ничего отечественного, ничего низменного. Ибо

языки похожи на многих путешественников — они заурядны и вульгарны у себя на родине, зато приобретают необыкновенное благородство за границей.

Возможно, что со временем обе мисс Норрис добрались бы и до древнееврейского языка, если бы их не прервал слуга ирландец, который, распахнув дверь настежь, громко доложил:

— Генерал Флэддок!

— Боже мой! — воскликнули сестры, прерывая пение.— Генерал вернулся!

При этом восклицании генерал, облаченный по-бальному, в парадную форму, ворвался в комнату так стремительно, что задел сапогом за ковер, споткнулся о свою шпагу и растянулся во весь рост, показав удивленному обществу курьезную маленькую плешь на макушке. И это было бы еще ничего, но, будучи несколько дороден и весьма туго затянут в мундир, он никак не мог подняться и лежал, корчась и выделывая сапогами такие штуки, каким нет примеров в военной истории.

Разумеется, все немедленно бросились на помощь и быстро подняли генерала. Но его мундир был так удивительно сшит, что генерал поднялся, не сгибаясь в пояснице, словно деревянный клоун, и не владел ни единым мускулом, пока его не поставили на ноги; после чего он ожил, словно чудом, и, двигаясь бочком, чтобы занимать поменьше места и не задеть за что-нибудь золотыми шнурами эполетов, с улыбкой устремился приветствовать хозяйку дома.

Вряд ли возможно было выразить более чистую радость и восторг, чем выразило все семейство при неожиданном появлении генерала Флэддока! Его приняли так тепло, как если бы Нью-Йорк был осажден неприятелем и другого генерала нельзя было достать ни за какие деньги. Он три раза подряд обошел всех Норрисов, пожимая им руки, затем осмотрел их с некоторого расстояния, как подобает доблестному командиру, драпируя правое плечо широким плащом и выставляя вперед мужественную грудь.

— Итак,— воскликнул генерал,— я снова вижу избранные умы моей родины!

— Да,— сказал мистер Норрис-отец.— Мы все здесь,

генерал.— Тут Норрисы столпились вокруг генерала, расспрашивая его, где он побывал после своего последнего письма, что поделывал в чужих краях, и самое главное — с кем познакомился из великих герцогов, лордов, виконтов, маркизов, герцогинь и баронетов, которыми так восхищаются жители этих непросвещенных стран.

— Лучше не спрашивайте,— сказал генерал, поднимая руку.— Я вращался среди них все время, и в чемодане у меня лежат газеты, где мое имя,— тут он понизил голос и произнес очень внушительно,— напечатано в светской хронике. Но сколько условностей в этой удивительной Европе!

— Ах! — воскликнул Норрис-отец, грустно качая головой и глядя на Мартина, словно желая сказать: «Не могу отрицать этого, сэр. Желал бы, но не могу».

— А как слабо там развито нравственное чувство! — воскликнул генерал.— Чувство собственного достоинства у них совершенно отсутствует!

— Ах! — вздохнули все Норрисы, совершенно подавленные горем.

— Я бы не мог себе этого представить,— продолжал генерал,— если бы не видел своими глазами. Вы, Норрис, наделены сильным воображением, но и вы не могли бы себе этого представить, если б не видели сами.

— Никогда! — сказал мистер Норрис.

— Эта замкнутость, чопорность, эта надменность, эта церемонность! — восклицал генерал, с каждым повторением все сильнее напирая на словечко «эта»,— всё какие-то искусственные преграды между людьми; человечество делится на фигурные и простые карты всех мастей — на бубны, пики, трефы, на все что угодно, кроме червей! То есть кроме сердец!

— Ах! — воскликнуло все семейство.— Как это верно, генерал!

— Погодите! — сказал Норрис-отец, беря генерала за плечо.— Ведь вы приехали на пакетботе «Винт»?

— Да, конечно,— ответил генерал.

— Может ли быть! — воскликнули барышни.— Подумать только!

Генерал, казалось, не мог понять, почему его прибытие на пакетботе «Винт» вызвало такую сенсацию; не

стало ему дело яснее и после того, как мистер Норрис, познакомив его с Мартином, сказал:

— Ваш спутник, кажется?

— Мой спутник? — переспросил генерал.— Нет!

Он ни разу не видел Мартина, но Мартин его видел, и теперь, когда они встретились лицом к лицу, узнал в нем джентльмена, который в конце путешествия разгуливал по палубе, засунув руки в карманы и широко раздувая ноздри.

Все смотрели на Мартина. Делать было нечего. Правду нельзя было утаить.

— Я приехал на том же пакетботе, что и генерал,— сказал Мартин,— но не в одном классе. Мне надо было соблюдать строгую экономию, и я ехал третьим классом.

Если бы генерала подвели к заряженной пушке и приказали немедленно выпалить из нее, он не мог бы растеряться больше, чем при этих словах. Чтобы он — Флэддок, Флэддок в парадной форме американского ополчения, генерал Флэддок, Флэддок, любимец иностранной знати — стал знакомиться с субъектом, который ехал на почтовом пароходе третьим классом за четыре фунта десять шиллингов! Да еще встретить это ничтожество в самом святилище нью-йоркского света, принятым в лоно нью-йоркской аристократии! Генерал чуть не схватился за шпагу.

Среди Норрисов воцарилось мертвое молчание. Если слух об этом распространится, они будут навеки опозорены из-за неосмотрительности своего провинциального родственника. Их семейство было созвездием исключительной яркости в высшей сфере Нью-Йорка. Были там и другие элегантные сферы еще выше, были сферы и ниже, и ни одна звезда в любой из этих сфер не имела ничего общего со звездами других сфер. Но теперь во всех этих сферах узнают, что Норрисы, введенные в заблуждение приличными манерами и внешностью, пали так низко, что «принимали» у себя никому не известную личность без единого доллара в кармане. О орел, хранитель непорочной республики *, неужели они дожили до этого!

— Разрешите мне откланяться,— сказал Мартин после неловкой паузы.— Я чувствую, что вызвал здесь такое же замешательство, в каком нахожусь и сам. Но

прежде чем уйти, я должен сказать несколько слов в оправдание вашего родственника, который, вводя меня в общество, не знал, что я недостоин этой чести, могу вас уверить.

Он поклонился Норрисам и вышел, очень спокойный с виду и весь кипя внутри.

— Ну, что же,— сказал Норрис-отец, бледнея и обводя взглядом собравшихся, после того как Мартин закрыл за собой дверь,— молодой человек наблюдал сегодня вечером утонченность светских манер и изящную простоту высшего общества, которых никогда не видал у себя на родине. Будем надеяться, что это пробудит в нем нравственное чувство.

Если «нравственное чувство», этот исключительно заокеанский товар,— ибо, по утверждению доморощенных деятелей, ораторов и памфлетистов, оно является монополией Америки,— если нравственное чувство включает благожелательность и любовь к человечеству, то его действительно не мешало бы пробудить в Мартине. Он шагал по улице в сопровождении Марка, и все безнравственные чувства бушевали в нем, подстрекая к довольно кровожадным замечаниям, которых, к счастью для его репутации, никто не слыхал. Однако скоро он настолько остыл, что стал даже подсмеиваться над этим событием, и вдруг услышал позади себя чьи-то шаги и, обернувшись, увидел своего друга Бивена, который догонял его, совершенно запыхавшись.

Он взял Мартина под руку и, попросив идти медленнее, несколько минут молчал. Наконец он сказал:

— Надеюсь, вы оправдаете меня и в другом смысле?

— В каком? — спросил Мартин.

— Надеюсь, вы не думаете, что я предвидел финал нашего визита? Впрочем, вряд ли нужно вас об этом спрашивать.

— Да, это верно,— сказал Мартин.— Я тем более благодарен вам за вашу любезность, что узнал цену здешним почтенным гражданам.

— По-моему,— возразил его друг,— таким, как они, везде одна цена, только наши не хотят этого признавать и становятся на ходули.

— Честное слово, это верно,— сказал Мартин.

— Я думаю,— продолжал его друг,— что если бы вы видели такую сцену в английской комедии, то не нашли бы ее невероятной и неестественной?

— Да, конечно!

— Без сомнения, здесь это смешнее, чем где бы то ни было,— продолжал его спутник,— но тут уж виноваты наши актеры. О себе лично могу только сказать, что я с самого начала знал, в каком классе вы ехали; я видел список пассажиров первого класса, и вас в нем не было.

— Тем больше я вам обязан,— сказал Мартин.

— Норисс очень хороший человек, в своем роде,— заметил мистер Бивен.

— Вот как? — сухо сказал Мартин.

— О да! В нем много хороших свойств. Если бы вы или кто другой обратились к нему, как к существу высшего порядка, в качестве просителя на бедность — он был бы весь доброта и внимание.

— Мне незачем было уезжать за три тысячи миль, чтобы встретиться с таким типом,— сказал Мартин.

Ни он, ни его друг больше не разговаривали дорогой, каждый был, по-видимому, достаточно занят собственными мыслями.

Чай или ужин, как бы ни называлась здесь вечерняя трапеза, уже кончился, когда они вернулись к майору, но скатерть, разукрашенную несколькими добавочными мазками и пятнами, все еще не убрали со стола. На одном его конце пили чай миссис Джефферсон Брик и две другие дамы, по-видимому не в урочное время, так как все они были в шляпках и шалях и, должно быть, только что вернулись домой. При свете трех коптящих свечей неравной длины и в разного фасона подсвечниках комната казалась такой же неприглядной, как и днем.

Все три дамы громко беседовали, когда вошел Мартин со своим другом, но, увидев джентльменов, сразу замолчали, приняв весьма достойный, чтобы не сказать замороженный, вид. Пока они переговаривались шепотом, даже вода в чайнике стала холоднее градусов на двадцать, до такой степени от них веяло холодом.

— Вы были на молитвенном собрании, миссис Брик? — спросил спутник Мартина с плутовской искоркой в глазах.

— На лекции, сэр.

— Простите, я забыл. Вы, кажется, не ходите на собрания?

Тут дама справа от миссис Брик благочестиво кашлянула, как будто говоря: «Я хожу!» И в самом деле, она туда ходила чуть ли не каждый день.

— Хорошая была проповедь, сударыня? — спросил мистер Бивен, адресуясь к этой даме.

Дама благочестиво подняла глаза и ответила: «Да». Ее весьма подкрепила добротная, крепкая, энергичная проповедь, которая как нельзя лучше разделывалась со всеми ее приятельницами и знакомыми, бесповоротно решая их судьбу. Кроме того, ее шляпка затмила шляпки всех остальных прихожанок, так что эта дама во всех отношениях обрела душевный покой.

— Какой же курс лекций вы теперь слушаете, сударыня? — сказал друг Мартина, снова обращаясь к миссис Брик.

— Философию духа, по средам.

— А по понедельникам?

— Философию преступления.

— А по пятницам?

— Философию растений.

— Вы забыли «Философию управления» по четвергам, дорогая моя,— заметила третья дама.

— Нет,— сказала миссис Брик,— это по вторникам.

— Совершенно верно! — воскликнула дама.— По четвергам «Философия материи», разумеется.

— Вы видите, мистер Чезлвит, наши дамы очень заняты.

— В самом деле, у вас есть основание так говорить,— ответил Мартин.— Сколько нужно энергии, чтобы совместить эти в высшей степени важные занятия вне дома с семейными обязанностями.

Тут Мартин остановился, увидев, что дамы смотрят на него весьма неблагосклонно, хотя никак не мог понять, что он сделал такого, чтобы заслужить презрительное выражение на их лицах. Но после того как дамы удалились наверх, к себе в спальни, что произошло очень скоро, мистер Бивен объяснил ему, что домашняя работа неизмеримо ниже достоинства этих философствующих дам и что

(в девяноста девяти случаях из ста) ни одна из них не сумела бы выполнить самую легкую работу по хозяйству или сшить что-нибудь простенькое из платья для своих детей.

— Другой вопрос, не лучше ли им было бы вооружиться обыкновенными вязальными спицами, чем таким острым оружием,— сказал он.— Но я могу поручиться за одно: не так часто бывает, чтобы они этим оружием порезались. Проповеди и лекции — это наши балы и концерты. Они ходят туда, чтобы развлечься, посмотреть на туалеты других дам и снова вернуться домой.

— Когда вы говорите «домой», вы имеете в виду такой дом, как вот этот?

— Да. Но я вижу, что вы смертельно устали, и пожелаю вам спокойной ночи. Мы поговорим о ваших планах завтра утром. Вы уже и сейчас, должно быть, чувствуете, что оставаться здесь — значит попусту терять время. Надо ехать дальше.

— Где будет хуже? — спросил Мартин, вспомнив старую пословицу.

— Надеюсь, что нет. Но на сегодня довольно. Спокойной ночи!

Они дружески пожали друг другу руки и разошлись. Как только Мартин остался один, возбуждение от новизны и смены впечатлений, которое поддерживало его весь этот утомительный день, исчезло, и он почувствовал себя таким разбитым и усталым, что у него не было сил даже добраться до постели.

Какая перемена произошла в нем за эти двенадцать или пятнадцать часов! Куда делись его надежды и жизнерадостные планы! Сколь ни чужда была ему земля, на которой он стоял, и воздух, которым он дышал,— припоминая все, что ему пришлось пережить за один этот день, он не мог не почувствовать, что его затея обречена на гибель. Как бы опрометчива и необдуманна ни казалась она подчас на борту парохода, чего никогда не бывало прежде, на берегу,— теперь она представилась ему в таком черном свете, что Мартин испугался. Мысли, которые он призывал себе на помощь, принимали такой унылый, мрачный характер, что не приносили ему облегчения. Даже бриллианты на его пальце сверкали, как капли

слез, и ни одного луча надежды не было в их ярком блеске.

В мрачной задумчивости продолжал он сидеть у печки, не обращая внимания на постояльцев, которые являлись один за другим из своих лавок, контор и соседних баров и, хлебнув воды из белого кувшина, стоявшего на буфете, и повертевшись около медных плевательниц, к которым их влекла магическая сила, тяжелой поступью отправлялись ко сну; он сидел до тех пор, пока Марк Тэпли не подошел и не потряс его за плечо, думая, что он спит.

— Марк! — воскликнул он, вздрогнув.

— Все в порядке, сэр,— отвечал жизнерадостный слуга, снимая пальцами нагар со свечки, которую нес в руке.— Кровать у вас не так-то широка, сэр; и человек, которого не слишком мучит жажда, перед завтраком мог бы выпить без труда всю воду, которую вам принесли для умыванья, а после того — закусить полотенцем. Зато вы нынче будете спать без качки, сэр.

— Мне кажется, что дом как будто плывет по волнам,— сказал Мартин, вставая и пошатываясь,— и я чувствую себя совершенно несчастным.

— Зато я весел, как жаворонок, сэр— сказал Марк.— Да ведь, слава богу, и есть отчего! Мне бы надо было здесь родиться, я так думаю. Шагайте осторожнее,— они поднимались по лестнице.— Вы помните джентльмена на пароходе, сэр, того самого, с очень маленьким сундучком?

— С чемоданчиком? Да.

— Ну, сэр, нынче вечером принесли от прачки чистое белье и положили перед дверями спален. Ежели вы обратите внимание, когда пойдем мимо, на то, как мало у него рубашек и много манишек, вам станет понятно, каким образом он укладывался и почему у него так мало багажа.

Но Мартин был слишком утомлен и угнетен, чтобы обращать внимание на пустяки, и не заинтересовался этим открытием. Мистер Тэпли, нисколько не обескураженный его равнодушием, проводил его наверх, в приготовленную для него спальню — очень маленькую, узкую, комнату с половиной окна, кроватью, похожей на сундук без крышки, двумя стульями, ковриком — вроде тех, на

каких в Англии примеряют башмаки в обувных лавках, маленьким зеркальцем на стене и умывальным столиком с кувшином и тазом, которые можно было принять за молочник и полоскательницу.

— У них тут, должно быть, наводят лоск сухим полотенцем,— сказал Марк.— Верно, страдают водобоязнью, сэр.

— Не снимете ли вы с меня сапоги,— сказал Мартин, падая на стул.— Я совсем разбит, никуда не гожусь, Марк.

— Вы этого не скажете завтра утром, сэр,— возразил мистер Тэпли,— и даже нынче вечером, сэр, после того как попробуете вот это.— Тут он достал большой стакан, наполненный до краев маленькими кубиками чистого, прозрачного льда, сквозь который манили из глубины, восхищая умиленного зрителя, один-два ломтика лимона и золотистая жидкость обольстительного вида.

— Как это называется? — спросил Мартин.

Но мистер Тэпли, не отвечая ничего, погрузил в эту смесь соломинку, приятно зашуршавшую среди кусочков льда, и дал понять выразительным жестом, что восхищенному потребителю полагается тянуть через соломинку.

Мартин взял стакан, удивленно посмотрел на него, потянул через соломинку и сейчас же возвел глаза кверху в полном восторге. Больше он уже не останавливался до тех пор, пока не осушил стакан до последней капли.

— Ну вот, сэр! — сказал Марк с торжествующим видом, принимая у него стакан.— Если вы еще когда-нибудь устанете до смерти, а меня не случится под рукой, вам нужно только попросить кого-нибудь, чтобы сходили за коблером *.

— Чтобы сходили за коблером? — повторил Мартин.

— Это удивительное изобретение, сэр,— сказал Марк, нежно поглаживая пустой стакан,— называется коблер; шерри-коблер — ежели называть полностью, и коблер — сокращенно. Теперь, сэр, вам уже не захочется лечь в сапогах, и вообще вы теперь совсем другой человек во всех отношениях.

После этого торжественного предисловия он принес машинку для снимания сапог.

— Не думайте, я не собираюсь опять впадать в отчаяние, Марк,— сказал Мартин,— но что, если, боже избави, мы застрянем где-нибудь в необитаемой местности, без товаров и без денег!

— Ну что ж, сэр,— отвечал невозмутимый Тэпли,— судя по тому, что мы уже видели, в необитаемой местности нам было бы не хуже, чем в обитаемой.

— О Том Пинч, Том Пинч! — сказал Мартин задумчиво.— Чего бы я не отдал, лишь бы быть рядом с тобой и слышать твой голос, хотя бы и в старой спальне у Пекснифа!

— О «Дракон», «Дракон»! — отозвался Марк жизнерадостно.— Если бы между нами не было моря, да не стыдно было бы возвращаться, и я, может быть, сказал бы то же самое. Только я тут, в Нью-Йорке, в Америке; а ты, «Дракон», в Вильтшире, в Европе; и нам предстоит добывать богатство, «Дракон», для одной молоденькой леди; а уж если ты собрался осмотреть Монумент, «Дракон», нельзя отступать с первых шагов, не то никогда не доберешься доверху!

— Умно сказано, Марк! — воскликнул Мартин.— Нам не следует оглядываться.

— Во всех сказках, какие я читал, сэр, люди, которые оглядываются назад, превращаются в камень,— ответил Марк,— и я всегда был того мнения, что они сами себя до этого довели,— значит, так им и надо. Желаю вам спокойной ночи, сэр, и приятных снов!

— Тогда пускай мне приснится родина,— сказал Мартин, ложась в постель.

— И мне тоже,— прошептал Марк, очутившись у себя в комнате, где его никто не мог слышать,— потому что, если в самом ближайшем будущем не придет такое время, когда быть веселым станет не так-то легко, пропади я пропадом в этой Америке!

Пусть колеблются перед ними и смешиваются тени далеких предметов, принимая фантастические очертания в неверном свете ничем не стесненной мысли, и пусть наше бледное повествование — сон во сне — так же быстро переменит место действия и перенесется на берега Англии.

## ГЛАВА XVIII

***имеет дело с фирмой Энтони Чезлвит и Сын, которая неожиданно теряет одного из компаньонов***

Перемена рождает перемену. Ничто другое не множится с такой быстротой. Когда человек, привыкший к узкому кругу забот и удовольствий, из которого редко выходит, удаляется хотя бы на короткий срок за его пределы, то этот уход со сцены, где он был видным актером, немедленно подает знак к началу беспорядка: как будто в оставленную им пустоту загнан по самую головку клин перемены, расколовший прочное целое на куски; и то, что срасталось и держалось вместе многие годы, рассыпается на части за столько же недель. Мина, которую не спеша подводило время, взорвалась в одно мгновенье; и то, что было недавно твердой скалой, превратилось в пыль и прах.

Это бывает почти со всеми — в разное время и в разной степени. В какой мере естественный закон перемены сказался в той ограниченной жизненной сфере, которую покинул Мартин, будет правдиво изложено на следующих страницах нашего повествования.

— До чего же эта весна холодная! — хныкал старик Энтони, придвигаясь поближе к огню; наступил вечер, и камин опять затопили.— В мое время она была гораздо теплее!

— Теплее или холоднее, а прожигать платье до дыр все-таки незачем,— заметил любезный сын, отрывая глаза от вчерашней газеты.— Сукно не так-то дешево, коли уж на то пошло.

— Добрый сын! — воскликнул отец, дыша на свои холодные руки и с усилием потирая их одна о другую.— Благоразумный сын! Он никогда не занимался такими пустяками, как наряды. Нет, нет!

— Не знаю, может и занимался бы, если б это не стоило денег,— сказал сын, опять принимаясь за газету.

— Ага! — засмеялся старик.— Вот именно — если бы! А все-таки, до чего же холодно!

— Оставьте огонь в покое! — воскликнул мистер Джонас, останавливая руку почтенного родителя, ухватив-

шуюся за кочергу.— Неужели вы хотите разориться на старости лет, что не бережете добро?

— Теперь я уже не успею, Джонас,— отвечал старик.

— Чего не успеете? — прорычал его наследник.

— Не успею разориться. А жаль, что не успею.

— Всегда был эгоист, каких мало, старый хрыч,— пробормотал Джонас так тихо, чтобы Энтони не слышал, и, взглянув на отца, сердито нахмурился.— И тут верен себе. Ему жалко, что он не успеет разориться, вот как! Еще бы! А что его собственная плоть и кровь разорится, до этого ему дела нет, пускай! Ах ты старый кремень!

После этой почтительной речи он взял в руки чашку, ибо происходило чаепитие, в котором участвовали отец с сыном и Чаффи, а затем, пристально глядя на отца и время от времени останавливаясь, чтобы поднести к губам чайную ложку, продолжал в том же духе:

— Разориться, еще чего! Хорош старик, нашел о чем говорить в такие годы. Разориться захотелось, вот как? Ну, скажу я вам! Не успеет? Да, надеюсь, что нет. Если бы мог, он бы и двести лет прожил, и все ему мало. Знаю я его!

Старик вздохнул; он по-прежнему сидел, съежившись перед огнем. Мистер Джонас погрозил ему чайной ложкой из британского металла и, воспарив ввысь, подверг этот вопрос рассмотрению с самых высоконравственных позиций.

— Если уж припала ему такая охота,— ворчал он,— то почему бы не передать свой капитал при жизни? Купил бы себе ренту подешевле, чтобы жить не зря, а с пользой для себя и других. Так нет же, это ему не подходит; это значит относиться к родному сыну как полагается, а он любит делать все наоборот, только бы лишить сына его прав. Да я бы на его месте не знал, куда деваться от стыда, рад был бы спрятаться в это самое, как там оно называется.

Быть может, это неопределенное выражение означало могилу, или склеп, или усыпальницу, или кладбище, или мавзолей, или еще какое-нибудь слово, которое не позволяла мистеру Джонасу выговорить его нежная сыновняя любовь. Он не стал развивать эту тему дальше, ибо Чаффи, случайно заметив из своего уголка возле камина,

что Энтони, по-видимому, слушает, а Джонас говорит, вдруг воскликнул, словно одержимый:

— Он ваш родной сын, мистер Чезлвит, ваш родной сын!

Чаффи и не подозревал, сколь уместны были эти слова и сколь глубоко могли бы они затронуть душу старика, если бы тот догадывался, какое пожелание готово было сорваться с губ его сына и что было у него на уме. Но голос Чаффи прервал течение мыслей Энтони и вернул его к жизни.

— Да, да, Чаффи, Джонас весь в отца. Только его отец очень состарился, Чаффи,— сказал старик с выражением какого-то странного беспокойства.

— Здорово состарился,— согласился Джонас.

— Нет, нет, нет,— отозвался Чаффи,— нет, мистер Чезлвит, нисколько не состарились, сэр.

— Ну, чем дальше, тем хуже! — воскликнул Джонас в совершенном негодовании.— Честное слово, папаша, с ним сладу нет! Придержите-ка язык, слышите?

— Он говорит, что вы ошибаетесь! — крикнул Энтони старому клерку.

— Что вы, что вы! — был ответ Чаффи.— Кому же и знать, как не мне! Это *он* ошибается. *Он* ошибается. Он еще мальчик, вот что он такое. Да и вы, мистер Чезлвит, тоже вроде мальчика. Ха-ха-ха! Вы еще мальчик по сравнению со многими, кого я знал; и против меня вы мальчик; против многих из нас вы мальчик. Не слушайте его!

Произнеся такую удивительную речь,— ибо для Чаффи это был небывалый взрыв красноречия,— бедная дряхлая тень притянула к себе руку хозяина своей дрожащей рукой и придержала ее, словно защищая.

— Я глохну с каждым днем, Чаффи,— сказал Энтони со всей мягкостью, на какую только был способен, или, говоря точнее, без обычной своей черствости.

— Нет, нет,— отозвался Чаффи,— вы не глохнете! Да и что тут такого? Я вот уже двадцать лет как глухой.

— Я и слепну тоже,— сказал старик, качая головой.

— Это хороший знак! — воскликнул Чаффи.— Ха-ха! Лучше быть не может! Вы слишком хорошо видели раньше.

Он похлопал Энтони по руке, как делают, утешая ребенка, и, продев его руку еще дальше под свою, помахал дрожащими пальцами в ту сторону, где сидел Джонас, точно желая отмахнуться от него. Но Энтони сидел все так же молча и неподвижно, и Чаффи мало-помалу выпустил его руку и забился в обычный свой закоулок и только время от времени протягивал пальцы и тихонько трогал сюртук своего старого хозяина, словно желая увериться, что он все еще тут, рядом.

Мистер Джонас был до такой степени поражен всем этим, что только глазел на обоих стариков, пока Чаффи не впал в обычное свое состояние, а Энтони не задремал, и лишь тогда он дал выход своим чувствам, подойдя вплотную к первому из них и приготовившись, как говорится в просторечии, дать ему по затылку.

«У них эта игра ведется,— угрюмо подумал Джонас,— вот уже недели две или три. Я никогда не видел, чтобы папаша так с ним носился, как в последнее время. Вот оно что! Охотитесь за наследством, мистер Чафф? А?»

Но Чаффи так же мало догадывался об этих мыслях Джонаса, как и о близости кулака, любовно нависшего над самым его ухом. Джонас глядел на Чаффи грозным взглядом и, наглядевшись досыта, взял со стола свечу, прошел в застекленную комнатку и достал из кармана связку ключей. Одним из этих ключей он открыл секретный ящик бюро, то и дело оглядываясь, чтобы удостовериться, сидят ли оба старика по-прежнему перед огнем.

— Все по-старому, как следует,— сказал Джонас, придерживая лбом открытую крышку бюро и развертывая какую-то бумагу.— Вот завещание, мистер Чафф. Тридцать фунтов в год на ваше содержание, старина, а все остальное — единственному сыну моему Джонасу. Незачем вам так уж лезть из кожи, доказывая свою любовь; ровно ничего вы за это не получите. Что это такое?

*Это* действительно могло испугать: чье-то лицо из-за стеклянной перегородки с любопытством заглянуло внутрь, и не на Джонаса, а на бумагу в его руке. Чьи-то глаза были внимательно устремлены на завещание и оторвались от него, только когда Джонас вскрикнул. Тут они

встретились с глазами мистера Джонаса, и оказалось, что они как нельзя более похожи на глаза мистера Пекснифа.

Выпустив из рук крышку бюро, упавшую с грохотом, однако же не позабыв запереть его на ключ, Джонас глядел на привидение, весь бледный и едва дыша. Привидение шагнуло вперед, открыло дверь и вошло.

— В чем дело? — воскликнул Джонас, отступая назад.— Кто это? Откуда вы явились? Что вам нужно?

— Что нужно? — откликнулся голос мистера Пекснифа, и сам мистер Пексниф любезно улыбнулся Джонасу.— Нужно, мистер Джонас?

— Что вы тут вынюхиваете и высматриваете? — сердито сказал Джонас.— Для чего это вы ни с того ни с сего являетесь в город и застаете человека врасплох? Неужто человек не может читать... газету у себя в конторе, без того чтоб его не напугали до полусмерти, ворвавшись без предупреждения? Почему вы не постучались в дверь?

— Я стучался, мистер Джонас,— ответил Пексниф,— но никто меня не услышал. Мне любопытно было знать,— мягко прибавил он, кладя руку на плечо Джонасу,— что именно в газете так заинтересовало вас, но стекло слишком мутное и пыльное.

Джонас поторопился взглянуть на стеклянную перегородку. Да, стекло было довольно мутное. Как будто бы не врет покуда.

— Может быть, это были стихи? — спросил мистер Пексниф, добродушно-шутливо потрясая указательным перстом.— Или политика? Или биржевые цены? Везде расчет, везде материальный расчет, мистер Джонас, как я подозреваю.

— Вы почти угадали,— отвечал Джонас, придя в себя и снимая нагар со свечи.— Но за каким чертом вас опять принесло в Лондон? Ей-богу, есть от чего остолбенеть, когда человек должен быть миль за семьдесят, а оказывается тут как тут и глядит на вас во все глаза.

— Совершенно верно,— сказал мистер Пексниф.— Несомненно, дорогой мистер Джонас. Покуда ум человеческий устроен так...

— А ну его совсем, ум человеческий,— нетерпеливо прервал его Джонас,— скажите лучше, зачем вы приехали?

— По одному маленькому дельцу,— сказал мистер Пексниф,— которое подвернулось совершенно неожиданно.

— О, только и всего? — воскликнул Джонас.— Ну, вот что, папаша тут, в соседней комнате. Эй, папаша, Пексниф здесь! Со дня на день все больше дуреет,— проворчал Джонас, энергично встряхивая своего почтенного родителя.— Говорят вам, Пексниф здесь, бестолочь вы этакая!

Встряска в соединении с этим ласковым увещанием оказала свое действие и разбудила старика, который приветствовал мистера Пекснифа посмеиваясь — отчасти потому, что действительно был рад его видеть, отчасти же движимый немеркнущим воспоминанием о том, как он обозвал сего джентльмена лицемером. Так как мистер Пексниф еще не пил чая (он и в самом деле прибыл в Лондон всего час назад), то ему тут же были поданы в качестве угощения остатки недавней трапезы с добавлением ломтика грудинки. Мистер Джонас, у которого было деловое свидание на соседней улице, отправился туда, пообещав вернуться, прежде чем его уважаемый родственник кончит закусывать.

— А теперь, многоуважаемый,— сказал мистер Пексниф старику,— пока мы с вами одни, скажите мне, чем я могу быть вам полезен? Я говорю «одни», потому что наш дорогой друг, мистер Чаффи, представляет собой, так сказать, манекен в метафизическом смысле,— заключил мистер Пексниф со сладчайшей улыбкой и склонив голову набок.

— Он нас не слышит и не видит,— ответил Энтони.

— В таком случае,— сказал мистер Пексниф,— я беру на себя смелость утверждать, при всем сочувствии к его недугам и при всем восхищении теми прекрасными качествами, которые делают равную честь как его уму, так и сердцу, что он именно манекен или болван, выражаясь юмористически. Вы хотели заметить, многоуважаемый...

— Насколько мне известно, никаких замечаний я делать не собирался,— отвечал старик.

— Зато я собирался,— кротко сказал мистер Пексниф.

— Ах, вы собирались? Что же именно?

— Что никогда в жизни,— сказал мистер Пексниф, предварительно встав и убедившись, что дверь закрыта, а после того переставив свой стул так, чтобы сразу увидеть, как только дверь приоткроется хоть немного,— что никогда в жизни я не был так удивлен, как получивши вчера ваше письмо. Уже то, что вы пожелали оказать мне честь просить моего совета по какому бы то ни было делу, было мне удивительно; но то, что вы пожелали при этом действовать без ведома мистера Джонаса, доказывает степень вашего доверия к человеку, которому вы нанесли словесное оскорбление — только словесное — и которое вы впоследствии постарались загладить,— вот этим я был польщен и даже тронут, это сразило меня.

Мистер Пексниф всегда говорил гладко, но эту коротенькую речь произнес особенно гладко, положив немало труда на ее сочинение еще в дилижансе.

Хотя он ожидал ответа и не солгал, сказав, что приехал по просьбе Энтони, старик глядел на него в совершенном молчании, с ничего не выражающим лицом. По-видимому, он не имел ни малейшего желания продолжать разговор, хотя мистер Пексниф поглядывал на дверь и вытаскивал часы и другими способами намекал на то, что времени у них в обрез и Джонас скоро вернется, если сдержит слово. Но самым странным в этом странном поведении было то, что вдруг, в одно мгновение, так быстро, что невозможно было проследить или подметить какую-нибудь перемену, черты Энтони приняли прежнее выражение, и он воскликнул, яростно ударив кулаком по столу, как будто бы совсем не было никакой паузы:

— Да замолчите же, сэр, и дайте мне говорить!

Мистер Пексниф смиренно склонил голову и заметил про себя: «Я сразу увидел, что рука у него переменилась и почерк нетвердый. Я так и сказал вчера. Гм! Боже ты мой!»

— Джонас неравнодушен к вашей дочке, Пексниф,— сказал старик своим обыкновенным тоном.

— Если припомните, сэр, мы говорили об этом у миссис Тоджерс,— возразил учтивый архитектор.

— Вам не для чего кричать так громко,— отвечал старик.— Я вовсе не до такой степени глух.

Мистер Пекснифф и в самом деле сильно возвысил голос: не столько потому, что считал Энтони глухим, сколько будучи убежден, что его умственные способности порядком притупились; но этот быстрый отпор его деликатному приступу весьма смутил мистера Пекснифа, и, не зная, чего теперь держаться, он опять склонил голову, еще более смиренно, чем прежде.

— Я сказал,— повторил старик,— что Джонас неравнодушен к вашей дочери.

— Прелестная девушка, сэр,— пробормотал мистер Пекснифф, видя, что старик ждет ответа.— Милая девушка, мистер Чезлвит, хотя мне и не следовало было этого говорить.

— Опять притворство! — воскликнул старик, вытягивая вперед свою сморщенную шею и подскакивая в кресле.— Вы лжете! Не можете вы без лицемерия, такой уж вы человек!

— Многоуважаемый...— начал мистер Пекснифф.

— Не зовите меня многоуважаемым,— возразил Энтони,— и сами не претендуйте на это звание. Если б ваша дочь была такова, как вы меня уверяете, она не годилась бы для Джонаса. Но такая, какая есть, она ему подойдет, я думаю. Он может ошибиться в выборе — возьмет такую жену, которая начнет вольничать, наделает долгов, пустит по ветру его имущество. Так вот, когда я умру...

Его лицо так страшно изменилось при этих словах, что мистер Пекснифф невольно отвел взгляд в сторону.

— Мне тяжелее будет узнавать про такие дела, чем при жизни; терпеть мучения за то, что копил и приобретал, в то время как накопленное выбрасывается за окно, было бы невыносимой пыткой. Нет,— хриплым голосом произнес старик,— сберечь хоть это, хоть что-нибудь удержать и спасти, после того как загубил так много.

— Дорогой мой мистер Чезлвит,— сказал Пекснифф,— это болезненные фантазии, совершенно излишние, сэр, и, конечно, совершенно неосновательные. Дело в том, многоуважаемый, что вы не совсем здоровы!

— Однако не умираю еще! — вскричал старик, ощетинившись, как дикий зверь.— Нет! Жизни во мне хватит еще на годы! Да вот, взгляните на него,— указал он на

своего дряхлого клерка.— Может ли смерть пройти мимо него и скосить меня?

Мистер Пексниф так боялся старика и до такой степени был поражен тем состоянием, в котором его застал, что совсем растерялся и не мог даже припомнить ни одного обрывка из того большого запаса нравственных поучений, который хранился в его памяти. И потому он пробормотал, что, конечно, гораздо справедливее и приличнее было бы мистеру Чаффи умереть первым,— впрочем, по всему, что он слышал о мистере Чаффи, и по всему, что знает о нем из личного знакомства, он глубоко убежден, что этот джентльмен и сам поймет, насколько приличнее для него будет умереть, по возможности не мешкая.

— Подите сюда! — сказал старик, кивком подзывая его ближе.— Джонас будет моим наследником, Джонас будет богачом и выгодной партией для вас. Вы знаете, Джонас неравнодушен к вашей дочке.

«Это я тоже знаю,— подумал мистер Пексниф,— потому что частенько слышал это от тебя».

— Он мог бы получить больше денег, чем вы дадите за ней,— продолжал старик,— зато она поможет ему сберечь то, что у них будет. Она не слишком молода и не ветрена, из крепкой, дельной, прижимистой семьи. Только не финтите слишком. Она его держит на ниточке, и если очень туго натянуть (я знаю его характер), то ниточка оборвется. Вяжите его, пока он поддается, Пексниф, вяжите его. Вы слишком хитры. Уж очень издалека вы его завлекаете. Ах вы хитрец! Неужели я с самого начала не видел, как вы закидывали удочку?

«Хотел бы я знать,— думал мистер Пексниф, глядя на него с удрученным видом,— все ли это, что он хочет сказать?»

Старик потер руки и что-то пробормотал про себя; пожаловался, что ему холодно; придвинул кресло поближе к огню и, усевшись спиной к мистеру Пекснифу и опустив голову на грудь, через какую-нибудь минуту перестал обращать внимание на своего гостя или же вовсе позабыл о его присутствии.

Как ни бестолково и малоудовлетворительно было это краткое свидание, оно все же дало мистеру Пекснифу на-

мек, который вполне вознаградил его за путешествие туда и обратно, даже если бы ничего больше не было ему сообщено. Ибо достойный джентльмен еще не имел случая проникнуть в глубину натуры мистера Джонаса, и любой рецепт, как заполучить такого зятя (а тем более рецепт за подписью родного отца), был тут очень кстати. Для того чтобы не упустить случая воспользоваться такой прекрасной возможностью и не дать Энтони заснуть перед огнем, прежде чем он выскажется до конца, мистер Пексниф, расправляясь с угощением, стоявшим на столе,— работа, к которой он приступил теперь вплотную,— пускался на всякого рода хитроумные уловки, чтобы привлечь его внимание; чихал, стучал чашками, точил ножи, ронял хлеб и т. д. Но все это напрасно, ибо Джонас вернулся, а старик так и не сказал ничего больше.

— Как! Папаша опять спит? — воскликнул Джонас, вешая свою шляпу и бросая взгляд на отца.— А! Еще и храпит. Послушайте только!

— Он очень сильно храпит,— сказал мистер Пексниф.

— Сильно храпит! — повторил мистер Джонас.— Да, это по его части. Он всегда способен храпеть за шестерых.

— Знаете ли, мистер Джонас,— сказал Пексниф,— мне кажется, ваш отец — только не тревожьтесь — угасает.

— Ну, что вы? — отвечал Джонас, тряхнув головой, в знак того, что это замечание отнюдь не застает его врасплох.— Ей-богу, вы не знаете, какой он крепкий. И не собирается даже.

— Меня поразило, как сильно он изменился и по внешности и по обхождению.

— Ничего вы не знаете,— возразил Джонас, усаживаясь на место с меланхолическим видом.— Он никогда не чувствовал себя лучше. Ну, как там у вас дома? Как Чарити?

— Цветет, мистер Джонас, цветет.

— А та, другая,— она как?

— Ветреная шалунья! — произнес мистер Пексниф с задумчивой нежностью.— Она здорова, она здорова. Летает, как пчелка, из гостиной в спальню, мистер Джонас,

порхает, как бабочка, туда и сюда, окунает свой носик в смородинное вино, как колибри! Ах, если б она была немножко менее ветрена и обладала бы солидными достоинствами Черри, молодой мой друг!

— Разве она такая уж ветреная? — спросил Джонас.

— Ну, ну! — сказал мистер Пексниф с большим чувством.— Не буду слишком суров к моей родной дочери. Но по сравнению со своей сестрой Чарити она кажется ветреной. Какой странный шум, мистер Джонас!

— Что-нибудь в часах испортилось, должно быть,— сказал Джонас, взглянув на часы.— Значит, не та, другая, ваша любимица — так, что ли?

Любящий отец собирался что-то ответить и уже придал своему лицу самое чувствительное выражение, когда услышанный им звук повторился.

— Честное слово, мистер Джонас, это какие-то необыкновенные часы,— сказал Пексниф.

Они и вправду были бы необыкновенные, если бы производили этот странный шум, но завод кончался в другого рода часах, и звук исходил от них. Крик Чаффи, казавшийся во сто крат громче и страшнее по сравнению с обычной его молчаливостью, огласил весь дом от чердака до подвала; и, оглянувшись, они увидели Энтони Чезлвита, распростертого на полу, а старого клерка на коленях рядом с ним.

Энтони упал с кресла в судорогах и лежал, борясь за каждый глоток воздуха; и все старческие вены и сухожилия на его шее и руках обозначились с особенной резкостью, словно свидетельствуя о его возрасте и, в тяжбе с природой, беспощадно требуя ему смерти. Страшно было видеть, как жизненное начало, заключенное в его дряхлом теле, рвется вон, словно нечистый дух, просясь на свободу и ломая свою темницу. Тяжело было бы смотреть и на молодого человека в расцвете лет, если бы он бился с такой отчаянной силой; но старое, дряхлое, истощенное тело, наделенное сверхъестественной мощью и каждым движением противоречащее своему видимому бессилию, представляло поистине страшное зрелище.

Они подняли его и со всей поспешностью послали за врачом, чтобы тот пустил больному кровь и дал лекар-



ство; но припадок длился так долго, что только после полуночи его уложили в постель, притихшего, но без сознания и измученного.

— Не уезжайте,— прошептал Джонас, наклоняясь через кровать и приближая землистые губы к уху мистера Пекснифа.— Счастье еще, что вы были тут. Кто-нибудь может сказать, что это моих рук дело.

— Ваших рук дело? — воскликнул мистер Пексниф.

— Кто его знает, а вдруг скажут,— отвечал Джонас, вытирая пот с бледного лица.— Бывает ведь, что говорят. Как он теперь выглядит?

Мистер Пексниф покачал головой.

— Я иногда шутил, знаете ли,— сказал Джонас,— но я... я никогда не желал ему смерти. Как вы думаете, он очень плох?

— Доктор сказал, что плох. Вы же слышали,— ответил мистер Пексниф.

— А! Но это он мог сказать для того, чтобы содрать с нас побольше, в случае если больной поправится,— сказал Джонас.— Не уезжайте, Пексниф. Раз до этого дошло, я теперь и за тысячу фунтов не останусь без свидетелей.

Чаффи не сказал ни слова и не слыхал ни слова. Он опустился на стул возле кровати и больше уже не вставал — разве только иногда наклонял голову к подушке и словно прислушивался. Так он и сидел неподвижно, хотя однажды в эту унылую ночь мистер Пексниф очнулся от дремоты со смутным впечатлением, что слышит искаженные слова молитвы, к которым странным образом примешиваются какие-то вычисления.

Джонас тоже просидел с ними всю ночь; однако не там, где отец мог бы увидеть его, придя в сознание, но как бы прячась за его спиной и только по глазам мистера Пекснифа угадывая его состояние. Он, грубый деспот, который так долго командовал всем домом,— боялся пошевельнуться, как трусливый пес, и дрожал так, что колебалась самая тень его на стене!

Был уже ясный солнечный шумный день, когда они сошли к завтраку, оставив старого клерка возле больного. Люди сновали взад и вперед по улицам, открывались окна и двери, воры и нищие выходили на промысел,

рабочие принимались за дело, торговцы отпирали лавки, полисмены и констебли стояли на страже; все люди, кто бы они ни были, по-своему боролись за жизнь, но не более упорно, чем один этот больной старик, воевавший за каждую песчинку в быстро пустеющих часах с таким ожесточением, словно это была целая империя.

— Если что-нибудь случится, Пекснифф,— сказал Джонас,— обещайте мне остаться здесь до конца. Вы увидите, я сделаю все как полагается.

— Я знаю, что вы сделаете все как полагается, мистер Джонас.

— Да, да, я не желаю, чтобы меня подозревали. Ни у кого не будет возможности сказать против меня хотя бы слово,— возразил тот.— Я знаю, люди будут болтать... Как будто он не стар и я каким-то чудом мог сохранить ему жизнь.

Мистер Пекснифф пообещал, что останется, если, на взгляд его уважаемого друга, обстоятельства потребуют этого. Они молча доканчивали завтрак, когда перед ними предстало видение, такое страшное, что Джонас громко вскрикнул и оба они отшатнулись в ужасе.

Старый Энтони, одетый в обычное платье, стоял в комнате возле стола. Он опирался на плечо своего единственного друга, и на его мертвенном лице, на окоченевших руках, в его тусклых глазах, начертанное перстом вечности даже в капельках пота на его лбу, стояло одно слово — смерть!

Он заговорил с ними — голосом, похожим на обычный, но неживым и резким, как черты мертвеца. Одному богу известно, что он хотел сказать. Он как будто произносил слова, но такие, каких никогда не слыхал человек. И это было страшнее всего — видеть, как он стоит, бормоча что-то на нечеловеческом языке.

— Ему лучше,— сказал Чаффи,— ему лучше. Посадите его по-старому в кресло, и он опять будет здоров. Я говорил ему, чтоб он не обращал внимания. Еще вчера говорил.

Они посадили его в кресло и подкатили поближе к окну; потом, распахнув дверь настежь, дали вольному утреннему воздуху овеять его. Но ни весь воздух, какой только есть на свете, ни все ветры, какие веют между

небом и землей, не могли бы вдохнуть в него новую жизнь.

Хотя бы его зарыли по самое горло в золотые монеты, его окостеневшим пальцам не удержать более ни одной.

## ГЛАВА XIX

*Читатель заводит знакомство с некоторыми лицами свободных профессий и проливает слезы над сыновней преданностью доброго мистера Джонаса*

Мистер Пексниф разъезжал по городу в наемном кабриолете, ибо Джонас Чезлвит велел ему «не стесняться в расходах». Люди склонны думать дурно о своем ближнем и подозревать его в самых низменных побуждениях, а потому Джонас решил не подавать к этому ни малейшего повода. Пускай никто не посмеет обвинять его в том, что он пожалел денег на отцовские похороны. Вот почему впредь до окончания траурной церемонии Джонас избрал своим девизом: «Денег не жалеть!»

Мистер Пексниф уже побывал у гробовщика и теперь был на пути к другому должностному лицу по той же части, но на этот раз женского пола — сиделке, няньке и исполнительнице разных безыменных услуг при покойниках, рекомендованной тем же гробовщиком. Ее фамилия, как установил мистер Пексниф по клочку бумаги, который держал в руке, была Гэмп, местожительство — Кингсгейт-стрит, Верхний Холборн. И потому мистер Пексниф трясся в наемном экипаже по булыжникам Холборна, разыскивая миссис Гэмп.

Она снимала квартиру у продавца птиц, через один дом от лавочки, которая славилась пирожками с бараниной, и как раз напротив кошачьей мясной. Репутация этих двух заведений поддерживалась на должной высоте соответствующими вывесками. Домик был маленький, но тем более удобный, потому что миссис Гэмп, которая была сиделкой по своему высокому призванию, или, как смело утверждала ее вывеска, «повивальной бабкой».

жила во втором этаже, окнами на улицу, и ее нетрудно было разбудить во всякое время ночи, бросая в окно камешки или черепки разбитой трубки, или же стуча в него тростью; все это действовало гораздо лучше, чем дверной молоток, который был устроен так, что будил всю улицу и даже поднимал по всему Холборну пожарную тревогу, не производя ни малейшего впечатления в том доме, к которому имел прямое отношение.

На этот раз случилось так, что миссис Гэмп не ложилась спать всю ночь, присутствуя при той церемонии, которую кумушки называют одним словом, всего лишь в двух слогах выражающим проклятие, тяготеющее над сынами Адама. Случилось так, что миссис Гэмп была нанята не на все время, а приглашена в качестве знаменитости в самую критическую минуту, на помощь другой даме той же специальности; оттого и вышло, что, как только все самое интересное кончилось, миссис Гэмп вернулась домой и снова улеглась в постель. Так что когда мистер Пекснифф подъехал к дому в кабриолете, оконные занавески у миссис Гэмп были задернуты, а за ними крепко спала сама миссис Гэмп.

Если бы продавец птиц был дома, как полагалось, беда была бы еще не так велика; но он куда-то ушел, и лавчонка его была заперта. Ставни, конечно, были открыты, и за каждым оконным стеклом по крайней мере одна малюсенькая птичка в малюсенькой клеточке щебетала и прыгала, исполняя коротенький балет отчаяния, и билась головой о потолок; да один несчастный щегол, живущий на свежем воздухе перед красной виллой с его именем на входных дверях, качал воду себе на питье, без слов умоляя какого-нибудь доброго человека бросить ему в корытце на фартинг отравы. Однако дверь дома была заперта. Мистер Пекснифф подергал щеколду, потолкал дверь, причем надтреснутый колокольчик издал самый унылый звон; и все же никто не явился. Продавец птиц был также и брадобрей, а также и модный парикмахер; может быть, за ним специально прислали из аристократической части города и он ушел брить какого-нибудь лорда или завивать и причесывать какую-нибудь леди; так или иначе, здесь, в собственной резиденции, его не было, не оставалось даже никаких ощутимых следов его



MIDWIFE
HAIR DRESSER
THE
PIES

присутствия, которые могли бы помочь воображению посетителя, кроме одной профессионального содержания гравюры, или эмблемы его призвания, излюбленной среди его коллег, которая изображала весьма развязного парикмахера, завивающего даму в весьма изысканном туалете перед большим открытым фортепьяно.

Сообразив все эти обстоятельства, мистер Пекснифф в простоте души взялся было за дверной молоток, но при первом же двойном ударе из каждого окна по всей улице высунулась женская голова; и не успел мистер Пекснифф постучаться еще раз, как целые полчища матрон (из которых многие и сами должны были в скором времени побеспокоить миссис Гэмп) сбежались к крыльцу, крича в один голос и с необычайным воодушевлением:

— В окно стучите, сударь, стучите в окно! Господь с вами, не теряйте вы даром времени, постучите в окно!

Действуя согласно этому совету и позаимствовав для такого случая кнут у извозчика, мистер Пекснифф в ту же минуту произвел погром среди цветочных горшков на подоконнике второго этажа и разбудил миссис Гэмп, которая откликнулась к величайшему удовольствию всех присутствующих матрон: «Иду, иду!»

— Бледный, как мучная булка,— заметила одна из дам, намекая на мистера Пексниффа.

— Ну, а как же иначе? Должен чувствовать, если он человек,— отозвалась другая.

Третья дама, скрестив руки на груди, заметила, что он пришел за миссис Гэмп совсем не вовремя, ну да уж у *нее* всегда так получается.

Мистер Пекснифф почувствовал себя весьма неловко, когда понял из этих замечаний, что цель его визита была связана, как предполагалось, не с уходом из жизни, а как раз наоборот — со вступлением в нее. Сама миссис Гэмп была, по-видимому, того же мнения, ибо, открыв окно и торопливо облачаясь, крикнула из-за занавески:

— Это не от миссис Перкинс?

— Нет! — сухо отозвался мистер Пекснифф.— Совсем не в том дело.

— Как, значит это мистер Уилкс! — воскликнула миссис Гэмп.— Лучше и не говорите, что это вы, мистер

Уилкс, ведь у бедняжки миссис Уилкс хоть бы подушечка для булавок была готова. Лучше и не говорите, что это вы!

— Это не мистер Уилкс,— отвечал Пексниф.— Я его даже не знаю. Совсем не в том дело. Умер один джентльмен, и так как нужно было позвать кого-нибудь в дом, то мистер Моулд, гробовщик, и посоветовал обратиться к вам.

Будучи уже в состоянии показаться публике, миссис Гэмп, у которой на каждый случай было особое выражение лица, выглянула в окно с похоронной физиономией и сообщила, что сию минуту спустится вниз. Однако матроны весьма оскорбились тем, что миссия мистера Пекснифа оказалась такой неинтересной, и дама со скрещенными на груди руками отчитала его в самых сильных выражениях, заметив при этом, что ей хотелось бы знать, чего ради он пугает слабого здоровья женщин «своими покойниками», и выразила мнение, что такой образине, как он, не мешало бы быть умнее. Прочие дамы тоже не ударили в грязь лицом, изъявляя свои чувства, а мальчишки, которых собралось теперь до полусотни, отчаянно улюлюкали и дразнили мистера Пекснифа. Так что, когда в дверях появилась миссис Гэмп, растерявшийся джентльмен был рад-радехонек впихнуть ее без особых церемоний в кабриолет и двинулся в путь, совершенно подавленный такими проявлениями народного гнева.

Миссис Гэмп взяла с собой большой узел, пару деревянных башмаков и невероятных размеров зонтик; этот зонтик был весь цвета увядших листьев, кроме верхушки, на которую очень искусно была положена круглая ярко-голубая заплата. Миссис Гэмп совсем запыхалась, собираясь наспех, и, вероятно, плохо представляла себе, что такое кабриолет, путая его с почтовой каретой или дилижансом, потому что вначале она все пыталась просунуть свой узел в маленькое окошечко впереди, требуя, чтобы кучер положил вещи «в багажный ящик». Расставшись, наконец, с этой мыслью, она всем существом предалась заботам о своих деревянных башмаках, беспрестанно тыча их в ноги мистеру Пекснифу. И только когда они уже подъезжали к дому скорби, миссис Гэмп достаточно успокоилась, чтобы заметить:

— Так, значит, старичок-то помер! Ах ты жалость какая! — Она не знала даже, как его зовут.— Ну, что ж, все мы там будем. От этого не уйдешь — что умереть, что родиться; только тут уж никак не высчитаешь, когда оно придется. Ах он бедненький!

Миссис Гэмп была толстая старуха с хриплым голосом и слезящимися глазами, которые она умела закатывать самым невероятным образом, так что виднелись одни только белки. Шея у нее была очень короткая, и потому ей стоило немалых трудов глядеть выше себя, если можно так выразиться, то есть на тех, с кем она разговаривала. Она носила сильно порыжевшее черное платье, порядком запачканное нюхательным табаком, а также шаль и чепец под стать этому платью. Миссис Гэмп давным-давно взяла себе за правило облачаться в этот изрядно заношенный туалет для таких оказий, как нынешняя: этим она в одно и то же время выказывала уважение к покойнику, в меру своих возможностей, и намекала его родным на то, что не мешало бы подарить ей новое черное платье; и призыв этот почти никогда не оставался без ответа, так что двойников миссис Гэмп в полном облачении, включая чепец и все остальное, можно было видеть в любое время дня чуть ли не в десятке лавчонок Холборна, торгующих старьем. Лицо миссис Гэмп, в особенности нос, отличалось некоторой краснотой и припухлостью, и, беседуя с ней, трудно было не почувствовать, что от нее попахивает спиртным. Как и многие знаменитости, достигшие высоких степеней в своей профессии, она очень любила свое дело, до того даже, что, вопреки естественному, казалось бы, для женщины пристрастию, с одинаковым удовольствием и усердием обмывала покойников и принимала младенцев.

— Ах ты жалость какая! — повторила миссис Гэмп, по опыту зная, что в таких прискорбных случаях самое лучшее — ахать.— Ах, боже ты мой! Еще когда мой Гэмп приказал долго жить, помню, как увидела я его в больнице, с медной монеткой на каждом глазу, с деревянной ногой под мышкой,— ну, думаю, сейчас упаду в обморок. А ведь вот не упала же.

Если можно было хоть сколько-нибудь верить слухам, ходившим по Кингсгейт-стрит, миссис Гэмп и в самом

деле держалась тогда с похвальной твердостью и проявила такую необычайную силу духа, что даже пожертвовала останки мистера Гэмпа для пользы науки. Справедливости ради следует добавить, что все это произошло лет двадцать тому назад, а супруги Гэмп расстались еще того раньше — по причине полного несходства характеров в пьяном виде.

— С тех пор, я думаю, вы утешились? — заметил мистер Пекснпф.— Привычка — вторая натура, миссис Гэмп.

— Хорошо вам говорить вторая натура, сэр,— возразила она.— Спервоначалу вот как трудно приходится, да и потом бывает не легче. Если бы я не подкреплялась иной раз глоточком спиртного (я ведь только пробую, не больше того), мне бы никогда в жизни не выдержать. «Миссис Гаррис,— говорю я, это в последний раз что я была на практике; она совсем еще молоденькая женщина,— миссис Гаррис, говорю я, оставьте бутылку на камине и не угощайте меня, не надо, пускай лучше я сама промочу горло, когда мне захочется, тогда уж я все сделаю, за что взялась, уж постараюсь для вас, приложу все силы».— «Миссис Гэмп,— говорит она мне,— если только можно найти трезвого поведения женщину за восемнадцать пенсов в день для простонародья и за три шиллинга шесть пенсов для господ — за ночное дежурство плата особая,— тут миссис Гэмп несколько возвысила голос,— то вы и есть эта неоцененная особа!» — «Миссис Гаррис,— говорю я ей,— и не заикайтесь насчет платы; кабы я была богатая, я бы всех своих ближних обмывала даром, и даже с радостью,— так я их люблю. Одно только я всегда говорю тому, кто в доме распоряжается, все равно мужчина это или женщина,— тут она покосилась одним глазом на мистера Пекснифа,— лучше и не просите меня выпить, и не угощайте, не надо, лучше оставьте бутылку на камине, а я уж сама пригублю капельку, когда захочу».

Заключение этой прочувствованной речи пришлось уже возле самого дома. В коридоре их встретил гробовщик, мистер Моулд, коротенький лысый человечек пожилых лет, в черном костюме, с записной книжкой в руках, с толстой золотой цепочкой, распущенной по жилету, и

с несколько странным выражением лица, на котором попытка выразить печаль боролась с довольной улыбкой, отчего он походил на человека, который, смакуя превосходное старое вино, делает вид, будто пьет горькое лекарство.

— Ну-с, миссис Гэмп, как ваше здоровье, моя дорогая? — спросил джентльмен тихим голосом, таким же вкрадчивым, как и его походка.

— Ничего себе, благодарю вас, сэр,— отвечала она, приседая.

— Вы уж постарайтесь, миссис Гэмп. Это ведь не то что какой-нибудь обыкновенный случай. Чтобы все было как нельзя приличнее и как нельзя утешительнее, миссис Гэмп; так что вы уж, пожалуйста, постарайтесь,— сказал гробовщик, значительно кивая головой.

— Ладно, ладно, сэр,— отвечала миссис Гэмп, снова приседая.— Надеюсь, вы не первый день меня знаете.

— Ну еще бы, как не знать, миссис Гэмп,— отвечал ей гробовщик. Миссис Гэмп еще раз присела.— Это такой выдающийся случай,— продолжал гробовщик, обращаясь к мистеру Пекснифу,— каких я за всю мою практику просто не видывал.

— Вот как, мистер Моулд? — отозвался мистер Пексниф.

— Такой безутешной печали, сэр, я еще ни в ком не замечал. В расходах мне приказано не стесняться, совершенно не стесняться,— говорил он, округляя глаза и приподнимаясь на цыпочки.— Мне приказано, мистер Пексниф, чтобы в процессии участвовали все мои плакальщики, а плакальщики нынче дороги, сэр, не говоря уже о том, сколько они выпьют. Приказано поставить на гроб ручки накладного серебра самые дорогие, с херувимскими головками самых модных фасонов. Приказано, чтобы катафалк утопал в перьях. Короче говоря, сэр, чтобы была роскошь в полном смысле слова.

— Прекрасный человек мистер Джонас! — заметил мистер Пексниф.

— Много я видел на своем веку почтительных сыноней, сэр,— отвечал ему гробовщик,— да и непочтительных тоже. Таков наш удел. Поневоле узнаешь семейные тайны. Но такой почтительности, чтобы она делала честь

нашей природе, чтобы душа примирялась с миром, в котором мы живем, мне еще не доводилось видеть. Это только доказывает то, что было так справедливо замечено блаженной памяти автором театральных пиес,— погребенным в Стрэтфорде, сэр *,— а именно, что нет худа без добра.

— Весьма приятно слышать это от вас, мистер Моулд,— заметил мистер Пексниф.

— Вы очень любезны, сэр. А какой человек был покойный мистер Чезлвит! Ах, какой человек! Что там все ваши лорд-мэры,— пренебрежительно отмахиваясь, продолжал мистер Моулд,— ваши шерифы, ваши муниципальные советники, что там вся эта мишура! Вы покажите мне в этом городе человека, который был бы достоин надеть сапоги покойного мистера Чезлвита. Нет, нет! — воскликнул Моулд с горькой иронией.— Повесьте эти сапоги, повесьте на гвоздик, почините их, подкиньте новые подметки и подбейте каблуки, чтобы его сын мог надеть их, когда войдет в лета; но не примеряйте их сами, они вам не годятся. Мы его знали,— продолжал Моулд все тем же тоном, пряча в карман записную книжку,— мы его знали, и нас на мякине не проведешь. Мистер Пексниф, позвольте пожелать вам всего лучшего, сэр.

Мистер Пексниф ответил ему тем же, и Моулд, гордясь, что не ударил в грязь лицом, направился было к выходу, приятно улыбаясь, но тут же спохватился, к счастью, что обстоятельствами требуется совершенно иное. Мгновенно возвратившись к унынию, он горестно вздохнул, заглянул в тулью своей шляпы, словно ища там утешения, и, не найдя ровно ничего, с достоинством удалился.

Миссис Гэмп с мистером Пекснифом поднялись наверх по лестнице, и, после того как он проводил ее в спальню, где лежали накрытые простыней останки Энтони Чезлвита, которого оплакивало одно только любящее сердце, да и в том едва теплилась жизнь,— мистер Пексниф, наконец, освободился и мог войти в полутемную комнату к мистеру Джонасу, которого он покинул часа два тому назад.

Он застал этот образец всех осиротевших сыновей и идеал всех гробовщиков за конторкой, в размышлениях

над клочком писчей бумаги, на котором тот царапал какие-то цифры. Кресло старика, его шляпа и трость были вынесены вон, убраны с глаз долой; занавеси, желтые, как ноябрьский туман, плотно закрывали окна до низа; сам Джонас так притих, что и голоса его не было слышно, видно было только, как он ходит взад и вперед по комнате.

— Пекснифф,— произнес он шепотом,— смотрите же, вы распоряжаетесь всем! Потом можете говорить каждому, кто только спросит, что все было как полагается, по всем правилам. Нет ли у вас кого-нибудь, кого вы хотели бы пригласить на похороны, а?

— Нет, мистер Джонас, кажется, у меня никого нет.

— Потому что если у вас есть кто-нибудь,— говорил Джонас,— то вы уж лучше пригласите. Мы не желаем делать из этого тайну.

— Нет,— повторил мистер Пекснифф, подумав немного.— Тем не менее очень вам обязан, мистер Джонас, за ваше великодушное гостеприимство, но, право же, у меня никого нет.

— Ну хорошо,— сказал Джонас,— тогда мы с вами, Чаффи и доктором как раз усядемся в одну карету. Мы пригласим доктора, Пекснифф, потому что он знает, что именно случилось со стариком и что тут ничего нельзя было поделать.

— А где же наш дорогой друг, мистер Чаффи? — спросил Пекснифф, моргая обоими глазами зараз, как бы не в силах справиться с приливом чувств.

Но тут его прервала миссис Гэмп, которая вошла в комнату уже без шали и чепца, жеманясь и пыжась, и довольно резким тоном потребовала, чтобы мистер Пекснифф на минутку вышел с ней в коридор.

— Вы можете сказать и здесь все, что вам угодно, миссис Гэмп,— отвечал он, меланхолически покачивая головой.

— Что уж тут много разговаривать, не до разговоров, когда человек помер, а другие по нем горюют,— возразила миссис Гэмп,— только уж если я что-нибудь скажу, оно будет к месту и к делу, а не для того, чтобы когонибудь обидеть, так что и обижаться на меня нечего. Я на своем веку во многих домах побывала,— можно

надеяться, знаю свое дело, и как за него браться — тоже знаю; а конечно, если б не знала, то было бы довольно странно и даже некрасиво со стороны такого джентльмена, как мистер Моулд,— ведь он хоронил самые знатные семейства в Англии, и все оставались очень довольны,— рекомендовать меня с самой лучшей стороны. Я ведь на своем веку тоже видела немало горя,— продолжала миссис Гэмп, все возвышая и возвышая голос,— и всякому могу посочувствовать, кому бог послал испытание, но только я не потерплю, чтобы ко мне приставляли шпионов.

Прежде чем можно было что-либо ответить, миссис Гэмп перевела дух и продолжала, вся побагровев:

— Нелегко, джентльмены, прожить на свете, когда ты осталась вдовой; особенно, ежели по доброте своей разжалобишься иной раз и согласишься работать себе в убыток, а потом ищи-свищи. Чем бы человек ни зарабатывал себе на хлеб, у всякого могут быть свои правила, так для чего же от них отступаться!

— Насколько я понимаю эту добрую женщину,— сказал мистер Пексниф, обращаясь к Джонасу,— ей мешает мистер Чаффи. Не сходить ли мне за ним?

— Сходите,— сказал Джонас.— Когда она вошла, я только что собирался сказать вам, что он наверху. Я бы и сам за ним сходил и привел его сюда, да только... пожалуй, лучше вам пойти, если вы ничего не имеете против.

Мистер Пексниф немедленно отправился наверх в сопровождении миссис Гэмп, которая заметно смягчилась, увидев, что он захватил из буфета бутылку и стакан и несет их с собой.

— Конечно,— продолжала она свою речь,— ежели бы я не хотела ему добра, я бы и внимания не обратила на бедного старичка, все равно как на муху. Только на тех, кто к этому делу непривычен, оно уж очень действует, для них же лучше, когда не потакают ихним капризам. Даже если и побранишь их немножко,— закончила миссис Гэмп, очевидно вспомнив те цветы красноречия, которыми она уже успела осыпать мистера Чаффи,— так разве для того только, чтобы пришли в чувство.

Какими бы эпитетами ни наделила миссис Гэмп старика, они не привели его в чувство. Он сидел рядом с

кроватью, на том же самом стуле, с которого не вставал всю ночь, сложив перед собой руки, склонив голову, и даже не взглянул на вошедших, не проявил ни проблеска сознания, и только когда мистер Пексниф дотронулся до его плеча, он покорно встал с места.

— Семь десятков,— сказал Чаффи,— ноль и семь в уме. Бывают же люди такого крепкого здоровья, что доживают до восьмидесяти... четырежды ноль — ноль, четырежды два — восемь, восемьдесят... Ах, зачем, зачем, зачем он не дожил до четырежды ноль — ноль, четырежды два — восемь,— до восьмидесяти?

— Да, вот уж, по правде сказать, юдоль! — воскликнула миссис Гэмп, завладевая бутылкой и стаканом.

— Зачем он умер раньше своего старого, выжившего из ума слуги! — говорил Чаффи, сжимая руки и глядя перед собой скорбным взглядом.— Отнимите его у меня, что же останется?

— Мистер Джонас,— подсказал ему Пексниф,— мистер Джонас, мой добрый друг.

— Я любил его,— говорил старик, всхлипывая.— Он был ко мне добр. Мы вместе учили про утечку и усушку в школе. Один раз я обогнал его по арифметике на шесть мест. Помилуй меня, господи! Как это я посмел обогнать его!

— Идемте, мистер Чаффи,— сказал Пексниф,— идемте. Соберитесь с силами, мистер Чаффи.

— Да, да,— отвечал старый конторщик.— Да. Я соберусь... В семи семь содержится один раз, семью семь — сорок девять. О Чезлвит и Сын! Ваш родной сын, мистер Чезлвит, ваш родной сын, сэр!

Бормоча эти привычные для него слова, мистер Чаффи подчинился ведущей его руке и позволил себя увести. Миссис Гэмп, с бутылкой на одном колене и стаканом на другом, долго сидела на табуретке, покачивая головой, потом, словно забывшись на минуту, налила себе капельку в стакан и поднесла его к губам. За первым глотком последовал второй, за вторым третий, а после третьего она так закатила глаза — не то от печальных размышлений о жизни и смерти, не то от удовольствия,— что их совсем не стало видно. Тем не менее головой она качала по-прежнему.

Беднягу Чаффи отвели в его привычный уголок, где он сидел молча и неподвижно и только иногда срывался с места и начинал расхаживать по комнате; ломая руки или выкрикивая что-то непонятное и бессвязное. Целую неделю они втроем просидели так около очага, не выходя из дома. Мистер Пексниф с удовольствием пошел бы пройтись вечерком, но Джонас никак не соглашался расстаться с ним хотя бы на минуту, так что он оставил эту мысль, и с утра до ночи они все втроем томились в полутемной комнате, без отдыха и без дела.

Бремя того, что лежало, вытянувшись и закоченев, в страшной спальне верхнего этажа, так давило и угнетало Джонаса, что он совсем согнулся под этой тяжестью. В продолжение долгих семи дней и ночей его неотступно преследовало и не давало покоя леденящее чувство, что кто-то страшный присутствует в доме. Стоило скрипнуть двери, как он уже обращал к ней помертвевшее лицо и глядел испуганно, словно был совершенно уверен в том, что ручку трогали костлявые пальцы. Стоило огню в очаге вспыхнуть немного ярче, оттого что потянуло сквозняком, и Джонас оглядывался через плечо, словно боясь увидеть фигуру в саване, раздувающую огонь полами своего одеяния. Малейший шум пугал его, а однажды ночью, заслышав наверху шаги, он закричал, что это покойник ходит, топает — топ, топ, топ — вокруг своего гроба.

Ночью он спал на полу в гостиной, потому что в его спальне поместилась миссис Гэмп, и мистеру Пекснифу тоже стелили на полу, рядом с ним. Вой собаки во дворе вселял в Джонаса страх, которого он не в силах был скрыть. Он старался не смотреть на отражение горевшего наверху света в окнах дома напротив, словно это был чей-то разгневанный глаз. Спал он тревожно, часто просыпался по ночам и томился тоской, ожидая рассвета; распоряжаться и следить за всем, даже заказывать обед он предоставил мистеру Пекснифу. Достойный джентльмен, полагая, что предаваться скорби надо со всеми удобствами и что хорошая кормежка будет в высшей степени благотворна для убитого горем сына, так удачно воспользовался этими обстоятельствами, что в течение всей траурной недели у них был самый изысканный стол; каждый вечер к ужину готовили сладкое мясо, тушеные почки,

устрицы и тому подобные легкие блюда, и, запивая их горячим пуншем, мистер Пекснйф подавал духовное утешение и читал высоконравственные проповеди, какие могли бы обратить даже язычника, в особенности если бы тот плохо понимал английский язык.

Однако не один мистер Пекснйф пользовался жизненными благами в это печальное время. Миссис Гэмп оказалась тоже весьма разборчива в еде и с презрением отвергала рубленую баранину. Насчет напитков она также была очень строга и даже привередлива, требуя пинту слабого портера к завтраку, пинту к обеду, полпинты для подкрепления и поддержки сил между обедом и чаем и пинту знаменитого крепкого эля, старого брайтонского пьяного пива, к ужину, не считая бутылки на камине да приглашений выпить иногда рюмочку вина, к каким гостеприимство обязывало ее хозяев. Люди мистера Моулда тоже считали нужным топить свое горе в вине, как топят новорожденного котенка, и по этой причине напивались, прежде чем за что-нибудь взяться, чтобы горе не взяло верх и не одолело их. Короче говоря, всю эту необыкновенную неделю у них шла круговая мрачных веселостей и зловещих развлечений; и все, кроме бедняги Чаффи, обретавшегося в тени гроба Энтони Чезлвита, справляли тризну, как вампиры.

Настал в конце концов и день похорон, этого благочестивого и нелицемерного обряда. Мистер Моулд, с золотыми часами в свободной руке, рассматривая на свет рюмку старого портвейна, стоял, прислонившись к конторке, и беседовал с миссис Гэмп; двое плакальщиков дежурили перед дверями дома, имея вид настолько похоронный, насколько можно ожидать от людей, дела которых идут как нельзя лучше; весь штат мистера Моулда был на своем посту — либо в доме, либо на улице; колыхались перья, фыркали лошади, развевались шелка и бархаты; словом, как сказал торжественно мистер Моулд: «Все, что только можно сделать за деньги, было сделано».

— А что еще можно было сделать, миссис Гэмп? — воскликнул гробовщик, опрокидывая рюмку в рот и причмокивая губами.

— Решительно ничего, сэр.

— Решительно ничего,— повторил мистер Моулд.— Вы правы, миссис Гэмп. Почему люди тратят больше денег,— тут он налил себе еще одну рюмку,— на похороны, миссис Гэмп, чем на крестины? Ну-ка, ведь это по вашей части, вы должны знать. Как вы это себе объясняете, ну-ка?

— Может, потому, что гробовщик обходится дороже, чем сиделка, сэр,— отвечала миссис Гэмп, посмеиваясь и разглаживая руками складки нового черного платья.

— Ха-ха! — расхохотался мистер Моулд.— Вы, я вижу, позавтракали сегодня на чужой счет, миссис Гэмп.— Однако, заметив в маленьком зеркальце для бритья, висевшем напротив, что вид у него слишком уж веселый, он мигом успокоился и придал своей физиономии скорбное выражение.

— Не первый раз мне доводится завтракать на чужой счет по вашей любезной рекомендации, сэр, и не в последний, надеюсь,— сказала миссис Гэмп, угодливо приседая.

— Что ж,— отвечал мистер Моулд,— если провидению угодно, пускай и дальше так будет. Нет, миссис Гэмп, я вам скажу, почему это происходит. Потому что трата денег в хорошо поставленном заведении, где дело ведется на широкую ногу, исцеляет разбитое сердце и проливает бальзам на страждущий дух. Сердца нуждаются в исцелении, а дух в бальзаме тогда, когда люди умирают, а не тогда, когда они родятся. Взгляните хотя бы на хозяина дома, взгляните на него.

— Щедрый джентльмен! — восторженно воскликнула миссис Гэмп.

— Нет, нет,— отвечал гробовщик,— вообще говоря, он вовсе не такой щедрый, ни в коем случае, вы о нем неверно судите; но убитый горем джентльмен, любящий джентльмен, который знает, что могут сделать деньги, для того чтобы облегчить его горе и засвидетельствовать его любовь и уважение к почившему. Они могут дать ему,— говорил мистер Моулд, медленно вращая свою часовую цепочку, так что она завершала полный круг в конце каждой фразы,— они могут дать ему сколько угодно карет четверней; они могут дать ему бархатные попоны; они могут дать ему страусовые перья; они могут дать ему

сколько угодно пеших плакальщиков, одетых по последнему слову похоронной моды и несущих жезлы с бронзовыми набалдашниками; они могут дать ему великолепный памятник; они могут доставить ему место даже в Вестминстерском аббатстве *, если средства позволят. Нет, не будем говорить, что деньги — просто грязь, когда на них можно все это приобрести, миссис Гэмп.

— И как еще надо бога благодарить, сэр,— сказала миссис Гэмп,— что есть такие люди, как вы, потому что у вас все это можно купить или взять напрокат.

— Да, миссис Гэмп, вы правы,— отвечал гробовщик.— Наша профессия должна считаться почетной. Мы творим добро втайне и краснеем, когда ставим его в счет. Взять хоть меня: сколько ближних своих я утешил с помощью моей четверки долгогривых скакунов, а ведь я никогда не запрягал их дешевле чем за десять фунтов десять шиллингов!

Миссис Гэмп только что приготовилась ответить ему в соответствующем духе, как ей помешало появление одного из помощников мистера Моулда, то есть старшего факельщика, тучного человека в жилете, который спускался гораздо ближе к коленам, чем это допускается установившимися понятиями об изяществе, с таким носом, какие обыкновенно принято сравнивать со сливой, и с лицом, сплошь усеянным угрями. Когда-то он был хрупким созданием, но, постоянно дыша сытным воздухом похорон, огрубел и раздался вширь.

— Ну, Тэкер,— спросил мистер Моулд,— внизу все готово?

— Прекрасное зрелище, сэр,— отвечал Тэкер.— Лошади так и рвутся, на месте не постоят и так вскидывают голову, как будто знают, почем нынче страусовые перья. Раз, два, три, четыре,— отсчитывал мистер Тэкер, перебрасывая четыре черных плаща через левую руку.

— Томас уже там с вином и кексом? — спросил мистер Моулд.

— Готов появиться в любую минуту, сэр,— ответил Тэкер.

— Тогда,— отвечал мистер Моулд, пряча свои часы и глядя в зеркальце, чтобы проверить, такое ли у него выражение лица, какое нужно.— Тогда мы, я думаю, можем

приступить к делу. Дайте мне коробку с перчатками, Тэкер. Ах, какой это был человек! Ах, Тэкер, Тэкер! Какой это был человек!

Мистер Тэкер, который, обладая большим опытом по похоронной части, мог бы быть превосходным мимическим актером, подмигнул миссис Гэмп, нисколько не нарушив этим серьезного выражения своей физиономии, и вышел вслед за своим хозяином в другую комнату.

Мистер Моулд был крайне щепетилен в вопросах профессионального такта, а потому он не подал и виду, что знаком с доктором, хотя на самом деле они были близкие соседи и нередко работали вместе, как и в данном случае. И потому, направляясь к доктору, чтобы предложить ему черные лайковые перчатки, он притворился, будто видит его первый раз в жизни, а доктор со своей стороны смотрел на него таким холодным и неузнающим взглядом, как будто ему приходилось слышать и читать про гробовщиков, случалось даже проходить мимо их лавок, но никогда еще не доводилось иметь с ними дело.

— Что, перчатки? — сказал доктор.— После вас, мистер Пексниф.

— Ни в коем случае,— возразил мистер Пексниф.

— Вы очень любезны,— сказал доктор, беря пару перчаток.— Так вот, сэр, как я уже говорил, меня вызвали к больному в половине второго ночи... Что, кекс и вино? В котором графине портвейн? Благодарю вас.

Мистер Пексниф тоже выпил портвейна.

— Около половины второго утра, сэр,— продолжал доктор,— меня позвали к больному. При первом же звонке ночного колокольчика я вскочил, распахнул окно и высунул голову... Что, плащ? Не завязывайте слишком туго. Вот так, хорошо.

После того как мистер Пексниф облачился в подобное же одеяние, доктор продолжал:

— И высунул голову... Что, шляпа? Любезный друг, это не моя. Мистер Пексниф, прошу прощения, мы с вами, кажется, нечаянно обменялись. Благодарю вас. Так вот, сэр, я хотел рассказать вам...

— Мы совсем готовы,— прервал его мистер Моулд тихим голосом.

— Что, готовы? — сказал доктор.— Очень хорошо. Мистер Пексниф, если разрешите, я доскажу вам остальное в карете. Это довольно любопытно. Что, все готовы? Дождя нет, надеюсь?

— Погода ясная, сэр,— отвечал мистер Моулд.

— Я боялся, что земля нынче будет сырая,— сказал доктор,— барометр вчера упал. Можем себя поздравить, что нам так повезло.— Однако, заметив, что мистер Джонас и Чаффи уже выходят из дверей, он закрыл лицо белым носовым платком, словно в приливе сильнейшего горя, и сошел вниз бок о бок с мистером Пекснифом.

Мистер Моулд и его помощники нисколько не преувеличили пышности приготовлений. Все было великолепно, а в особенности четверка лошадей, запряженная в катафалк,— вставала на дыбы, приплясывала и рвалась вперед, словно зная, что человек умер, и торжествуя по этому поводу. «Они нас объезжают, запрягают, ездят на нас верхом; бьют, морят голодом и калечат ради собственного удовольствия,— но зато они умирают, ура, они умирают!»

И вот по узким городским улицам и извилистым дорогам повлеклась похоронная процессия Энтони Чезлвита; мистер Джонас то и дело выглядывал украдкой из окна кареты, наблюдая, какое впечатление похороны производят на прохожих; мистер Моулд, шагая по мостовой, с затаенной гордостью прислушивался к восклицаниям зевак; доктор шепотом рассказывал мистеру Пекснифу случай из практики и никак не мог добраться до конца, а бедняга Чаффи рыдал в уголке кареты, незамечаемый никем. Однако еще в начале церемонии он сильно шокировал мистера Моулда тем, что держал платок в шляпе, самым неподобающим образом, а глаза вытирал просто кулаком. И как сразу же сказал мистер Моулд, его поведение было неприлично и недостойно такого торжественного дня; его просто не следовало брать с собой.

Однако он присутствовал тут, и на кладбище тоже, где опять-таки вел себя самым неподобающим образом, ведомый под руку Тэкером, который сказал ему напрямик, что он никуда не годится, разве только сопровождать похороны самого последнего разряда. Но Чаффи, помилуй его боже, ничего не слышал, кроме отзвуков навеки умолкнувшего голоса, которые еще жили в его сердце.

— Я любил его,— плакал старик, бросаясь на могилу, после того как все уже было кончено.— Он был очень добр ко мне. О мой дорогой старый друг и хозяин!

— Ну, ну, мистер Чаффи,— сказал доктор,— это не годится, почва тут сырая и глинистая, мистер Чаффи! Нельзя же так, право.

— Если бы похороны были по самому последнему разряду, джентльмены, и мистер Чаффи просто помогал бы нести гроб, то и тогда бы он не мог вести себя хуже,— сказал Моулд, бросая кругом умоляющие взгляды и помогая мистеру Чаффи подняться с земли.

— Ведите себя по-человечески, мистер Чаффи,— заметил Пексниф.

— Ведите себя как подобает джентльмену, мистер Чаффи,— сказал мистер Моулд.

— Честное слово, любезный друг,— пробурчал доктор тоном величественной укоризны, подходя ближе к старику,— это уже не просто слабость. Это дурно, эгоистично и очень нехорошо с вашей стороны, сударь вы мой. Вы забываете, что вы не связаны с нашим покойным другом узами крови и что у него имеется близкий, преданный родственник, мистер Чаффи.

— Да, родной сын! — воскликнул старик, сжимая руки с поразительной силой чувства.— Его родной, родной и единственный сын!

— У него не все дома, знаете ли,— едва выговорил Джонас, бледнея.— Не обращайте внимания, что бы он там ни говорил. Я бы не удивился, если б он понес даже бог знает какую чушь. Вы не обращайте на него внимания, никто не обращайте. Я не обращаю. Мне отец велел о нем заботиться — и довольно. Что бы он там ни говорил и ни делал — я о нем буду заботиться.

Ропот восхищения пронесся среди провожающих (включая в это число мистера Моулда и его весельчаков) при этом новом доказательстве великодушия и добрых чувств со стороны Джонаса. Но Чаффи более не подвергал эти чувства испытанию. Он совсем притих и, как только его оставили ненадолго в покое, забрался снова в карету.

Выше уже упоминалось, что мистер Джонас побледнел, когда поведение старого клерка привлекло к себе общее внимание. Однако его испуг был кратковременным.

и он скоро пришел в себя. Но не эту единственную перемену можно было в нем наблюдать в тот день. Любопытные глаза мистера Пекснифа подметили, что ему стало легче, как только они выехали из дома, направляясь в скорбный путь, и что по мере того как церемония подвигалась к концу, Джонас мало-помалу возвращался к прежнему своему состоянию и внешнему виду, к прежней милой манере держать себя, ко всем приятным особенностям разговора и обхождения,— словом, он вновь обрел самого себя. Уже когда они сидели в карете, по дороге домой, а еще более, когда они туда возвратились и увидели, что окна открыты, в комнаты впущен свет и воздух и удалены все следы недавно совершившегося события, мистер Пексниф убедился, что имеет дело с тем же Джонасом, которого он знал неделю тому назад, а не с Джонасом последних дней, и добровольно расстался с только что приобретенной в доме властью, не сделав ни малейшей попытки удержать ее и сразу же отступив на прежние позиции покладистого и почтительного гостя.

Миссис Гэмп возвратилась домой к торговцу птицами, и в ту же ночь ее подняли с постели принимать двойню; мистер Моулд отлично пообедал в кругу своего семейства, а вечером отправился развлекаться в клуб; катафалк, простояв довольно долго перед дверью развеселого кабака, потащился к конюшне; все перья были убраны внутрь, а на крыше сидели двенадцать красноносых факельщиков, и каждый держался за грязный колышек, на котором в торжественных случаях развевались страусовые перья; траурные бархаты и шелка были заботливо уложены в шкафы — для будущего нанимателя; горячие кони успокоились и притихли в своих стойлах; доктор, подвыпив на свадебном обеде, позабыл уже и середину истории, так и недосказанной им до конца,— церемония, происходившая всего несколько коротких часов назад, нигде не оставила по себе такого заметного следа, как в книгах гробовщика.

Даже на кладбище? Даже и там. Ворота были заперты, ночь выдалась темная и сырая, и дождик тихо падал на гниющий чертополох и крапиву. Вырос еще один новый холмик, которого не было здесь прошлой ночью. Время, роясь как крот под землей, отметило свой путь, выбросив наверх еще одну кучку земли. И это было все.

## ГЛАВА XX

*есть глава о любви*

— Пексниф,— сказал Джонас и, сняв шляпу, посмотрел, не завернулась ли на ней полоска черного крепа, а потом, успокоившись на этот счет, снова надел ее,— сколько вы намерены дать за вашими дочерьми, если они выйдут замуж?

— Дорогой мой мистер Джонас,— воскликнул любящий родитель, простодушно улыбаясь,— это единственный в своем роде вопрос!

— Ну, нечего там разбираться, единственный или множественный,— возразил Джонас, не слишком благосклонно глядя на мистера Пекснифа,— отвечайте или оставим этот разговор. Одно из двух.

— Гм! Этот вопрос, дорогой мой друг,— сказал мистер Пексниф, ласково кладя руку на колено своему родственнику,— осложняется разными соображениями. Что я за ними дам? А?

— Да, что вы за ними дадите? — повторил Джонас.

— Само собой, это будет зависеть в значительной степени от того, каких мужей они себе выберут, дорогой мой юный друг,— сказал мистер Пексниф.

Мистер Джонас был явно разочарован и не нашелся, что еще сказать. Ответ был удачный и с виду казался весьма глубокомысленным, но такова уж премудрость простоты!

— Уровень требований, предъявляемых мною к будущему зятю,— сказал мистер Пексниф, помолчав немного,— весьма высок. Простите меня, дорогой мой мистер Джонас,— прибавил он с большим чувством,— но я должен сказать вам, что вы сами тому виной, если требования мои прихотливы, капризны и, так сказать, играют всеми цветами радуги.

— Вы что этим хотите сказать? — пробурчал Джонас, поглядывая на него все более и более неодобрительно.

— Поистине, дорогой мой друг,— отвечал мистер Пексниф,— вы имеете право задать такой вопрос. Сердце не всегда похоже на монетный двор, где хитроумные машины

превращают металл в ходячую монету. Иногда оно выбрасывает слитки необыкновенной формы, какие трудно даже признать за монету. Однако золото в них — чистой пробы. По крайней мере этого достоинства не отнимешь. В них золото чистой пробы.

— Вот как? — проворчал Джонас, с сомнением качая головой.

— Да,— произнес мистер Пексниф, все более вдохновляясь своей темой,— золото чистой пробы. Уж если быть вполне откровенным с вами, дорогой мистер Джонас, я бы хотел найти двух таких зятьев, каким вы станете со временем по отношению к какому-нибудь достойному человеку, способному оценить такую натуру, как ваша, и тогда — не думая о себе самом — я назначил бы моим дочерям приданое, какое только позволят мне мои средства.

Это было сказано решительно и как нельзя более серьезно. Но кто станет удивляться тому, что мистер Пексниф, после всего что он видел и слышал о мистере Джонасе, говорил серьезно на такую тему: на тему, которая способна тронуть медом красноречия даже суетные уста гробовщика!

Мистер Джонас молчал и, погрузившись в размышления, любовался видами. Оба джентльмена сидели на наружных местах и ехали по направлению к Солсбери. Мистер Джонас сопровождал мистера Пекснифа домой, чтобы на несколько дней переменить обстановку после перенесенных им испытаний.

— Ладно,— сказал он, наконец, с подкупающей прямотой,— предположим, вам достанется такой зять, как я, что же дальше?

Мистер Пексниф сначала взглянул на него с неописуемым удивлением, которое затем мало-помалу сменилось грустной игривостью.

— Тогда я знаю, чей это был бы муж! — сказал он.

— Чей? — сухо спросил Джонас.

— Моей старшей дочери, мистер Джонас,— отвечал Пексниф, прослезившись.— Моя дорогая Черри — это моя опора, мой посох, моя сума, мое сокровище, мистер Джонас. Тяжело с ней расставаться, но это в природе вещей! Когда-нибудь я должен буду расстаться с ней и

отдать ее мужу. Я это знаю, мой дорогой друг. Я приготовился к этому.

— Давненько приготовились, надо думать,— сказал Джонас.

— Многие пытались разлучить ее со мной,— сказал мистер Пексниф.— Но никому это не удалось. «Я не отдам своей руки, папа,— таковы были ее слова,— если мое сердце не будет покорено». Последнее время она что-то не так весела, как бывала раньше. Не знаю почему.

Мистер Джонас опять стал смотреть на окрестности, потом на кучера, потом на багаж, наконец взглянул и на мистера Пекснифа.

— Полагаю, что и с той, с другой, вам тоже придется когда-нибудь расстаться? — заметил он, перехватив взгляд этого джентльмена.

— Вероятно,— отвечал ее родитель.— Годы укротят своевольный характер моей глупенькой пташки, и тогда ее можно будет посадить в клетку. Но Черри, мистер Джонас, Черри...

— Ну да! — перебил его Джонас.— Эту-то годы укротили, ничего не скажешь. Никто в этом не сомневается. Но вы так и не ответили на мой вопрос. Вы, конечно, не обязаны отвечать, если не хотите. Дело ваше.

В его манере говорить звучала предостерегающе-недовольная нота, как бы дававшая понять мистеру Пекснифу, что с его дорогим другом шутки плохи и водить его за нос никак нельзя,— нужно или откровенно ответить на вопрос, или прямо сказать, что он не желает объясняться на эту тему. Помня совет, данный ему стариком Энтони чуть ли не при последнем дыхании, мистер Пексниф решил высказаться откровенно и потому сообщил мистеру Джонасу (истолковывая свою откровенность как доказательство привязанности и величайшего доверия), что в том случае, о котором он говорил, а именно, если такой человек, как Джонас, будет искать руки его дочери, он выделит ей в приданое четыре тысячи фунтов.

— Мне придется сильно стеснить и ограничить себя во всем,— таков был родительский комментарий,— но это мой долг, и совесть вознаградит меня. Моя совесть — вот мой банк. Я вложил туда кое-что, сущую безделицу, мис-

тер Джонас, но я ее ценю высоко и почитаю богатым вкладом, уверяю вас.

Враги этого превосходного человека разделились бы в данном случае на два лагеря. Одни стали бы утверждать самым бесцеремонным образом, что если совесть была для мистера Пекснифа банком, где у него имелся текущий счет, то он, конечно, перебрал столько лишнего, что не хватило бы никаких средств расплатиться. Другие стали бы утверждать, что этот текущий счет одна проформа — совершенно чистая книжка или такая, в которой записи делаются только особого рода невидимыми чернилами, так что еще неизвестно, когда можно будет их прочитать, и что сам мистер Пексниф никогда в нее не заглядывает.

— Мне придется весьма и весьма стеснить себя и ограничить,— повторил мистер Пексниф,— но провидение, или, если мне будет позволено так выразиться, особые заботы провидения благословили мои труды, и я могу ручаться, что в состоянии принести эту жертву.

Здесь возникает чисто умозрительный вопрос, имел или не имел мистер Пексниф право говорить, что он во всех своих начинаниях пользуется особым покровительством провидения. Всю свою жизнь он избирал окольные пути и закоулки и, не брезгая ничем, старался пополнить свою мошну. А так как без ведома провидения нельзя даже подшибить воробья, то из этого следует (так рассуждал мистер Пексниф и другие превосходные люди его склада), что провидение направляет и камень, и палку, и прочие предметы, брошенные в воробья. Но камень мистера Пекснифа, не брезговавшего ничем, без промаха сшибал воробья, так что мистер Пексниф мог считать охоту на воробьев своей монополией, а себя законным владельцем всех подшибленных им птиц. Что многие начинания, как национальные так и частные, особенно первые, находятся под покровительством провидения, должно быть ясно каждому,— ведь это единственное, чем можно объяснить их благополучный исход. И значит, мистер Пексниф говорил, имея на то все основания, говорил не как-нибудь наобум, самонадеянно или тщеславно, а в духе высокой честности и глубочайшей мудрости.

Мистер Джонас, не имея привычки обременять свой

ум теориями подобного рода, не выразил никакого мнения по этому поводу. Он не отозвался на сообщение своего спутника ни единым словом, утвердительным, отрицательным или безразличным. Он хранил молчание по меньшей мере минут пятнадцать и, по-видимому, в течение всего этого времени прилежно занимался тем, что производил в уме всевозможные операции с некоей данной суммой, пользуясь всеми правилами арифметики, а именно: складывал, вычитал, умножал, делил всеми известными способами, применяя тройное правило, простое и сложное, а также все правила учета векселей, простых процентов, сложных процентов и других способов вычисления. По-видимому, результат этих трудов был удовлетворительный, ибо когда он нарушил молчание, то сделал это с видом человека, пришедшего к определенным выводам и освободившегося от состояния томительной неуверенности.

— Ну-ка, старина Пексниф! — с таким игривым обращением он хлопнул этого джентльмена по спине, когда они подъезжали к станции.— Давайте выпьем чего-нибудь!

— С величайшим удовольствием,— отозвался мистер Пексниф.

— И поднесем кучеру! — воскликнул Джонас.

— Если вы думаете, что это ему не повредит и не вызовет в нем недовольства своим положением, тогда конечно,— промямлил в ответ мистер Пексниф.

Джонас только засмеялся и с большой живостью соскочил на дорогу, выкинув при этом довольно неуклюжее антраша. После чего он вошел в придорожный трактир и заказал горячительные напитки в таком количестве, что мистер Пексниф усомнился было, в своем ли он уме, но Джонас положил конец его сомнениям, сказав, когда дилижанс уже собирался тронуться в путь:

— Я вам выставлял угощение целую неделю и даже больше — позволял заказывать всякие там деликатесы. А теперь будете платить вы, Пексниф.— Это была вовсе не шутка, как предположил сначала мистер Пексниф, ибо Джонас, нисколько не церемонясь, уселся опять в карету, предоставив своей почтенной жертве расплачиваться по счету.

Но мистер Пексниф отличался кротостью и долготерпением, а Джонас был его другом. Более того, его благосклонность к этому джентльмену основывалась, как мы знаем, на чистейшем уважении и на знании превосходных качеств его характера. Он вышел из трактира, сияя улыбкой, и даже повторил всю церемонию с угощением, хотя и не на такую широкую ногу, в ближайшей пивной. Настроение у мистера Джонаса было самое задорное (что редко с ним случалось), и от такого времяпровождения он не только не унялся, но, наоборот, во весь остальной путь проявлял необычайную шумливость, можно даже сказать буйство, так что мистер Пексниф не без труда поспевал за ним.

Дома их не ждали. О боже мой, вовсе нет! Мистер Пексниф еще в Лондоне предложил сделать своим дочерям сюрприз и сказал, что не станет предупреждать их ни единым словом; тогда они с мистером Джонасом захватят девиц врасплох и посмотрят, что они делают одни, когда думают, что их дорогой папочка находится далеко от дома. Вследствие этой игривой затеи никто их не встретил у придорожного столба, но это не имело особенного значения, потому что они приехали с дневным дилижансом и у мистера Пекснифа был с собой один только ковровый саквояж, а у Джонаса чемодан. Они подхватили вдвоем чемодан, поставив на него саквояж, и, не мешкая ни минуты, пошли по дороге к дому: мистер Пексниф уже и тут шел на цыпочках, как будто без этой предосторожности его почтительные дочки, находясь от него мили за две или около того, могли почувствовать любящим сердцем его приближение.

Был тихий вечер, один из тех, какие выпадают только весенней порой, и в мягкой тишине сумерек вся природа дышала красотой и покоем. День был очень ясный и теплый, но с приближением ночи воздух сделался прохладным, и в туманной дали дым из труб тихо поднимался к небу. В воздухе носился аромат молодых листьев и свежих почек; кукушка весь день куковала и примолкла только теперь; запах свежевзрытой земли — первое дыхание надежды для пахаря, после того как осенью облетел его сад,— доносился с вечерним ветерком. Это была пора, когда люди принимают благие решения, скорбят о бес-

плодно прошедшей юности и, глядя на густеющие тени, думают о том вечере, который придет для каждого из нас, и о том утре, которое будет для нас последним.

— Экая скучища! — сказал мистер Джонас, озираясь по сторонам.— Да тут с тоски рехнуться можно.

— Скоро мы придем к свету и теплу,— заметил мистер Пексниф.

— Они будут не лишние, когда мы туда доберемся,— сказал Джонас.— Какого черта вы не разговариваете? О чем это вы задумались?

— Сказать вам по правде, мистер Джонас,— произнес Пексниф очень торжественно,— мои мысли в эту минуту обратились к нашему дорогому другу, вашему покойному батюшке.

Мистер Джонас немедленно выпустил из рук свою ношу и пригрозил Пекснифу кулаком:

— Вы это лучше бросьте, Пексниф!

Мистер Пексниф, не зная хорошенько, к чему отнести намек, к разговору или к чемодану, воззрился на Джонаса в неподдельном изумлении.

— Бросьте, вам говорят! — злобно крикнул Джонас.— Слышите, что ли? Бросьте это раз и навсегда. Лучше бросьте, предупреждаю вас!

— Это вышло совершенно ненамеренно,— в сильном испуге оправдывался мистер Пексниф,— хотя, сознаюсь, я допустил ошибку. Я мог бы знать, что для вас это уязвимое место.

— Не говорите вы мне насчет уязвимых мест,— отвечал ему Джонас.— Я вам не позволю над собой измываться из-за того только, что мертвецы мне не по нутру.

Мистер Пексниф едва успел выдавить из себя слова: «Измываться над вами, мистер Джонас?» — как молодой человек, сердито насупившись, снова резко оборвал его.

— Помните,— сказал он,— я этого не потерплю. Советую вам не возвращаться к этому разговору ни со мной и ни с кем другим. Вы можете понимать намеки не хуже всякого другого, если захотите. Ну, вот и довольно. Идем.

С этими словами он взялся за чемодан и зашагал вперед так быстро, что мистер Пексниф, который держался за чемодан с другого конца, потащился за ним самым

неудобным и неграциозным манером, немилосердно стукаясь коленками о металлические застежки и жесткую кожу чемодана, явно в ущерб тому, что изящные джентльмены называют «шкурой». Спустя несколько минут, однако, мистер Джонас замедлил шаг и даже допустил, чтобы его спутник поравнялся с ним и привел чемодан в относительно нормальное положение.

Было совершенно ясно, что он жалеет о недавней своей вспышке и не может решить, какое впечатление она произвела на мистера Пекснифа, ибо каждый раз как последний взглядывал на мистера Джонаса, оказывалось, что и мистер Джонас смотрит на него,— и это служило причиной нового замешательства. Однако оно продолжалось недолго: мистер Джонас довольно скоро начал насвистывать, а мистер Пексниф, последовав примеру своего друга, тоже стал напевать какой-то игривый мотивчик.

— Скоро дойдем, что ли? — спросил Джонас спустя некоторое время.

— Уже близко, добрый мой друг,— отвечал мистер Пексниф.

— Что они делают, как вы полагаете? — спросил Джонас.

— Трудно сказать! — воскликнул мистер Пексниф.— Легкомысленные вертушки! Их, может быть, и совсем дома нет. Я хотел — хе-хе-хе! — я хотел вам предложить: а что, если мы войдем с черного хода и нагрянем на них, как гром с ясного неба, мистер Джонас?

Затруднительно было бы решить, в каком отношении и какими именно из многих своих разнородных качеств мистер Джонас, мистер Пексниф, ковровый саквояж и чемодан могли сравниться с ударом грома. Тем не менее мистер Джонас выразил согласие, и оба они, обойдя кругом через задний двор, тихонько подкрались к кухонному окну, откуда лился в вечерние сумерки смешанный свет свечи и очага.

Поистине мистер Пексниф был благословен в дочерях своих, в одной из них по крайней мере. Благоразумная Черри — опора, посох, сума и сокровище ее любящего родителя — вот она сидит перед кухонным очагом, за маленьким столиком, белым как свежевыпавший снег, и записывает расходы! Поглядите, как эта скромная девушка, обратив вычисляющий взор к потолку, с пером в руках и

связкой ключей в корзиночке у пояса проверяет хозяйственные расходы! Утюг, покрышка для блюд, грелка, котелок и чайник, медная подставка, начищенная графитом печка весело подмигивают ей и радуются на нее. Даже луковицы, подвешенные гирляндой к потолочной балке, сияют и рдеют, как щеки херувимов. Влияние этой овощи до некоторой степени сказалось на мистере Пекснифе. Он прослезился.

Минутная слабость, но он скрывает ее от зорких глаз своего друга, очень старательно, при помощи каких-то сложных манипуляций с носовым платком, ибо не желает, чтобы его малодушие было замечено.

— Приятно,— бормотал он,— очень приятно для родительских чувств! Милая моя девочка! Что ж, дадим ей знать, что мы тут, мистер Джонас?

— Конечно, не собираетесь же вы ночевать на конюшне или в каретном сарае? — возразил тот.

— Это, право, совсем не такого рода гостеприимство, какое я хотел бы оказать вам, мой друг,— отвечал мистер Пексниф, пожимая ему руку. Затем он набрал в грудь воздуху и, постучавшись в окно, крикнул громогласно и ласково:

— Бу-у!

Черри выронила перо и вскрикнула. Однако невинность всегда смела или должна обладать смелостью. Как только они отворили дверь, отважная девушка воскликнула твердым голосом, показав, что даже в эту трудную минуту присутствие духа не изменило ей:

— Кто вы? Что вам нужно? Говорите! А не то я позову папашу.

Мистер Пексниф протянул к ней руки. Она сразу его узнала и бросилась в его любящие объятия.

— Это было очень неосторожно с нашей стороны, мистер Джонас, очень неосторожно! — говорил Пексниф, гладя дочь по голове.— Душа моя, разве ты не видишь, что я не один?

Нет, она не видела. До сих пор она ничего не видела, кроме своего папаши. Зато теперь она заметила мистера Джонаса, покраснела и опустила глаза, приветствуя его.

Но где же Мерри? Мистер Пексниф задал этот вопрос не с упреком, но самым кротким голосом, с примесью лег-

кой грусти. Она наверху, читает в гостиной на диване. Ах! Ее-то уж нисколько не пленяют мелочи домашней жизни.

— Все-таки позови ее вниз,— сказал мистер Пекснпф тоном кроткой покорности судьбе.— Позови ее вниз, душа моя.

Ее позвали, и она пришла, вся раскрасневшаяся и растрепанная от лежания на диване, но это ее вовсе не портило. Нет, нисколько. Скорее наоборот, если хотите знать.

— О боже ты мой! — воскликнула лукавая девушка, расцеловав отца в обе щеки и по шаловливости своей наделив его дополнительным поцелуем в самый кончик носа, а затем, оборотившись к кузену: — Вы здесь, страшилище? Ну, я очень рада, что меня-то уж вы оставите в покое!

— Ну, а вы все такая же непоседа? — сказал Джонас.— Ох, и злючка же вы!

— Вот еще, убирайтесь подальше! — отвечала Мерри, отпихивая его.— Я прямо не знаю, что сделаю, если мне придется часто вас видеть. Убирайтесь вы подальше, ради бога!

Так как в разговор вмешался мистер Пексниф и попросил мистера Джонаса немедленно пожаловать наверх, то Джонас в известной мере повиновался приказанию молодой особы — убраться прочь. Однако, ведя под ручку прелестную Черри, он все же не мог не оглядываться поминутно на ее сестрицу и не обмениваться с ней репликами того же задорного характера, пока они все вчетвером поднимались наверх в гостиную, где в это время — девицы, по счастливой случайности, несколько запоздали с чаем — накрывали для чаепития стол.

Мистера Пинча не было дома, остались одни свои, и потому все чувствовали себя очень уютно и непринужденно; Джонас сидел между обеими сестрами и был пленительно галантен на особый лад, свойственный только ему одному. Не хочется покидать такое приятное маленькое общество, сказал мистер Пексниф, после того как чай был выпит и посуда убрана, но так как ему нужно просмотреть кое-какие важные бумаги у себя в кабинете, то он просит извинить его на минуту. С этими словами он удалился, беззаботно напевая какую-то песенку. Не прошло и пяти минут после его ухода, как Мерри, си-

девшая в оконной нише, поодаль от Джонаса и старшей сестры, прыснула со смеху и бросилась к двери.

— Эй! — крикнул Джонас.— Не уходите!

— Ну да, еще чего! — оглянувшись на него, возразила Мерри.— Будто бы уж вам так хочется, чтобы я осталась, страшилище?

— Да, хочется,— сказал Джонас.— Честное слово, хочется. Мне надо с вами поговорить.— И когда она все-таки выбежала из комнаты, он бросился за ней и привел ее обратно, после короткой борьбы в коридоре, весьма шокировавшей мисс Черри.

— Право, Мерри,— выговаривала ей эта молодая особа.— Я тебе удивляюсь. Всему есть граница, даже глупости, милая моя.

— Спасибо, душечка,— отвечала Мерри, надувая розовые губки.— Очень благодарна за совет. Ах, оставьте вы меня в покое, чудовище, сделайте милость! — Эта просьба была вызвана новой атакой со стороны Джонаса, который усадил ее, еще совсем запыхавшуюся, рядом с собой на диван, в то время как по другую сторону от него сидела Черри.

— Ну,— сказал Джонас, обнимая обеих сестер за талию,— теперь у меня обе руки заняты, верно?

— Одна рука будет вся синяя завтра, если вы меня не отпустите,— вскрикнула шалунья Мерри.

— Зато против ваших щипков я ничего не имею,— ухмыльнулся Джонас,— ровно ничего.

— Ущипни его за меня, Черри, пожалуйста,— сказала Мерри.— Ненавижу это чудище, как никого на свете, вот что!

— Да будет вам, бросьте,— урезонивал ее Джонас,— и не щипайтесь, потому что мне надо серьезно с вами поговорить. Послушайте, кузина Чарити!

— Ну что? — отвечала та недовольно.

— Я хочу поговорить с вами обеими как следует,— сказал Джонас.— Чтобы не было никаких ошибок, знаете ли, чтобы все у нас обошлось по-хорошему. Оно и желательно и так уж полагается — верно, что ли?

Ни та, ни другая сестра не промолвили ни слова. Мистер Джонас помолчал, потом откашлялся, чтобы прочистить пересохшее горло.

— Она моим словам не поверит, ведь правда, сестрица? — обратился он к Чарити, неуверенно прижимая ее к себе.

— Право, мистер Джонас, как я могу это знать, пока не услышу, в чем дело? Совершенно невозможно сказать!

— Ну вот, видите ли,— сказал Джонас,— есть у нее такая манера — издеваться над людьми; я знаю, она станет смеяться или сделает вид, будто смеется. А вы, сестрица, можете ей сказать, что я не шучу, ведь правда, можете? Вы же не отопретесь, что вам все известно? Ведь вы-то уж меня не подведете, я знаю,— настойчиво убеждал он.

Ответа не было. В горле у него пересыхало все больше и больше, и справляться с этим становилось все труднее.

— Видите ли, кузина Чарити,— продолжал Джонас,— никто, кроме вас, не может сказать ей, каких трудов мне стоило познакомиться с ней поближе, когда вы обе жили в городе, в пансионе; ведь никто не знает этого так хорошо, как вы. Никто другой не может рассказать ей, как я старался познакомиться с вами получше для того, чтобы и с ней тоже познакомиться, как будто невзначай,— ведь правда, никто? Я всегда спрашивал у вас про нее, куда она ушла да когда придет, говорил, какая она непоседа, ну и другое там. Верно, кузина? Я знаю, вы ей все это скажете, если уже не говорили и... и... по-моему, вы уже говорили, не станете же вы меня подводить, верно?

По-прежнему ни слова в ответ. Правая рука мистера Джонаса — старшая сестра сидела справа от него — могла ощутить бурное биение очень близко от себя; ни из чего другого он не мог заключить, что его слова произвели хотя бы малейшее впечатление.

— Даже если вы и не передавали ей ничего,— продолжал Джонас,— беда невелика, зато вы можете сейчас все это честно засвидетельствовать, правда? Мы же с вами с самого начала подружились, правда? И в будущем мы тоже будем дружить, поэтому я нисколько не стесняюсь объясняться при вас. Кузина Мерси, вы же слышите, что я говорю. Она вам все это подтвердит, все от слова до слова, обязательно подтвердит. Хотите выйти за меня замуж? А?

Джонас отпустил Чарити, для того чтобы предложить свой вопрос с бо́льшим эффектом. Но тут она вскочила и бегом бросилась к себе в комнату, оставив за собою такой вихрь бессвязных и гневных восклицаний, каких нельзя услышать ни от кого, кроме оскорбленной женщины, дошедшей до белого каления.

— Оставьте меня! Пустите меня к ней,— кричала Мерри, отталкивая его и отвешивая ему, если говорить всю правду, не одну оплеуху, благо он подставил свою физиономию.

— Не пущу, пока не скажете «да». Вы еще не сказали. Хотите выйти за меня замуж?

— Нет, не хочу! Я вас видеть не могу. Сто раз вам повторять! Вы страшилище! Кроме того, я всегда думала, что сестра вам нравится больше. Все мы так думали.

— Ну, в этом-то уж я не виноват,— сказал Джонас.

— Нет, виноваты, сами знаете, что виноваты.

— В любви все хитрости дозволены,— сказал Джонас.— Может, она и думала, что нравится мне, да вы-то этого не думали.

— Нет, думала!

— Нет, не думали. И не могли думать, что она мне нравится больше, когда вы были рядом.

— О вкусах не спорят,— сказала Мерри,— то есть я не то хотела сказать... Сама не знаю, что говорю. Пустите меня к ней.

— Скажите «да», тогда пущу.

— Если бы я даже и согласилась когда-нибудь, то только для того, чтобы ненавидеть и изводить вас всю жизнь.

— Это все равно, что прямо согласиться,— сказал Джонас.— Значит, по рукам, кузина! Мы с вами два сапога пара, лучше не подберешь.

Эта галантная речь сопровождалась смешанными звуками поцелуев и оплеух; затем прелестная, но сильно растрепанная Мерри вырвалась и убежала вслед за сестрой.

Подслушивал ли мистер Пексниф, что для человека его репутации представляется немыслимым, или действовал по наитию, что для человека столь проницательного гораздо вероятнее, или так уж вышло по счастливой случайности, что он оказался на месте в самое нужное время,— и это тоже вполне возможно, если вспомнить, что

он пользовался особым покровительством провидения,— достоверно только одно, что как раз в ту минуту, когда сестры встретились в своей комнате, мистер Пекснифф появился на пороге их спальни. И какой это был поразительный контраст! Они обе такие разгоряченные, шумные, неистовые; он такой спокойный, сдержанный, невозмутимый и полный мира, что ни один волосок на его голове не сдвинулся с места.

— Дети! — произнес мистер Пекснифф, в изумлении простирая к ним руки, однако не прежде чем закрыл дверь и прислонился к ней спиной.— Девочки! Дочери мои! Что это такое?

— Негодяй, изменник, фальшивый, низкий, дрянной человек! У меня под самым носом сделал предложение Мерси! — был ответ его старшей дочери.

— Кто сделал предложение Мерси? — спросил мистер Пекснифф.

— Он сделал. Эта скотина Джонас!

— Джонас сделал предложение Мерси? — переспросил мистер Пекснифф.— Да, да, да! Вот как!

— Разве вам нечего больше сказать? — воскликнула Чарити.— С ума вы меня свести хотите, папа! Он сделал предложение Мерси, а не мне.

— Ну, как тебе не стыдно! — произнес мистер Пекснифф назидательным тоном.— Как тебе не стыдно! Неужели торжество сестры могло довести тебя до такой сцены, дитя мое? Нет, право, это слишком грустно! Мне очень жаль это видеть; ты меня удивила и огорчила. Мерси, дорогая моя девочка, господь с тобой! Пригляди за нею. Ах, зависть, зависть, какое это ужасное чувство!

Произнеся эти слова голосом, полным скорби и сокрушения, мистер Пекснифф вышел из комнаты (не позабыв плотно закрыть за собою дверь) и спустился вниз в гостиную. Там он застал своего будущего зятя и схватил его за обе руки.

— Джонас! — воскликнул мистер Пекснифф.— Джонас! Осуществилось живейшее желание моего сердца!

— Очень хорошо, рад это слышать,— сказал Джонас.— Ну и довольно. Вот что! Раз это не та, которую вы так любите, придется вам выложить еще одну тысячу,

Пексниф. Пускай уж будет ровно пять. Оно того стоит, знаете ли, потому что ваше сокровище остается при вас. И то вы еще дешево отделались, да и жертву не придется приносить.

Эти слова сопровождались усмешкой, которая до такой степени выгодно осветила привлекательные черты Джонаса, что даже мистер Пексниф на мгновение утратил присутствие духа и посмотрел на молодого человека так, как будто совершенно потерялся от изумления и восторга. Но он быстро пришел в себя и уже собрался переменить предмет разговора, когда за дверью послышались торопливые шаги и Том Пинч в сильнейшем волнении ворвался в комнату.

Увидев постороннего человека, по-видимому занятого частным разговором с мистером Пекснифом, Том очень смутился, хотя все же смотрел так, будто хочет сообщить нечто настолько важное, что этим достаточно оправдывается его вторжение.

— Мистер Пинч,— сказал Пексниф,— это едва ли прилично. Вы меня извините, но я должен сказать вам, что ваше поведение вряд ли может считаться приличным, мистер Пинч.

— Прошу прощения, сэр, что не постучался,— отвечал Том.

— Просите прощения вот у этого джентльмена, мистер Пинч,— сказал Пексниф.— Я вас знаю, а он не знает. Мой помощник, мистер Джонас.

Будущий зять слегка кивнул головой, но не слишком презрительно или свысока, потому что был в хорошем настроении.

— Можно вас на два слова, сэр, будьте так добры,— сказал Том.— Дело довольно спешное.

— Оно должно быть очень спешным, чтобы оправдать ваше странное поведение, мистер Пинч,— возразил его патрон.— Извините меня на минутку, дорогой мой друг. Ну-с, какова причина вашего неделикатного вторжения?

— Мне, конечно, крайне жаль, сэр,— сказал Том, стоя навытяжку перед своим патроном, со шляпою в руках,— я знаю, что это должно было показаться очень невежливым...

— Это и показалось очень невежливым, мистер Пинч.

— Да, я это чувствую, сэр; но, сказать по правде, я так изумился, увидев их, и подумал, что вы тоже изумитесь, и побежал домой без оглядки, и до того растерялся, что едва ли понимал как следует, что делаю. Я сейчас был в церкви, сэр, немножко играл на орга́не для собственного развлечения, и вдруг, нечаянно обернувшись, заметил, что в приделе стоят джентльмен с дамой и слушают. Мне показалось, что это приезжие, сэр, насколько я мог рассмотреть в темноте, и я подумал, что не знаю их; тогда я перестал играть и спросил, не хотят ли они пройти на хоры или посидеть на скамье? Они сказали, что нет, не хотят, и поблагодарили меня за игру на орга́не. Право, они даже сказали,— заметил Том, краснея: «Прекрасная музыка»; то есть она сказала, и конечно же, это мне доставило гораздо больше удовольствия и чести, чем какие угодно комплименты. Я... я прошу извинения, сэр,— он весь дрожал и уже раза два уронил шляпу,— я что-то запыхался, сэр, и боюсь, что несколько уклоняюсь в сторону.

— Если вы перестанете уклоняться, Томас,— произнес мистер Пексниф, сопровождая свои слова ледяным взглядом,— я буду вам весьма обязан.

— Ну, конечно, сэр, разумеется,— отвечал Том.— Они приехали в почтовой карете, сэр, и остановились перед церковью послушать орга́н. А потом они спросили, то есть это она спросила: «Вы, кажется, живете у мистера Пекснифа, сэр?» Я ответил, что имею эту честь, и взял на себя смелость сказать, сэр,— прибавил Том, поднимая глаза на своего благодетеля,— как и всегда буду говорить, и должен говорить, с вашего разрешения,— что я вам весьма многим обязан и никогда не буду в силах выразить все мои чувства по этому поводу.

— Это было очень, очень дурно,— сказал мистер Пексниф.— Не торопитесь, мистер Пинч.

— Благодарю вас, сэр,— воскликнул Том.— Тогда они спросили меня: «Нет ли пешеходной тропинки к дому мистера Пекснифа...»

Мистер Пексниф вдруг преисполнился внимания.

— «...так, чтобы не проходить мимо «Дракона»?» Когда я сказал, что есть и что я буду очень рад проводить

их, они отослали карету вперед и пошли со мной лугом. Я оставил их у калитки, а сам побежал вперед — предупредить вас, что они идут и будут здесь... я бы сказал через... через какую-нибудь минуту, сэр,— прибавил мистер Пинч, с трудом переводя дух.

— Так кто же,— сказал мистер Пексниф, размышляя вслух,— кто бы могли быть эти люди?

— Господи помилуй, сэр! — воскликнул Том.— Я хотел сказать с самого начала и даже думал, что сказал. Я сразу же узнал их, то есть ее, я хочу сказать. Тот джентльмен, что прошлую зиму лежал больной в «Драконе», сэр, и молодая леди, что ухаживала за ним.

У Тома подкосились ноги, и он просто зашатался от изумления при виде того, какое действие произвели на мистера Пекснифа эти простые слова. Страх потерять благосклонность старика чуть ли не в ту самую минуту, как они примирились, из-за того только, что Джонас гостит у него в доме; сознание, что он не может выгнать Джонаса, запереть его или связать по рукам и по ногам и спрятать в погреб для угля, не разобидев его непоправимо; ужасный раздор, воцарившийся в его доме, и невозможность привести свое семейство к благопристойному согласию, поскольку Чарити находилась в сильнейшей истерике, Мерси — в полном расстройстве чувств, Джонас в гостиной, а Мартин Чезлвит со своей молоденькой воспитанницей у самого порога; отсутствие всякой надежды как-нибудь скрыть или правдоподобно объяснить такую суматоху; внезапное нагромождение неразрешимых трудностей и неминуемых бед над его обреченной гибели головой — ибо он рассчитывал выпутаться, полагаясь на время, удачу, случай и собственные происки,— до такой степени привели в ужас застигнутого врасплох архитектора, что если бы Том был Горгоной *, взиравшей на мистера Пекснифа, а мистер Пексниф Горгоной, взиравшей на Тома, они едва ли могли бы испугать друг друга более.

— Боже, боже! — воскликнул Том.— Что я наделал? А я-то надеялся, что это будет для вас приятный сюрприз. Думал, вы обрадуетесь.

И в эту самую минуту послышался громкий стук в дверь.

## ГЛАВА XXI

***Опять Америка. Мартин берет себе компаньона и делает покупку. Нечто об Эдеме, каким он представляется на бумаге. А также о британском льве. А также о том, какого рода чувства высказывала и питала Объединенная Ассоциация Уотертостских Сочувствующих***

Стук в дверь мистера Пекснифа, хотя и довольно громкий, нисколько не был похож на шум американского поезда на полном ходу. Может быть, лучше прямо начать главу с этого откровенного признания, чтобы читатель не вообразил, будто оглушительный шум, который сейчас ворвался в наш рассказ, имеет какое-либо отношение к дверному молотку мистера Пекснифа или к тому сильному волнению, в которое бесцеремонность этого молотка повергла в равной мере и мистера Пинча и его достойного патрона.

Дом мистера Пекснифа находится более чем за тысячу миль от нас, и высокими спутниками нашего счастливого повествования снова становятся Свобода и Нравственность. Снова мы дышим благодатным воздухом независимости, снова созерцаем с благоговейным трепетом ту высокую нравственность, которая отнюдь не намерена воздавать кесарю кесарево; снова вдыхаем священную атмосферу, воспитавшую того благородного патриота — о, сколько нашлось у него подражателей! — который мечтал о свободе в объятиях рабыни, а наутро продавал с публичного торга ее и своих детей *.

Как стучат и лязгают колеса, как дрожат рельсы, когда поезд несется вперед! Но вот завыл паровоз, словно его бьют и терзают, как живого раба, и он корчится в муках. Пустая фантазия! Сталь и железо ценятся в этой республике гораздо выше плоти и крови. Если это хитроумное создание рук человеческих заставить работать сверх сил, оно в самом себе найдет средства для мщения; а несчастный механизм, созданный божественной рукой, не обладает такими опасными свойствами — его можно гнуть, ломать и калечить сколько угодно надсмотрщику! Взгляните на

этот паровоз! Удовлетворяя оскорбленный закон, налагающий взыскания и штрафы, человек заплатит гораздо дороже, если в разрушительном буйстве искорежит эту бесчувственную массу металла, чем если убьет двадцать себе подобных.

Машинист того поезда, шум которого привлек наше внимание в начале главы, не смущался такими размышлениями; маловероятно, чтобы его вообще тревожили какие-нибудь мысли. Сидя в равнодушной позе, скрестив руки и положив ногу на ногу, он курил, прислонившись к стенке; и кроме тех случаев, когда он выражал коротким, как его трубка, ворчаньем одобрение кочегару, который от нечего делать швырял дровами в коров, забредавших на рельсы, он сохранял невозмутимое спокойствие, как если бы паровоз интересовал его не больше какого-нибудь поросенка. Несмотря на полную неподвижность этого должностного лица и его душевное равновесие, поезд шел полным ходом, и так как рельсы были уложены очень небрежно, его потряхивало и подталкивало на ходу довольно часто и довольно ощутительно.

Паровоз тащил за собой три длинных крытых вагона: вагон для дам, вагон для мужчин и вагон для негров — последний из уважения к его пассажирам был выкрашен в черную краску. Мартин с Марком Тэпли ехали в первом вагоне, самом удобном; он был далеко не полон, а потому в него пускали также и джентльменов, лишенных, как и они, удовольствия ехать со своими дамами. Оба они сидели рядом и были заняты серьезным разговором.

— Значит, Марк,— говорил Мартин, озабоченно глядя на своего спутника,— вы рады, что мы распростились с Нью-Йорком?

— Да, сэр,— сказал Марк,— я рад. Очень даже рад!

— Разве вам там не было «весело»? — спросил Мартин.

— Наоборот, сэр,— ответил Марк.— Самой веселой неделей в моей жизни была как раз эта неделя у Паукинсов.

— Что вы думаете о нашем будущем? — спросил Мартин с таким выражением, которое ясно говорило, что он долго не решался задать этот вопрос.

— Чего уж лучше, сэр,— ответил Марк.— Невозможно подобрать для города название удачнее, чем Долина Эдема. Лучше и не придумаешь места, где поселиться, как в Долине Эдема. А еще говорят,— прибавил Марк, помолчав,— там уйма змей,— значит, все, как полагается, на своем месте.

Лицо Марка нисколько не омрачилось при этом радостном сообщении, наоборот — так просияло, что посторонний человек мог бы предположить, будто он всю жизнь стремился попасть в общество змей и теперь с восторгом приветствует исполнение своих заветных желаний.

— Кто это вам сказал? — сурово спросил Мартин.

— Один военный, офицер.

— Подите вы к черту, только насмешили! — воскликнул Мартин, невольно расхохотавшись.— Какой офицер? Вы же знаете, что их тут видимо-невидимо.

— Как огородных пугал в Англии, сэр,— подхватил Марк,— те тоже военные, вроде здешнего ополчения: мундир, жилет, а внутри палка. Ха-ха! Не обращайте внимания, сэр, это со мной бывает. Не могу не смеяться. Ну как же! Один из этих захватчиков-победителей у Паукинсов говорит мне: «Верно ли, я слышал,— говорит, и не то чтобы гнусит, а так, будто у него в носу сидит пробка где-то очень глубоко,— верно ли, что вы едете в Долину Эдема?» — «Я тоже слыхал что-то в этом роде»,— говорю я. «О! — говорит он.— Так если вам случится там лечь в кровать, а это может случиться, говорит, со временем цивилизация все совершенствуется, так не забудьте захватить с собой топор». Я гляжу на него во все глаза. «Блохи?»— спрашиваю. «Хуже»,— говорит он. «Вампиры?» — спрашиваю. «Хуже»,— говорит он. «Так что же еще?» — спрашиваю. «А еще змеи,— говорит он,— гремучие змеи. До некоторой степени вы правы, незнакомец. Всякая мелочь там тоже водится, разные кусачие кровопийцы, которые любят пастись на человеческой шкуре, только на них обращать внимания нечего, с ними даже веселей. А вот змеи, говорит, против них вы будете возражать; как проснетесь и увидите, что она стоит торчком на вашей постели, вроде штопора без ручки, так прямо и рубите ее сплеча, она ядовитая».

— Почему вы мне раньше этого не сказали? — воскликнул Мартин с таким выражением лица, которое являло полную противоположность жизнерадостной улыбке Марка.

— Как-то не догадался, сэр,— сказал Марк.— В одно ухо влетело, в другое вылетело. А впрочем, господь с ним, он, наверно, из другой земельной компании и выдумал всю эту историю, чтобы мы ехали к нему в Эдем, а не к его конкурентам.

— Это, пожалуй, возможно,— заметил Мартин.— Сказать по чести, я на это сильно надеюсь.

— Я в этом уверен, сэр,— возразил Марк, который так необычайно воодушевился под влиянием своего анекдота, что на минуту позабыл, как это может подействовать на его хозяина,— ведь нам все-таки надо жить, знаете ли.

— Жить! — воскликнул Мартин.— Да, легко сказать! А если мы не проснемся, когда змеи начнут извиваться штопором у нас на кровати?

— А между тем это факт,— сказал чей-то голос так близко от его уха, что ему стало щекотно.— Это прискорбная истина.

Мартин оглянулся и увидел, что незнакомец, сидевший на задней скамейке, просунул голову между ним и Марком и прислушивается к их разговору, опершись подбородком на спинку скамьи. По внешности он был такой же вялый и безжизненный, как и большинство встречавшихся им здесь джентльменов; щеки у него были такие втянутые, как будто он все время их всасывал, да и цвет лица не стал от загара здоровее, а сделался каким-то грязно-желтым. Его блестящие черные глаза были полузакрыты, и глядел он как-то искоса, словно говоря: «Вам меня не перехитрить: и хочется, да не выйдет». Наклонившись вперед, незнакомец небрежно упирался руками в колени; в левой руке он держал плитку табаку, как английские фермеры держат кусок сыра, а в правой перочинный ножик. Он так бесцеремонно вмешался в разговор, как будто его давным-давно пригласили принять в нем участие, выслушать обе стороны и осчастливить их, изложив свое мнение; видно, ему и в голову не приходило, что с ним, быть может, вовсе не желают знакомиться и посвящать его в свои личные дела; это его

так же мало тревожило, как какого-нибудь медведя или бизона.

— Да, это прискорбная истина,— повторил он, снисходительно кивая Мартину, как совершенному варвару и чужестранцу.— Там до черта всяких гадов.

Мартин невольно нахмурился в первую минуту, как бы давая понять, что незнакомец тоже входит в их число. Однако, вспомнив, что благоразумие велит с волками выть по-волчьи, он улыбнулся с самым любезным выражением, какое можно было принять за такое короткое время.

Впрочем, незнакомец не сказал ничего больше; он тихонько насвистывал, отрезая себе новую порцию жвачки от плитки табаку. Обкромсав ее по своему вкусу, он вынул изо рта старую жвачку и положил на спинку скамьи между Марком и Мартином, а новую сунул за щеку, где она оттопыривалась, как крупный орех или небольшое яблоко. Найдя ее вполне удовлетворительной, он воткнул кончик ножа в старую жвачку и, показав ее своим спутникам, заметил с видом человека, который недаром провел время, что она здорово изжевана. Потом выбросил жвачку в окно, сунул нож в один карман, а табак в другой, снова оперся подбородком на спинку скамьи и, одобрительно глядя на узорчатый жилет Мартина, протянул руку, чтобы пощупать материю.

— Как это по-вашему называется? — спросил он.

— Честное слово, не знаю,— сказал Мартин.

— Должно быть, платили доллар за ярд, а то и больше?

— Право, не знаю.

— У нас в Америке,— сказал незнакомец,— мы знаем, сколько стоят наши изделия.

Наступило молчание, так как Мартин не стал обсуждать этот вопрос.

— Ну,— продолжал новый знакомый, пристально глядевший на них все время, пока они молчали,— как поживает зловредная старуха?

Мистер Тэпли, усмотрев в этом вопросе новую версию непочтительного английского вопроса: «Как поживает ваша мамаша?» — собирался уже обидеться, но Мартин быстро вмешался:

— Вы спрашиваете про Англию? — сказал он.

— Да! — был ответ.— Как она? Все пятится назад, я полагаю? Все по-старому? Ну, а как королева Виктория? *

— Кажется, в добром здоровье,— сказал Мартин.

— У королевы Виктории не дрожат ее королевские поджилки при мысли о завтрашнем дне? — заметил незнакомец.— Нет?

— Насколько мне известно, не дрожат. Да и с какой стати?

— Ее не затрясет лихорадка, когда она узнает, что тут у нас делается? — спросил незнакомец.— Нет?

— Нет,— сказал Мартин.— Думаю, что могу в этом поклясться.

Незнакомец поглядел на него, словно сожалея о его невежестве и предрассудках, и сказал:

— Ну, сэр, вот что я вам скажу: во всех благословенных богом и свободных Штатах не найдется ни одной машины со взорванным котлом, которая была бы так расшатана и разбита, как будет потрясено и разбито это юное создание в роскошных чертогах лондонского Тауэра *, когда прочтет следующий экстренный выпуск нашей «Уотертостской газеты».

Во время этого диалога некоторые из пассажиров встали со своих мест и подошли к беседующим. Все они были в восторге от речи своего соотечественника. Один сухопарый джентльмен в плохо завязанном измятом белом галстуке, длинном белом жилете и черном пальто, по-видимому пользовавшийся авторитетом, счел нужным выразить их чувства.

— Гм! Мистер Лафайет Кеттл! — сказал он, снимая шляпу.

Послышался почтительный шепот: «Тише!»

— Мистер Лафайет Кеттл! Сэр!

Мистер Кеттл поклонился.

— От имени всех собравшихся, сэр, от имени нашего общего отечества и от имени святого дела, сочувствие к которому нас всех объединяет, благодарю вас. Благодарю вас, сэр, от имени Уотертостской Ассоциации Сочувствующих, благодарю вас, сэр, от имени «Уотертостской газеты», благодарю вас, сэр, от звездного знамени великих Соединенных Штатов за ваше красноречивое и решительное выступление. И если бы, сэр,— продолжал

оратор, тыча в Мартина ручкой зонтика, так как тот прислушивался к словам Марка, шептавшего ему что-то на ухо,— если бы я мог, в данное время и при данных обстоятельствах, заключить свою речь пожеланием, весьма близко относящимся к затронутому предмету, я бы сказал, сэр: пусть благородный клюв Американского Орла вырвет когти Британскому Льву и научит его извлекать из Ирландской Арфы и Шотландской Скрипки те звуки, какие издает каждая пустая раковина на зеленых берегах Колумбии!

Под восторженный ропот слушателей долговязый джентльмен снова уселся на место; все приняли чрезвычайно важный вид.

— Генерал Чок,— сказал мистер Лафайет Кеттл,— вы согрели мне сердце, сэр, вы согрели мне сердце. Но Британский Лев имеет здесь своего представителя, сэр, и мне хотелось бы слышать, что он на это ответит.

— Право,— сказал Мартин, смеясь,— раз уж вы делаете мне честь и считаете меня представителем Британского Льва, то могу сказать, что я никогда не слыхал, чтобы королева Виктория читала эту вашу газету — как ее? — это вряд ли возможно.

Генерал Чок улыбнулся остальным и разъяснил терпеливо и благосклонно:

— Газету ей посылают, сэр. Посылают. По почте.

— Но если ее посылают в лондонский Тауэр, она вряд ли доходит по адресу,— возразил Мартин,— королева там не живет.

— Английская королева, джентльмены,— заметил мистер Тэпли с невозмутимым лицом, разыгрывая величайшую вежливость,— английская королева обыкновенно живет на Монетном дворе, чтобы присматривать за деньгами. А по должности у нее имеется квартира в доме у лорд-мэра, только она не часто ее занимает, оттого что камин в гостиной дымит.

— Марк,— сказал Мартин,— вы очень меня обяжете, если будете так добры не вмешиваться со своими дурацкими замечаниями, как бы остроумны они вам ни казались. Я хотел только сказать, джентльмены,— хотя это вовсе не так важно,— что английская королева не живет в лондонском Тауэре.

— Генерал! — воскликнул мистер Лафайет Кеттл.— Вы слышите?

— Генерал! — подхватили другие.— Генерал!

— Тс-с! Попрошу тише! — поднимая руку, сказал генерал Чок таким терпеливым и снисходительным тоном, что приятно было слышать.— Я всегда считал чрезвычайно странным то обстоятельство (я приписываю его характеру британских учреждений и их наклонности подавлять любознательность народа, столь широко распространенную даже в самых глухих углах нашего материка), что познания англичан в этих предметах не могут сравниться с теми, какими обладают просвещенные и деятельные граждане нашей страны. То, что вы говорите, весьма любопытно и подтверждает мои наблюдения. Когда вы заявляете, сэр,— продолжал он, обращаясь к Мартину,— что ваша королева не живет в лондонском Тауэре, вы впадаете в заблуждение, нередко свойственное вашим соотечественникам, даже в тех случаях, когда их умственные и нравственные достоинства не вызывают никаких сомнений. Но вы ошибаетесь, сэр. Она живет там...

— Когда бывает в Сент-Джеймском дворце,— вмешался Кеттл.

— Когда бывает в Сент-Джеймском дворце, разумеется,— повторил генерал все так же благосклонно,— потому что, когда она живет в Виндзоре, она не может находиться в Лондоне. Ваш лондонский Тауэр,— продолжал генерал, кротко улыбаясь, в сознании собственной просвещенности,— естественно является резиденцией ваших королей. Расположенный в непосредственном соседстве с вашими парками, вашими аллеями, вашими триумфальными арками, вашей Оперой и вашими залами Олмэка *, он представляет собой самую подходящую резиденцию для блистательного и легкомысленного двора. И следовательно,— заключил генерал,— двор находится там.

— Вы бывали в Англии? — спросил Мартин.

— Мысленно бывал, сэр,— сказал генерал,— но не иначе. Мы здесь много читаем, сэр. Вы встретите среди нас такую осведомленность, сэр, что просто изумитесь.

— Я в этом нисколько не сомневаюсь,— ответил Мартин. Но тут его прервал мистер Лафайет Кеттл, шепнув ему на ухо:

— Вы знаете генерала Чока?

— Нет,— ответил Мартин также шепотом.

— А знаете, кто он такой?

— Один из самых замечательных людей в стране? — сказал Мартин наудачу.

— Совершенно верно,— подтвердил Кеттл.— Я так и знал, что вы о нем слышали!

— Кажется,— сказал Мартин, снова обращаясь к генералу,— у меня есть рекомендательное письмо к вам, сэр; имею честь вручить его. От мистера Бивена, из Массачузетса,— прибавил он, подавая письмо.

Генерал взял его и внимательно прочел, время от времени останавливаясь, чтобы взглянуть на двух незнакомцев. Прочитав записку, он подошел к Мартину, сел рядом с ним и пожал ему руку.

— Ну-с,— сказал он,— так вы думаете поселиться в Эдеме?

— Спросив вашего мнения и посоветовавшись с агентом,— отвечал Мартин.— Мне говорили, что в старых городах нам нечего будет делать.

— Могу познакомить вас с агентом, сэр,— сказал генерал.— Я его знаю. В сущности, я и сам состою в эдемской земельной компании.

Это была важная новость, так как друг Мартина придавал большое значение тому, что генерал не имеет отношения ни к одной земельной компании и, следовательно, может дать ему беспристрастный совет. Генерал объяснил, что он вступил в общество всего несколько недель назад и за это время не имел известий от мистера Бивена.

— Мы вкладываем очень немного,— озабоченно сказал Мартин,— всего несколько фунтов, но это все, что у нас есть. Как вы думаете, обещает ли эта спекуляция хоть какой-нибудь успех человеку моей профессии?

— Что ж,— важно заметил генерал,— если бы эта спекуляция не обещала никаких выгод, в нее не были бы вложены мои доллары, я так думаю.

— Я имею в виду не продавцов,— сказал Мартин,— а покупателей, покупателей!

— Покупателей, сэр? — отозвался генерал в высшей степени внушительно.— Вы приехали из Старого Света,

сэр, из страны, сэр, которая возвела себе башни не ниже Вавилонской * и поклонялась золотому тельцу целые века. Мы — молодая страна, сэр; человек здесь ближе к природе; мы не можем оправдываться тем, что с течением времени впали в развращенность; у нас нет кумиров; человек здесь, сэр, не потерял своего человеческого достоинства. Мы сражались за это, и ни за что другое. Вот я, сэр,— сказал генерал, выдвигая вперед зонтик, который должен был изображать его (и дрянной же это был зонтик; никуда не годная замена для такой полноценной монеты, как генеральская благосклонность!),— вот я, сэр, человек немолодой и благонамеренный. Так неужели же я, с моими правилами, вложил бы средства в эту спекуляцию, если бы думал, что она не принесет успеха моему ближнему?

Мартин постарался сделать вид, что верит, но вспомнил Нью-Йорк и не смог.

— Для чего существуют великие Соединенные Штаты, сэр,— продолжал генерал,— как не для возрождения человека? Но с вашей стороны вполне естественно задавать такие вопросы, ведь вы приехали из Англии и не знаете моей родины.

— Так вы думаете,— сказал Мартин,— что, невзирая на известные лишения, которые мы готовы терпеть, все же можно — видит бог, мы не ждем многого,— можно рассчитывать хоть на какой-нибудь заработок в Эдеме?

— Какой-нибудь заработок в Эдеме? Но повидайтесь с агентом, повидайтесь с агентом; посмотрите карты и планы, сэр, и решайте, ехать вам или не ехать, сообразившись с характером поселения. Эдему пока еще нет нужды просить милостыню, сэр,— заметил генерал.

— Очень красивое место, вот именно! И очень здоровое к тому же,— сказал мистер Кеттл, который, разумеется, участвовал в разговоре, словно это так и полагалось.

Мартин чувствовал, что оспаривать такое утверждение, не имея на это других причин, кроме собственных тайных опасений, было бы неприлично и не по-джентльменски. Поэтому он поблагодарил генерала за обещание познакомить его с агентом и условился зайти к этому важному лицу завтра утром. Он попросил генерала объ-

яснить ему, что такое Уотертостская Ассоциация Сочувствующих, о которой тот упомянул, обращаясь с речью к мистеру Лафайету Кеттлу, и чему она, собственно, сочувствует. На это генерал ответил очень важно, что он может вполне просветиться на этот счет завтра в том городе, куда они едут, посетив общее собрание Ассоциации, «на котором, сэр, мои сограждане просили меня быть председателем».

Они прибыли к месту своего назначения поздно вечером. Рядом с железной дорогой высилось огромное белое здание, похожее на безобразную больницу, с вывеской: «Национальный отель». По его фасаду тянулась деревянная галерея, или веранда, являвшая довольно странный вид, ибо, когда поезд остановился, на ней можно было заметить торчавшие кверху сапоги и ботинки, а также клубы сигарного дыма — и никаких других следов человеческого присутствия. Постепенно, однако, показались головы и плечи, принадлежавшие сапогам и ботинкам, и тогда обнаружилось, что некоторые постояльцы наслаждаются таким образом вечерней прохладой, оригинальности ради задрав пятки туда, где полагалось бы быть голове, если бы дело происходило в другой стране.

В отеле оказался большой бар и большая общая зала, где уже накрывали общий стол к ужину. Тут имелись бесконечные выбеленные известкой лестницы, длинные выбеленные коридоры и внизу и наверху десятки маленьких выбеленных спален на всех этажах и веранда, которая шла вокруг всего дома; самый же дом представлял собой большой прямоугольник с неуютным двориком посередине. Зевающие джентльмены расхаживали взад и вперед, засунув руки в карманы; но и внутри дома, и перед домом, и везде, где только ни собиралось вместе человек десять, все они своим видом, костюмом, нравами, привычками, умом и разговором повторяли мистера Джефферсона Брика, полковника Дайвера, майора Паукинса, генерала Чока и мистера Лафайета Кеттла,— повторяли без конца. Все они делали одно и то же, говорили одно и то же, судили обо всем одинаково и подходили ко всему с одной и той же меркой. Наблюдая, как они живут и как вра-

щаются в очаровательном обществе друг друга, Мартин начал понимать, почему из них вышли такие общительные, жизнерадостные, привлекательные и покладистые люди.

Под заунывные звуки гонга это приятное общество сошлось со всех концов дома в общую залу; из соседних лавок явились толпы постояльцев, ибо в «Национальном отеле» жило полгорода, и семейные и одинокие. Чай, кофе, копченое мясо, языки, ветчина, пикули, печенье, гренки, варенье, консервы и хлеб с маслом уничтожались с обычной быстротой, после чего, как водится, общество разошлось — кто в контору, кто на склад, а кто и в бар. У дам была своя столовая, поменьше, куда, по желанию, допускались мужья и братья; а время они проводили совершенно так же, как у Паукинсов.

— Ну, милый мой Марк,— сказал Мартин, закрывая дверь своей маленькой комнатки,— надо нам с вами серьезно посоветоваться, потому что завтра решается наша судьба. Вы твердо намерены присоединить ваши сбережения к общему капиталу?

— Если бы я не был намерен рискнуть, сэр,— отвечал мистер Тэпли,— я бы сюда и не поехал.

— Сколько тут, вы говорили? — спросил Мартин, показывая ему маленький мешочек.

— Тридцать семь фунтов десять шиллингов и шесть пенсов. По крайней мере так мне сказали в сберегательной кассе, сам я не считал. Они там уж знают, что вы! — сказал Марк, кивнув головой в знак безграничного доверия к мудрости и счетным талантам этого учреждения.

— Из тех денег, что мы привезли с собой,— сказал Мартин,— осталось восемь фунтов без нескольких шиллингов.

Мистер Тэпли улыбнулся, всеми силами стараясь показать, что он этому не придает никакого значения.

— За кольцо — ее кольцо, Марк...— сказал Мартин, с грустью глядя на свой палец без кольца.

— Да! — вздохнул мистер Тэпли.— Извините меня, сэр.

— ...мы получили четырнадцать фунтов, считая на английские деньги. Так что даже с этим, как видите, ваша доля капитала гораздо больше, чем моя. Ну, Марк,— сказал Мартин совсем по-старому, как он, бывало, говорил с Томом Пинчем,— я придумал, чем отплатить вам за это, и не только отплатить, но, надеюсь, изменить к лучшему ваши виды на будущее.

— Давайте не будем об этом говорить, сэр,— возразил Марк.— Мне ничего не надо. Я всем доволен, сэр, право, доволен.

— Нет, выслушайте меня,— сказал Мартин,— это очень важно для вас, и мне будет очень приятно. Марк, я вас сделаю своим компаньоном, на равных правах со мной. В добавление к капиталу я вкладываю свои профессиональные знания и способности и уступаю вам половину годовой прибыли, пока мы ведем дело вместе.

Бедный Мартин! Он вечно строил воздушные замки. В своем эгоизме он вечно забывал обо всем, кроме своих радужных надежд и оптимистических планов. Даже в эту минуту он воображал, будто покровительствует Марку и щедро вознаграждает его, и гордился этим.

— Не знаю, сэр, что и сказать вам в благодарность,— возразил Марк далеко не так весело, как обыкновенно, хотя и совсем по другой причине, чем думал Мартин.— По мере сил буду служить вам, сэр, до самого конца. Вот и все.

— Мы с вами во всем согласны, мой милый,— сказал Мартин, становясь еще самодовольнее и снисходительнее.— Мы больше не господин и слуга, а друзья и компаньоны, к обоюдной выгоде. Если мы решим ехать в Эдем, то, как только туда приедем, начнем дело под фирмой,— Мартин всегда ковал железо, пока оно горячо,— Чезлвит и Тэпли.

— Господь с вами, сэр,— воскликнул Марк,— зачем вам мое имя? Я и дела-то не знаю. Пускай я буду «и К$^0$», согласен. Мне часто приходило в голову, как бы узнать, что это за «и К$^0$» такая. Вот уж не думал, что сам туда попаду.

— Пусть будет по-вашему, Марк.

— Благодарю вас, сэр. Если какому-нибудь тамош-

нему помещику понадобится устроить кегельбан для трактира или для себя лично, я бы справился с этим делом, сэр.

— Не хуже любого архитектора в Штатах,— сказал Мартин.— Принесите-ка два шерри-коблера, мы с вами выпьем за успехи фирмы.

Он или забыл уже (как и потом частенько забывал), что они больше не хозяин и слуга, или считал такого рода услуги входящими в обязанности «и К⁰». Марк повиновался приказу с обычной своей живостью; и, прежде чем разойтись на ночь, они условились, что завтра утром вместе пойдут к агенту, но что Мартин один будет решать вопрос об Эдеме, по своему усмотрению. И Марк не ставил себе этой уступки в заслугу, хотя бы наедине с самим собой или во имя пущей веселости. Он отлично знал, что дело так или иначе кончится этим.

На следующий день генерал появился за общим столом и после завтрака предложил им не теряя времени отправиться к агенту. Оба компаньона, не желая ничего лучшего, согласились; и все они втроем тут же отправились в контору эдемской компании, которая находилась на расстоянии ружейного выстрела от «Национального отеля».

Она была очень невелика — что-то вроде будки при шлагбауме. Но если большой участок земли может уместиться в стаканчике для игральных костей, то почему же нельзя торговать целой территорией в сарае? К тому же помещение было временное; эдемцы собирались выстроить великолепное здание для торговли участками и даже присмотрели место, а в Америке это уже половина дела. Дверь конторы была распахнута настежь, и в дверях они увидели самого агента; без сомнения, это был ловкач по своей части, ибо все дела, как видно, были у него уже сделаны, и он качался в качалке, упираясь одной ногой в притолоку, а другую подложив под себя, словно высиживал ее, как курица яйца.

Это был костлявый человек в громадной соломенной шляпе и зеленом сюртуке. По случаю жаркой погоды он был без галстука и с расстегнутым воротничком рубашки, так что когда он говорил, видно было, как в горле у него что-то дергается и подскакивает, будто молоточки

в клавикордах. Быть может, истина пыталась пробиться к его устам? Если так, это ей не удалось.

Два серых глаза прятались глубоко в глазницах агента, но один из них ничего не видел и был совершенно неподвижен. Одна сторона лица у него как будто прислушивалась к тому, что делает другая. Таким образом, каждая сторона профиля имела свое выражение, и когда подвижная сторона была всего оживленней — неподвижная хладнокровно наблюдала. Это было все равно что вывернуть человека в самом лучезарном настроении наизнанку и увидеть, какое холодное и расчетливое у него лицо изнутри.

Каждый длинный черный волос на его голове висел прямо, как нитка отвеса, зато над глазами вместо бровей были какие-то взъерошенные кустики, словно гусь, чьи лапки глубоко отпечатались по углам его глаз, исщипал и выклевал их, признав в нем хищную птицу.

Таков был человек, к которому они подходили и которого генерал, здороваясь, назвал Скэддером.

— Ну, генерал,— отвечал тот,— как поживаете?

— Бодр и деятелен; тружусь на пользу отечеству и для общего блага. Два джентльмена к вам, мистер Скэддер.

Скэддер пожал руку и тому и другому (в Америке ничего не делается без рукопожатия) и продолжал раскачиваться в качалке.

— Кажется, я знаю, по какому делу пришли сюда эти незнакомцы, не так ли, генерал?

— Да, сэр, думаю, что знаете.

— У вас длинный язык, генерал. Много болтаете, вот что,— сказал Скэддер.— Вы отлично выступаете на общественных собраниях, но только в частных разговорах надо быть поосмотрительнее. Вот что!

— Ничего ровно не понимаю, хоть повесьте! — ответил генерал, подумав.

— Вы же знаете, что мы не собирались продавать участки первому встречному,— сказал Скэддер,— а решили приберечь их для природных аристократов. Да!

— Так ведь вот же они, сэр! — с жаром воскликнул генерал.— Вот они, сэр.

— Ну и ладно, когда так,— укоризненным тоном ответил Скэддер.— Нечего вам на меня злиться, генерал.

Генерал шепнул Мартину, что Скэддер честнейший малый и что он даже за десять тысяч долларов не решился бы его обидеть.

— Я выполняю свой долг, охраняю интересы моих ближних, а они же на меня и злятся,— негромко сказал Скэддер, глядя на дорогу и по-прежнему раскачиваясь в качалке.— Они сердятся, что я мешаю им распродавать Эдем по дешевке. Вот вам человеческая природа! Да!

— Мистер Скэддер,— произнес генерал, принимая позу оратора.— Сэр! Вот вам моя рука, и вот вам мое сердце. Я уважаю вас, сэр, и прошу вашего прощения. Эти джентльмены мои друзья, сэр, иначе я не привел бы их сюда, хорошо зная, что участки теперь продаются слишком дешево. Но это друзья, сэр, мои близкие друзья.

Мистер Скэддер был так доволен этим объяснением, что горячо пожал генералу руку и даже встал для этого с качалки. После чего он пригласил «близких друзей» генерала войти в контору. Сам же генерал заметил с обычной своей благожелательностью, что не хочет мешаться в их дела, поскольку состоит в земельной компании, и, усевшись в качалку, стал смотреть на дорогу, подобно доброму самаритянину, поджидающему путника *.

— Ого! — воскликнул Мартин, заметив большой план, занимавший всю стену конторы. Впрочем, в конторе, кроме этого плана, не было почти ничего, если не считать ботанических и геологических образцов, двух-трех засаленных конторских книг да некрашеной конторки и стула.— Ого! Это что такое?

— Это Эдем,— сказал Скэддер, ковыряя в зубах чем-то вроде микроскопического штыка, выскочившего из перочинного ножика при нажатии пружинки.

— Я понятия не имел, что это целый город!

— Не имели? Да, это целый город.

И цветущий город! Застроенный город! Тут были банки, церкви, соборы, фабрики, рынки, гостиницы, магазины, особняки, пристани, биржа, театр, общественные здания всякого рода, вплоть до редакции ежедневной газеты «Эдемский скорпион»,— все это было очень точно нанесено на план.


EDEN

— Боже мой! Да ведь это в самом деле большой город! — воскликнул Мартин, оборачиваясь.

— Да, очень большой,— заметил агент.

— Боюсь только,— сказал Мартин, опять разглядывая общественные здания,— что мне там нечего будет делать.

— Ну, он не весь отстроен,— возразил агент.— Не совсем еще.

Мартин вздохнул свободнее.

— Например, вот этот рынок? — спросил Мартин.— Он построен?

— Вот этот? — сказал агент, тыча зубочисткой во флюгер на крыше.— Позвольте-ка! Нет, этот еще не построен.

— Недурно было бы начать с него. А, Марк? — прошептал Мартин, толкая своего компаньона локтем.

Марк, который с самым невозмутимым видом поглядывал то на агента, то на план, ответил только:

— Еще бы!

Наступила мертвая тишина; мистер Скэддер, по временам давая отдых зубочистке, насвистывал «Янки Дудл» * и сдувал пыль с крыши театра.

— Я думаю,— сказал Мартин, делая вид, что пристально разглядывает план, но с дрожью в голосе, которая показывала, с какой тревогой он ожидает ответа,— я думаю, там... уже есть архитекторы?

— Ни единого,— сказал Скэддер.

— Марк,— прошептал Мартин, дергая его за рукав,— вы слышите? Но кто же тогда строил все это? — спросил он вслух.

— Земля там очень плодородная, так постройки, может, сами из нее лезут? — предположил Марк.

Он стоял рядом с агентом, с незрячей его стороны, но Скэддер мгновенно повернулся и устремил на него свой зрячий глаз.

— Пощупайте мои руки, молодой человек,— сказал он.

— Зачем? — спросил Марк, отклоняя это предложение.

— Грязны они или чисты, сэр? — вопросил Скэддер, протягивая руки.

В прямом смысле слова они были решительно грязны. Но было очевидно, что мистер Скэддер предлагал исследовать их в переносном смысле, в качестве символов его нравственности, и потому Мартин поторопился объявить, что они чище только что выпавшего снега.

— Прошу вас, Марк,— сказал он с раздражением,— не вмешиваться с такими замечаниями; хотя они и безобидны, однако совершенно неуместны и вряд ли интересны для посторонних. Я вам удивляюсь.

«Вот «и К⁰» и села в лужу,— подумал Марк.— Видно, придется «и К⁰» быть без голоса, все равно как болвану в картах».

Мистер Скэддер ничего не ответил, но прислонился спиной к плану и раз двадцать подряд ткнул зубочисткой в конторку, глядя на Марка, словно он его пронзал этим оружием.

— Вы не сказали, кто все это строил? — отважился, наконец, заметить Мартин кротким, примирительным тоном.

— Ладно, кто бы ни выстроил! — недовольно сказал агент.— Вам-то какое дело? Может, он укатил с целой кучей долларов, а может, не заработал ни цента. Может, он был лодырь, а может, и делец, каких мало. Да!

— Это все вы наделали, Марк! — сказал Мартин.

— Может,— продолжал агент,— эти растения вовсе не из Эдема. Да! Может, эта конторка и стул не из эдемского леса. Да! Может, туда не поехала целая орда поселенцев. Может, и совсем нет такого города в великих Соединенных Штатах! Все может быть!

— Надеюсь, вы довольны успехом вашей шутки, Марк? — сказал Мартин.

Но тут, как раз вовремя, вмешался генерал. Он с порога крикнул Скэддеру, чтобы тот дал его друзьям подробные сведения о небольшом участке в пятьдесят акров с домом, который раньше принадлежал компании и теперь снова вернулся в ее руки.

— Вы уж слишком расщедрились, генерал,— ответил агент.— На этот участок надо бы повысить цену. Да, да!

Тем не менее он, ворча, раскрыл свои книги и, все время повертываясь к Мартину зрячей половиной лица,

каких трудов это ему ни стоило, показал ему одну страницу. Мартин прочел ее с жадностью и спросил:

— А где же это место на плане?

— На плане? — переспросил Скэддер.

— Да.

Агент повернулся к плану и с минуту раздумывал, как будто, задетый за живое, он решил быть точным до микроскопической доли волоска. Наконец, медленно описав зубочисткой несколько кругов в воздухе, словно только что выпущенный почтовый голубь, он вдруг ткнул зубочисткой в чертеж, пронзив посредине главную пристань.

— Вот! — произнес он, оставляя в стене дрожащий ножик.— Вот это где!

Мартин оглянулся на своего компаньона сияющими глазами, и тот понял, что дело кончено.

Заключить сделку оказалось, однако, не так легко, как можно было ожидать, потому что Скэддер был не в духе, ко всему придирался и то и дело ставил им палки в колеса: то просил еще подумать и зайти опять через неделю-другую; то предсказывал, что участок им не понравится; то предлагал им отступиться и уйти и, не стесняясь в выражениях, отчитывал генерала за безрассудство. Но в конце концов удивительно скромная сумма, которую просили за участок, всего сто пятьдесят долларов, или немногим больше тридцати английских фунтов, внесенных «и К°» в архитектурную фирму, были уплачены; Мартин сразу вырос от сознания, что владеет землей в цветущем городе Эдеме, и голова его стала дюйма на два ближе к деревянному потолку маленькой конторы.

— Если участок вам не подойдет,— сказал Скэддер, получив деньги и вручая Мартину все нужные документы,— на меня не обижайтесь.

— Нет, нет,— отвечал тот весело,— мы на вас обижаться не будем. Генерал, вы идете?

— Я к вашим услугам, сэр, и поздравляю вас с покупкой,— сказал генерал, снисходительно и важно подавая Мартину руку.— Теперь, сэр, вы гражданин самой могущественной и высокопросвещенной страны, какая украшает мир; страны, сэр, где человека связы-

вают с человеком всеобъемлющие узы любви и справедливости. Будьте же достойны вашего нового отечества, сэр!

Мартин поблагодарил его и простился с мистером Скэддером, который занял свой пост в качалке, не успел генерал с нее слезть, и опять раскачивался с таким видом, как будто его и не беспокоили. Марк несколько раз оглядывался на него, пока они шли к «Национальному отелю», но теперь к ним обращена была поврежденная сторона профиля, не выражавшая ничего, кроме сосредоточенного внимания. Удивительный контраст с другой стороной! Агент был не смешлив и никогда не смеялся открыто, но каждая черточка гусиных лапок и каждая жилка на поврежденной стороне морщилась от смеха. Половинки двойной фигуры «Смерть и красавица» на заставке к старой балладе не разделены более резко и не отличаются так страшно друг от друга, как отличались две стороны профиля Зефании Скэддера.

Генерал очень спешил, так как время подходило к двенадцати, а ровно в двенадцать должно было состояться большое собрание Уотертостской Ассоциации Сочувствующих в общей зале «Национального отеля». Мартин не отставал от генерала, любопытствуя побывать на собрании и узнать, в чем же, собственно, дело, и, когда они вошли в залу, пробрался вслед за ним на маленькую платформу из сдвинутых вместе столов, где для генерала было поставлено кресло и где мистер Лафайет Кеттл, в качестве секретаря, торжественно раскладывал на столе какие-то документы, должно быть из категории «забористых статеек».

— Ну, сэр,— сказал он, пожимая Мартину руку,— надеюсь, вы сейчас увидите такое зрелище, после которого британскому льву останется только поджать хвост и завыть от страха!

Мартин и сам думал, что британскому льву пришлось бы очень не по себе в таком ковчеге, но, разумеется, не высказал этой мысли. Чахлый юноша типа Джефферсона Брика предложил выбрать генерала председателем, а после того произнес весьма зажигательную речь, в которой много говорилось о домашнем очаге и об уничтожении цепей тирании.

Досталось-таки британскому льву, здорово досталось! Негодование пылкого гражданина Колумбии было беспредельно. Если бы он был собственным прадедом, говорил он, уж и задал бы он этому льву, проучил бы его, как укротитель, стальным бичом, так что тот долго не забыл бы урока.— Лев! — восклицал молодой колумбиец.— Где этот лев? Кто он и что он? Покажите мне этого льва! Подайте его сюда! Сюда! — восклицал он, становясь в позу борца.— На священный алтарь,— кричал молодой колумбиец, возводя в этот высокий ранг простой обеденный стол,— на прах наших предков, орошенный их доблестной кровью, которая лилась как вода на родных полях Чикабиддилика! Подайте мне этого льва! — говорил молодой колумбиец.— Я вызываю его один на один! Я смеюсь над ним! Я вперед говорю ему, что как только рука Свободы коснется гривы этого льва, он падет передо мною бездыханный и орлы нашей великой республики посмеются над ним! Ха-ха-ха!

Когда оказалось, что лев не явился, уклонившись от вызова, и что молодой колумбиец, скрестив руки на груди, стоит один в сиянии славы, и орлы, надо полагать, бешено хохочут на горных вершинах, начались такие рукоплескания, что едва не дрогнули стрелки на часах Конногвардейского штаба в Лондоне *, изменив среднее время в столице Англии.

— Кто это такой? — телеграфировал Мартин Лафайету.

Секретарь с важным видом написал что-то на клочке бумаги, свернул записку и пустил по рукам, чтобы ее передали Мартину. Это был вариант известного изречения: «Быть может, один из самых замечательных людей нашей страны».

Первого колумбийца сменил второй, нисколько не менее красноречивый, чем тот, который вызвал такую бурю рукоплесканий. Но оба замечательных молодых человека настолько увлеклись, что позабыли сказать (ибо истинная поэзия не унижается до мелочей), чему и кому сочувствует их Ассоциация, а также, в чем и каким образом выражается ее сочувствие. Поэтому Мартин довольно долго оставался во мраке неведения, пока, наконец,

секретарь не пролил свет на этот вопрос, читая протоколы прежних заседаний, и таким образом дело несколько разъяснилось. Мартин узнал, что члены Ассоциации сочувствуют одному общественному деятелю Ирландии, который вел борьбу с Англией по некоторым вопросам; и что они ему сочувствуют потому только, что ненавидят Англию, а вовсе не потому, что любят Ирландию; наоборот, к ирландцам они относились крайне недоверчиво и подозрительно и терпели их только за то, что они усердные работники, полезные этой республике «простецов», где труд презирают больше, чем в какой бы то ни было другой стране. Мартину любопытно было услышать, чем объяснит Ассоциация свое сочувствие, и ждать ему пришлось недолго, ибо генерал поднялся с места и прочел письмо этому общественному деятелю, написанное им собственноручно.

— Друзья мои и сограждане,— провозгласил генерал,— вот это письмо:

«Сэр,

Я обращаюсь к вам от имени Уотертостской Ассоциации Сочувствующих. Она основана, сэр, в нашей великой американской республике! Ныне она, затаив дыхание и вся обратившись в слух, следит с напряженным вниманием и горячим сочувствием за вашей борьбой во имя Свободы».

При слове «Свобода» и при каждом повторении этого слова все сочувствующие громко провозглашали «ура» девятью девять раз и еще девять раз подряд.

— «Во имя Свободы, сэр, священной Свободы, обращаюсь к вам и я. Во имя Свободы посылаю вам вклад в фонды вашего общества. Во имя Свободы, сэр, я с негодованием и отвращением упоминаю о том ненавистном животном, чья морда обагрена кровью, чья жгучая злоба и неистовая алчность всегда были бичом и язвой для всего света. Нагие посетители острова Крузо, сэр, летающие жены Питера Вилкинса *, младенцы в лесу и даже великаны, когда-то водившиеся в горных районах Корнуэлса,— все они одинаково свидетельствуют о свирепости его натуры. Где Синие Бороды, маркизы Карабасы, знаменитые людоеды, память о которых живет в

истории? Все они, все до одного истреблены его беспощадной лапой!

Я намекаю, сэр, на Британского Льва.

Преданные Свободе душой и телом, сэр, Свободе, которая радует и утешает улитку на дверях погреба, устрицу на ее перламутровом ложе, тихого клеща в его родном сыре и даже вашего английского слизняка в его раковине,— от ее незапятнанного имени мы выражаем вам свое сочувствие. О сэр, в нашей возлюбленной и счастливой стране пламя Свободы горит ярко и чисто, не давая дыма; как только оно загорится и у вас, лев будет изжарен целиком.

Во имя Свободы, сэр, остаюсь вашим преданным другом, неизменно сочувствующий вам

*Сайрес Чок,*

генерал ополчения США».

Как раз в ту минуту, когда генерал начал читать свое письмо, пришел поезд, доставивший последнюю почту из Англии; секретарю подали пакет, и он распечатал его во время чтения, под неумолкаемые крики «ура» в честь Свободы. Содержание письма, по-видимому, сильно встревожило секретаря, и как только генерал уселся на место, он поспешил передать ему письмо и несколько вырезок из английских газет, очень волнуясь и настаивая, чтобы он тут же прочел их.

Генерал, сильно разгоряченный собственным успехом, был именно в таком состоянии, когда ничего не стоит воспламениться; как только он ознакомился с этими документами, лицо его изменилось и выразило такой гнев и озлобление, что шумное сборище в одну минуту притихло, пораженное его видом.

— Друзья мои! — крикнул генерал, вскакивая с места.— Друзья мои и сограждане, мы ошиблись в этом человеке!

— В каком человеке? — закричали все.

— Вот в этом,— прохрипел генерал, показывая письмо, которое читал вслух несколько минут тому назад.— Я узнал, что он всегда был и остается сторонником — и самым упорным — освобождения негров!

Если бы этот человек был сейчас среди них, то — уж будьте покойны! — сыны свободы застрелили бы его, закололи, убили бы его своими трусливыми руками в кровожадной злобе. Даже самый легковерный из их соотечественников не решился бы держать за него пари, не дал бы гнилой соломинки за жизнь человека, попавшего в такую переделку. Они разорвали письмо в клочки, швыряли их в воздух, топтали ногами и выли, ревели и свистели до полной потери голоса.

— Я предлагаю,— объявил генерал, как только ему удалось перекричать шум,— немедленно распустить Ассоциацию Сочувствующих!

— Долой ее! Не нужно! И слышать о ней не желаем! Сжечь все протоколы! Разнести зал собраний, чтобы камня на камне не осталось!

— Но, друзья мои и соотечественники!..— сказал генерал.— А взносы? У нас есть деньги. Что с ними делать?

Впопыхах решили преподнести серебряный сервиз одному судье, который со своего судейского места проповедовал благородный принцип, что всякое сборище белых имеет законное право убить негра; а второй сервиз, в ту же цену, поднести известному патриоту, заявившему с высоты законодательной трибуны, что он и его друзья повесят без суда всякого аболициониста, который вздумает сделать им визит. Остаток решено было пожертвовать на поддержку и проведение в жизнь тех законов о свободе и равенстве, которые считают более опасным и преступным обучить негра грамоте, чем сжечь его живьем посреди города. После того как разрешили эти вопросы, собрание разошлось в большом беспорядке, чем и кончилось сочувствие Уотертостской Ассоциации.

Поднимаясь к себе в спальню, Мартин заметил республиканский флаг, водруженный на крыше дома в честь такого события и реявший перед окном, мимо которого он проходил.

— Ну да! — сказал он.— Издали ты хорош. А если подойти поближе да посмотреть на свет, то окажется, что это всего-навсего дрянная тряпка, жалкая бутафория!

## ГЛАВА XXII,

*из которой явствует, что Мартин и сам сделался львом. А также — почему сделался*

Как только среди постояльцев «Национального отеля» распространилось известие, что молодой англичанин мистер Чезлвит приобрел владение в долине Эдема и намерен с первым пароходом отправиться в этот земной рай, он сделался знаменитостью. Почему так случилось или каким образом произошло, Мартин знал не больше, чем миссис Гэмп у себя на Кингсгейт-стрит в Верхнем Холборне; но что на какое-то время он сделался местным львом по общему выбору и что его общества слишком часто искали, в этом не могло быть ни малейшего сомнения.

Первым вестником такой перемены в его положении было следующее послание на листке бумаги с синими линейками, написанное тонким беглым почерком, с нажимом то тут, то там для усиления общего эффекта:

*«Национальный отель, понедельник утром.*

Дорогой сэр!

Третьего дня, когда я имел честь ехать в вашем обществе по железной дороге, вы высказали несколько замечаний о лондонском Тауэре, которые мне и всем моим согражданам было бы желательно выслушать еще раз в вашем публичном выступлении.

В качестве секретаря Ассоциации Уотертостских Молодых Людей я уполномочен сообщить вам, сэр, что наша Ассоциация сочтет за честь, если вы согласитесь прочитать публичную лекцию о лондонском Тауэре завтра вечером, в семь часов, в зале Ассоциации; а так как мы надеемся распространить большое число входных билетов ценою в четверть доллара, вы чрезвычайно обяжете нас, ответив согласием через подателя этого письма.

С искренним уважением

*Лафайет Кеттл.*

Многоуважаемому мистеру Чезлвиту

P. S. Ассоциация не настаивает на том, чтобы вы ограничились лондонским Тауэром. Позвольте подсказать

вам, что несколько замечаний об основах геологии или (еще того лучше) о произведениях вашего талантливого и остроумного соотечественника, мистера Миллера, были бы весьма желательны».

В ужасе от этого приглашения, Мартин уселся сочинять вежливый отказ; но не успел он написать его, как принесли второе письмо:

«(В собственные руки)
*Бункерхилл-стрит 47, понедельник утром.*

Сэр!

Я воспитывался среди беспредельных пустынь, где Миссисипи (Отец Вод) величаво катит свои могучие волны.

Я молод и пылок. Ибо и в дикости пустынь есть своя поэзия, и каждый аллигатор, нежащийся в тине, сам по себе представляет уже целую поэму. Я стремлюсь к славе. Это мое упование, моя мечта.

Не знаете ли вы, сэр, какого-нибудь члена конгресса в Англии *, который оплатил бы мой проезд туда и по приезде содержал бы меня в течение полугода?

Что-то внушает мне твердую уверенность в том, что этот просвещенный покровитель не потратит денег даром. В литературе или в искусстве, в суде, на кафедре проповедника или на сцене, не там, так здесь, а может быть и везде,— я знаю, что добьюсь успеха.

Если вы слишком заняты и не можете написать сами, прошу сообщить мне фамилии трех-четырех лиц, на которых скорее всего можно рассчитывать, и я пошлю им письма по почте. Соблаговолите также сообщить мне все критические замечания, какие когда-либо представлялись вашим мыслительным способностям по поводу «Каина», мистерии достопочтенного лорда Байрона.

Остаюсь, сэр,

ваш (простите, если прибавлю воспаряющий ввысь)
*Пэтнем Смиф.*

Ответ адресуйте: «Сыну Америки, мануфактурный магазин гг. Хэнкок и Флоби», далее — как сказано выше».

Оба эти письма вместе с ответом Мартина, согласно похвальному обычаю, способствующему воспитанию джентльменских чувств и взаимного доверия, были напечатаны в следующем номере местной газеты.

Не успел Мартин разделаться с корреспонденцией, как хозяин отеля, капитан Кеджик, поднялся к нему и любезно справился, как он себя чувствует. Прежде чем приступить к беседе, капитан уселся на кровать и, найдя ее довольно жесткой, передвинулся на подушку.

— Ну, сэр,— сказал капитан, сдвигая набок шляпу, которая была ему тесновата,— вы, я вижу, стали популярной личностью.

— Кажется, да,— отвечал Мартин; он очень устал.

— Мои сограждане, сэр,— продолжал капитан,— желают засвидетельствовать вам свое почтение. Придется вам назначить им что-нибудь вроде аудиенции, пока вы тут.

— Боже мой! — воскликнул Мартин.— Не могу я этого сделать, уважаемый!

— Не можете, значит — должны,— сказал капитан.

— «Должны» не особенно приятное слово, капитан,— возразил Мартин.

— Ну, не я выдумывал язык, не мне его переделывать,— хладнокровно ответил капитан,— а не то я бы сказал что-нибудь более приятное. Вы должны принимать посетителей. Только и всего.

— Но для чего же мне принимать людей, которым до меня так же нет дела, как и мне до них? — спросил Мартин.

— Для того, что я уже вывесил афишу в буфете.

— Что вывесили?

— Афишу.

Мартин в отчаянии посмотрел на Марка, который объяснил ему, что капитан имеет в виду объявление о том, что мистер Чезлвит будет принимать сегодня всех желающих, начиная с двух часов дня; оно в самом деле висит внизу на стенке, и Марк сам его видел.

— Не захотите же вы, чтоб вас невзлюбили,— сказал капитан, подравнивая себе ногти.— Нашим горожанам недолго взбелениться, да и газета начнет вас травить, как бешеную собаку, могу сказать наперед.

Мартин чуть не вышел из себя, но вовремя спохватился:

— Да пусть их приходят, ради бога.

— Придут, не беспокойтесь,— ответил капитан.— Уже приготовили большую залу, своими глазами видел.

— Но скажите по крайней мере,— спросил Мартин, заметив, что капитан собирается уходить,— для чего я им понадобился? Что я такое сделал? И с чего это они вдруг заинтересовались мной?

Капитан Кеджик, отставив мизинцы, прихватил обеими руками поля своей шляпы, слегка приподнял ее и опять осторожно надел; провел рукой по лицу ото лба до самого подбородка, посмотрел на Мартина, потом на Марка, потом опять на Мартина, подмигнул им и вышел из комнаты.

— Ну, честное слово,— воскликнул Мартин, крепко стукнув рукой по столу,— совершенно непонятный человек, первый раз такого встречаю! Марк, что вы на это скажете?

— Да что ж, сэр,— возразил его компаньон,— мое мнение такое, что мы теперь добрались до *самого* замечательного человека во всей стране. Есть же предел и этой породе, сэр.

Хотя Мартин и рассмеялся, однако это не отменило аудиенции, назначенной на два часа. Как только пробило два, явился капитан Кеджик, чтобы проводить Мартина в тронную залу; благополучно доставив его на место, он сейчас же заорал с лестницы своим согражданам, стоявшим внизу, что мистер Чезлвит «принимает».

Все полезли наверх. Лезли до тех пор, пока не набились в комнату битком, а между тем в открытую дверь видна была угрожающая перспектива поднимавшихся по лестнице новых и новых гостей. Один за другим, десяток за десятком, сотня за сотней, они лезли еще и еще — и все пожимали руку Мартину. Каких только не было рук — толстых, тонких, коротких, длинных, жирных, худых, грубых, изящных; какая разница в температуре — горячие, холодные, сухие, влажные, липкие; какие разные рукопожатия — крепкое, слабое, краткое, долгое. Гости все шли, шли и шли: и время от времени сверху слышался голос капитана:

— Внизу ждут другие! Джентльмены, кто уже представился мистеру Чезлвиту, проходите, не задерживайтесь! Проходите! Будьте любезны, проходите, джентльмены, дайте место другим!

Невзирая на окрики капитана, они вовсе не собирались уходить, а стояли как вкопанные и глазели. Два джентльмена, имевшие отношение к редакции «Уотертостской газеты», пришли специально за материалом для статьи о Мартине. Они договорились о разделении труда: один из них изучал свой предмет, начиная от жилета книзу, другой — от жилета кверху. Каждый из них стал прямо перед натурой и, слегка наклонив голову набок, внимательно изучал свою область. Если Мартин переступал с ноги на ногу, специалист по нижней половине тут же ловил его на этом; если почесывал прыщик на носу, специалист по верхней половине сейчас же записывал это в книжечку. Мартин открывал рот, собираясь заговорить, и тот же джентльмен, опустившись на одно колено, заглядывал ему в зубы с придирчивым вниманием дантиста. У физиономистов и френологов-любителей, которые толкались вокруг него, горели глаза и чесались руки; иногда кто-нибудь из них, посмелее прочих, налетал сзади, и наспех ощупав затылок Мартина, скрывался в толпе. Они рассматривали его со всех сторон — спереди, в профиль, в три четверти, сзади. Не специалисты и не ученые вслух обменивались замечаниями насчет его наружности. Его нос рассматривали в совершенно новом свете. Высказывались самые противоречивые мнения насчет его волос. И время от времени сквозь общий шум все еще слышался голос капитана, но от скопления народа так глухо, словно он кричал из-под перины:

— Джентльмены, кто уже представился мистеру Чезлвиту, проходите, не задерживайтесь!

Но даже и после того, как некоторые ушли, не сделалось легче; ибо тут явилась целая процессия джентльменов, причем каждый из них вел под ручку двух дам (точь-в-точь, как хористы перед исполнением английского национального гимна, когда в театре присутствует король),— и каждая новая тройка являлась с непочатым запасом наглости и с намерением оставаться в зале до

последней минуты. Если они заговаривали с Мартином, что случалось довольно редко, то неизменно задавали одни и те же вопросы, одним и тем же тоном, без всякого стеснения, или деликатности, или уважения, точно он был каменный истукан, купленный, оплаченный наличными и выставленный в зале ради их развлечения. Но после того как мало-помалу разошлись и эти посетители, стало не лучше, если не хуже; тут уж осмелели мальчишки и, ворвавшись целой кучей, повторили все, что делали взрослые. Появились, кроме того, какие-то бестолковые личности, которые, попав в комнату, слонялись из угла в угол, как тени, и не знали, как оттуда выйти,— до того даже, что один молчаливый джентльмен с тусклыми рыбьими глазами и одной единственной пуговицей на жилете (металлической, очень большой и очень блестящей) стал за дверью и стоял там, как часы, после того как все остальные разошлись.

Мартин так устал от жары и беспокойства, что с удовольствием упал бы на пол и не вставал, если бы только над ним сжалились и оставили его в покое. Но так как письма и записки с угрозами разоблачить его перед всем обществом, если он не примет авторов, сыпались на Мартина градом, и так как все новые посетители являлись к нему, пока он пил кофе у себя в номере, и даже преданный Марк не в силах был их выпроводить, Мартин решил улечься в постель. Не потому, чтобы он считал постель надежной защитой, но чтобы испробовать все средства до последнего.

Он сообщил о своем намерении Марку и уже собирался улизнуть, как вдруг дверь быстро распахнулась и вошел пожилой джентльмен под руку с дамой, которую никак нельзя было назвать молодой,— насчет этого не могло быть сомнений — и трудно было бы назвать красивой — но это уже дело вкуса. Она была очень высокого роста, держалась прямо, и ни в лице ее, ни в фигуре нельзя было заметить ни малейшего намека на мягкость. На голове у нее была большая шляпа из соломки с такой же отделкой, похожая на соломенную кровлю работы неопытного мастера; в руке она держала громадный веер.

— Мистер Чезлвит, если не ошибаюсь? — осведомился джентльмен.

— Да, это моя фамилия.

— Сэр,— сказал джентльмен,— я тороплюсь, времени у меня мало.

«Слава богу!» — подумал Мартин.

— Я возвращаюсь к себе домой, сэр,— продолжал джентльмен,— с обратным поездом, который отправляется сию минуту. Слово «отправляется» неизвестно в вашей стране, сэр!

— Ну как же, известно,— сказал Мартин.

— Вы ошибаетесь, сэр,— возразил джентльмен весьма сурово.— Но оставим эту тему, чтобы не задеть ваших предрассудков. Миссис Хомини, сэр!

Мартин поклонился.

— Миссис Хомини, сэр,— супруга майора Хомини, одного из лучших умов нашей страны, и принадлежит к цвету нашей аристократии. Вы, наверное, знакомы, сэр, с сочинениями миссис Хомини?

Мартин не мог этого сказать.

— Вам предстоит многое узнать и многим насладиться, сэр,— сказал джентльмен.— Миссис Хомини едет погостить до конца осени к своей замужней дочери в Новые Фермопилы, в трех днях пути от Эдема. Майор и все наши сограждане будут очень благодарны вам за внимание, оказанное в дороге миссис Хомини. Миссис Хомини, позвольте пожелать вам спокойной ночи и приятного путешествия, сударыня!

Мартин не верил своим ушам; но джентльмен ушел, а миссис Хомини уселась пить молоко.

— Совсем замучилась, скажу вам! — объявила она.— В вагоне трясет так, будто под рельсами полно коряг и колод.

— Коряг и колод, сударыня? — повторил Мартин.

— Ну, вы, кажется, не понимаете, что я говорю, сэр? — сказала миссис Хомини.— Боже мой! Подумать только! Неужели!

Надо полагать, что эти выражения, как будто настоятельно требовавшие ответа, нисколько не нуждались в нем: ибо миссис Хомини, развязав ленты шляпы, объявила, что пойдет на минуту снять ее и сейчас же вернется.

— Марк! — сказал Мартин.— Ущипните меня! Сплю я или нет?

— Зато миссис Хомини не спит, сэр! Как раз такая женщина, сэр, которая не смыкает глаз ни днем, ни ночью, все думает о благе отечества.

Больше им поговорить не удалось, ибо миссис Хомини опять вплыла в комнату, держась очень прямо, в доказательство своего аристократического происхождения, и сжимая в руках красный бумажный платок, быть может прощальный дар майора Хомини, этого лучшего из умов страны. Она сняла шляпу и теперь явилась в чепце высокоаристократического фасона, завязанном под подбородком,— этот головной убор так дивно шел к ее физиономии, что даже покойный Гримальди * не мог бы произвести такого эффекта, появившись в чепце миссис Сиддонс *.

Мартин подал ей стул. Он хотел вернуться на место, но при первых же ее словах прирос к полу.

— Скажите, пожалуйста, сэр,— начала миссис Хомини.— Из каких вы?

— Боюсь, что я очень устал и плохо соображаю,— отвечал Мартин,— но, честное слово, я не понимаю вас.

Миссис Хомини покачала головой с грустной улыбкой, говорившей очень ясно: «Даже язык искалечили в этой старой Англии!», и прибавила, снисходя к его низкому умственному уровню:

— Где вы воспитывались?

— О, — сказал Мартин,— я родился в Кенте.

— А как вам нравится наша страна, сэр? — спросила миссис Хомини.

— Очень нравится,— отвечал полусонный Мартин.— То есть... по крайней мере... да, ничего себе, нравится, сударыня.

— Большинство иностранцев, а особенно англичан, очень удивляются тому, что видят в Соединенных Штатах,— заметила миссис Хомини.

— У них на это есть весьма основательные причины, сударыня,— сказал Мартин.— Я сам никогда в жизни так не удивлялся.

— Наши учреждения развивают ловкость в наших согражданах,— заметила миссис Хомини.

— Увы, это голая истина, которая видна даже самому близорукому человеку,— сказал Мартин.

Миссис Хомини как философ и писательница могла переварить все что угодно, но эта грубая, неприличная фраза оказалась даже и для нее слишком сильной. Разве можно джентльмену, сидящему наедине с дамой, хотя бы и при открытых дверях, говорить о голой истине!

Хоть миссис Хомини и была женщина высокого ума и ни в чем не уступала мужчине, однако она не скоро собралась с духом для продолжения разговора. Но миссис Хомини много путешествовала. Миссис Хомини писала обозрения и критические разборы. Миссис Хомини постоянно печатала в одной популярной газете письма из-за границы с обращением: «Моя дорогая Х.» и за подписью: «Мать Современных Гракхов» * (разумея под Гракхами свою дочку, замужнюю мисс Хомини), где негодование изображалось прописными буквами, а сарказм курсивом. Миссис Хомини смотрела на Европу глазами ярой республиканки, только что выпущенной из образцовой американской печи, и могла целыми часами говорить и писать на эту тему. Поэтому миссис Хомини, собравшись с силами, всей тяжестью обрушилась на Мартина и, пользуясь тем, что он крепко уснул, измывалась над ним как хотела, к полному своему удовольствию.

Не так важно, что именно говорила миссис Хомини, важно то, что она была ходячим рупором целой группы своих соотечественников, которые на каждом шагу обнаруживают такое же полное непонимание великих принципов, создавших Америку, как любой дикарь и невежда в ее законодательных собраниях. Доведя свою родину до того, что ее презирают все честные люди, они посягают на права еще не родившихся наций, более того — на самый прогресс, но даже не понимают этого, а если и понимают, то сокрушаются об этом столько же, сколько свиньи, которые валяются в грязи на их улицах. Они думают, что кричать другим народам, коснеющим в беззаконии: «Мы не хуже вас!» *(не хуже!)* — достаточная защита и оправдание для республики, только вчера пустившейся в свой славный путь, а сегодня уже до того искалеченной, до того изъеденной язвами и болячками, оскорбительными для глаз и не поддающимися исцеле-

нию, что лучшие друзья с презрением отворачиваются от мерзкой твари. Они думают, что если их предки провозгласили и завоевали независимость, не пожелав преклониться перед порочным и гнилым общественным строем, не пожелав отречься от правды, то им можно творить зло, отойдя от добра; или самодовольно почивать на лаврах, глумливо твердя, что и у других храмы тоже из стекла и в них также можно бросать камнями, одним этим доказывая, что они недостойны своих предков,— и доказывая так красноречиво, как если бы все грязные плутни их штатов — не уступавших монархиям по развращенности нравов — были собраны воедино, чтобы обличить их.

Мало-помалу Мартин очнулся настолько, что почувствовал какую-то страшную тяжесть на душе,— ему смутно грезилось, будто он убил своего близкого друга и не знает, куда девать труп. Он открыл глаза, но и наяву было не лучше. Ужасная Хомини, гнусавя нараспев, продолжала изрекать великие истины и так развернула свои многочисленные дарования, что злейший враг майора Хомини, послушав ее, простил бы ему от всего сердца. Мартин наверно выкинул бы что-нибудь отчаянное, если бы не зазвучал гонг к ужину, что произошло весьма кстати; и, усадив миссис Хомини на верхнем конце стола, он спрятался от нее на нижнем конце, а потом, наскоро поужинав, улепетнул к себе, пользуясь тем, что она занялась копченой говядиной и целым блюдцем пикулей.

Было бы трудно дать полное представление о том, как свежа была миссис Хомини на следующее утро и с какой алчностью она набросилась на нравственную философию за завтраком. Выражение лица у нее было, пожалуй, несколько кислее обыкновенного, но это объяснялось вполне естественным действием пикулей. Весь этот день она не отставала от Мартина. Она сидела рядом с ним, пока он принимал посетителей (состоялся второй прием, еще более многолюдный, чем первый), развивала свои теории и отвечала воображаемым оппонентам, так что Мартину без всяких шуток начинало казаться, будто он бредит и разговаривает за двоих; приводила длиннейшие цитаты из собственных статей; сморкалась в платок, пода-

ренный майором, как будто гнусавость была та же простуда, от которой она решила избавиться так или иначе; словом — показала себя замечательным собеседником. и Мартин решил по чистой совести, что во всяком благоустроенном поселении таких особ совершенно необходимо убивать ради общего блага и спокойствия.

Тем временем Марк трудился с раннего утра до позднего вечера, перетаскивая на пароход провизию, инструменты и другие необходимые вещи, какие им посоветовали захватить с собой. Покупка всего этого и уплата по счету в «Национальном отеле» настолько истощила их финансы, что если бы капитан задержался с отправкой парохода еще немного, они оказались бы почти в таком же бедственном положении, как и несчастные бедняки эмигранты, которые жили на нижней палубе уже целую неделю, завлеченные на борт парохода бессовестной рекламой, и доедали свои жалкие запасы, еще не пустившись в путь. Так они и сидели, сбившись в кучу около машины и топок: фермеры, в глаза не видавшие плуга, лесорубы, не бравшие в руки топора, строители, которые не сумели бы сколотить и ящика; выброшенные из своей страны, не находя ни у кого поддержки, они пришли в незнакомый им мир беспомощные, как дети, но с нуждами взрослых, с малыми детьми на руках, не зная, что ждет их — жизнь или смерть!

Наступило утро, и отъезд отложили до полудня. Наступил полдень — отъезд отложили до вечера. Но всему на свете бывает конец, даже и возне американских капитанов,— к вечеру все было готово.

Расстроенный и усталый до крайности, но популярный, как никогда (весь день он только и делал, что отвечал на письма незнакомых ему людей — половина писала о пустяках, другая половина просила взаймы, и все требовали немедленного ответа), Мартин пробрался к пристани сквозь толпу народа и, ведя под руку миссис Хомини, взошел на пароход. Но Марк решил непременно разгадать загадку его популярности и побежал опять в гостиницу, не без риска отстать от парохода.

Капитан Кеджик сидел на веранде со стаканом джу-

лепа на колене и с сигарой во рту. Увидев Марка, он спросил:

— За каким дьяволом вы вернулись?

— Скажу вам прямо, капитан,— ответил Марк,— я хочу задать вам один вопрос.

— Задать вопрос, разумеется, можно,— возразил Кеджик, ясно давая понять, что на вопрос, разумеется, можно и не ответить.

— Чего они так носились с ним, а? — вкрадчиво спросил Марк.— Скажите-ка!

— У нас любят необыкновенно сильные ощущения,— отвечал Кеджик, посасывая сигару.

— Что же в нем необыкновенного? — спросил Марк.

Капитан посмотрел на него с таким видом, как будто собирался отпустить самую остроумную шутку.

— Вы уезжаете? — спросил он.

— А то как же! — воскликнул Марк.— У меня каждая минута на счету!

— У нас любят сильные ощущения,— повторил капитан, понизив голос.— Он не похож на прочих эмигрантов, вот потому с ним так и носились,— он подмигнул и засмеялся сдавленным смехом,— именно потому. Скэддер известный ловкач, ну а... а из Эдема еще никто живым не возвращался!

Пристань была близко, и в эту минуту Марк услышал, что выкрикивают его имя; услышал даже, что Мартин зовет его, прося поторопиться, чтобы пароход не ушел без него. Поправить дело было уже нельзя, оставалось только покориться. Послав капитану прощальное благословение, он помчался к пристани, как скаковая лошадь.

— Марк! Марк! — кричал Мартин.

— Я здесь, сэр! — вдруг заорал Марк с пристани и одним прыжком перемахнул на пароход.— Никогда еще я так не веселился, сэр! Все в порядке. Отчаливай! Поехали!

Искры столбом повалили к небу из обеих труб, как будто весь пароход был один огромный фейерверк, и он с шумом двинулся, рассекая темную воду.

## ГЛАВА XXIII

*Мартин со своим компаньоном вступает во владение участком. По этому радостному случаю сообщаются новые подробности насчет Эдема*

На пароходе оказалось несколько пассажиров того же склада, что и нью-йоркский друг Мартина, мистер Бивен, и в их обществе Мартин оживился и стал веселей. Насколько возможно, они избавляли его от интеллектуальных сетей миссис Хомини, и во всем, что они говорили и делали, проявлялось столько здравого смысла и душевного благородства, что он не мог не привязаться к ним.

— Если бы в этой республике ценили разум и истинные достоинства,— говорил Мартин,— а не хамство и надувательство, она не знала бы нужды в рычагах, приводящих ее в движение.

— Видно, плотники тут неважные,— возразил мистер Тэпли,— если, имея хороший инструмент, орудуют плохим; не так ли, сэр?

Мартин кивнул.

— Похоже, что работа неизмеримо превосходит их силы и потребности, Марк, потому они и выполняют ее кое-как.

— А всего милей,— сказал Марк,— что если им случается сделать что-нибудь неплохо, хотя бы так, как хороший работник, не имея таких возможностей, делает каждый день, нисколько этим не хвастаясь,— они начинают трубить вовсю. Попомните мои слова, сэр. Если когда-нибудь здешние злостные банкроты и заплатят свои долги, ради того только, что не платить невыгодно в коммерческом отношении, да и последствия бывают не совсем приятные,— они поднимут такой шум и начнут так этим хвастаться, будто, с тех пор как свет стоит, никто никогда не платил долгов. Так-то вот они и надувают друг дружку, сэр. Знаю я их, господь с ними! Попомните мои слова, вот что!

— Вы становитесь что-то уж очень дальновидны! — смеясь, сказал Мартин.

«Уж не оттого ли это, что я еще на один день пути ближе к Эдему,— подумал Марк,— и перед смертью у

меня начинается просветление. Может, к тому времени, как доберемся туда, я и пророком стану».

Он не высказывал этих мыслей вслух, но Мартину довольно бывало той бодрости и оживления, которыми всегда сияло его лицо. Хотя Мартин иногда подсмеивался над неистощимой жизнерадостностью своего компаньона, а иногда и выговаривал ему за неуместные шутки, как в случае с Зефанией Скэддером, на него все же действовал пример Марка, пробуждая в нем мужество и надежду. И даже если он бывал не в духе и не желал поддаваться веселому настроению, это ничего не значило. Веселье Марка было так заразительно, что оно невольно сообщалось и Мартину.

В начале пути пароход раза два в день высаживал на берег кучку пассажиров и на их место брал других. Но мало-помалу города стали попадаться реже, и в течение долгих часов они не видели другого жилья, кроме шалашей дровосеков, у которых пароход набирал дрова. Небо, лес и вода весь долгий день, и такая жара, что все покрывалось от нее пузырями.

Они плыли все дальше и дальше по реке, глухими, безлюдными местами, между берегов, поросших густым и частым лесом, где затонувшие стволы деревьев воздевали из речных глубин свои корявые руки или, рухнув в воду и цепляясь корнями за берег, зеленели и гнили в мутной воде. Они плыли томительным днем и тоскливой ночью, плыли сквозь вечерние туманы и мглу, все дальше и дальше, пока обратный путь не стал казаться невозможным, а возврат на родину — несбыточной мечтой.

Теперь на борту оставалось очень немного народа, да и эти немногие были так же скучны, вялы и тусклы, как утомляющая глаз растительность по берегам реки. От них нельзя было услышать веселого живого слова; они не коротали времени в интересных беседах, не боролись с угнетающей скукой пейзажа. Если бы в известные часы они не кормились сообща из одного корыта, можно было бы подумать, что это челн старика Харона *, переправляющего унылые тени в загробный мир.

Наконец они прибыли в Новые Фермопилы, где миссис Хомини должна была сойти на берег. Когда она

сказала это Мартину, луч утешения закрался в его сердце. Марк не нуждался в утешении, но и он был доволен.

Было почти совсем темно, когда они подошли к пристани — крутой берег, над обрывом гостиница, похожая на амбар, одна-две бревенчатых лавчонки, несколько разбросанных бараков.

— Вы, я думаю, переночуете здесь, а утром поедете дальше, сударыня? — спросил Мартин.

— Куда это дальше? — воскликнула мать Современных Гракхов.

— В Новые Фермопилы.

— А разве я не в Новых Фермопилах? — сказала миссис Хомини.

Мартин стал искать их, оглядывая темнеющие берега, но так и не нашел, в чем и принужден был сознаться.

— Да вот же они! — воскликнула миссис Хомини, указывая на бараки.

— Вот это? — спросил Мартин.

— Да, вот это. И что там ни говори, а Эдему до них далеко,— сказала миссис Хомини, весьма выразительно кивнув головой.

Замужняя мисс Хомини, которая поднялась на пароход вместе с мужем, весьма решительно это подтвердила. Мартин с благодарностью отклонил приглашение зайти к ним закусить на те полчаса, пока пароход стоит у пристани, и, благополучно переправив миссис Хомини на берег вместе с ее красным платком (все еще служившим свою службу), в раздумье вернулся на пароход и стал наблюдать, как эмигранты перетаскивают свои узлы на пристань.

Марк, стоя рядом, время от времени тревожно заглядывал ему в лицо; он старался угадать, какое впечатление произвел на его спутника этот разговор, от души желая, чтобы надежды Мартина поблекли еще в пути и удар, готовый на него обрушиться, поразил его не с такой силой. Но Мартин только бегло обвел взглядом жалкие постройки на обрыве и ничем не показал того, что творилось у него на душе, пока они не тронулись снова.

— Марк,— сказал он тогда,— неужели на этом пароходе никто, кроме нас, не едет в Эдем?

— Решительно никто, сэр. Почти все, как вы знаете, уже высадились, а остальные едут дальше. Что за беда? Нам же будет просторнее.

— Да, конечно! — сказал Мартин.— Только я думал...— и он замялся.

— Что думали, сэр? — спросил Марк.

— Как это странно, что люди едут искать счастья в такую жалкую дыру, как Новые Фермопилы, когда тут же поблизости есть место гораздо лучше и, можно сказать, совсем другого рода!

Он говорил тоном, настолько не похожим на обычную его самоуверенность, и так явно боялся услышать ответ Марка, что доброму малому стало его жаль.

— Знаете ли, сэр,— сказал Марк, стараясь как можно осторожнее намекнуть ему на истинное положение дел,— нам нельзя ни на что надеяться. Да и не стоит. Мы же с вами решили, что будем мириться с тем, что есть; все равно хуже не будет. Ведь правда, сэр?

Мартин только взглянул на него и ничего не ответил.

— Ведь и Эдем, как вы знаете, еще не совсем отстроен,— сказал Марк.

— Черт вас возьми, Марк,— сердито закричал Мартин,— как вы можете ставить Эдем на одну доску с этой трущобой? Рехнулись вы, что ли? Ну, не обижайтесь на меня, я погорячился!

Он отошел в сторону и целых два часа расхаживал по палубе взад и вперед. Больше он не разговаривал с Марком, только пожелал ему спокойной ночи; и даже на другой день не касался этой темы, а говорил о других, совсем посторонних вещах.

Чем дальше они продвигались вперед, подходя все ближе и ближе к концу пути, тем однообразнее и печальнее становилась природа,— настолько печальнее, что они, казалось, еще живыми вступали в мрачные владения великана Отчаяние *. Плоское болото, заваленное буреломом, трясина, где погибла и сгнила вся цветущая растительность земли, для того чтобы из ее праха возникла ядовитая, гнусная поросль; где даже деревья походили на гигантские плевелы, порожденные из ила горячим солнцем, которое сжигало их; откуда по ночам поднимались вместе с туманами смертельные болезни, ища себе жертв, и рас-

ползались над водой, охотясь за ними до рассвета; где даже благословенное солнце, сиявшее с высоты на эту стихию разложения и заразы, казалось страшным,— таково было царство Надежды, по которому проходил их путь.

Наконец они остановились — это был Эдем. Воды всемирного потопа, казалось, схлынули с него всего какую-нибудь неделю тому назад — так затянуло илом и перепутанной травой отвратительное болото, носившее это имя.

У берега оказалось слишком мелко, и потому они переправились к пристани на лодке, уложив рядом с собой все свое добро. Среди темных деревьев виднелись бревенчатые домишки, в лучшем случае похожие на коровники или плохонькие конюшни. Но где же набережные, рынки, общественные здания?

— Вот идет эдемец,— сказал Марк,— он нам поможет перенести вещи. Эй, сюда!

В густеющем мраке к ним очень медленно подходил человек, опираясь на палку. Когда он подошел ближе, они заметили, что он бледен и худ и что его беспокойные глаза глубоко ввалились. Одежда из синей крашенины висела на нем клочьями. Он был без шапки и босиком. На полдороге он остановился, сел на пень и сделал им знак подойти ближе. Они послушались, и он, схватившись за бок, словно от боли, долго смотрел на них изумленными глазами, с трудом переводя дыхание.

— Приезжие! — воскликнул он, как только собрался с силами.

— Они самые,— сказал Марк.— Как ваше здоровье, сударь?

— Только что переболел горячкой,— отвечал тот слабым голосом.— Сколько недель валялся без ног. А это, должно быть, ваши вещи? — спросил он, указывая на их имущество.

— Да, это наши вещи,— сказал Марк.— Не можете ли вы рекомендовать нам кого-нибудь, кто помог бы донести их до города?

— Мой старший сын донес бы, если б мог,— отвечал эдемец,— только сегодня у него приступ лихорадки, он завернулся в одеяло и лег. А младший у меня умер на той неделе.

— Сочувствую вам, уважаемый, от всей души,— сказал Марк, пожимая ему руку.— Не беспокойтесь о нас. Идемте со мной, я вас поддержу. Вещам ничего не сделается, сэр,— сказал он Мартину,— не так уж тут много народу, чтобы их украли. Все-таки утешение!

— Да! — воскликнул старик.— Людей ищите или здесь,— он стукнул палкой в землю,— или вон там, в зарослях, дальше к северу. Почти всех мы похоронили. Остальные сбежали. А кто еще остался жив, не выходит по вечерам.

— Значит, ночной воздух тут вреден? — спросил Марк.

— Смертельный яд,— ответил поселенец.

Марк, ничуть не встревожившись, словно этот воздух восхваляли ему, как амброзию, повел старика под руку и по дороге рассказал ему, какой участок они купили, и спросил, где он находится. Совсем близко от его бревенчатого домика, ответил тот, так близко, что он хранит там кукурузу; сегодня вечером пускай уж они его извинят, а завтра он постарается все оттуда убрать. После этого он преподнес им образчик местных новостей, рассказав, что собственными руками похоронил последнего хозяина участка,— но и эту новость Марк выслушал невозмутимо, ни на волос не выйдя из равновесия.

Эдемец привел их к убогой лачуге, кое-как сложенной из неотесанных бревен, без двери, которая давным-давно слетела с петель или была унесена кем-нибудь, так что в дом свободно заглядывали лесная глушь и ночной мрак. Кроме ссыпанного в кучу запаса кукурузы, о котором говорил поселенец, в нем не было ровно ничего, никакой мебели; но на пристани у них оставался сундук, а вместо свечи сосед дал им простой факел. Это приобретение Марк воткнул в золу очага и, объявив, что теперь их жилье «выглядит очень уютно», стал торопить Мартина на пристань. И всю дорогу на пристань и обратно Марк говорил без умолку, словно желая вдохнуть в своего компаньона хоть сколько-нибудь веры в то, что их приезд совершился в самых счастливых и благоприятных обстоятельствах.

Однако многим людям, способным перенести разорение своего гнезда, когда их поддерживает гнев и жажда

мести, не хватает твердости характера, чтобы выдержать крушение созданных ими воздушных замков. Войдя в лачугу второй раз, Мартин повалился на пол и громко зарыдал.

— Что вы, сэр! — воскликнул мистер Тэпли в ужасе.— Не надо, ради бога, не надо, сэр! Все что угодно, только не это! Слезы еще никому не помогли одолеть хоть самое маленькое препятствие. Мало того, что вам не станет легче, у меня тоже испортится настроение, просто хоть ложись да помирай. Я этого слышать не могу. Все что хотите, только не это!

Нельзя было сомневаться в искренности его слов, судя по той необыкновенной тревоге, с какой он глядел на Мартина, стоя на коленях перед сундуком и собираясь его отпереть.

— Тысячу раз прошу у вас прощения, дорогой мой,— сказал Мартин.— Я бы не мог удержаться даже под страхом смертной казни.

— Он просит у меня прощения! — воскликнул Марк обычным своим жизнерадостным тоном, продолжая распаковывать сундук.— Глава фирмы просит прощения у компаньона, каково! Значит, в делах фирмы что-нибудь не ладно, если до этого дошло. Надо мне срочно проверить счета и просмотреть книги. Начнем! Все на своем месте. Вот соленая свинина. Вот сухари. Вот виски,— пахнет замечательно! Вот оловянный котелок. Один этот котелок уже сам по себе целое богатство! Вот одеяла. Вот топор. Кто скажет, что снаряжение у нас не первый сорт? Я теперь будто бы младший сын, которого послали в Индию, а мой почтенный родитель — председатель в совете директоров. Ну, а сейчас только принести воды из ручья перед домом да смешать грог,— воскликнул Марк и тут же сбегал за водой по поговорке: сказано — сделано,— и ужин у нас на столе, со всеми новинками сезона! Вот, сэр, все готово. За все, что нам ниспослано, и так далее! Господи помилуй, сэр, да это похоже на пикник!

Невозможно было не воспрянуть духом в обществе такого человека. Мартин уселся на землю перед сундуком, достал нож и поужинал с аппетитом.

— Вот, посмотрите,— сказал Марк, когда они поели досыта,— вашим ножом и моим я укреплю одеяло над

дверью, или на том месте, где в условиях высокой цивилизации должна быть дверь. Получается очень неплохо. А дыру внизу я заставлю сундуком. Тоже получается неплохо. Это вот ваше одеяло, сэр. А то мое. Что же нам мешает выспаться как следует?

Несмотря на эти веселые слова, сам он заснул очень не скоро. Он завернулся в одеяло и лег у порога, положив возле себя топор, но не мог сомкнуть глаз от волнения и тревоги. Новизна их печального положения, боязнь хищников, двуногих или четвероногих, ужасная неуверенность в завтрашнем дне, страх смерти, громадность расстояния и непреодолимые препятствия, лежащие между ними и Англией,— все это было неисчерпаемым источником тревоги и волновало его в глубокой тишине ночи. Хотя Мартин притворялся, будто спит, Марк чувствовал, что он тоже бодрствует и терзается теми же мыслями. Это было едва ли не хуже всего: если он начнет горевать о своих несчастьях, вместо того чтобы бороться с ними,— нечего и сомневаться, что такое душевное состояние только поможет губительному действию климата. Никогда еще Марк не радовался так дневному свету, как в это утро, когда, очнувшись от беспокойной дремоты, он увидел пробивающееся сквозь одеяло сияние дня.

Он вышел потихоньку, чтобы не будить своего компаньона, и, освежившись умываньем в ручье, протекавшем перед самой дверью, наскоро обошел поселок. В нем было всего десятка два домов, не больше; некоторые из них казались необитаемыми, и все они сгнили и были готовы рассыпаться в труху. Самая неприглядная, ветхая и заброшенная из этих лачуг называлась как нельзя более кстати: «Банк и контора национального кредита». Она кое-как держалась на подпорках, но глубоко осела в болото.

Кое-где видны были попытки расчистить болото, и намечалось даже что-то вроде поля, где между обгорелых пней и груд золы поднимались жалкие всходы маиса. Местами начаты были засеки, или так называемые виргинские изгороди, но ни одна изгородь не была доведена до конца, и поваленные стволы лежали и гнили, наполовину уйдя в болото. Три-четыре тощих собаки, исхудалые и злые от голода; тонконогие свиньи, бродившие по лесу в поисках пищи; полуголые дети, глядевшие на Марка из хижин,—

вот и все живое, что он здесь увидел. Зловонные испарения, горячие и одуряющие, словно из печки, поднимались от земли и стояли в воздухе; ноги глубоко увязали в топкой почве, а следы сейчас же затягивало вязкой черной грязью.

На их участке был сплошной лес. Деревья росли так часто и так густо, что вытесняли друг друга, и самые слабые болезненно искривились и захирели, как калеки. Даже более крепкие росли плохо от тесноты и скученности; вокруг их стволов высоко поднялись тонкие стебли трав, ядовитые плевелы и буйные кустарники. Неразличимые по породам, они тесно сплелись в глухие, непроходимые заросли, ушедшие корнями не в землю и не в воду, но в вязкую тину, образовавшуюся из отбросов земли и воды, а также из продуктов их разложения.

Марк дошел до пристани, где они накануне оставили свое имущество, и застал там человек пять поселенцев, бледных и жалких с виду, но готовых ему помочь; вместе с ними он донес вещи до дому. Говоря о поселке, они только качали головой и не могли сообщить Марку ничего утешительного. Те, у кого были деньги на дорогу, давно сбежали. Те, кто остался, потеряли здесь жен, детей, друзей и братьев и сами терпели лишения. Многие болели; все изменились так, что стали на себя не похожи. Они от чистого сердца предлагали ему свою помощь и советы; а потом, оставив его на время, уныло разбрелись по своим делам.

Тем временем проснулся Мартин; заметно было, что за эту одну ночь он сильно изменился. Он был бледен и вял, жаловался на боль и слабость во всем теле, на то, что он плохо видит и что ему трудно говорить. Чем безнадежнее становилось их положение, тем больше оживлялся Марк. Он притащил дверь из какого-то брошенного дома и навесил ее у себя; потом ушел опять за грубой скамьей, которую где-то видел, и, торжествуя, вернулся вместе с ней; поставив ее перед домом, он разместил на ней знаменитый оловянный котелок и прочую движимость, устроив, таким образом, что-то вроде кухонного стола. Очень этим довольный, он вкатил в дом бочонок с мукой и поставил его стоймя в углу, вместо буфета. Для обеденного стола как нельзя лучше подошел сундук, который и был торжественно предназначен Марком для этой

полезной цели. Одеяла, одежду и другие вещи он развесил на колышках и гвоздях. И, наконец, вытащив большую вывеску с надписью «Чезлвит и К°, архитекторы и землемеры», произведение самого Мартина, в припадке радости заготовленное еще в «Национальном отеле», он прибил ее на самом видном месте, и сделал это так серьезно, как будто преуспевающий город Эдем существовал в действительности и скоро их должны были завалить работой.

— Вот эти штучки,— сказал Марк, вынося готовальню Мартина и втыкая циркули прямо в пень перед домом,— надо выставить напоказ: все увидят, что мы не с пустыми руками приехали. А теперь, если кому-нибудь нужно построить дом, давайте только заказ поскорее, пока мы не обещали другим.

Марк неплохо поработал в это утро, если принять во внимание сильную жару; однако, не отдохнув ни минуты, хотя пот катил с него ручьями, он опять скрылся в доме и скоро вышел оттуда с топором, намереваясь совершить с его помощью новый подвиг.

— Тут на самой дороге торчит какая-то старая уродина, сэр,— заметил он,— гораздо лучше ее срубить. Печку можно будет сложить после обеда. А глины в Эдеме везде сколько угодно. Это все-таки большое удобство.

Но Мартин не отвечал. Он сидел, подперев голову руками, и не отрываясь глядел на быстро текущий ручей, быть может думая о том, как скоро он вольется в открытое море — эту торную дорогу на далекую родину, которой им больше никогда не видать.

Даже сильные удары топора, которым орудовал Марк, не вывели Мартина из мрачного раздумья. Видя, что все попытки расшевелить его бесполезны, Марк бросил работать и подошел к нему.

— Не падайте духом, сэр,—сказал мистер Тэпли.

— О Марк,— отвечал его друг,— чем я заслужил такую нелегкую судьбу, что я такого сделал?

— Ну, сэр,— возразил Марк,— в сущности, каждый здесь может сказать то же самое про себя; а у многих, пожалуй, даже больше прав на это, чем у нас с вами. Крепитесь, сэр. Делайте что-нибудь. Может быть, вам стало бы легче, если бы вы отвели душу в откровенном письме к Скэддеру?


ARCHITECTS

— Нет,— ответил Мартин, грустно покачав головою,— мне это уже не поможет.

— Если это уже не поможет,— возразил Марк,— значит, вы заболели и вам надо лечиться.

— Не думайте обо мне,— сказал Мартин.— Делайте, что возможно, для себя. Скоро вам придется заботиться только о себе. Помоги вам бог добраться домой, и простите меня за то, что я завез вас сюда! Мне суждено умереть здесь. Я это понял, как только ступил на берег. Во сне или наяву, Марк, я всю ночь только это и видел.

— Говорил я вам, что вы больны,— повторил Марк ласково,— а теперь я в этом уверен. Схватили на реке лихорадку или простуду, только и всего. Так это же пустяки, господь с вами! Это вроде прививки; мы, как и все, должны закалиться, так или иначе. Это уж, знаете ли, сам бог велел.

Мартин только вздохнул и покачал головой.

— Погодите минутку,— весело сказал Марк,— я сбегаю к соседям, спрошу, что лучше принимать, и займу у них лекарства; и завтра же вы будете опять здоровы. Я сию минуту вернусь. Как-нибудь крепитесь, сэр, пока меня не будет, что бы ни случилось!

Бросив топор, он пустился бегом, но, отойдя немного, остановился, оглянулся и побежал опять.

— Ну, мистер Тэпли,— сказал Марк, с размаху стукнув себя в грудь подбодрения ради,— послушайте-ка, что я вам скажу. Дело, кажется, плохо, молодой человек: так плохо, что дальше некуда. Другого такого случая испытать ваш веселый характер у вас не будет, любезный. А потому, мистер Тэпли, теперь-то и следует вам развернуться вовсю — теперь или никогда!

## ГЛАВА XXIV

*докладывает о том, как обстоит дело с несложными вопросами любви, ненависти, ревности и мести*

— Эй, Пексниф! — крикнул мистер Джонас из гостиной.— Что ж, откроет кто-нибудь, наконец, эту вашу дурацкую дверь?

— Сию минуту, мистер Джонас, сию минуту!

— Черт возьми,— проворчал сирота,— не очень-то вы спешите. Не знаю, кто это, но стучались уже три раза, и каждый раз так громко, что проснулись бы даже...— ему было так неприятно думать о пробуждении мертвых, что слово застряло у него на языке, и вместо того он произнес: «семеро спящих» *.

— Сию минуту, мистер Джонас, сию минуту,— повторил Пексниф.— Томас Пинч,— он был до такой степени взволнован, что никак не мог решить, назвать ли ему Тома своим дорогим другом или, наоборот, негодяем, и на всякий случай погрозил ему кулаком,— подите к моим дочерям и скажите им, кто у нас. Да тише, тише! Вы слышали меня, сэр?

— Иду, иду, сэр! — отозвался Том и, не зная, что и думать, отправился выполнять поручение.

— Вы — хе-хе-хе! — вы извините меня, мистер Джонас, если я прикрою дверь на минутку? — сказал Пексниф.— Это, может быть, деловой визит. Я даже почти уверен, что так оно и есть. Благодарю вас.— Затем мистер Пексниф, негромко напевая какой-то простенький мотивчик, надел садовую шляпу, схватил лопату и отворил парадную дверь, появившись на пороге с таким безмятежным видом, словно он в вертограде своем заслышал чей-то робкий стук, но не был вполне уверен, так ли это.

Увидев перед собой джентльмена и леди, он отступил назад, выказав при этом ровно столько замешательства, сколько полагалось выказать добродетельному человеку с кристально-чистой совестью,— единственно от удивления. Но уже в следующую минуту память вернулась к нему, и он воскликнул:

— Мистер Чезлвит! Смею ли я верить своим глазам! Дорогой мой, досточтимый! Счастливый час! Поистине, радостный час! Прошу вас, дорогой мой, входите же. Вы застаете меня в рабочем платье. Я знаю, вы извините меня. Старинное занятие — садоводство: простое, без всяких затей, ибо, если я не ошибаюсь, Адам был первым садовником, первым нашим коллегой. Моей Евы, как это ни грустно, нет более на свете, но...— тут он указал на лопату и покачал головой, как будто веселый тон давался

ему не без труда,— но я еще немножко занимаюсь Адамовым ремеслом.

Разговаривая так, он довел их до парадной гостиной, где находились портрет кисти Спиллера и бюст работы Спокера.

— Мои дочери,— продолжал мистер Пекснлф,— будут вне себя от радости. Если бы меня могла утомить эта тема разговора, я бы давным-давно утомился, дорогой мой, потому что они постоянно предвкушали это счастье, то и дело вспоминая о нашей встрече с вами в пансионе миссис Тоджерс. А их прелестная юная подруга,— разливался мистер Пексниф,— которую они так хотят узнать и полюбить,— ибо действительно, узнать ее — значит полюбить,— надеюсь, что вижу ее в добром здоровье? Надеюсь, что, сказав: «Добро пожаловать под мою скромную кровлю», я найду отклик в ее сердце. Весьма привлекательное выражение лица, досточтимый мистер Чезлвит, весьма и весьма!

— Мэри,— сказал старик,— мистер Пексниф льстит нам. Но лесть от него стоит выслушать. Она не продажная и идет от сердца. Мы думали, что мистер...

— Пинч,— подсказала Мэри.

— Что мистер Пинч придет раньше нас.

— Он и пришел раньше вас, достоуважаемый,— отвечал Пексниф, возвысив голос в назидание Тому, который стоял на лестнице,— и, должно быть, собирался сказать мне о вашем приходе, но я попросил его сначала постучаться к моим дочерям и справиться, как себя чувствует Чарити, милое мое дитя, она что-то не так здорова, как мне хотелось бы. Да,— сказал мистер Пексниф, отвечая на их взгляды,— к сожалению, она не совсем здорова. Это просто нервы, и ничего более. Я не беспокоюсь. Мистер Пинч! Томас! — воскликнул мистер Пексниф самым ласковым голосом.— Войдите, прошу вас. Вы здесь не чужой. Томас — мой друг, и даже старинный друг, надо вам сказать, мистер Чезлвит.

— Благодарю вас, сэр,— сказал Том.— Вы так любезно представляете меня и говорите обо мне в таких выражениях, что я должен этим гордиться.

— Старина Томас! — шутливо воскликнул его хозяин.— Господь с вами!

Том доложил мистеру Пекснифу, что девицы скоро выйдут и все самое лучшее, что только есть в доме, будет сейчас же подано на стол под их общим наблюдением. Он говорил, а гость зорко смотрел на него, хотя и не таким жестким взглядом, как обычно; не ускользнуло от старика и обоюдное смущение Тома и молодой девушки, чему бы он его ни приписывал.

— Пексниф,— сказал старый Мартин после некоторого молчания, вставая и отводя мистера Пекснифа в сторону, поближе к окну,— меня глубоко потрясла весть о смерти брата. Много лет мы были с ним как чужие. Единственное мое утешение в том, что он, возможно, стал лучше и жил счастливее, оттого что не связывал со мной никаких надежд и планов. Мир праху его! В детстве мы играли с ним вместе, и для нас обоих было бы лучше, если бы мы оба тогда умерли.

Увидев, что он настроен так кротко, мистер Пексниф сразу понял, что можно выйти из затруднительного положения и не выбрасывая Джонаса за борт.

— Чтобы кто-то мог стать счастливее, не зная вас,— в этом вы позвольте мне усомниться, досточтимый,— возразил он.— Но что мистер Энтони на склоне лет обрел счастье в привязанности своего превосходного сына — примерный сын, досточтимый сэр, примерный сын! — и в заботах одного дальнего родственника, который всеми силами старался услужить ему — это я могу сказать вам, сэр.

— Как же так? — спросил старик.— Ведь вы не наследник.

— Вы еще не совсем поняли мой характер, я вижу,— сказал мистер Пексниф, с грустью пожимая ему руку.— Нет, сэр, я не наследник. И горжусь тем, что я не наследник. И горжусь тем, что обе мои дочери тоже не наследницы. Однако, сэр, я находился при нем по его собственной просьбе. Он понимал меня несколько лучше, сэр. Он написал мне: «Я болен. Я умираю. Приезжайте». Я поехал к нему. Я сидел возле его постели, я стоял над его могилой. Даже рискуя огорчить вас, я это сделал, сэр. И пусть это признание приведет к немедленной разлуке с вами, к разрыву тех нежных уз, которые соединили нас так недавно, все же я не могу молчать, сэр. Но я не наслед-

ник,— повторил мистер Пекснифф, безмятежно улыбаясь,— и никогда не надеялся стать наследником. Я знал, что не буду наследником.

— Его сын — примерный сын? — воскликнул старик.— Что вы говорите? Мой брат нашел в своем богатстве всегдашнюю казнь богатых, корень их несчастий: где бы он ни был, он приносил с собой развращающее влияние денег и сеял вокруг заразу, даже у собственного очага. Его родного сына деньги сделали алчным наследником, который ежедневно и ежечасно измерял все сокращающееся расстояние между своим отцом и могилой и проклинал его за то, что он замешкался на этом страшном пути.

— Нет! — храбро воскликнул мистер Пекснифф.— Отнюдь нет, сэр!

— Но когда в последний раз мы виделись с ним, я заметил эту тень в его доме,— сказал Мартин Чезлвит,— и даже предупредил его. Как мне не узнать эту тень, когда я вижу ее? Мне, которому она сопутствует столько лет!

— Я это отрицаю,— с жаром отвечал мистер Пекснифф.— Решительно отрицаю. Осиротевший юноша находится сейчас здесь, в этом доме, стремясь обрести в перемене обстановки утраченный душевный покой. Неужели я не воздам должного этому молодому человеку, когда даже гробовщики и могильщики были тронуты его поведением? Когда даже бессловесные плакальщики во всеуслышание воздавали ему хвалу и сам доктор не знал, как успокоить свои взволнованные чувства? Есть и еще одна особа, по фамилии Гэмп, сэр, миссис Гэмп,— спросите у нее. Она видела мистера Джонаса в это трудное время. Спросите у нее, сэр. Она почтенная, но вовсе не сентиментальная женщина, и подтвердит вам мои слова. Одна строка, адресованная миссис Гэмп,— у торговца птицами, Кингсгейт-стрит, Верхний Холборн, Лондон,— встретит самое внимательное отношение, не сомневаюсь в этом. Пусть ее расспросят, сэр. Бей, но выслушай! Прыгайте, мистер Чезлвит, но осмотритесь сначала! Простите, дорогой мой, что я так разгорячился,— сказал мистер Пекснифф, беря старика за обе руки,— но я честен, и мой долг — засвидетельствовать правду!

В подтверждение данной самому себе характеристики мистер Пекснйф дозволил слезам честности навернуться на глаза.

Около минуты старик не спускал с него удивленного взгляда, повторяя про себя: «Здесь! В этом доме!» Однако он справился со своим удивлением и сказал, помолчав немного:

— Я хотел бы повидаться с ним!

— Как друг, я надеюсь? — спросил мистер Пексниф.— Простите меня, сэр, но он пользуется моим скромным гостеприимством.

— Я сказал, что хочу его видеть,— повторил старик.— Если б я был намерен относиться к нему иначе, чем дружески, я бы сказал: не давайте нам встречаться.

— Разумеется, дорогой мой сэр, вы так и сказали бы. Вы — сама искренность, я это знаю. Я постараюсь осторожно сообщить ему о такой радости, если вы извините меня на минутку,— сказал мистер Пексниф, выходя из комнаты.

Он так осторожно подготовлял мистера Джонаса к этому сообщению, что прошло не менее четверти часа, прежде чем они вернулись. Тем временем успели появиться обе молодые девушки, а вместе с ними появилось и угощение для приезжих.

Как ни старался мистер Пексниф, по свойственной ему добродетели, научить Джонаса почтительно относиться к дяде и как ни старался Джонас, по свойственной ему хитрости, затвердить этот урок,— поведение молодого человека при встрече с дядей никак нельзя было назвать достойным или обворожительным. Быть может, никогда еще не выражало человеческое лицо такой смеси наглости и подобострастия, страха и задора, угрюмого упрямства и рабской угодливости, какие можно было прочесть на лице Джонаса, когда он то вскидывал потупленные глаза на Мартина, то снова опускал их и беспрестанно сжимал и разжимал руки и переминался с ноги на ногу, в ожидании, пока с ним заговорят.

— Племянник,— сказал Мартин,— вы, как я слышу, были почтительным сыном.

— Мне кажется, таким же почтительным, как и все

вообще сыновья,— возразил Джонас, поднимая и снова опуская глаза.— Я не стану хвастаться, что был хоть сколько-нибудь лучше других сыновей, но думаю, что был и не хуже.

— Примерный сын, как я слышал,— сказал старик, взглянув на мистера Пекснифа.

— Ну да! — сказал Джонас, мотнув головой и опять поднимая глаза на мгновение.— Я был таким же хорошим сыном, как вы — братом. Коли уж на то пошло, горшку перед котлом нечем хвалиться.

— Вы говорите с горечью, которая свойственна сильной печали,— сказал Мартин, помолчав немного.— Дайте мне вашу руку.

Джонас подал ему руку и почувствовал себя почти свободно.

— Пексниф,— шепнул он, когда они усаживались за стол,— я ему тоже отлил пулю — не хуже, чем он мне. Мне думается, лучше бы он на себя оглянулся, чем кивать на других.

Мистер Пексниф ответил ему единственно толчком в бок, который можно было истолковать и как негодующий протест и как сердечное согласие, но который, во всяком случае, был настойчивым увещаньем по адресу нареченного зятя — замолчать. Затем он возвратился к исполнению обязанностей хозяина дома с обычной для него непринужденностью и любезностью.

Но даже бесхитростная веселость мистера Пекснифа не могла оживить общество или привести к согласию все противоречивые и враждебные элементы. Не легко было удерживать в границах затаенную ревность и зависть, которые недавнее объяснение заронило в грудь Чарити, и не один раз они готовы были вспыхнуть с такой силой, что казалось, неизбежно должно было последовать разоблачение всего, что произошло. Да и прекрасная Мерри во всей славе своей новой победы так растравляла и колола сердечные раны сестры своим капризным поведением и сотней маленьких испытаний покорности мистера Джонаса, что довела ее чуть ли не до помешательства и заставила выскочить из-за стола в припадке ярости, который вряд ли уступал по силе недавнему приступу злобы. Присутствие Мэри Грейм (под этим именем старый Мартин ввел

её в круг семьи), сильно стеснявшее всех, отнюдь не улучшало положения вещей, несмотря на то, что Мэри держалась тихо и спокойно. Но самые сильные испытания выпали на долю мистера Пекснифа: не говоря уже о необходимости неустанно поддерживать мир между обеими дочерьми, показывать вид, будто все его семейство живет дружно и согласно, обуздывать все возрастающую веселость и развязность Джонаса, которые проявлялись в мелких дерзостях по отношению к мистеру Пинчу и в какой-то не поддающейся определению грубости по отношению к Мэри Грейм (так как оба они были лица зависимые), ему все время приходилось быть начеку и умасливать богатого родственника, сглаживать и объяснять тысячи вещей, имевших подозрительный вид, тысячи всяких подозрительных совпадений, которыми так изобиловал этот злополучный вечер. Легко себе представить, что вследствие всего этого и многого другого, чему трудно даже подвести итог, к радости мистера Пекснифа примешивалась порция дегтя, гораздо больше той, какая примешивается обычно ко всем человеческим радостям. Быть может, никогда в жизни он не чувствовал такого облегчения, как в ту минуту, когда старик Мартин, взглянув на часы, объявил, что им пора домой.

— Пока что мы остановились в «Драконе»,— сказал старик.— Мне что-то захотелось немного пройтись. Вечера стоят темные — быть может, мистер Пинч не откажется посветить нам дорогой?

— Досточтимый! — воскликнул Пексниф.— Я с удовольствием! Мерри, дитя мое, скорее фонарь!

— Фонарь, это как вам будет угодно, моя милая,— сказал Мартин,— но я не позволю себе увести вашего отца из дому так поздно вечером; об этом и речи быть не может.

Мистер Пексниф уже взял шляпу в руку, но это было сказано так твердо, что он остановился.

— Я возьму мистера Пинча или пойду один,— сказал старик.— Что лучше?

— Возьмите Томаса, сэр,— воскликнул мистер Пексниф,— если вы уж так решили. Томас, друг мой, будьте как можно осторожнее, пожалуйста.

Это напоминание оказалось далеко не лишним, ибо Том Пинч так волновался и так дрожал, что ему было

трудно удержать в руках фонарь. Но насколько же ему стало труднее, когда, повинуясь слову старика, Мэри взяла под руку его, Тома Пинча!

— Итак, мистер Пинч,— сказал Мартин доро́гой,— вам здесь живется очень хорошо, не правда ли?

Том отвечал еще более, чем обычно, восторженным тоном, что он бесконечно обязан мистеру Пекснифу и, даже посвятив ему всю жизнь, едва ли сможет отплатить за такую доброту.

— Давно ли вы знаете моего племянника? — спросил Мартин.

— Вашего племянника, сэр? — запинаясь, выговорил Том.

— Мистера Джонаса Чезлвита,— сказала Мэри.

— Ах, боже мой, да! — воскликнул Том с большим облегчением, потому что он думал в эту минуту о молодом Мартине.— Да, конечно! Я ни разу не говорил с ним до сегодняшнего вечера, сэр.

— Быть может, полжизни все-таки хватит, чтобы воздать *ему* должное за его доброту? — заметил старик.

Том почувствовал в этих словах упрек себе и не мог не понять, что удар косвенно направлен в его патрона. Поэтому он молчал. Мэри догадывалась, что мистер Пинч не отличается особенной находчивостью и что чем меньше он скажет, тем будет лучше при данных обстоятельствах. Поэтому она молчала тоже. Старик, негодуя на то, что̀ он, по своей подозрительности, принял за бесстыдное и грубое восхваление мистера Пекснифа, которое вменялось в обязанность Тому и в котором он хватил через край, сразу же записал его в фальшивые, раболепные, низкие приживальщики. Поэтому он тоже молчал. И хотя всем троим было очень неловко, справедливость требует сказать, что старик чувствовал себя, быть может, хуже остальных, потому что сначала был расположен к Тому и заинтересовался его явным простодушием.

«И ты такой же, как все другие,— думал он, глядя на ничего не подозревавшего Тома.— Вы почти успели провести меня, мистер Пинч, но все же ваши труды пропали даром. Вы слишком усердный льстец, и этим выдаете себя с головой».

За всю остальную дорогу не было сказано ни единого слова. Первая встреча, о которой Том мечтал с бьющимся сердцем, не принесла ему ничего, кроме неловкости и смущения. Они расстались перед дверью «Дракона», и Том, со вздохом погасив свечу в фонаре, побрел обратной дорогой через сумрачные поля.

Когда он подходил к изгороди, уединенному месту, где в тени сосновой рощицы мрак казался особенно густым, какой-то человек проскользнул мимо и обогнал его. Дойдя до перелаза, он остановился и уселся на верхней ступеньке. Том был несколько удивлен и на мгновение тоже остановился, но тут же опять двинулся вперед и подошел вплотную к поджидавшему его человеку.

Это был Джонас; посасывая набалдашник трости и болтая ногами, он насмешливо глядел на Тома.

— Господи помилуй! — воскликнул Том.— Кто бы мог подумать, что это вы? Вы, значит, шли за нами?

— А вам какое дело? — сказал Джонас.— Подите вы к черту!

— Вы не слишком вежливы, мне кажется,— заметил Том.

— Для вас достаточно вежлив,— сказал Джонас.— Кто вы такой?

— Человек, который имеет такое же право на общее уважение, как и всякий другой,— мягко ответил Том.

— Врете вы всё,— сказал Джонас.— Не имеете вы никакого права ни на чье уважение. Ни на что вы не имеете права. Хорош голубчик! Туда же еще, о правàх разговаривает, ей-богу! Ха-ха! Правà, вот еще тоже!

— Если вы будете продолжать в том же духе,— возразил Том, краснея,— то мне придется заговорить другим языком. Надеюсь, однако, вы бросите эти шутки.

— Вот и всегда вы так, щенки трусливые,— сказал Джонас,— знаете, что человек говорит серьезно, а делаете вид, будто он шутит, лишь бы отвильнуть. Только со мной это не выйдет. Стара штука. Теперь послушайте-ка меня, мистер Пич, Вич, Стич, как вас там зовут.

— Моя фамилия Пинч,— ответил Том.— Будьте любезны так меня и звать.

— Вот как! Даже и назвать вас нельзя как-нибудь по-другому! — воскликнул Джонас.— Я вижу, нищие подмастерья начинают задирать нос. Черт возьми! У нас в Лондоне мы их в струне держим.

— Мне неинтересно, как поступают у вас в Лондоне,— ответил Том.— Что именно вы хотели мне сказать?

— Вот что, мистер Пинч,— отвечал Джонас, подставляя свое лицо так близко, что Тому пришлось отступить на один шаг,— советую вам побольше молчать, поменьше сплетничать и не лезть туда, куда вас не просят. Я кое-что слышал о вас, любезный, и о ваших тихоньких повадках тоже; советую вам забыть про них, пока я не женился на дочке Пекснифа, и не заискивать перед моей родней, а убираться прочь с дороги. Знаете, если щенок путается под ногами, его бьют хлыстом, так что я вам добром советую. Поняли? А? Да кто вы такой, черт возьми,— еще более оскорбительным тоном крикнул Джонас,— чтобы, провожая их домой, идти рядом, а не позади, как полагается всякому слуге, в ливрее он или без ливреи!

— Ну,— сказал Том,— слезайте-ка и пропустите меня. Дайте мне дорогу, пожалуйста!

— И не подумаю! — отвечал Джонас, еще шире рассаживаясь на ступеньке.— Не слезу, пока не захочу. А сейчас я не хочу. Что? Испугались, как бы я вас не заставил выложить все ваши секреты, проныра?

— Меня не так легко испугать,— сказал Том,— и уж вас-то я, во всяком случае, не испугаюсь, что бы вы ни делали. Я не сплетник и презираю всякую низость. Вы сильно ошиблись во мне. Ах! — негодующе воскликнул Том.— Хорошо ли это — человеку вашего положения так вести себя? Пожалуйста, позвольте мне пройти. Чем меньше я скажу, тем будет лучше.

— Чем меньше вы скажете! — передразнил Джонас, еще сильнее болтая ногами и не обращая никакого внимания на просьбу Тома.— Ну конечно, ведь вы ничего лишнего не говорили! Черт возьми, хотел бы я знать, что у вас за дела с этим бродягой, моим родственником? Тоже скажете никаких нет, я думаю!

— Я не знаю никакого бродяги, вашего родственника,— решительно отвечал Том.

— Нет, знаете! — сказал Джонас.

— Нет, не знаю,— отвечал Том.— Тезка вашего дяди, если вы говорите о нем, вовсе не бродяга. Всякое сравнение с ним для вас не выгодно ни в коей мере,— Том даже прищелкнул пальцами, с такой силой разгорался в нем гнев.

— Ах, вот как! — издевался Джонас.— А что вы скажете насчет его милашки, насчет нищенских объедков, а, мистер Пинч?

— Я не скажу больше ни слова и не намерен здесь оставаться ни минуты больше,— отвечал Том.

— Ведь я говорил вам и раньше, что вы врете,— нагло сказал Джонас,— вы останетесь здесь, пока я вам не позволю уйти. Ну, стойте на месте, слышите, что ли?

Он взмахнул палкой над головой Тома, но в ту же минуту палка полетела в воздух, а сам Джонас растянулся на дне канавы. Во время короткой борьбы за палку Том сильно хватил ею по лбу своего противника, и кровь хлынула струей из глубокого пореза на виске. Том понял это, увидев, как Джонас прижимает к ране носовой платок и с трудом поднимается на ноги, оглушенный ударом.

— Вам больно? — спросил его Том.— Мне очень жаль, если так. Обопритесь на меня. Нет нужды, что вы меня не простили и все еще питаете злобу ко мне. Хотя я не знаю почему; я ведь ничем вас не оскорбил, пока мы не встретились здесь.

Джонас ничего не ответил; казалось, сначала он даже не сознавал, что ранен, хотя несколько раз отнимал платок от виска и бессмысленным взглядом смотрел на кровь. Наконец он взглянул на Тома, и на лице у него мелькнуло выражение, показывавшее, что он понимает, что произошло, и никогда этого не забудет.

Оба они возвращались домой в полном молчании. Джонас шел немного впереди, а мистер Пинч, повесив голову, плелся сзади, думая о том, как огорчится его добрый благодетель, узнав об этой ссоре. Когда Джонас постучался в дверь, сердце Тома сильно забилось; еще сильнее оно забилось, когда мисс Мерри отворила им и громко вскрикнула, увидев раненого поклонника; еще

сильнее оно забилось, когда он вошел вслед за ними обоими в маленькую гостиную, и всего сильнее, когда заговорил Джонас.

— Не поднимайте шума,— сказал он.— Это сущие пустяки. Дороги я не знаю, вечер темный, я как раз поравнялся с мистером Пинчем,— он обратил к Тому лицо, но не глаза,— и налетел на дерево. Это всего только ссадина.

— Холодной воды, Мерри, дитя мое! — крикнул мистер Пексниф.— Оберточной бумаги! Ножницы! Полотняных тряпок! Чарити, душа моя, сделай ему перевязку! Боже мой, мистер Джонас!

— О, подите вы с вашими глупостями! — отвечал ему любезный зять.— Будьте хоть чем-нибудь полезны, если можете. А не можете, так убирайтесь!

Мисс Чарити, хотя ее и приглашали подать первую помощь, сидела, выпрямившись, в углу, с улыбкой на устах, и даже не двинулась с места. В то время как Мерри сама промывала рану, а мистер Пексниф держал голову пациента обеими руками, как будто без этого она непременно раскололась бы пополам; в то время как Том Пинч, угнетенный сознанием своей вины, так долго тряс пузырек с датскими каплями, что все они без остатка превратились в английскую пену, а в другой руке держал страшных размеров нож, который надо было только приложить к опухоли, хотя со стороны могло показаться, что им собираются нанести вторую рану, перевязав первую,— Чарити не оказала ни малейшей помощи, не произнесла ни единого слова. Но после того как мистеру Джонасу забинтовали голову, и он улегся в постель, и в доме все утихло, мистер Пинч, печально сидевший на кровати и размышлявший о событиях, услышал тихий стук в дверь и, открыв ее, увидел, к великому своему удивлению, мисс Чарити, которая стояла перед ним, приложив палец к губам.

— Мистер Пинч,— прошептала она,— милый мистер Пинч! Скажите мне правду! Ведь это сделали вы? Между вами вышла ссора, и вы его ударили? Так я и думала!

В первый раз за все те годы, что они прожили под одной крышей, она говорила с Томом ласково. Он остолбенел от изумления.



— Верно это или нет? — настойчиво спрашивала она.

— Меня на это вызвали,— сказал Том.

— Значит, верно? — воскликнула Чарити, сверкая глазами.

— Д-да. Мы поссорились из-за дороги,— сказал Том.— Но я не хотел ударить его так сильно.

— Так сильно! — повторила она, стискивая кулаки и топая ногами, к великому удивлению Тома.— Не говорите этого. Вы поступили храбро. Я уважаю вас. Если вам придется еще когда-нибудь поссориться, не щадите его ни за что на свете, повалите на землю и наступите на него ногой. Но никому ни слова об этом. Милый мистер Пинч, с этого вечера — я ваш друг. Я теперь навсегда ваш друг.

Она подняла к Тому раскрасневшееся лицо, возбужденное выражение которого подтверждало ее слова, схватила правую руку Тома, прижала ее к груди и поцеловала. И в этом не было ничего личного, ничего такого, что вызывало бы неловкость, ибо даже Том, отнюдь не отличавшийся наблюдательностью, понимал, что она стала бы ласкать чью угодно руку, как бы ни была эта рука запачкана грязью и кровью, лишь бы она проломила голову Джонаса Чезлвита.

Том вернулся в свою комнату и лег в постель, полный самых тревожных мыслей. Что в семье Пекснифа (по той или иной причине) мог произойти столь страшный раскол, в силу которого Чарити Пексниф стала его другом; что Джонас, напавший на него с необычайной наглостью, мог проявить великодушие, сохранив в тайне их ссору, и что Том Пинч мог оскорбить действием человека, называющего себя другом мистера Пекснифа,— все это были предметы для таких глубоких и тягостных размышлений, что Том долго не мог сомкнуть глаз. Собственное буйное поведение так угнетало великодушного мистера Пинча, что, припоминая все прежние случаи, когда ему доводилось причинять мистеру Пекснифу заботу и беспокойство (случаи, о которых сей джентльмен частенько напоминал ему), он начал думать, что обречен неисповедимой судьбой играть роль злого гения или же ангела-мстителя по отношению к своему патрону. Но в конце концов он заснул и видел во сне — и это послужило для него ис-

точником новых сокрушений,— будто бы он обманул доверие своего хозяина и бежал с Мэри Грейм.

Надо сознаться, что и во сне и наяву Тома сильно сокрушало его отношение к этой молодой особе. Чем больше он ее видел, тем больше восхищался ее красотой, умом, всеми прекрасными качествами характера, которые повлияли благотворно даже на расколовшуюся семью Пекснифа, в несколько дней восстановив хотя бы видимость согласия и любви между враждующими сестрами. Когда она говорила, Том слушал ее затаив дыхание; когда она пела, он сидел как завороженный. Она коснулась органа в церкви, и с этой светлой минуты даже он, старый товарищ его счастливейших часов, не подвластный как будто никаким переменам, начал новую жизнь, преображенную присутствием божества.

Да благословит бог твое терпение, Томас Пинч! Тот, кто видел тебя в течение этих трех летних недель склоненным до полуночи над разбитым вконец остовом клавикордов в малой гостиной, не мог не постигнуть тайны твоего сердца; но была ли она ясна тебе самому? Кто из видевших румянец на твоих щеках в те минуты, когда ты после долгих часов работы наклонялся, прислушиваясь к дребезжанию расстроенной струны, и находил, что она обрела, наконец, голос и издает что-то очень похожее на ту ноту, которая от нее требуется,— кто не понял бы, что эти клавикорды предназначены не для простых рук, но для тех, которые касаются сокровенных струн твоей души легким, почти ангельским прикосновением! И если бы дружеский взгляд — хотя бы такой же бесхитростный, как твой, милый Том,— следил за тобой в тот вечер, когда она впервые пела, усевшись за исправленные клавикорды, слегка приглушенным голосом, полным грусти, нежности и надежды, и удивлялась той перемене, какая произошла с инструментом; а ты, сидя в стороне, у открытого окна, хранил молчание, и сердце твое полнилось радостью,— он конечно распознал бы зарю того чувства, Том, которому лучше было бы не зарождаться!

Положение Тома Пинча не сделалось менее опасным и затруднительным оттого, что ни одного слова о молодом Мартине не было сказано между ними. Помня о своем обещании, Том старался предоставить Мэри все

возможности для этого. И утром и вечером он бывал в церкви и там, где она любила гулять,— и в деревне, и в саду, и на лугах,— словом, везде, где он мог бы говорить с ней без помехи. Так нет же: она все время старалась избегать его или не встречаться с ним без свидетелей. Не то чтобы она не доверяла ему или он ей не нравился, ибо из тысячи мелочей, не заметных ни для кого, кроме самого Тома, видно было, что она даже выделяла его среди других и была по отношению к нему сама доброта. Возможно ли, чтобы она порвала с Мартином или не отвечала на его любовь, что все это было только в смелом и разгоряченном воображении юноши? Щеки Тома горели от угрызений совести, и он отгонял от себя эту мысль.

Все это время старик Мартин, по свойственной ему странной манере, то приходил, то уходил, то сидел вместе со всеми, погруженный в свои мысли, и почти ни с кем не разговаривал. При всей своей неразговорчивости, он вовсе не казался стеснителен, угрюм или надоедлив; всего больше он любил, когда его предоставляли самому себе и продолжали веселиться при нем без церемоний. Трудно было разобрать, кем из присутствующих он интересуется, да и интересуется ли вообще кем бы то ни было. Если с ним не заговаривали прямо, он ничем не показывал, что слышит и видит то, что делается вокруг.

В один прекрасный день бойкая Мерри, сидя с опущенными долу глазами под тенистым деревом на кладбище, куда она удалилась, устав дразнить и испытывать мелкими придирками привязанность мистера Джонаса, вдруг почувствовала, что новая тень легла между нею и солнцем. Подняв глаза и думая увидеть своего нареченного, она немало удивилась, узрев вместо него старика Мартина. Ее удивление отнюдь не уменьшилось, когда он уселся на дерн рядом с нею и начал разговор так:

— Когда же ваша свадьба?

— Ах, боже ты мой, мистер Чезлвит! Почем же я знаю? Еще не скоро, надеюсь.

— Надеетесь? — спросил старик.

Это было сказано очень серьезно, но она приняла его слова в шутку и захихикала.

— Будет вам! — сказал старик с необычной для него мягкостью.— Вы молоды, красивы и, как мне кажется,

добродушны! Вы легкомысленны, и вам без сомнения нравится быть такой; но должно же у вас все-таки быть сердце.

— Я не целиком его отдала, могу вас уверить,— сказала Мерри, лукаво качая головой и теребя пальцами траву.

— А часть все-таки отдали?

Она отбросила траву в сторону и отвернулась, но ничего не сказала.

Мартин повторил свой вопрос.

— Господи, мистер Чезлвит, ну в самом деле, что я вам отвечу? Какой же вы чудак!

— Если странно, что я хочу знать, любите ли вы молодого человека, за которого, сколько я понимаю, собираетесь замуж, то я действительно чудак,— сказал Мартин.— Потому что я действительно хочу это знать.

— Он такое чудище, вы сами видите,— ответила Мерри, надувая губки.

— Значит, вы его не любите? — возразил старик.— Это ли смысл ваших слов?

— Ну как же, мистер Чезлвит, я сто раз на дню ему повторяю, что терпеть его не могу. Вы, наверно, и сами слышали.

— Очень часто,— сказал Мартин.

— Оно так и есть,— воскликнула Мерри,— положительно не выношу!

— А в то же время обручены с ним,— заметил старик.

— О да,— ответила Мерри.— Но я уже говорила этому противному человеку, дорогой мой мистер Чезлвит, я уже говорила ему, когда он делал предложение, что если я и выйду за него замуж, так только для того, чтобы ненавидеть и мучить его всю жизнь.

Она подозревала, что старик вряд ли относится к Джонасу благосклонно, и рассчитывала, что эти слова совершенно его очаруют. Однако он рассматривал их, повидимому, совсем не в том свете, ибо когда заговорил с нею снова, то уже довольно строго.

— Посмотрите вокруг,— сказал он, указывая на могилы,— и не забудьте, что с того самого часа, как вы пойдете под венец, и до того дня, когда вас упокоят на таком вот ложе, глубоко под землей, вам некому будет

жаловаться на вашего избранника. Думайте, говорите и поступайте как разумное существо хотя бы в этом единственном случае. Вас принуждают к этому браку? Кто-нибудь вам советует или искушает вас вступить в этот брак? Я не хочу спрашивать, кто именно: но кто-нибудь?

— Нет,— ответила Мерри, пожимая плечами.— Не могу сказать, чтобы меня принуждали.

— Не можете сказать? Нет?

— Нет,— отвечала Мерри.— Никто мне не говорил ни слова. Если б меня заставляли за него выйти, я бы и вовсе не вышла.

— Я слышал, что его считали поклонником вашей сестры,— сказал Мартин.

— О боже мой, мистер Чезлвит! Хоть он и чудовище, но все-таки не может же он отвечать за тщеславие других людей. А бедняжка Черри такая тщеславная.

— Так это была ее ошибка?

— Надеюсь, что да,— воскликнула Мерри,— но только бедняжка ужасно завидует, и ревнует, и так злится, что ей просто невозможно угодить, даю вам честное слово, не стоит даже и пробовать.

— Не принуждают силой, не уговаривают и не заставляют,— в раздумье сказал Мартин.— И я вижу, что это правда. Остается еще одна возможность. Вы, быть может, обручились с ним просто по легкомыслию, по ветрености? Это, быть может, необдуманный поступок легкомысленной девушки? Так ли это?

— Дорогой мистер Чезлвит,— жеманно улыбнулась Мерри,— что до легкомыслия, то голова у меня совсем пустая. Сказать по правде, настоящий воздушный шар!

Он спокойно дал ей договорить до конца, а затем сказал настойчиво и не торопясь, но гораздо мягче, как бы склоняя девушку довериться ему:

— Нет ли у вас желания — или не внушает ли вам внутренний голос, когда у вас находится время подумать,— освободиться от данного вами слова?

Мерри опять надула губки и, опустив глаза, опять принялась рвать траву и пожимать плечами. Нет. Она этого не может сказать. Пожалуй, у нее нет такого желания. Даже наверное нет. Она «ничего не имеет против».

— Неужели вам никогда не приходило в голову,— сказал Мартин,— что замужество может испортить вам жизнь, озлобить вас, сделать глубоко несчастной?

Мерри опять опустила глаза; теперь она вырывала траву с корнями.

— Дорогой мистер Чезлвит, какие ужасные слова! Конечно, я буду с ним ссориться, я бы стала ссориться с каким угодно мужем. Жены, по-моему, всегда ссорятся с мужьями. Ну, а чтобы испортить мне жизнь или озлобить меня, то, я думаю, до всех этих ужасов дело не дойдет, разве если муж станет мной командовать; а я сама думаю им командовать. Я уже и теперь командую,— воскликнула Мерри, качая головой и усиленно хихикая,— он у меня прямо-таки в рабстве.

— Пусть будет так! — сказал Мартин, вставая.— Пусть будет так! Я хотел узнать ваши мысли, моя милая, и вы мне их открыли. Желаю вам счастья. Счастья! — повторил он, глядя на Мерри в упор и показывая на калитку, в которую тем временем входил Джонас. И, не дожидаясь, пока подойдет племянник, он вышел в другие ворота.

— Ах ты злой старикашка! — воскликнула шутница Мерри.— Такое отвратительное страшилище — шляется по кладбищам среди бела дня и пугает людей до полусмерти! Не ходите сюда, чучело, не то я сейчас же убегу!

«Чучело» был мистер Джонас. Он сел на траву рядом с Мерри, не слушая этого предостережения, и угрюмо спросил:

— О чем говорил тут мой дядя?

— О вас,— отвечала Мерри.— Он говорит, что вы для меня недостаточно хороши.

— Ну да, еще бы! Это всем известно. Надеюсь, он собирается подарить вам что-нибудь стоящее? Он не намекал на что-нибудь в этом роде?

— Нет, не намекал! — отрезала Мерри самым решительным тоном.

— Старый скряга, вот он кто такой! — сказал Джонас.— Ну?

— Чучело! — воскликнула Мерри в притворном изумлении.— Что это такое вы делаете, чучело?

— Обнимаю вас, только и всего,— ответил обескураженный Джонас.— Ничего плохого в этом нет, я полагаю.

— Наоборот, это очень плохо, раз мне не нравится,— возразила его кузина.— Да отстанете ли вы наконец? Мне и без вас жарко.

Мистер Джонас убрал руку и с минуту смотрел на Мерси скорее глазами убийцы, чем глазами поклонника. Но постепенно морщины у него на лбу разошлись, и, наконец, он нарушил молчание, сказав:

— Послушайте, Мэл!

— Что вы мне хотите сказать, грубое вы существо, дикарь вы этакий? — воскликнула его прелестная нареченная.

— Когда же это будет? Не могу же я болтаться тут всю жизнь, сами понимаете, да и Пексниф тоже говорит — это ничего, что отец недавно умер; мы можем обвенчаться и здесь, без всякого шума; а раз я остался совсем один, то и соседи поймут, что надо было поскорее взять жену в дом, особенно такую, которую отец знал. А старый хрыч (то есть мой дядюшка) не будет вставлять палки в колеса, на чем бы мы ни порешили, он еще нынче утром говорил Пекснифу, что если вам это по душе, то он не против. Так что, Мэл,— спросил Джонас, снова отваживаясь ее обнять,— когда же это будет?

— Ну вот еще, надоело! — воскликнула Мерри.

— Вам надоело, а мне нет,— сказал Джонас.— Что вы скажете насчет будущей недели?

— Насчет будущей недели! Если б вы сказали через три месяца, я бы и то подивилась вашему нахальству.

— А я и не говорил через три месяца,— возразил Джонас.— Я сказал через неделю.

— В таком случае я говорю нет,— воскликнула мисс Мерри, отталкивая его и вставая,— только не на будущей неделе. Этого не будет до тех пор, пока я сама не захочу, а я еще, может быть, целый год не захочу. Вот вам!

Он поднял глаза и посмотрел на нее так же мрачно, как смотрел на Тома Пинча, но сдержался и не ответил.

— Никакое чучело с пластырем на глазу не может мне приказывать и решать за меня,— сказала Мерри.— Вот вам!

И все-таки мистер Джонас сдержался и не ответил.

— В будущем месяце, это уж самое раннее; назначать день я подожду еще до завтра; а если вам не нравится, то и никогда этого не будет,— сказала Мерри,— а если вы не перестанете ходить за мной по пятам и не оставите меня в покое, то и совсем этого не будет. Вот вам! И если вы не будете слушаться и делать все, что я вам велю, то и совсем никогда этого не будет. Так что не ходите за мной по пятам. Вот вам, чучело!

С этими словами она ускользнула от него и скрылась за деревьями.

— Ей-богу, сударыня,— сказал Джонас, глядя ей вслед и раскусывая соломинку с такой силой, что она вся рассыпалась впрах,— я вам это припомню, когда вы будете замужем! Сейчас еще ладно, как-нибудь потерпим пока что, и вы это тоже понимаете, а потом я вам отплачу с лихвой. Ну и скучища же адская сидеть тут одному. Я всегда терпеть не мог старых, заброшенных кладбищ.

Как только он свернул в аллею, мисс Мерри, которая уже ушла далеко вперед, вдруг оглянулась.

— Ага! — сказал Джонас с мрачной улыбкой и кивком головы, которые предназначались не ей.— Пользуйтесь временем, пока оно не ушло. Убирайте сено, пока солнце светит. Поступайте по-своему, покуда это еще в вашей власти, сударыня!

## ГЛАВА XXV

*отчасти профессиональная; сообщает читателю ценные сведения относительно того, как надо ухаживать за больными*

Мистера Моулда окружали его домашние божества. Он наслаждался отдыхом в лоне своего семейства и взирал на всех спокойно и благожелательно. День стоял душный, окно было открыто, и потому ноги мистера Моулда покоились на подоконнике, а спина опиралась на ставень. На блестящую лысину мистера Моулда был накинут платок, в защиту от мух. Комната благоухала пуншем,

и на маленьком столике под руками у мистера Моулда стоял бокал этого усладительного напитка, смешанный так искусно, что глаз мистера Моулда, заглядывая в холодный прозрачный пунш, встречался с другим глазом, который спокойно взирал на него из-за сочной лимонной корочки, мерцая, как звезда.

В самой глубине Сити, в районе Чипсайда *, стояло заведение мистера Моулда. Его гарем — иначе говоря, жилая комната, она же гостиная миссис Моулд — был расположен над маленькой конторой, примыкавшей к мастерской, и выходил окнами на небольшое тенистое кладбище. В этом внутреннем покое и сидел теперь мистер Моулд, безмятежно глядя на свой пунш и на своих домашних. А если на какую-нибудь минуту он отрывался от всех этих приятностей для более широкой перспективы, чтобы потом вернуться к ним с новым интересом, его влажный взор, подобно солнечному лучу, проникал сквозь идиллическую завесу турецких бобов, которые вились перед окном по веревочкам,— и тогда он созерцал могилы оком художника.

Общество мистера Моулда составляли подруга его жизни и обе дщери. Каждая мисс Моулд была жирна, как перепелка, а миссис Моулд была жирнее обеих мисс вместе взятых. Так округлы и пухлы были их завидные пропорции, что могли бы принадлежать херувимам из мастерской в нижнем этаже, но только во взрослом состоянии и с другими головками, более приличными для смертных. Их персиковые щеки были круглы и надуты так, как будто бы они постоянно трубили в небесные трубы. Бестелесные херувимы в мастерской, которые были изображены вечно трубящими в эти трубы, не имея легких, надо думать, полагались главным образом на слух.

Мистер Моулд с любовью взирал на миссис Моулд, которая сидела рядом и содействовала ему в пуншепитии, как и во всех других делах. Обеих своих ангелоподобных дочек мистер Моулд тоже одарял благосклонными взглядами, и они тоже улыбались ему в ответ. Столько имущества было у мистера Моулда и столь велик был запас его товара, что даже здесь, в семейном святилище, стоял объемистый шкаф, хранивший в своем пали-

сандровом чреве саваны, покровы и прочие похоронные принадлежности. Хотя обе мисс Моулд выросли, так сказать, на глазах у этого шкафа, однако его тень не омрачила их застенчивого детства и цветущей юности. С колыбели резвясь и забавляясь за кулисами смерти и похорон, обе мисс Моулд весьма здраво смотрели на вещи. В траурных повязках для шляп они видели лишь столько-то ярдов шелка или крепа, в могильном саване — лишь столько-то полотна. Девицы Моулд могли идеализировать плащ актера, шлейф придворной дамы и даже парламентский акт. Но гробовые покровы не могли ввести их в заблуждение: они сами их сшивали иногда.

Владения мистера Моулда почти не слышали оглушительного грохота широких, больших улиц и ютились в тихом уголке, куда городской шум доходил только сонным гулом, который то ослабевал, то усиливался, то совсем умолкал, заставляя пытливый ум предполагать затор где-нибудь на Чипсайде. Солнце играло среди турецких бобов, как будто кладбище подмигивало мистеру Моулду, говоря: «Мы отлично понимаем друг друга», а из мастерской, где сколачивали гробы, доносился приятный мерный стук молотков, и негромкое, мелодическое рат-тат-тат равно способствовало дремоте и пищеварению.

— Точь-в-точь будто пчелы гудят,— сказал мистер Моулд, закрывая глаза в совершенном удовольствии.— По звуку напоминает одушевленную природу где-нибудь в сельской местности. Как будто дятел стучит.

— И дятел стучит по дуплистому вязу,— заметила миссис Моулд, вставляя в популярную песенку название того дерева, которое обычно употребляется в ремесле мистера Моулда.

— Ха-ха! — засмеялся мистер Моулд.— Очень неплохо сказано, милая. Не придумаете ли еще чего-нибудь, миссис Моулд? По дуплистому вязу, а? Ха-ха! Право, очень недурно. В воскресных газетах читаешь иной раз и хуже этого, душа моя.

Миссис Моулд, получив такое поощрение, отхлебнула еще немного пунша и передала кружку дочерям, которые послушно последовали примеру своей матушки.

— По дуплистому вязу, а? — повторил мистер Моулд, в восторге от этой шутки слегка притопывая ногами.—

А в песне ведь — бук. По вязу, а? Правильно. Честное слово, лучше этого я ничего не слыхал! — Шутка до такой степени раззадорила его, что он никак не мог успокоиться и двадцать раз повторял: — Так по вязу, а? Правильно. Конечно, по вязу. Ха-ха-ха! А знаешь ли, это надо куда-нибудь послать, пускай бы напечатали. Редко бывает, чтобы удалось так остроумно сказать. По дуплистому вязу, а? Правильно. Очень даже дуплистому. Ха-ха-ха!

Тут кто-то постучался в дверь.

— Это Тэкер,— сказала миссис Моулд,— его сразу можно узнать по одышке. Кто бы мог подумать, что он был раньше первый весельчак! Войдите, Тэкер.

— Прошу прощения, сударыня,— сказал Тэкер, осторожно заглядывая в щелку.— Я думал, что хозяин здесь.

— Ну да, он тут и есть! — воскликнул Моулд.

— А я вас и не заметил сразу,— сказал Тэкер, просовывая голову немного дальше.— Вы ведь не согласитесь взять заказ на похороны без катафалка? Гроб из некрашеного дерева, с жестяной дощечкой?

— Конечно, нет,— отвечал мистер Моулд,— уж очень по-бедному. Что тут интересного.

— Я им говорил, что очень дешево,— заметил мистер Тэкер.

— Пускай идут к кому-нибудь другому. Мы такого рода делами не занимаемся,— сказал мистер Моулд.— Хватает же наглости соваться. Кто это?

— Вот в том-то и дело, понимаете ли,— ответил Тэкер, помолчав.— Это зять приходского надзирателя.

— Зять приходского надзирателя? — сказал Моулд.— Ну, что ж! Я возьмусь, если приходский надзиратель пойдет за гробом в треуголке, но не иначе. Мы можем принять заказ, если это будет иметь официальный вид, и то будет очень по-бедному. Так в треуголке, не забудьте!

— Постараюсь, сэр,— ответил Тэкер.— Да! Миссис Гэмп внизу и желает поговорить с вами.

— Попросите миссис Гэмп подняться наверх,— сказал Моулд.— Ну, миссис Гэмп, что у вас новенького?

Миссис Гэмп была уже в дверях и приседала перед миссис Моулд. В то же самое время по комнате ветерком

пронеслось особое благоухание, словно какая-нибудь фея икнула, пролетая мимо, по дороге из винного погребка.

Миссис Гэмп не ответила на вопрос, но еще раз присела перед миссис Моулд, закатывая глаза и воздевая руки к небу, словно благодаря бога за то, что видит ее в таком добром здоровье. Миссис Гэмп была одета опрятно, но без всякой пышности — в то самое траурное платье, которое было на ней, когда мистер Пексниф имел удовольствие с ней познакомиться, разве только нюхательного табаку на нем чуть прибавилось.

— Бывают же такие счастливицы,— заметила миссис Гэмп,— что год от году молодеют, миссис Моулд! Вот и вы такая, время с вами ничего поделать не может, сколько ни старается: все равно вы молодая, молодой и останетесь. Вот я и говорю на этих днях миссис Гаррис, как раз в позапрошлый понедельник вечером: «Это уж верно, и что жизнь наша есть сущая юдоль и странствие полугрима — тоже верно». Она мне говорит: «Годы да заботы, миссис Гэмп, хоть кого состарят». А я ей говорю: «Вот уж неправда, миссис Гаррис, и не повторяйте вы этого, не то у нас с вами вся дружба врозь. Взять хоть бы миссис Моулд,— говорю я,— признаться, взяла на себя такую вольность, помянула ваше имя (тут она опять присела),— по ней одной видно, что все врет эта ваша поговорка; и пока я жива, миссис Гаррис, я этого так не оставлю, за своих всегда заступлюсь, и не думайте даже».— «Ну извините, сударыня,— говорит миссис Гаррис,— будьте так любезны, я ведь и сама отлично знаю, если есть на свете такая женщина, что кого угодно до обморока доведет, лишь бы услужить своим друзьям, то одна только и найдется, и зовут эту женщину Сара Гэмп».

Тут ей поневоле пришлось перевести дыхание. Воспользовавшись этим обстоятельством, следует заметить, что даму, носившую фамилию Гаррис, окружала глубокая тайна; по крайней мере никто из обширного круга знакомых миссис Гэмп ее и в глаза не видел; ни одна душа не знала также, где она живет, хотя миссис Гэмп, судя по ее собственным словам, частенько с ней встречалась. На этот предмет ходило много противоречивых слухов; однако преобладало мнение, что эта госпожа суще-

ствует только в воображении миссис Гэмп и вымышлена ею, как господа Доу и Роу * вымышлены юристами,— специально для того, чтобы вести с миссис Гэмп воображаемые разговоры, независимо от темы неизменно завершавшиеся похвалой ее высоким добродетелям.

— И как это приятно,— говорила миссис Гэмп, посылая умильную улыбку дочерям мистера Моулда,— повидать обеих ваших молодых барышень. Ведь я их с каких пор знаю, когда у них еще ни одного зуба во рту не прорезалось; и сколько раз видела — ах вы, миленькие мои! — как они играли в похороны: возьмут, бывало, книгу заказов, да и несут ее хоронить в денежный сундук! Только все это было и быльем поросло, мистер Моулд,— и тут, строго соблюдая раз навсегда заведенный ею порядок, она повернулась к мистеру Моулду, игриво качая головой.— Было и быльем поросло, сэр, как вы скажете?

— Перемены, миссис Гэмп, перемены! — отвечал гробовщик.

— И еще будут перемены, кроме этих, большие перемены, сэр,— сказала миссис Гэмп игривее прежнего.— Молодым барышням, при такой их красоте, найдется о чем подумать, кроме похорон. Как по-вашему, сэр?

— Уж, право, не знаю, миссис Гэмп,— отвечал Моулд, посмеиваясь.— А ведь неплохо сказано, милая?

— Ну как же вы не знаете, сэр,— продолжала миссис Гэмп,— и ваша супруга тоже знает, такая красавица, сэр, и я тоже знаю, хоть мне и не суждено было порадоваться за своих дочек; а если б была у нас дочка, мой Гэмп с нее последние башмачки снял бы и пропил, как с нашего дорогого сыночка; пропил, а потом послал мальчика продавать свою деревянную ногу на спички, всю как есть, оптом, сколько дадут, и велел ему купить на все деньги водки; а мальчишка не будь глуп — не по годам даже, право,— все до последнего пенни проиграл в орлянку да проел на пирогах с почками; а потом пришел домой и, глазом не моргнув, рассказал все как есть, а ежели папаше с мамашей это не нравится, говорит, то могу и утопиться. Да нет, сами знаете, сэр,— продолжала миссис Гэмп, утирая слезящийся глаз шалью и возвращаясь к прежней теме.— В газетах печатают не про одни

только рождения да смерти, как вы скажете, мистер Моулд?

Мистер Моулд подмигнул миссис Моулд, которую он посадил к себе на колени, и заметил:

— Само собой. Мало ли еще про что, миссис Гэмп. А ведь очень неплохо сказано, душенька, честное слово!

— И про свадьбы тоже, ведь правда, сэр? — сказала миссис Гэмп, причем обе дочки покраснели и захихикали.— Господь с ними, они и сами это отлично знают! Да и вы это отлично знали в их годы, и миссис Моулд тоже! На мой взгляд, вы все теперь одних лет. А когда у вас с вашей супругой будут внуки, сударь...

— Ну-ну, что это вы! Пустяки, миссис Гэмп,— возразил гробовщик.— А ведь здорово сказано! За-ме-ча-тельно! — это он произнес шепотом.— Душенька,— это опять вслух,— миссис Гэмп, я думаю, выпьет стаканчик рома. Садитесь, миссис Гэмп, садитесь же.

Миссис Гэмп уселась на стул поближе к двери и, возведя глаза к потолку, приняла вид совершенного равнодушия к тому, что ей наливают стаканчик рома, пока одна из девиц не подала ей этот стаканчик в руки, чему миссис Гэмп крайне удивилась.

— Вот уж это мне редко приходится, миссис Моулд,— заметила она,— разве только если я не так здорова и когда мои полпинты портера давят на желудок. Миссис Гаррис частенько говорит мне: «Сара Гэмп, говорит, вы, право, меня удивляете!» — «Миссис Гаррис,— говорю я,— чем же это? Объясните, пожалуйста!» — «Сказать по правде, сударыня,— говорит миссис Гаррис,— оконфузили вы его,— не стоит называть кого именно,— я никак не думала, пока с вами не познакомилась, чтобы можно было женщине ходить за больными, и помесячно тоже, и не пить почти ничего».— «Миссис Гаррис,— говорю я ей,— никто из нас не знает, на что способен, пока не попробует; я и сама так думала, пока мы с Гэмпом жили своим домом. А теперь,— говорю я,— полпинты портера мне за глаза довольно, лишь бы его приносили вовремя и не очень крепкий. Поденно или помесячно, сударыня, а я свой долг при больном выполняю, только я женщина бедная, и кусок хлеба мне достается нелегко; вот потому

я и требую, прямо скажу, чтобы портер мне приносили вовремя и не очень крепкий».

Прямую связь между этими замечаниями и стаканом рома установить было трудно, потому что миссис Гэмп, пожелав «всем всего наилучшего!», выпила свою порцию с видом знатока, ничего не прибавив более.

— Так что же у вас новенького, миссис Гэмп? — опять спросил мистер Моулд, после того как она, вытерев губы шалью, откусила кусочек сухого печенья, которое, по-видимому, носила в кармане про запас, предвидя возможность выпивки. — Как здоровье мистера Чаффи?

— Здоровье мистера Чаффи все по-старому, сэр; ему не хуже, да и не лучше. Я так думаю: правильно сделал тот джентльмен, что написал вам: «Пускай миссис Гэмп ходит за больным, пока я не вернусь»; ну, все как есть считают, что он доброе дело сделал, поступил по-христиански. Побольше бы таких, как он. Тогда бы мы и без церквей обошлись.

— О чем вы хотели поговорить со мной, миссис Гэмп? — спросил мистер Моулд, приступая к делу.

— Вот о чем, сэр, — отвечала миссис Гэмп, — и спасибо вам, что спросили. Есть один постоялец в трактире «Бык» в Холборне, сэр; вы подумайте, приехал туда, заболел и теперь лежит при смерти. Дневная сиделка у них уже есть, сэр, прислали из Варфоломеевского *, и я ее отлично знаю, ее зовут миссис Приг. Очень хорошая женщина, только ночью она занята в другом месте, и им нужно кого-нибудь на ночь; потому она им и сказала — ведь мы с ней уже лет двадцать вот как дружим: «Если вам нужна самого трезвого поведения женщина, сущее утешение для больного, так лучше миссис Гэмп никого не найти. Пошлите, говорит, мальчика на Кингсгейт-стрит и перехватите ее за любую цену, потому что миссис Гэмп, говорит, стоит столько, сколько она весит, хоть бы и золотыми гинеями». Мой квартирный хозяин прибежал ко мне и говорит: «Должность у вас теперь легкая, а это место, надо полагать, будет выгодное; может, вы договоритесь и тут и там?» — «Нет, сударь, — отвечаю ему, — без ведома мистера Моулда и не подумаю даже. Если желаете, говорю, я могу сходить к мистеру Моулду, спросить его».

Тут она покосилась на гробовщика и замолчала.

— Ночное дежурство, значит? — спросил мистер Моулд, потирая подбородок.

— С восьми до восьми, сэр, не хочу вас обманывать,— отвечала миссис Гэмп.

— А потом, значит, домой? — спросил мистер Моулд.

— Потом совсем свободна, сударь, и могу ходить за мистером Чаффи. Он ведь такой тихий, ложится рано, сэр, и почти все это время, надо полагать, спать будет. Я, конечно, ничего не говорю,— продолжала миссис Гэмп с кротостью,— женщина я бедная и от лишних денег никогда не откажусь, только что же вам с этим считаться, мистер Моулд? Легче богатому кататься на верблюде, чем увидеть что-нибудь сквозь игольное ушко *. Это я помню, только этим и утешаюсь.

— Ну что ж, миссис Гэмп,— заметил мистер Моулд,— я не вижу никаких причин, почему бы вам при таких обстоятельствах не заработать честно на кусок хлеба. Только я бы об этом помалкивал, миссис Гэмп. Например, не стал бы рассказывать мистеру Чезлвиту без особой надобности, разве уж только он спросит прямо, когда вернется.

— Вот эти самые слова и у меня были на языке, сэр,— отвечала миссис Гэмп.— А в случае ежели больной помрет — может, вы не обидитесь, сударь, если я позволю себе сказать, что знаю кое-кого по похоронной части?

— Разумеется, нет, миссис Гэмп,— сказал Моулд весьма снисходительно.— Можете кстати упомянуть при удобном случае, что мы стараемся делать свое дело так, чтобы никого не обеспокоить и угодить на самые разные вкусы, и по возможности щадить чувства наследников,— это вам всякий скажет. Только полегче, не навязывайтесь. Полегче, полегче! Душенька, ты могла бы дать миссис Гэмп одну-две карточки, если хочешь.

Миссис Гэмп взяла карточки и, чувствуя, что в воздухе больше не пахнет ромом (бутылку убрали в шкаф), поднялась со стула, собираясь прощаться.

— Позвольте от души пожелать всего наилучшего вашему счастливому семейству,— сказала миссис Гэмп.— До свидания, миссис Моулд! На месте вашего мужа я бы

вас ревновала, сударыня, а будь я на вашем месте, уж конечно ревновала бы мистера Моулда.

— Ну, ну, что это вы! Будет вам, миссис Гэмп! — отвечал очень довольный гробовщик.

— А уж молодые барышни,— говорила миссис Гэмп, приседая,— при такой их красоте, как это они умудрились так вырасти — господь их благослови! — когда родители у них совсем еще молодые, никак в толк не возьму, это уж не моего ума дело.

— Пустяки, пустяки! Подите вы, миссис Гэмп! — воскликнул Моулд. Однако он был польщен до такой степени, что даже ущипнул миссис Моулд при этих словах.

— Вот что я тебе скажу, милая,— заметил он, когда миссис Гэмп ушла наконец,— это оч-чень неглупая женщина. Эта женщина гораздо умней, чем ей полагается быть по ее званию. Эта женщина все замечает и сообразительна просто необыкновенно. Такую женщину,— закончил мистер Моулд, снова накрывая голову шелковым платком и располагаясь на отдых,— просто даже хочется похоронить даром, и как можно приличнее.

Миссис Моулд и обе ее дочери вполне разделяли это мнение; а та, к которой оно относилось, успела за это время выйти на улицу, где от воздуха ей стало что-то совсем нехорошо и пришлось даже немножко постоять под воротами, чтобы прийти в себя. Но и после этой предосторожности походка у нее была настолько неуверенная, что привлекла к себе сочувственное внимание мальчишек, которые по доброте сердечной приняли в ней живейшее участие и в простоте душевной упрашивали ее держаться, потому что она «всего только на первом взводе».

Что бы с ней ни было и как бы ни называлась ее болезнь на языке медицинской науки, миссис Гэмп превосходно знала обратную дорогу и, достигнув дома Энтони Чезлвита и Сына, прилегла отдохнуть. Отдыхала она до семи часов вечера, после чего, уговорив бедного старика Чаффи лечь в постель, отправилась на свое новое место. Но прежде всего она зашла к себе на квартиру на Кингсгейт-стрит, где захватила узел с одеждой и шалями, какие могли понадобиться по ночному времени, а после

того отправилась к «Быку» в Холборн, куда и прибыла в ту самую минуту, когда часы били восемь.

Войдя во двор, она остановилась, ибо и хозяин, и хозяйка, и старшая горничная — все вместе стояли в дверях и серьезно разговаривали с молодым человеком, который, по-видимому, или только что пришел, или собирался уходить. Первые слова, поразившие слух миссис Гэмп, явно относились к ее будущему пациенту; и так как всякой хорошей сиделке не мешает знать как можно больше о больном, на котором она собирается пробовать свое искусство, миссис Гэмп стала слушать просто из чувства долга.

— Так, значит, ему не лучше? — спросил молодой человек.

— Хуже! — сказал хозяин.

— Много хуже,— прибавила хозяйка.

— Ох, куда хуже! — откликнулась стоявшая позади горничная, делая большие глаза и покачивая головой.

— Бедняга! — сказал джентльмен.— Очень жаль это слышать. К несчастью, я совсем не знаю, есть ли у него друзья и родные и где они живут; знаю только, что не в Лондоне.

Хозяин поглядел на хозяйку; хозяйка поглядела на хозяина, а горничная заметила истерически, что «сколько она ни слыхала непонятных распоряжений и разных адресов (мало ли что бывает в гостинице), а такое непонятное слышит в первый раз».

— Дело в том, видите ли, я уже говорил вам это вчера, когда вы послали за мной, что я очень мало о нем знаю,— продолжал джентльмен.— Мы учились вместе, а после того я виделся с ним всего два раза. Оба раза я приезжал в Лондон на каникулы (всего на какую-нибудь неделю, из Вильтшира), а после того опять терял его из виду. Письмо с моей фамилией и адресом, которое вы нашли у него на столе и которое помогло вам разыскать меня, это, как вы сами увидите, мой ответ на его просьбу прийти к нему, посланную отсюда в первый же день болезни. Вот его письмо, можете посмотреть, если хотите.

Хозяин стал читать письмо, хозяйка глядела через его плечо. Горничная, стоя позади, разобрала издали кое-

что и выдумала остальное, твердо уверовав во все это вместе, как в непреложную истину.

— Багажа у него очень мало, вы говорите? — заметил джентльмен, который был не кто иной, как наш старый приятель Джон Уэстлок.

— Один чемодан,— сказал хозяин,— да и в том почти ничего нет.

— Но все-таки несколько фунтов в кошельке найдется?

— Да. Кошелек запечатан и лежит в кассе. Я записал, сколько там; вы можете посмотреть, если желаете.

— Ну, вот что,— сказал Джон Уэстлок,— если, по словам доктора, болезнь должна идти своим порядком и сейчас ничего нельзя сделать, как только давать ему вовремя питье и ухаживать за ним возможно лучше, то больше, мне кажется, и говорить не о чем, пока он сам не сможет дать каких-нибудь указаний. Или, по-вашему, есть еще что-нибудь?

— Да н-нет,— отвечал хозяин,— разве только...

— Разве только — кто будет платить, верно? — сказал Джон.

— Что ж,— нерешительно начал хозяин,— это тоже было бы кстати.

— Само собой, кстати,— подхватила хозяйка.

— И прислугу тоже надо бы не забывать,— деликатным шепотом прибавила горничная.

— Это вполне резонно, я с этим согласен,— сказал Джон Уэстлок.— Во всяком случае, на первое время у вас есть кое-что наличными; а я с удовольствием берусь платить доктору и сиделкам.

— Ах! — воскликнула миссис Гэмп.— Сразу видно настоящего джентльмена!

Она выразила свое восхищение таким громким стоном, что все обернулись. Миссис Гэмп сочла нужным выступить вперед, с узлом в руках, и представиться.

— Ночная сиделка,— отрекомендовалась она,— с Кингсгейт-стрит; знакомая дневной сиделки, миссис Приг, тоже очень хорошей женщины. Как чувствует себя нынче вечером наш больной, бедняжка? А ежели ему все еще не лучше, то и этого надо было ожидать и ко всему при-

готовиться. Нам не в первый раз. Вот уже сколько лет, сударыня,— продолжала миссис Гэмп, приседая перед хозяйкой,— мы вдвоем с миссис Приг ходим за больными по очереди — одна ночью, другая днем. Мы уже приладились одна к другой; бывает, что и выходим больного, когда другие отказываются. И берем совсем недорого, сударь,— тут миссис Гэмп обратилась к Джону,— ежели принять в расчет, какая наша должность трудная. А была бы она легкая, то вы бы и платили сущие пустяки.

Считая свою тронную речь на этом законченной, миссис Гэмп присела перед каждым по очереди и выразила желание, чтобы ее проводили к месту службы. Горничная повела ее наверх по разным ходам и переходам и, наконец, указав на единственную дверь в конце галереи, сообщила, что это и есть та комната, где лежит больной. Сделав это, она поторопилась уйти со всей быстротой, на какую была способна.

Миссис Гэмп, вся запыхавшись оттого, что ей пришлось тащиться с большим узлом по множеству лестниц, пересекла галерею и постучалась в дверь, которую немедленно открыла миссис Приг, в чепце и шали,— ей явно не терпелось поскорей уйти. Миссис Приг была того же склада, что и миссис Гэмп, только не так толста; и голос у нее был погуще, скорее мужской. Кроме того, у нее росла бородка.

— А я уж было думала, что вы совсем не придете! — заметила миссис Приг с некоторым неудовольствием.

— Завтра вечером приду пораньше,— сказала миссис Гэмп,— честное слово! Надо же мне было за вещами сходить.— Она начала уже справляться знаками, как чувствует себя больной и не может ли он их подслушать (перед дверью стояли ширмы), когда миссис Приг сразу разрешила ее недоумения.

— О,— сказала она вслух,— он тихий, не соображает ничего. При нем что хочешь говори.

— Может, вам надо что-нибудь сказать мне перед уходом? — спросила миссис Гэмп, втаскивая узел в комнату и умильно глядя на свою товарку.

— Маринованная лососина очень хороша,— отвечала миссис Приг.— Могу особенно рекомендовать. Вот

холодную говядину похвалить нельзя — отзывается конюшней. Напитки все ничего себе.

Миссис Гэмп выразила по этому поводу свое полное удовольствие.

— Лекарства и все остальное на комоде и на полке над камином,— отрывисто сообщила миссис Приг.— Последний раз он принял лекарство в семь часов. Кресло жестковато. Придется вам взять у него подушку.

Миссис Гэмп поблагодарила ее за эти сведения и, дружески пожелав ей спокойной ночи, распахнула дверь и держала ее открытой настежь все время, пока миссис Приг не скрылась из виду. Исполнив таким образом долг гостеприимства и благополучно проводив товарку, она закрыла дверь, заперла ее изнутри, подхватила узел и, обойдя ширмы кругом, вступила во владение комнатой больного.

— Не очень-то весело, но бывает и хуже,— заметила про себя миссис Гэмп.— Хорошо, что тут перила есть на случай пожара — вон сколько крыш с трубами, есть куда вылезти.

Из этих замечаний явствует, что миссис Гэмп смотрела в окно. Досыта налюбовавшись видом, она попробовала кресло и объявила с негодованием, что «кирпичи — и то мягче». После чего продолжала осматривать пузырьки с лекарством, стаканы, кружки и чашки и, удовлетворив свое любопытство на этот счет, развязала ленты чепца и, наконец, подошла к кровати взглянуть на больного.

Молодой человек, смуглый, недурной наружности, с длинными черными волосами, которые казались еще чернее от белизны простынь. Его глаза были не совсем закрыты, и он неустанно перекатывал голову по подушке из стороны в сторону, причем тело его оставалось почти неподвижным. Он не говорил ни слова, но время от времени вскрикивал то с раздражением, то устало, то удивленно, и его голова — о тяжкие часы испытания! — лихорадочно металась по подушке, не зная ни минуты покоя.

Миссис Гэмп, угостившись понюшкой табаку, долго стояла и смотрела на больного, наклонив голову немножко набок, словно знаток, созерцающий сомнительное

произведение искусства. Ей все неотвязнее вспоминалась одна страшная отрасль ее ремесла, и, наконец, не в силах справиться с привычным воспоминанием, она нагнулась и прижала к бокам больного его беспокойные руки, любопытствуя, как-то он будет выглядеть на смертном одре. Ей не терпелось придать его телу эту последнюю позу мраморного изваяния.

— Ах,— сказала миссис Гэмп, отходя на несколько шагов от кровати,— и хорош будет покойничек!

После этого она развязала свой узел, зажгла свечу от огнива на комоде, налила воды в маленький чайник, намереваясь подкреплять свои силы чаем во время ночного дежурства; развела с этой же человеколюбивой целью то, что у нее называлось «маленький огонек», а также выдвинула и накрыла небольшой чайный столик, чтобы уж ни в чем не иметь недостатка и расположиться с полным удобством. На эти приготовления ушло столько времени, что пора было подумать и об ужине; поэтому она позвонила и заказала ужин.

— Я, моя милая,— расслабленным голосом говорила миссис Гэмп младшей горничной,— съела бы, пожалуй, маленький кусочек маринованной лососины с хорошенькой веточкой укропа, чуть-чуть посыпанный белым перцем. Хлеба мне подайте самого мягкого, моя милая, а к нему немножко свежего масла и кусочек сыра. В случае ежели в доме найдется огурец, то, будьте так любезны, принесите мне огурец, я до них охотница, да и у больного в комнате их очень полезно держать. Ежели у вас тут есть брайтонский крепкий эль, милая, то на ночь я только его и пью: доктора советуют, чтобы сон разгоняло. А когда я вам позвоню во второй раз, то вы, милая, ни под каким видом не приносите джина с горячей водой больше чем на шиллинг; это уж моя всегдашняя порция, больше у меня душа не принимает!

Перечислив эти умеренные требования, миссис Гэмп добавила, что постоит в дверях, пока горничная не вернется с заказом, чтобы не беспокоить больного, открывая дверь во второй раз; а потому она попросила девушку быть «попроворнее».

Как только принесли поднос со всем, что было заказано, включая и свежий огурец, миссис Гэмп, ни минуты

не медля, уселась за еду и питье в наилучшем расположении духа. Сколько она потребляла при этом уксуса и как прихлебывала его прямо с ножа, положительно не поддается описанию.

— Ах! — вздохнула миссис Гэмп, впадая в раздумье над порцией горячего напитка стоимостью в шиллинг,— как это приятно, когда ты всем доволен,— кругом-то ведь юдоль! Как это приятно ухаживать за больными, лишь бы им было хорошо, а о себе даже и не думать, пока ты в силах оказать услугу! Ничего лучше этого огурца просто быть не может! Никогда в жизни такого не едала.

Она рассуждала в том же духе, пока стакан не опустел, после чего дала пациенту капли самым простым способом, а именно, сдавила ему горло так, что он захрипел и раскрыл рот, и в ту же минуту влила туда лекарство.

— Подушку-то я чуть не забыла, право! — спохватилась миссис Гэмп, вытаскивая ее из-под головы больного.— Ну вот! Теперь он у меня устроен как нельзя лучше. Надо и мне самой тоже как-нибудь устроиться.

Для этой цели она принялась сооружать на кресле временную постель, приставив для ног второе кресло. Наладив себе самое удобное ложе, какое дозволяли обстоятельства, она достала из своего узла ночной чепец невероятных размеров, по форме напоминавший капустный кочан, и очень долго и заботливо прилаживала и завязывала этот головной убор, предварительно сняв облезлые фальшивые локоны, которые никого не могли ввести в обман и потому вряд ли даже заслуживали названия фальшивых. Из того же узла она вытащила ночную кофту, в которую и облачилась. Наконец она извлекла оттуда шинель караульного, завязала рукава вокруг шеи — и стало похоже, что это два человека; а если смотреть сзади — казалось, будто ее обнимает какой-то служивый старых времен.

Покончив со всеми этими приготовлениями, она зажгла тростниковую свечу, улеглась на своем ложе и уснула. Мрачно и темно стало в комнате, отовсюду поползли зловещие тени. Отдаленный шум на улицах постепенно умолк; в доме стало тихо, как в гробу; мертвое молчание ночи притаилось в стенах города.

О тяжкий, тяжкий час! О измученная душа, блуждающая в потемках прошлого, неспособная оторваться от горестного настоящего; душа, что влачит тяжелую цепь забот сквозь мрачное великолепие пиров и празднеств, ища хотя бы минуты забвения в давно покинутых местах детских игр и вчерашнего веселья и повсюду находя лишь смутные видения, вселяющие страх! О тяжкий, тяжкий час! Что в сравнении с этим все странствования Каина!

И все время, не зная ни минуты покоя, горячая голова металась взад и вперед. И время от времени усталость, злоба, страдание и удивление прорывались очень явственно среди этих мук, но никогда — словами. И, наконец, в торжественный час полуночи, больной начал разговаривать, словно незримые спутники окружали его ложе; он то в страхе дожидался ответа, то спрашивал кого-то, то отвечал сам.

Миссис Гэмп проснулась и села в кресле, причем на стену легла огромная тень ночного сторожа, борющегося со своим пленником.

— Ну! Придержите язык! — воскликнула она сурово и укоризненно.— Нечего тут шум поднимать.

Лицо больного не изменилось, голова его все так же металась, он продолжал бормотать все так же бессвязно.

— Так я и знала, что это ненадолго, уж очень сладко я уснула,— говорила миссис Гэмп, слезая с кресла и сердито вздрагивая.— Черт разгулялся, должно быть, до чего ночь холодная!

— Не пейте так много! — закричал больной.— Вы нас всех погубите. Разве вы не видите, как убывает фонтан? Смотрите, здесь только что сверкала вода!

— Сверкала вода, как бы не так! — сказала миссис Гэмп.— А вот у меня, пожалуй, сейчас засверкает чашечка чаю. Ну, нечего так шуметь!

Больной разразился хохотом и смеялся долго, пока смех не перешел в жалобный стон. Резко оборвав стон, он с болезненной непоследовательностью начал считать — и очень быстро:

— Раз, два, три, четыре, пять, шесть...

— «Раз, два — кружева,— отозвалась миссис Гэмп, которая разводила огонь, стоя на коленях,— три, четы-

ре,— прищемили»... Хоть бы вы язык себе прищемили, молодой человек... «пять, шесть — дров не счесть». Мне бы сюда два-три поленца, чайник и закипел бы.

В ожидании этого желанного результата, она уселась так близко к каминной решетке (которая была очень высока), что упиралась в нее лбом, и некоторое время разгоняла дремоту, водя носом взад и вперед по медному верху решетки. При этом она все время сопровождала беглыми комментариями бред больного, метавшегося в кровати.

— Всего пятьсот двадцать один человек, одеты одинаково, с одинаково искаженными лицами, вошли в окно, а вышли в двери! — кричал больной тревожно.— Смотрите! Пятьсот двадцать два, двадцать три, двадцать четыре. Видите вы их?

— Еще бы! Как же не видеть,— сказала миссис Гэмп,— всех вижу, вон они, с номерами, как на кэбах — так, что ли?

— Ущипните меня! Чтобы я знал, что мне не кажется! Ущипните меня!

— Вот закипит чайник, буду вам давать лекарство,— невозмутимо отвечала миссис Гэмп,— тогда и ущипну. Да еще как ущипну, если не успокоитесь.

— Пятьсот двадцать восемь, пятьсот двадцать девять, пятьсот тридцать... Смотрите!

— Ну, что там еще? — спросила миссис Гэмп.

— Идут по четверо в ряд, каждый взял под руку соседа, а другому соседу положил руку на плечо. Что это у них на флаге и на рукавах?

— Пауки, может? — сказала миссис Гэмп.

— Креп! Черный креп! Боже мой, зачем они носят его на виду?

— А как же еще носить черный креп? Не прятать же,— возразила миссис Гэмп.— Помолчите-ка лучше, успокойтесь.

Огонь к этому времени начал распространять благотворное тепло, и миссис Гэмп притихла; она все медленнее и медленнее водила носом по каминной решетке и, наконец, впала в глубокую дремоту. Она проснулась оттого, что (как ей показалось) на всю комнату прозвучало знакомое ей имя:

— Чезлвит!

Крик был такой громкий, такой явственный, и в нем звучала такая мольба и мука, что миссис Гэмп вскочила и в испуге бросилась к двери. Ей представилось, будто в коридоре полно народу, будто прибежали сказать ей, что в доме Чезлвитов пожар. Но все было пусто, нигде ни души. Она открыла окно и выглянула наружу: лишь темные, тусклые, нагоняющие тоску крыши домов. Возвращаясь на свое место, она мимоходом взглянула на больного. Все то же, только примолк. Миссис Гэмп стало так жарко, что она сбросила шинель и обмахнулась платком.

— Кажется, даже пузырьки с лекарством зазвенели,— сказала она.— И что такое мне приснилось? Не иначе, как этот проклятый Чаффи.

Догадка была близка к правде. Во всяком случае, понюшка табаку и пение закипающего чайника вполне восстановили душевное равновесие миссис Гэмп, которая отнюдь не отличалась слабостью нервов. Она заварила чай, поджарила гренки с маслом и уселась за чайный столик, лицом к огню.

И вдруг опять, еще страшнее, чем сквозь сон, прозвучал в ее ушах пронзительный крик:

— Чезлвит! Джонас! Нет!

Миссис Гэмп выронила чашку, которую собиралась поднести к губам, и обернулась, вздрогнув так, что подскочил чайный столик. Крик прозвучал с постели.

Было ясное утро и весело всходило солнце, когда миссис Гэмп опять выглянула в окно. Все больше и больше светлело небо и оживлялись улицы; высоко поднимался в летнем воздухе дым только что затопленных печей, и, наконец, совсем разгулялся шумный день.

Миссис Приг пунктуально сменила свою товарку, отлично выспавшись за ночь у другого пациента. Мистер Уэстлок пришел в это же время, но его не впустили, так как болезнь была заразная. Пришел и доктор и покачал головой. Это было все, что он мог сделать при существующих обстоятельствах, но зато он делал это очень внушительно.

— Как прошла ночь, сиделка?

— Беспокойно, сэр,— сказала миссис Гэмп.

— Много говорил?

— Не очень, сэр.

— И все бессмыслицу, я думаю?

— Господь с вами, сэр! Конечно, вздор один.

— Отлично! — сказал доктор.— Наше дело успокаивать больного, проветривать комнату, аккуратно давать лекарство и ухаживать за ним как можно лучше. Вот и все.

— И пока мы с миссис Приг ходим за ним, ничего такого не бойтесь, сэр,— подхватила миссис Гэмп.

— Новостей, должно быть, никаких? — заметила миссис Приг, после того как они, приседая, выпроводили доктора за дверь.

— Ровно никаких, моя милая,— сказала миссис Гэмп.— Поминает только всякие имена, слушать даже надоело, а так нечего вам на него обращать внимание.

— И не собираюсь,— возразила миссис Приг.— Найдется о чем подумать и кроме него.

— Нынче вечером я с вами расквитаюсь, милая, приду пораньше,— сказала миссис Гэмп.— Вот что, Бетси Приг,— заключила она с большим чувством, кладя руку ей на плечо,— попробуйте-ка вы огурцы, во славу божию!

## ГЛАВА XXVI

*Неожиданная встреча и многообещающие перспективы*

Законы родственной симпатии между волосами и перьями, а также скрытые первопричины этого явления, нередко побуждающие брадобреев торговать птицами, подлежат всестороннему рассмотрению и обсуждению в ученых обществах, тем более что такое рассмотрение не приведет, вероятно, ни к какому определенному выводу. Читателю же достаточно знать, что маэстро, на долю которого выпала честь сдавать миссис Гэмп второй этаж своего дома, умудрялся объединять в своем лице две профессии — брадобрея и продавца птиц, а также, что эта

мысль пришла в голову не ему первому,— наоборот, у него была целая орда соперников, рассеянных по глухим переулкам и пригородам Лондона.

Имя этого домохозяина было Поль Свидлпайп. Но почти все соседи и знакомые звали его женским именем Полли, а многие даже думали, что это имя получено им при крещении.

Если не считать лестницы и частных апартаментов, занимаемых миссис Гэмп, весь дом Полли Свидлпайпа представлял собой одно большое птичье гнездо. Бойцовые петухи жили на кухне; фазаны усыпали чердак яркими золотистыми перьями; бентамки сидели в погребе на насесте; совы завладели спальней; а в цирюльне щебетала и чирикала всякая мелюзга птичьей породы. Лестница была отведена под кроликов. Там, в клетках всех видов, сортов и размеров, сколоченных из чайных ящиков, комодных ящиков, старых упаковочных ящиков, они размножались с поразительной быстротой и вносили свою долю в тот сложный аромат, который совершенно беспристрастно, невзирая на лица, ударял в нос всякому вступавшему в общедоступную цирюльню Свидлпайпа.

Однако, несмотря на все это, к нему заглядывали очень многие, особенно в воскресенье утром, перед церковной службой. Даже архиепископы бреются, или, вернее, их бреют, по воскресеньям; но щетина не перестает расти после субботней полуночи и на подбородках простых ремесленников, которые, не имея средств нанимать камердинеров помесячно, нанимают их сдельно и платят им — о нечестивая медь! — грязными пенсами. Полли Свидлпайп, по грехам своим, брил кого угодно за один пенни и стриг желающих за два пенса с головы, и в качестве одинокого холостяка, имеющего кое-какие доходы по птичьей части, довольно удачно сводил концы с концами.

Это был тщедушный человечек средних лет, с холодной и липкой правой рукой, вечно пахнущей мылом для бритья,— даже кролики и птицы не могли отбить этого запаха. В повадках Полли было что-то птичье, но не соколиное или орлиное, а более сродное воробью, который вьет гнезда в печных трубах и любит общество человека. Однако он не отличался задором, как воробей, а был,

наоборот, смирен, как голубь. Походка у него была с развальцей, и этим он тоже слегка напоминал голубя, как и некоторой монотонностью речи, похожей на голубиное воркование. Полли был очень любопытен, и когда он стоял вечером в дверях своей цирюльни и наблюдал за соседями, склонив голову набок и лукаво прищурив один глаз, то чуть-чуть смахивал на ворона. Однако злости в нем было не больше, чем в зяблике. К счастью, все эти орнитологические свойства, не доходя до крайности, умерялись, смягчались, растворялись и прикрывались ремеслом цирюльника, так же как его лысая голова, похожая на голову бритой сороки, прикрывалась черным кудрявым париком, разделенным сбоку пробором и обнажавшим лоб почти до самой маковки, что должно было бы указывать на колоссальные умственные способности.

У Полли был очень слабенький, жиденький, тоненький голосок, и это давало повод кингсгейтским шутникам настаивать на том, что ему приличнее было бы родиться женщиной. И сердце у него было мягкое, ибо, получив выгодный заказ на полсотни или даже сотню воробьев для состязания в стрельбе, он обычно замечал сострадательным тоном: как это странно, что воробьи созданы только для того, чтоб их стрелять. Однако вопрос, не созданы ли люди только для того, чтобы стрелять воробьев, никогда не приходил ему в голову.

В качестве спортсмена, Полли носил вельветовую куртку, длиннейшие синие чулки, шейный платок какого-нибудь яркого цвета и очень высокий цилиндр. Занимаясь более спокойным ремеслом брадобрея, он обычно надевал фартук, не блиставший чистотой, фланелевую куртку и плисовые короткие штаны. В этом самом костюме, только подоткнув повыше фартук — в знак того, что цирюльня уже закрыта на ночь,— он запер двери однажды вечером, спустя несколько недель после событий, описанных в предыдущей главе, и остановился на крыльце, дожидаясь, пока не перестанет звонить маленький надтреснутый колокольчик. Ибо, пока он звонил — так рассуждал мистер Свидлпайп,— все казалось, что в доме кто-то есть.

— Маленький, а раззвонится — никак не уймешь,— сказал Поль.— Наконец-то успокоился.

С этими словами он подоткнул фартук еще выше и торопливо зашагал по улице. Сворачивая к Холборну, он наткнулся на молодого джентльмена в ливрее. Юнец, хотя и маленького роста, оказался бойким и немедленно накинулся на него, весьма живо выражая свое неудовольствие.

— Эй, ты, олух! — воскликнул молодой джентльмен.— Не видишь, куда идешь, что ли? Не смотришь себе под ноги, что ли? Глаза у тебя зря приделаны, что ли? Эх, ты! Да ну тебя, право!

Молодой джентльмен произнес последние слова очень громко и таким тоном, как будто в них-то и заключалась самая оскорбительная суть. Но вслед за этим его гнев сразу перешел в удивление, и он закричал уже более мирным тоном:

— Как! Полли!

— Быть не может! — ответил Полли.— Неужели это ты?

— Нет, не я,— отвечал юнец,— это мой сын, самый старший. Делает честь своему папаше! Верно, Полли? — И, слегка подшутив таким образом, он остановился посреди тротуара и завертелся волчком, чтобы лучше показать себя со всех сторон, сильно мешая прохожим, которые были настроены далеко не так жизнерадостно.

— Просто не верится,— сказал Поль.— Как? Значит, ты ушел со старого места? Неужели правда?

— А то как же! — отвечал его юный приятель, засовывая руки в карманы белых плисовых штанов и важно выступая рядом с цирюльником.— Если можешь отличить хорошие сапоги от плохих, так взгляни на эти!

— За-ме-чательно! — воскликнул мистер Свидлпайп.

— А в шикарных пуговицах ты что-нибудь смыслишь? — спросил юнец.— Если не знаешь толку, лучше и не гляди на мои пуговицы,— эти львиные головы сделаны для людей со вкусом, а не для каких-нибудь выскочек.

— За-ме-чательно! — опять воскликнул цирюльник.— Да еще зеленый фрак с золотым галуном! И кокарда на шляпе!

— Ну, а то как же,— отвечал юнец.— Да ну ее, эту кокарду. Похожа как две капли воды на вентилятор

в кухонном окне у мамаши Тоджерс, только что не вертится. Ты не видал, старуху не пропечатали еще в «Газете»? *

— Нет,— ответил цирюльник.— А разве она обанкротилась?

— Не обанкротилась, так обанкротится,— возразил Бейли.— Без меня у нее дело не пойдет. Ну, а как твое здоровье?

— Да недурно,— сказал Полли.— Ты живешь в этом конце города или просто шел ко мне повидаться? Какие у тебя дела в Холборне?

— Никаких дел у меня в Холборне нету,— отвечал Бейли с некоторым неудовольствием.— Все мои дела в Вест-Энде *. Хозяин у меня теперь первый сорт! Какое у него лицо, не разберешь из-за бакенбард, а какие бакенбарды — не разберешь из-за краски. Вот это настоящий джентльмен! Верно? Может, хочешь прокатиться? Только как бы тебе не повредило. Увидишь, как я легкой рысью выезжаю из-за угла,— пожалуй, еще в обморок упадешь.

Чтобы дать некоторое понятие об этом эффектном появлении, мистер Бейли сам изобразил бегущего рысью коня, и так высоко закинул голову, пятясь к колодцу, что с нее свалилась шляпа.

— Ведь он у нас дядя Козерогу,— сказал Бейли,— и родной брат Каприфолию. Два раза въехал в посудную лавку, после того как мы его купили, а продали его за то, что он убил свою хозяйку. Вот это конь так конь! Верно?

— Да! Теперь ты уж не захочешь больше покупать коноплянок,— заметил Поль, с грустью глядя на своего молодого друга.— Теперь ты уж не станешь больше покупать коноплянок и вешать в клетке над кухонной раковиной, да?

— Само собой не стану,— отвечал Бейли.— Что верно то верно. Ниже павлина я теперь ни с какой птицей дела не имею, да и то для меня дешевка. Ну, так как же ты поживаешь?

— Да недурно,— сказал Поль. Он опять ответил на этот вопрос, потому что мистер Бейли опять его задал, а мистер Бейли задал вопрос потому, что это очень шло

к высоким сапогам, широко расставленным ногам в плисовых штанах и слегка согнутым коленам,— для спортсмена и лошадника развязный тон был самым подходящим.

— Так куда же ты собрался, старик? — спросил мистер Бейли с той же светской непринужденностью. В их беседе он играл роль опытного светского человека, а брадобрей — младенца.

— Как же, надо проводить мою жилицу домой,— сказал Поль.

— Женщину! — воскликнул мистер Бейли.— Ставлю двадцать фунтов, что дело нечисто!

Маленький брадобрей поспешил объяснить, что она вовсе не красавица и даже не молодая женщина, а просто сиделка, которая вот уже несколько недель ведет хозяйство у одного джентльмена, а нынче уходит с места, потому что на смену ей должна приехать другая, законная хозяйка, а именно — молодая жена этого джентльмена.

— Он только что женился и нынче привезет новобрачную домой,— сказал цирюльник.— Вот я и собираюсь зайти за моей жилицей в дом мистера Чезлвита — тут, сейчас же за почтамтом — и донести ей сундук.

— К Джонасу Чезлвиту? — спросил Бейли.

— Да, фамилия эта самая,— отвечал Поль,— правильно. А ты его разве знаешь?

— Где уж нам! — воскликнул мистер Бейли.— Откуда мне его знать. Да и ее то же самое. Чего уж! Ведь они и познакомились-то через меня.

— Да что ты? — сказал Поль.

— Вот тебе и что ты! — подмигнул ему мистер Бейли.— И собой недурна, скажу я тебе. Только ее сестра лучше. Та веселая такая. В старое время мы с ней, бывало, вот как шутили!

Мистер Бейли говорил так, как будто бы он давным-давно уже стоит одной ногой в могиле и будто дело происходило лет двадцать или тридцать тому назад. Смиренного Поля Свидлпайпа до такой степени ошарашила самоуверенность скороспелого юнца, его покровительственная манера, а также его сапоги, кокарда и ливрея, что перед глазами у него плавал туман и он видел не всем известного юнца Бейли из Коммерческого пансиона мис-

сис Тоджерс, с которым водил знакомство уже около года, продавая ему время от времени певчих птиц по два пенса за штуку, но воплощенный идеал всех лондонских лошадников, ходячий свод всей конюшенной премудрости своего времени, некий сгусток светского образа жизни и многостороннего опыта. И действительно, хотя и в мглистой атмосфере пансиона миссис Тоджерс таланты мистера Бейли блистали достаточно ярко, теперь они затмевали пространство и время, доводили зрителей до помрачения чувств, опровергая у них на глазах все законы природы. Он шел по самым настоящим, осязаемым булыжникам Холборна, обыкновенный мальчишка-подросток, а все его подмигивания, все мысли, все поступки, все слова были стариковские. Суть в нем была старая, а обличье молодое. Это делало его загадочным существом, сфинксом в сапогах и плисовых брюках. Цирюльнику не оставалось ничего другого, как только самому расстаться с разумом или уж не сомневаться в Бейли; он мудро выбрал последнее.

Мистер Бейли был так любезен, что сопровождал его всю остальную дорогу, развлекая непринужденной беседой на различные спортивные темы, главным образом о сравнительных достоинствах лошадей в белых чулках и без оных. Относительно фасона хвоста у мистера Бейли тоже было свое мнение, которое он изложил, прося, однако, своего друга не принимать его на веру, так как тут он, к сожалению, расходится с некоторыми признанными авторитетами. Он угостил мистера Свидлпайпа стаканчиком смеси, составленной по его собственным указаниям и изобретенной, по его словам, одним из членов жокей-клуба; * и так как они уже приближались к месту своего назначения, мистер Бейли заметил, что хотел бы быть представленным миссис Гэмп, раз у него выбрался свободный часок, тем более что с ее хозяевами он давно знаком.

Поль постучался к Джонасу Чезлвиту и, как только миссис Гэмп открыла дверь, познакомил друг с другом эти две выдающиеся личности. Счастливой чертой двойственного ремесла миссис Гэмп было то, что оно заставляло ее интересоваться молодостью так же, как и старостью. Она приняла мистера Бейли весьма любезно.

— Очень хорошо, конечно, что вы пришли,— сказала она своему домохозяину,— и привели с собой такого приятного знакомого. Только придется вас попросить,— будьте так добры, войдите в дом, потому что молодые еще не приехали.

— Опаздывают как будто? — спросил ее домохозяин, после того как она проводила их вниз, на кухню.

— Как сказать, сударь, пожалуй что и опаздывают, на крыльях любви оно можно бы и пораньше.

Мистер Бейли осведомился, не брали ли «Крылья Любви» призов на скачках и стоит ли на них поставить, и, узнав, что «крылья любви» не лошадь, а всего-навсего поэтическое и фигуральное выражение, был очень недоволен. Миссис Гэмп была так поражена его светскими манерами и свободой обращения, что уже собиралась задать мистеру Свидлпайпу шепотом вопрос: мальчишка это или взрослый, когда тот, предвидя ее намерение, своевременно отвлек ее внимание в сторону.

— Он знает миссис Чезлвит,— сказал цирюльник довольно громко.

— Он все на свете знает, как я погляжу,— заметила миссис Гэмп.— Прошел огонь, воду и медные трубы.

Мистер Бейли принял это за комплимент и сказал, поправляя галстук:

— Вот именно.

— А ежели вы знаете миссис Чезлвит, то, может, знаете, как ее зовут? — спросила миссис Гэмп.

— Чарити,— сказал Бейли.

— Вот уж нет! — вскричала миссис Гэмп.

— Значит, Черри,— сказал Бейли.— Черри — для краткости. Это все равно.

— И начинается-то вовсе не с буквы Ч,— возразила миссис Гэмп, качая головой.— Начинается с буквы М.

— Фью! — присвистнул мистер Бейли, выбивая целое облако трубочной глины из своих штанов.— Значит, он взял да и женился на той, веселой!

Так как эти слова были не совсем понятны, то миссис Гэмп попросила объяснения, и мистер Бейли приступил к делу, а она жадно слушала все, что он говорил. Он был еще на середине рассказа, когда грохот колес и двойной стук дверного молотка возвестили о прибытии четы ново-

брачных. Попросив Бейли приберечь конец рассказа на то время, когда он будет провожать ее домой, миссис Гэмп взяла свечу и побежала встречать и приветствовать молодую хозяйку дома.

— Желаю вам счастья и всякой радости от всего сердца,— сказала, приседая, миссис Гэмп, как только молодые вошли в прихожую,— и вам тоже, сударь. Супруга ваша как будто немножко устала с дороги, мистер Чезлвит? Этакая милочка!

— Да уж она давно об этом стонет,— проворчал мистер Чезлвит.— Посветите-ка нам лучше, вот что!

— Сюда пожалуйте, сударыня,— говорила миссис Гэмп, поднимаясь перед ними по лестнице.— Прибрали тут все как только можно было, ну да вы и сами много чего перемените, когда освоитесь немножко. «Не похоже, однако, чтобы она была веселая, как я погляжу»,— прибавила миссис Гэмп уже про себя.

И точно, молодая жена смотрела невесело. Смерть, побывавшая здесь перед свадебным пиром, казалось набросила свою тень на весь дом. Воздух был душный и тяжкий, в комнатах стояла какая-то мгла, глубокий мрак заполнял каждую щель и каждый угол. У очага, подобно зловещему призраку, сидел престарелый клерк, глядя на обгорелые поленья. Он поднялся с места и посмотрел на нее.

— Так вы еще здесь, мистер Чафф? — небрежно сказал Джонас, смахивая пыль с сапогов.— Все еще на этом свете, а?

— Все еще тут, сэр,— подхватила миссис Гэмп.— И за это мистер Чаффи должен вас благодарить, сколько раз я ему говорила.

Мистер Джонас был, как видно, сильно не в духе, потому что сказал коротко, оглянувшись на нее:

— Миссис Гэмп, вы нам больше не нужны.

— Сию минуту ухожу, сэр,— отвечала сиделка,— если вам ничего больше не потребуется, сударыня. А может, надо,— говорила миссис Гэмп самым сладким голосом, роясь тем временем в кармане,— может, надо что-нибудь для вас сделать, птичка моя?

— Нет,— отвечала Мерри, чуть не плача,— лучше уходите, пожалуйста.

Со слащавой и хитрой улыбочкой, косясь одним глазом на мужа, а другим на жену, с чисто профессиональным плутовским выражением, свойственным только ее ремеслу, миссис Гэмп опять порылась в кармане и извлекла оттуда печатную карточку того же содержания, что и ее вывеска.

— Уж будьте так добры, дорогая моя дамочка, положите вот это где-нибудь на виду, голубушка, чтобы не забыть потом,— заметила миссис Гэмп, понизив голос.— Многие дамы очень хорошо меня знают, а это вот — моя карточка. Фамилия у меня простая, и сама я человек простой. Живу я тут близехонько и уж позволю себе забежать к вам кое-когда, справиться, как ваше здоровье, как вы себя чувствуете, цыпленочек мой дорогой!

И, сопровождая свои слова бесчисленными подмигиваниями, покашливаниями, кивками, улыбочками и приседаниями, направленными к тому, чтобы установить некое таинственное понимание между собой и новобрачной, миссис Гэмп призвала благословение божие на весь их дом и, подмигивая, покашливая, кивая, улыбаясь и приседая, выплыла из комнаты.

— Одно я только скажу, хоть на костре меня жгите, как Марфу-мученицу, все равно скажу,— шепотом заметила миссис Гэмп, сойдя вниз,— что-то не очень похоже сейчас, чтобы она была раньше веселая.

— А вы погодите, пока она засмеется! — сказал Бейли.

— Что ж! — произнесла миссис Гэмп плачущим голосом.— И погожу, мой милый!

Больше в доме они не разговаривали. Миссис Гэмп надела чепец, мистер Свидлпайп взял ее сундук, и мистер Бейли провожал их до Кингсгейт-стрит, по дороге рассказывая о своем знакомстве с миссис Чезлвит и ее сестрицей. Забавный пример скороспелости этого юноши: он вообразил, будто миссис Гэмп питает к нему нежные чувства, и очень потешался над этой безнадежной страстью.

Как только дверь тяжело захлопнулась за ними, миссис Чезлвит опустилась на стул и, оглядывая комнату, почувствовала, что ее охватывает странная дрожь. Ком-

ната была почти такая же, как и прежде, только стала более мрачной. А ей казалось, что здесь должно было стать светлее ради ее приезда.

— Что, не нравится тебе тут? — сказал Джонас, наблюдая за выражением ее лица.

— Да, здесь невесело,— сказала Мерри, стараясь справиться с собой.

— А скоро будет еще хуже,— отвечал Джонас,— если не перестанешь кривляться. Тоже хороша! Не успела приехать домой, как надулась! Ведь хватало же у тебя живости раньше изводить меня. Девчонка там, внизу. Позвони-ка, чтобы несла ужин, пока я снимаю сапоги!

Она проводила его взглядом и, когда он вышел из комнаты, встала, чтобы выполнить его приказание, но тут старик Чаффи тихонько тронул ее за руку.

— Неужели вы за него вышли замуж? — спрашивал он настойчиво.— Неужели вышли?

— Да, вышла. Месяц тому назад. Боже мой, что случилось?

Он ответил, что ничего не случилось, и отвел глаза. Но, обернувшись к нему в страхе и удивлении, она увидела, как он поднял руки над головой, и услышала его слова:

— О горе, горе, горе этой несчастной семье!

Вот чем встретили ее по приезде домой.

# КОММЕНТАРИИ

Роман «Жизнь и приключения Мартина Чезлвита» начал печататься в январе 1843 года отдельными выпусками. Последние главы вышли в 1844 году. В этом же году появилось полное издание романа.

На русский язык «Мартин Чезлвит» был переведен в 1844 году и опубликован в журнале «Отечественные записки». В обзоре русской литературы за 1844 год В. Г. Белинский отметил «необыкновенную зрелость таланта автора», назвав «Мартина Чезлвита» «едва ли не лучшим романом даровитого Диккенса»[1].

Стр. 11. *Убийца и бродяга* — намек на библейское предание о Каине, убившем своего брата Авеля и осужденном за это богом на вечные скитания.

Стр. 12. *...пожаловал к нам вместе с Вильгельмом Завоевателем.* — В 1066 году Вильгельм, герцог Нормандии, во главе нормандских феодалов завоевал Англию; с 1066 по 1087 год — король Англии.

*...участвовал в Пороховом заговоре...* — Пороховой заговор (1605) был организован группой дворян-католиков (Роберт Кетсби, Гай Фокс и др.), замышлявших убийство короля Иакова I Стюарта и его министров. Сигналом к общему выступлению должен был послужить взрыв парламента. Заговорщикам удалось спрятать в подвале под зданием парламента бочки с порохом, но в последний момент планы их были раскрыты, главари схвачены и казнены.

*...сам архипредатель Фокс.* — Речь идет о Гае Фоксе, офицере, которому было поручено поджечь бочки с порохом, зало-

---

[1] В. Г. Белинский, Собр. соч., М. 1948, т. II, стр. 700.

женным под здание парламента. Был схвачен, подвергнут пыткам и казнен.

Стр. 14. *...пятого ноября, когда был Гаем Фоксом.*— Пятого ноября в память раскрытия Порохового заговора ежегодно совершалась торжественная церемония — подвальные помещения парламента обходила стража с зажженными факелами. В этот же день по улицам Лондона носили чучело Гая Фокса, которое затем сжигали.

*...«обедать с герцогом Гэмфри»...* — значит совсем не обедать (английская поговорка).

Стр. 16. *«Дядюшка»* — в английском просторечии — ростовщик.

*«Золотые шары».*— Три золотых шара были изображены в гербе семьи Медичи. Банкиры Медичи были одновременно и крупными ростовщиками. Впоследствии золотые шары стали украшать вывески лавок ростовщиков.

Стр. 17. *Учение Монбоддо.*— Джеймс Бернетт Монбоддо (1714—1799) — шотландский юрист и ученый, один из зачинателей научной антропологии.

*...независимо от теории Блюменбаха...*— Блюменбах Иоганн Фридрих (1752—1840) — немецкий физиолог и антрополог. Выдвинул теорию о делении человечества на пять рас: кавказскую, монгольскую, малайскую, американскую и африканскую, или эфиопскую.

Стр. 18. *Солсбери* — старинный город в Южной Англии, главный город графства Вильтшир. В Солсбери находится один из интереснейших памятников английской ранней готики: старинный собор постройки XIII века, увенчанный шпилем высотой в 400 футов.

Стр. 24. *Фортунатова сума* — волшебный кошелек, в котором никогда не переводились деньги, подаренный Фортунату, герою популярной немецкой легенды XV века, богиней судьбы.

Стр. 30. *Пинч* (англ. pinch) — буквально: «ущипнуть», «щипок».

Стр. 41. *...ни дракону, ни грифону, ни единорогу...*— легендарные чудовища, встречающиеся в мифологии различных народов. В средние века изображениями этих чудовищ украшали военные доспехи и знамена. Позднее драконы, грифоны и единороги, как шутит Диккенс, «начали интересоваться домашним хозяйством» и перекочевали на вывески постоялых дворов и трактиров.

Стр. 67. *...в связи со славными событиями испанской войны...*— О какой испанской войне идет речь — не ясно. Мистер Тигг-старший мог участвовать в войне Испании с Англией (1779—1783) и в Испано-Португальской войне 1801 года.

Стр. 69. *...сколько бы Геркулес ни размахивал палицей во всех направлениях, разве он в силах помешать котам поднимать отчаянную возню на крышах или собакам погибать от пули...*— вольная передача сентенции Гамлета из 1-й сцены V акта трагедии Шекспира «Гамлет»:

Хотя бы Геркулес весь мир разнес,
А кот мяучит, и гуляет пес.

*(Перевод М. Лозинского.)*

Стр. 76. *...истинным Самсоном...*— Самсон — легендарный библейский герой, наделенный невиданной силой.

Стр. 89. *Дорожный сбор* — сбор за право проезда по дорогам — один из пережитков феодализма, сохранявшийся в английском законодательстве до середины XIX века.

Стр. 96. *...Робинзон... спокойно взирал на Филиппа Кворла и целую орду подражателей...*— Имеется в виду роман Даниеля Дефо (1660—1731) «Робинзон Крузо» (1719). Это произведение породило несметное количество подражаний, одним из которых является роман, вышедший в 1727 году под названием: «Несравненные страдания и удивительные приключения Филиппа Кворла, англичанина, который был обнаружен бристольским купцом м-ром Доррингтоном на необитаемом острове в Южном море, где он жил около 50 лет без всякого человеческого общества, и откуда не хотел выезжать».

Стр. 115. *...подобно голубю в древности... и возвратимся с оливковой ветвью...*— намек на библейское предание о всемирном потопе и Ноевом ковчеге. По преданию, когда воды потопа стали спадать, Ной выпустил из ковчега голубя, чтобы проверить, «сошла ли вода с лица земли». В первый раз голубь вернулся ни с чем. Во второй раз он возвратился, держа в клюве ветвь оливкового дерева. Впоследствии голубь и оливковая ветвь стали эмблемами мира.

Стр. 116. *Одноглазый календер* — странствующий монах (дервиш) из арабских сказок «Тысячи и одной ночи».

Стр. 118. *Собор св. Петра в Риме или мечеть св. Софии в Константинополе.*— Собор св. Петра — один из крупнейших архитектурных памятников эпохи Возрождения. Строился на про-

тяжении двух веков (XV—XVII). В создании его принимали участие такие выдающиеся мастера эпохи Возрождения, как архитектор Браманте, великий скульптор, зодчий и художник — Микеланджело Буонаротти и великий художник Рафаэль. Храм св. Софии — выдающееся произведение византийской архитектуры (532—537). После захвата Константинополя турками (1453) храм св. Софии был превращен в мечеть.

Стр. 133. *...Виттингтона, впоследствии трижды лорд-мэра города Лондона.*— Дик Виттингтон — герой популярной английской народной легенды, неоднократно упоминаемый Диккенсом. Легенда рассказывает, что, будучи учеником у торговца мануфактурой, Дик задумал бежать из Лондона, но был остановлен звоном колоколов одной из церквей, в котором он явственно различил голос, вещавший: «Вернись, Виттингтон, трижды лорд-мэр Лондона». Виттингтон вернулся назад и благодаря счастливой случайности разбогател (он продал кошку какому-то восточному князьку, во владениях которого водилось много мышей). Исполнилось и пророчество — его трижды избирали лорд-мэром Лондона. В основе легенды лежат факты из биографии исторического лица, некоего Ричарда Виттингтона (XV в.).

Стр. 135. *«Жития мучеников» Фокса.*— Джон Фокс (1516—1587) — английский богослов, выступавший против католицизма. «Жития мучеников» — популярный в свое время труд о преследовании протестантов в правление королевы Марии Тюдор, прозванной Кровавой (1553—1558).

*...про Звездную палату и про Долговой суд.*— Звездная палата — название Верховного суда, упраздненного указом Долгого парламента в 1641 году и ставшего синонимом суда жестокого и несправедливого. Члены этого суда собирались в одном из залов королевского дворца в Вестминстере, потолок которого был украшен золотыми звездами. Долговой суд — специальные суды по взиманию небольших долгов; были учреждены в правление короля Генриха VII. По решению этих судов несостоятельные должники отправлялись в долговые тюрьмы. Тюремное заключение за долги было отменено лишь в 1869 году.

Стр. 144. *Не забудьте прибавить «эсквайр» к фамилии мистера Пекснифа.*— В эпоху феодализма звание «эсквайр» получали оруженосцы рыцарей. Во времена Диккенса слово «эсквайр» утратило это первоначальное значение и его прибавление к фамилии стало указывать на привилегированное общественное положение. В письмах и официальных бумагах так имено-

вались адвокаты, врачи, писатели, государственные чиновники, помещики и просто зажиточные буржуа. В настоящее время слово эсквайр вышло из употребления.

Стр. 159. *...по волшебному бобовому стеблю...* — намек на популярную в Англии сказку «Джек и бобовый стебель», герой которой поднялся на небо по чудесно разросшемуся бобовому стеблю.

Стр. 160. *Монумент* — колонна, воздвигнутая в Лондоне (1671—1677) по проекту выдающегося английского архитектора Кристофера Рена (1632—1723) в память о пожаре 1666 года, уничтожившем бо́льшую часть города.

*Веллингтоновские сапоги* — сапоги с вырезом сзади под коленом.

Стр. 173. *Кемберуэл* — район в юго-восточной части Лондона, за Темзой.

Стр. 184. *Мистер Питт.* — Диккенс, очевидно, имеет в виду Питта Младшего (1759—1806), известного английского государственного деятеля, премьер-министра Англии в период Великой французской революции и одного из главных организаторов антинаполеоновских коалиций.

*Юный Браунригг* — сын Елизабет Браунригг, убийцы, повешенной в середине XVIII века.

*Старый Бейли* — центральный уголовный суд Англии (Олд-Бейли), получивший свое название от улицы, на которой он находился.

Стр. 192. *...как малолетних принцев в Тауэре...* — Речь идет о сыновьях английского короля Эдуарда IV (1442—1483), задушенных в Тауэре по приказу их опекуна и дяди, Ричарда Глостера, впоследствии короля Ричарда III (1452—1485). Это событие изображено Шекспиром в трагедии «Ричард III» (1592—1593).

Стр. 196. *...из сборника доктора Уотса...* — Исаак Уотс (1674—1748) — английский богослов, автор широко известных гимнов и псалмов.

Стр. 216. *Поклоняться золотому тельцу, или Ваалу.* — Золотой телец — золотой идол, которому, по библейскому преданию, поклонялись отступившиеся от своего бога иудеи во время странствий по пустыне после бегства из Египта. Ваал — библейское название верховного божества языческих племен Палестины, Финикии и Сирии. В библии культ Ваала символизирует идолопоклонство и неправедность.

Стр. 217. *Подвязка.*— Имеется в виду орден Подвязки.

*...ради удара по плечу королевской шпагой...*— Ударом по плечу королевской шпагой сопровождался обряд возведения в дворянское звание.

Стр. 236. *...с гимном «Правь, Британия»...*— английская песня, сложенная в пору владычества Англии на морях. Ее автор — поэт Джеймс Томсон (1700—1748). Музыка написана композитором Т. А. Арном (1710—1778).

Стр. 241. *Алтарь его пенатов.*— В греческой мифологии пенаты — боги домашнего очага.

Стр. 267. *Томик «Бакалавра из Саламанки».*— Речь идет о романе известного французского писателя Лесажа (1668—1747), вышедшем в свет в 1736 году.

Стр. 272. *Старый Йорк* — один из самых древних городов в северной части центральной Англии. В Йорке сохранились многочисленные памятники различных периодов английской истории.

*«Здравствуй, Колумбия!»* — рефрен и первая строка многих американских патриотических песен. Колумбия — поэтическое название Америки в честь ее открывателя — Колумба.

Стр. 273. *Театр Аделфи* — театр, построенный в 1806 году на одной из оживленных магистралей Лондона — Стрэнде. На его сцене главным образом шли мелодрамы.

Стр. 274. *Мой любезный Шейлок...* — Шейлок — герой комедии Шекспира «Венецианский купец» (1600).

Стр. 276. *Мэйфер, Парк-лейн.*— Мэйфер, в переводе «Майская ярмарка», — район в западной части Лондона в окрестностях бывшего «Овечьего рынка», где ежегодно устраивались весенние ярмарки. Парк-лейн — фешенебельная улица в районе Мэйфер.

Стр. 277. *Холборн* — район центрального Лондона к северо-западу от Сити. На территории Холборна находятся Британский музей, Лондонский университет, театр Ковент-Гарден. Наряду с богатым жилым кварталом Блумсбери Холборн включает отдельные части Сохо, известного как место поселения бедноты и эмигрантов.

Стр. 291. *Сент-Джеймский парк* — парк в центре города, примыкающий к Сент-Джеймскому дворцу, резиденции английских королей начиная с Генриха VIII; входит в большое кольцо лондонских парков, идущее от Уайтхолла до Кенсингтонских Садов.

Стр. 319. *Уроженец Новой Англии.* — Новая Англия — общее название группы северо-восточных штатов США, места поселения первых английских колонистов. Произношение уроженцев Новой Англии заметно отличается от произношения южан.

Стр. 322. *...парламенту и Сент-Джеймскому дворцу...* — Во времена Диккенса Сент-Джеймский дворец уже не являлся официальной резиденцией английских королей, но название его продолжало употребляться в значении «королевского двора». Отсюда противопоставление его парламенту.

Стр. 337. *До седьмого неба Славы.* — По религиозным представлениям древних евреев, христиан и магометан, небо, где обитают души праведных и ангельские чины, делится на ряд ступеней. «Седьмое небо» — высшая ступень, означающая наибольшую близость к богу.

Стр. 339. *Франклин.* — Бенджамин Франклин (1706—1790) — выдающийся американский политический деятель, ученый, писатель и дипломат.

*Ювенал или Свифт.* — Децим Юний Ювенал — римский поэт-сатирик эпохи империи (I—II вв. н. э.). Джонатан Свифт (1667—1745) — великий английский писатель-сатирик.

Стр. 340. *«О, если бы не вы, Колумбии не жить»...* — строфа из послания английского поэта Томаса Мура (1779—1852) «Достопочтенному У. Р. Спенсеру». Мур, посетивший США в 1803—1804 годах, неоднократно с негодованием писал о стране, в которой «все зло старого мира соединилось со всей грубостью нового».

Стр. 343. *...похожи на слугу из комедии Голдсмита.* — Имеется в виду персонаж из комедии известного английского питателя Оливера Голдсмита (1728—1774) «Добрячок» (1767).

Стр. 351. *Аболиционисты* — сторонники отмены рабовладения в Америке.

Стр. 352. *Немврод* — библейский герой, дерзкий и неустрашимый охотник. Контекст позволяет предполагать намек на современного Диккенсу популярного персонажа американской ярмарочной сцены — полковника Немврода Уайлдфайера, появившегося впервые в 1831 году в пьесе Джеймса К. Паулдинга «Лев с Запада».

*Как делает Гамлет, бросая череп Йорика...* — Имеется в виду сцена на кладбище из V акта трагедии Шекспира «Гамлет».

Стр. 355. *О орел...* — Речь идет о гербе Соединенных Штатов.

Стр. 361. *Коблер* — напиток, приготовленный из вина, сахара, лимона и льда.

Стр. 385. *...автором театральных пиес, — погребенным в Стрэтфорде...* — В Стрэтфорде на Эване похоронен великий английский драматург Вильям Шекспир (1564—1616).

Стр. 392. *Вестминстерское аббатство.* — Собор св. Петра в Вестминстерском округе Лондона — место коронования английских королей, а также усыпальница королей, государственных деятелей и выдающихся людей Англии. В одном из нефов собора, известном под названием «Уголок поэтов», похоронены многие английские поэты и писатели начиная с поэта Джефри Чосера (XIV в.). В настоящее время Вестминстерское аббатство превращено в музей.

Стр. 413. *Горгоны* — в греческой мифологии три крылатых женщины-чудовища. Согласно мифу, взгляду Горгон была присуща магическая сила превращать в камень все живое.

Стр. 414. *...мечтал о свободе в объятиях рабыни, а наутро продавал с публичного торга ее и своих детей...* — парафраза из «Послания Томасу Юму» английского поэта Томаса Мура.

Стр. 419. *Королева Виктория...* — английская королева с 1837 по 1901 год.

*Тауэр* — укрепленный замок на берегу Темзы, королевская резиденция в эпоху раннего средневековья. Позднее был превращен в тюрьму для государственных преступников. В настоящее время — арсенал и музей.

Стр. 421. *Залы Олмэка...* — название известных в Лондоне «публичных зал» (а позднее клуба и ресторана), основанных в 1764 году и просуществовавших до конца XIX века. В залах Олмэка устраивались балы, концерты и лекции.

Стр. 423. *...возвела себе башни не ниже Вавилонской...* — Согласно библейскому преданию, древние люди после потопа пытались построить башню «вышиною до небес». Но разгневанный бог смешал их языки так, что они перестали понимать друг друга, и рассеял их по всей земле. Это библейское сказание является переработкой более древнего вавилонского мифа.

Стр. 429. *...подобно доброму самаритянину, поджидающему путника.* — Добрый самаритянин (житель древнего города Самарии в Палестине), упоминаемый в евангелии от Луки, оказал помощь встретившемуся ему на дороге ограбленному и израненному путнику. Ирония Диккенса очевидна — все поведение генерала преследует прямо противоположную цель.

Стр. 431. *«Янки Дудл»* — американская народная песня, возникшая в эпоху войны за независимость США (1775—1783).

Стр. 435. *...стрелки на часах Конногвардейского штаба в Лондоне...* — Конногвардейский штаб — невысокое здание с башней, построенное в 1753 году. По башенным часам Конногвардейского штаба производится смена часовых у Сент-Джеймского дворца.

Стр. 436. *Летающие жены Питера Вилкинса...* — Питер Вилкинс — герой популярного в XVIII веке фантастического романа английского писателя Роберта Палтека (1697—1767) «Жизнь и приключения Питера Вилкинса» (1751). Потерпев кораблекрушение, он высадился на острове, населенном летающими людьми.

Стр. 440. *...члена конгресса в Англии...* — В Англии, как известно, нет конгресса, а есть парламент, состоящий из двух палат: палаты лордов и палаты общин.

Стр. 446. *Гримальди.* — Джозеф Гримальди — знаменитый английский клоун (1779—1837). Диккенс восхищался талантом Гримальди и в 1838 году взял на себя редактирование его мемуаров, написав к ним предисловие.

*Миссис Сиддонс.* — Сара Сиддонс (1755—1831) — знаменитая английская трагическая актриса, прославившаяся исполнением ролей в шекспировских трагедиях.

Стр. 447. *Мать Современных Гракхов.* — Братья Гракхи, Тиберий (163—132 гг. до н. э.) и Гай (153—121 гг. до н. э.) — политические деятели Древнего Рима, авторы проекта аграрной реформы. Диккенс иронизирует над пристрастием американцев щеголять античными именами.

Стр. 452. *Челн старика Харона.* — Харон, в греческой и римской мифологии, — старик перевозчик, переправляющий тени умерших людей в подземное царство Аида (в римском варианте — Плутона) через реку Ахерон.

Стр. 454. *Мрачные владения великана Отчаяние.* — Великан Отчаяние — аллегорическая фигура из религиозно-дидактической поэмы английского писателя и проповедника Джона Бэньяна (1628—1688) «Путь паломника» (1678).

Стр. 463. *«Семеро спящих»* — герои средневековой легенды о семи юношах из города Эфеса. Спасаясь от гонений на христиан при императоре Деции (III в. н. э.), они спрятались в пещере, где уснули и проспали несколько сот лет.

Стр. 484. *В самой глубине Сити, в районе Чипсайда.* —

Сити — торговый и деловой центр Лондона. Чипсайд — в прошлом один из рынков Сити, во времена Диккенса — улица, заселенная ремесленниками и торговцами.

Стр. 488. *Господа Доу и Роу* — имена фиктивных юридических лиц, фигурировавшие в исках об изъятии собственности в английском судопроизводстве первой половины XIX века.

Стр. 490. *...прислали из Варфоломеевского.*—Имеется в виду лондонская больница св. Варфоломея — одно из самых крупных благотворительных учреждений.

Стр. 491. *Легче богатому кататься на верблюде, чем увидеть что-нибудь сквозь игольное ушко...*— искаженное евангельское изречение: «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в царство божие».

Стр. 506. *...не пропечатали еще в «Газете»?* — «Газета» — сокращенное название «Лондонской газеты», основанной в 1665 году для публикации правительственных постановлений, назначений чиновников, судебных постановлений о банкротствах и тому подобного.

*Вест-Энд* — богатый аристократический район Лондона. Здесь находятся парламент, королевский двор, в зелени парков и скверов расположены роскошные особняки; в Вест-Энде сосредоточены также лучшие магазины Лондона.

Стр. 508. *Жокей-клуб* — аристократический клуб, основанный в Лондоне в 1751 году.

***Н. ДЕМЕН***

## СОДЕРЖАНИЕ

### ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАРТИНА ЧЕЗЛВИТА

ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС
*Собр. соч., т. 10*

Редактор Э. Раузина
Художник Е. Семпер
Художеств. редактор Л. Калитовская
Технический редактор Г. Каунина
Корректор В. Седова

Сдано в набор 1/VIII 1958 г.
Подписано к печати 20/XI 1958 г.
Бумага 84 × 108[1]/32—16,5 печ. л.
27,06 усл. печ. л. 26,52 уч.-изд. л.
Тираж 600 000 (1—150 000) экз.
Заказ № 3977. Цена 10 р.

Гослитиздат
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

Типография «Красный пролетарий»
Госполитиздата
Министерства культуры СССР.
Москва, Краснопролетарская, 16.